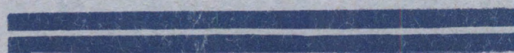


Н О В Ы Й  
М И Р

2



1972

# ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVIII

№ 2

Февраль, 1972 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Бунт разума, поэма. Перевела с калмыцкого Юлия Нейман	3
Е. ГЕРАСИМОВ — Море в Черкассах, повесть	54
ВЛАДИМИР ЦЫБИН — Эхо, стихи	100
ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ — Я и мой автомобиль, роман-фельетон. Продолжение	105
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Человек и время, воспоминания. Окончание части второй	148
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
СТИХИ, НАЙДЕННЫЕ В РАЗВАЛИНАХ. Стихи переведены с польского Марком Максимовым, вступление и комментарий — Владимира Беяева	174
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ВЛАДИМИР ОГНЕВ — От Хорватии до Словении	199
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ К. А. ФЕДИНА	226
Б. БРАЙНИНА — Верность призванию	227
И. БОРИСОВА — У истоков эпической традиции	230

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	Стр.
<i>Литература и искусство</i>	251
<b>С. Асадуллаев.</b> Народность, реализм, партийность.— <b>Борис Хотямский.</b> «В том и трагедия!» — <b>В. Пронин.</b> Уроки исполненного долга.	
<i>Политика и наука</i>	260
<b>В. Шапко.</b> Оружие современной борьбы.— <b>С. Резник.</b> Наука в руках человека.— <b>В. Буганов.</b> Преданья и былы русской старины.— <b>Ю. Рытов.</b> Искусство управлять.— <b>И. Дрейцер.</b> Кредо великого зодчего.— <b>В. Елисева.</b> Добрые книги.	
КОРОТКО О КНИГАХ — <b>А Турков.</b> — Леонид Волынский. Дом на солнцепеке. ♦ <b>В. Вигилянский</b> — <b>И. А. Гладыш, Т. Г. Динесман.</b> «Горе от ума». Страницы истории	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

---

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

## БУНТ РАЗУМА

*Поэма*

### Ч А С Т Ь   П Е Р В А Я

1

Со смертью — жизнь, две силы, две основы,  
Соединя мудро и светло,  
Кристалльно чистой влагой родниковой  
Смягчая боль и укрощая Зло,  
Отрадно возвращаясь, мерно споря  
С ожесточением людского горя,  
Печали здешней воздавая дань  
И унося через земную грань,  
Из тесноты страдающей вселенной  
В клубящийся покой иных начал —  
Плыл моцартовский Реквием нетленный  
И Вечности сиянье излучал.  
Торжественная музыка стекала  
По гробу из блестящего металла,  
Прибывшему сюда издалека  
Через моря, хребты и облака.  
В нью-йоркский дом, в притихшую знакомость  
Внесли его сегодня на руках,  
Домой пришел оледенелый прах  
Того, кто лишь недавно звался — Томас.  
Гроб Томаса открыт, как повелось.  
Желтеет лоб под свежими бинтами.  
На гробе всеми полосами вкось  
Лежит Америки великой знамя.  
И Томаса ботинки, сиротя,  
Вблизи от гроба прячутся в тени.  
Напрасно ждут хозяина они  
И вопиют всей пустотой своею.  
Грудь Томаса при жизни не украсив,  
На маленькой подушке, на атласе,  
Блестит медаль — кругла и холодна:  
Она покойнику присуждена.  
Смерть Томаса печатно утверждая,  
Бумага плотная белеет с краю,

---

Журнальный вариант.

Оповестив Адама и Катрин —  
 Супругов Крейзи, — что на поле боя  
 Остался он, единственный их сын,  
 Себя прославив подвигом героя.  
 За белым гробом в кресле черной кожи,  
 Увешан орденами, сух и сед,  
 С фигурой восковою странно схожий —  
 Сам старый Тафт, достопочтенный дед,  
 Отец Катрин, суровый тесть Адама.  
 Он в кресле держится, как прежде, прямо,  
 Военной выправки не потерял,  
 Он и в беде — вояка, генерал...  
 А дочь его — Катрин — пригнуло бремя  
 Ужасной вести: сын убит, убит...  
 И Моцарт вместе с матерью скорбит,  
 И, кажется, остановилось время.  
 Но точно отмечая бег минут,  
 Два воина с квадратными плечами  
 На место неподвижных двух идут,  
 И караул сменяется в молчаньи.  
 А по углам кружатся шепотки.  
 Под музыку знакомые, соседи  
 Беседуют вполголоса... В беседе  
 Иные все же достают платки  
 И трут глаза... Такое с ними тоже  
 Случиться может... Но, конечно, позже,  
 Гораздо позже... А до этих пор  
 Они ведут о мертвом разговор,  
 Приличный случаю, благопристойный,  
 И каждый уверяет, что покойный —  
 К нему явил особое доверье,  
 Сказав, что свой предчувствует конец...  
 Течет беседа. В стороне, у двери,  
 Сидит застывший Томаса отец.

## 2

Случается — единственное слово,  
 Вместив непоправимую беду,  
 Привычных дней взрывает череду,  
 Как звук нежданный выстрела шального,  
 Лесную тишину спугнувший вдруг,  
 Ломает плавный журавлиный цуг.  
 Кровавой гарью мир запорошен...  
 В глазах того, кто горем оглушен,  
 Жизнь предстает совсем в ином разрезе.  
 ...Сидит у двери бледный доктор Крейзи,  
 Вздохнет, губами шевелит опять,  
 Пытаясь что-то главное понять.  
 Напрасно! Рушатся сознания своды,  
 Сместились все Сегодня и Вчера,  
 Как будто атлантические воды  
 Разбушевались... За горой гора  
 Бежит на берег с грохотом и стоном,  
 Гонимая взбесившимся циклоном.  
 Адам сидит, ударом тяжким смятый.  
 «Как началось? Откуда грянул гром?..»

Но всем натренированным умом  
Ученого, всем опытом солдата,  
Прошедшего горнило испытаний,  
Он, Крейзи, пробует в густом тумане  
Нащупать выход, отыскать пути,  
Первопричину бедствия найти...  
Где он запрятан, черный корень зла?  
...А Моцартова музыка плыла,  
Приоткрывая что-то, что-то пряча.  
А скрипка пела из небытия:  
«Не плачь. мой милый! За тебя поплачу  
Я, сердобольная сестра твоя!»  
И тонкой скрипке бархатисто вторя,  
Гудя, как добрый басовитый шмель,  
В себя вбирала половину горя  
Подруга старшая — виолончель.  
И там, где слово, растравляя, жгло,  
Там музыка струила состраданье  
И прикасалась к обнаженной ране  
Так бережно. так нежно и тепло,  
Что шло на пользу это милосердьё,  
С добром и миром оживляя связь.  
Отчаянья и смерти не страшась,  
Плыл Реквием — покой, душа бессмертья.  
Лишь погружаясь в музыку, дано  
Нам со своим страданьем примириться  
И медленно понять, что и оно —  
Страданье — тоже бытия частица.  
...Затихли звуки стройные хорала,  
И Крейзи, сжав ладонями виски,  
Вновь заметался в приступе тоски:  
«Нет больше сына. Мальчика не стало!..»  
Отец сидит у гроба, спину горбя,  
А дождь и Реквием поют вдвоем,  
И насыщают мира водоем  
Созвучия прощания и скорби,  
Звучат над изголовьем мертвеца,  
И нет конца печали, нет конца...  
И мерно отмечая ход минут,  
Два воина в торжественном молчаньи  
На место неподвижных двух идут, —  
Как дни за днями, ночи за ночами.

## 3

Есть правило, что нет для счастья правил:  
Добро иль зло тобой совершено,  
Был благороден ты или слукавил —  
Твоей судьбе как будто все равно.  
Ты говоришь, что испытал немало, —  
С меня, мол, хватит... Но судьба подсчет  
Невзгодам и удачам не ведет,  
Разбрасывая счастье как попало.  
Когда ж на сцене мировая драма —  
В нее едва ль не каждый вовлечен.  
Живой пример тому — судьба Адама.  
Став перед самую войной врачом,

Он в Африку отправлен был. Ко дну  
Пошел корабль, нарвавшийся на мину...  
Израенный, живой наполовину,  
Врач Крейзи выжил, чтобы жить в плену.  
В пустыне он дышал жарою жгучей,  
От жажды изнывая... А позднее  
Был втиснут в трюм и брошен — в общей куче —  
В один из европейских лагерей.  
О райском царстве на земле не грезя,  
Смотрел на ближних трезво доктор Крейзи,  
Но слышал он, что даже у зверья  
Детенышей чужих не губят зря.  
А для фашистов — старый или малый —  
Противник, если крови он другой...  
О, сколько душ — о, сколько, боже мой! —  
Здесь, в лагерях, безвестно погибало!  
В одном огне — виновный и невинный,  
В одной печи — глупцы и мудрецы,  
В одной газовой — женщины, мужчины,  
Младенцы, старцы, дочери, отцы...  
Был Крейзи от политики далек,  
Но — честный врач! — и здесь лечил как мог,  
Хоть мог он так немного, жалкий пленный!  
С начальством здешним не поладил он,  
И в общий лагерь был переведен.  
Как все вокруг, он таял постепенно  
И стал одним из высохших скелетов,  
Кой-как скрепленных бечевой жил,  
Недели, верно, он бы не прожил...  
Но тут как раз пришли войска Советов.  
О этот день!.. Адам читал потом  
Статьи, где русских яростно хулили,  
Где желчь и злость сочились в изобилии...  
Но этот день навек остался в нем!  
Нельзя забыть, пройдя сквозь столько мук,  
Того, кто спас от гибели когда-то,  
И что из уст советского солдата  
Ты, пленный раб, услышал слово «друг»!  
Уместно, может быть, сказать сейчас:  
Освободили лагерь этот самый  
Мои друзья... От них-то в первый раз  
Услышал я об участии Адама.  
...Освобожденных, подлечив немного,  
Отправили в желанную дорогу.  
Был ясный день. Ликующий народ  
Приветствовал пришедший теплоход.  
Оркестры рокотали у причала.  
Своих сынов Америка встречала.  
И с ними — Крейзи... Возвращался он,  
Давно ли смерть к нему тянула лапу?  
А он вернулся... Он здоров, силен...  
Не чуя ног сбежал он вниз по трапу.  
Букеты, взгляды, платяца цветные,  
Взволнованные женщин голоса...  
А надо всем — знакомые, родные,  
Не те, что на чужбине, — небеса!  
...О родина!.. Горька судьба ягненка,

Отставшего от матери своей!  
 Он весь дрожит. Он плачет тонко-тонко.  
 Всего боится — кустиков, теней...  
 И человек — без родины, один —  
 Беспомощен... Любой наносит рану  
 В колодец угодившему кулану<sup>1</sup>,  
 И жалкий лягушонок — господин!  
 Душа твоя изныла от обид,  
 Тебя унизить каждый норовит,  
 Всяк над тобой начальствует в кураже,  
 И чем начальник мельче, тем он гаже!  
 Но это все прошло... Душа жива!  
 Тебе вернули все твои права.  
 Ты можешь дух перевести свободно,  
 Ты волен делать, что тебе угодно,  
 Ты — не за проволочною стеной...  
 Так наслаждайся счастьем, не противясь,  
 Ликуй и празднуй! Даже пес цепной  
 Хвостом виляет, чуть ослабят привязь...  
 Свободы несравненный дар цени!  
 ...Ну, что ж, Адам был счастлив в эти дни!

## 4

Свободой он тешился недолго.  
 Пришла бумага: Крейзи вызывал  
 Сам Тафт — большой начальник, генерал,  
 Ревнитель ярый воинского долга.  
 Был старый Тафт еще молодецват.  
 В своем не слишком светлом кабинете  
 Казался мужем, полным сил, в расцвете...  
 — Присядьте, Крейзи! Очень, очень рад,  
 Что вы — в порядке... — Он подвинул стул.—  
 Итак, раздавлен Гитлер... Ход событий  
 Теперь таков... На карту посмотрите! —  
 И в карту он указкой длинной ткнул.—  
 Вам побывать придется на Востоке.  
 Рейс увлекательный, хотя далекий.—  
 Глаза на карту устремив, Адам  
 Державы русской увидал границы...  
 Тафт усмехнулся: — Нет. Еще — не гам.  
 Пока не там... Не будем торопиться.  
 Важнейшего не достигают сразу.  
 Ваш путь лежит туда, за океан...  
 Там есть один народец косоглазый.  
 Реванш за Пирл-Харбор будет дан...  
 Теперь есть средства — только выбирай.  
 Придется круто этим азиатам!  
 Но... наша родина — не третий райх,  
 И гуманизм присущ культурным Штатам...  
 Сначала — покарай, потом — лечи!  
 И потому сейчас нужны врачи.  
 Не для своих... Мы чтим святое знамя  
 Добра... И милосердны мы с врагами,  
 Пример тому покажем мы теперь

---

<sup>1</sup> Кулан — дикий осел.



В Японии... — Но тут с веселым шумом —  
 Как будто ветром! — распахнулась дверь,  
 И в кабинете чинном и угрюмом  
 Светлее стало... Голосок сказал:  
 — Прошу прощения, мой генерал!  
 Минутку, папа!.. Только на два слова! —  
 Пытался Тафт взглянуть на дочь сурово  
 И все ж не смог... Она была мила.  
 Гибка, как бело-розовая ветка.  
 Отца она в сторонку отвела  
 И на ухо шепнула что-то... — Детка!  
 Побойся бога! — охнул генерал.  
 — Ну, папа, не скупись!.. Ты обещал! —  
 На цыпочки она слегка привстала  
 И чмокнула — так звонко! — генерала.  
 Казалось, что еще дышало детством  
 Пленительное это существо,  
 Но с женским бессознательным кокетством  
 Она взглянула сбоку на него,  
 На Крейзи... «Лет семнадцать, может статься...» —  
 Подумал он. — Сдаюсь! — сказал отец. —  
 Когда ж ты взрослой станешь наконец,  
 Катрин?! Прилично ль в кабинет врываться?!  
 Тут — посторонний... У меня — дела! —  
 Она расхохоталась. И ушла.  
 Ушла, как будто упорхнула в танце,  
 Он словно слышал скрипку и гобой...  
 Хотелось Крейзи закричать: «Останься!»  
 Ушла Катрин... И унесла с собой  
 Голубоглазость, золотую челку  
 И свежий полудетский голосок...  
 Адам на месте усидеть не мог  
 И хоть старался вникнуть, но без толку,  
 Что это Тафт, качая головой,  
 Вещает о болезни лучевой...  
 Но все ж ему запомнился итог:  
 — Да, для Америки настало время  
 Руководить всем миром. Это время  
 Нам — по плечу! И да поможет бог  
 Достигнуть цели, что мы все лелеем!  
 Без Рузвельта оно быстрее пойдет.  
 Наш Трумэн, как линкор, прямолинеен.  
 И Трумэн понимает свой народ!

## 5

То, что Америка — «не третий райх»,  
 Что «гуманизм присущ культурным Штатам» —  
 Все это вспомнил Крейзи в сорок пятом,  
 Когда, направленный в далекий край,  
 На опыте постиг, что за несчастье  
 Способны Штаты людям принести.  
 Он был в составе медицинской части —  
 Так называемой «Эй-би-си-си».  
 ...Шестое августа! Оно вросло  
 В календари, как рак или саркома,  
 И по сейчас оно всему земному

Грозит костляво — черное число,  
Поняття наши поломав и меры,  
Началом став жестокой новой эры.  
Живые помнят, что небесный свод  
Был издевательски лучист и ярк,  
Когда американский самолет,  
Под брюхом несший дьявольский подарок,  
Когда сверкающий «Энола Гей»  
Метнул свой дар на землю, на людей.  
И за мгновенье, равное векам,  
Сто тысяч жизней полетели в бездну,  
Сто тысяч тел — уже ни здесь, ни там,  
В едином шквале сгнули безвестно —  
В одном огне — виновный и невинный,  
В одном костре — глупцы и мудрецы,  
В одной купели — женщины, мужчины,  
Младенцы, старцы, дочери, отцы...  
Сыпучей перстью стало все живое  
В том городе. А широко вокруг  
Сто тысяч, может быть, несчастных вдвое  
Жизнь сохранили для бесчисленных мук,  
Взывают к совести и милосердию  
Сто тысяч обездоленных калек,  
Сто тысяч зараженных «длинной смертью»,  
Той смертью, что сработал человек  
И что на мир теперь наслали Штаты...  
...Чтоб изучить как должно результаты  
Удара, чтоб разведать наперед,  
Как облученный мозг себя ведет,  
Чтоб скрупулезно, тонко, в полной мере  
Исследовать и доложить о том,  
Как кровяные шарики с трудом  
Идут по руслам высохших артерий.  
Чтоб взвесить человеческие муки, —  
Короче, чтобы даром не пропал  
Такой великолепный матерьял,  
К нему направили жрецов науки —  
Нет, не фашистов — боже упаси! —  
Гуманнейших врачей «Эй-би-си-си».  
Вот наконец команда — на земле,  
Где сакура белела, расцветая,  
Где рисовал великий Хокусан.  
Приехали... И Крейзи — в их числе.  
Как прочие, читал об этом он.  
Как многие, был цифрами смущен.  
Однако это проплывало мимо,  
Не задевая сердца... Все же, зол,  
За всеми вслед он на берег сошел...  
И перед ним предстала Хиросима.  
Здесь жизнь была. Причудливо теснясь,  
Поблескивали узкими глазами  
Дома... Земля внезапно сотряслась,  
Погибло все — и дерево и камень.  
Все разноцветным пеплом стало. Шквал  
Все взбросил в небо. Все с землей сровнял.  
Дней двадцать протекло с той страшной даты.  
Среди развалин где барак дощатый,

А где — хибара из обломков... Там  
 Лежат они, чье умиранье длится...  
 В такую наспех сбитую больницу  
 Привел врачей Артур — их капитан.  
 Не затрудняясь в методах леченья,  
 Артур по службе преуспел вполне.  
 Весьма ценя чужие изреченья,  
 Он знал, что «на войне, как на войне»,  
 Сентиментальность презирал и нервы  
 И, не смутясь, вступил в больницу — первый.  
 Обильем мыслей не обремененный,  
 Он голову свою высоко нес.  
 Но запах человечины паленой  
 Ударил и ему. Артуру, в нос,  
 Да так, что он помешкал на ходу...  
 Навстречу им, как в Дантовом аду,  
 Вставали волны скрежета и воя,  
 Провалы ртов зияли и глазниц,  
 И пузыри, налитые водою,  
 Навстречу поднимались — вместо лиц.  
 С безруким рядом корчился безногий.  
 С разбухшим — рассеченный пополам...  
 Немало в жизни повидал Адам  
 И все ж остановился на пороге.  
 «Так вот что ты, Америка, дала  
 Стране цветов и утреннего солнца!»  
 Тут он увидел доктора-японца,  
 Казалось, тот был погружен в дела,  
 Шагал, не поднимая головы,  
 Бесстрастный, подавивший гнев и жалость,  
 Но за очками явственно читалось:  
 «Любуйтесь. Это натворили вы».  
 А жизнь меж тем была необратима,  
 Сочувствия и бомба не убьет!  
 На помощь пострадавшим Хиросимы  
 Собрался из окрестностей народ:  
 Врачи, студенты, попросту сельяне...  
 Кто притащил одежду и еду,  
 А кто пытался облегчить беду  
 Хотя бы теплым словом состраданья —  
 Хоть что-то сделать близким во спасенье,  
 Как при потопе, при землетрясеньи...  
 Над жалкими обрубками в бинтах  
 Склонялись сердобольные крестьянки...  
 И вдруг в глазах мелькнул гадливый страх  
 И ненависть... «Американцы! Янки!  
 Неужто поглазеть пришли сюда?!»  
 И доктор Крейзи вздрогнул от стыда.  
 А врач-японец, поклонившись хмуро,  
 Представился приезжим: — Накамура.  
 Прошу, коллеги!.. — Папку он раскрыл. —  
 Мы записали все по мере сил.  
 Вот здесь у нас — «истории болезней»...  
 Переведу вам несколько подряд  
 На ваш язык... — И слышит доктор Крейзи:  
 «Семь лет», «Семнадцать», «Тридцать», «Шестьдесят»...  
 «Год неизвестен»... «Девочка»... «Мужчина»...

«Гангрена»... «Слепота»... «Глубокий шок»...  
— Мы переходим к рубрике «причина»...  
Она для всех одна: «ожог», «ожог»...  
Как видите, коллеги, диагностику  
У нас работать необычно просто.  
Исключены ошибки у врача:  
Всему виной — воздействие луча...  
Подумать только: луч благословенный,  
Источник роста для детей и трав!  
Отныне он — проклятие вселенной,  
Из ядов яд, отравы из отрав!  
И вздрагивают люди, называя  
Болезнь коротким словом — «лучевая»,  
Хоть с этим термином знакомы с детства...  
Лечить болезнь пока что средства нет,  
Зато с недавних пор открыто средство,  
Распространить ее на целый свет... —  
И Накамура будто бы беззлобно  
Советовал все изучить подробно  
На матерьяле, так сказать, живом:  
— Он так разнообразен. И притом... —  
Добавил он с убийственным сарказмом, —  
Нет риска при общении с больным.  
Он стал, как вам понятно, безразличным:  
Микробы мрут, едва столкнутся с ним!.. —  
И врач повел команду вдоль палаты.  
Там — на полу, на койках в тесноте  
Лежали свертки из бинтов и ваты...  
И Крейзи чудилось, что даже те,  
Кто бредил, от страданий обессилев,  
Виновных проклинали в забвенье,  
Что даже и слепые устремили  
На них зрачки недвижные свои.  
Пополз между лопаток ужас склизкий...  
Уйти?.. Японец мысль его пресек,  
Спросив: — Быть может, кто-то из коллег  
Поговорить желает по-английски?..  
Есть девочка... Да, да, тот белый ком,  
Сказать вернее, крохотный комочек...  
В беседе с ней не нужен переводчик,  
Она владеет вашим языком. —  
И доктор Крейзи, бледный и понурый,  
Пошел послушно вслед за Накамурой  
К той койке, где лежало существо,  
Едва ли занимая полпостели.  
На белой марле две чернели щели:  
Для рта ее, для глаза одного.  
Затрепетало тоненькое веко,  
И детский глаз взглянул на человека  
С такую укоризною, с такой  
Недетскою щемящею тоской!..  
Казалось, что дымится он от боли,  
Казалось, заклинает: «Пощади!»  
И Крейзи отшатнулся поневоле.  
Хрипело что-то у нее в груди.  
Она дышала тяжело и часто,  
Девчонка эта, беленький комочек...

Хотел Адам сказать хотя бы: «Здравствуй!»,  
 Произнести хоть что-то... И не мог.  
 Как будто он один всему виной...  
 А Накамура, наклонясь к больной,  
 Шепнул ей — очень ласково! — два слова,  
 И девочка взглянула на чужого  
 Чуть-чуть спокойнее, чуть-чуть добрей,  
 И голосок пролепетал: — Good day!  
 День добрый! — донеслось из узкой щелки  
 Так слабо, словно где-то далеко  
 Рассыпались стеклянные осколки...  
 — Кто ты? — Она сказала: — Намико.  
 — О господи, что сделали с тобою?! —  
 Воскликнул он... Не с ней, не с ней совсем  
 Он говорил — скорей с ее судьбою!..  
 И был ответ: — I am not what I am <sup>2</sup>.  
 Другой, другой была я до сих пор.  
 Была я непослушна и упряма.  
 С ежом играть не разрешала мама  
 А я сбежала к ежику во двор.  
 И это с неба увидали боги.  
 Мне говорила мама: боги строги.  
 И рассердились боги на меня.  
 И на меня швырнули столб огня,  
 И я тогда другою стала сразу...—  
 Из черного единственного глаза  
 Слеза сбежала по бинтам тугим..  
 Адам отер ее. Он стал другим.  
 Он сел на краешек ее кровати.  
 И показалось взрослому на миг,  
 Что только двое их сейчас в палате  
 И что у них двоих — один язык,  
 Язык отверженных и одиночек,  
 Которому не нужен переводчик.  
 Он ближе наклонился к шелке-рту.  
 А девочка, почуяв доброту,  
 Шептала, кротко глядя на Адама:  
 — Но почему же, почему же мама  
 Ни разу не пришла сюда ко мне?  
 Я знаю: это по моей вине.  
 Она, конечно, мною недовольна.  
 Пусть, милая, она простит меня.  
 Любимая, мне очень, очень больно.  
 Я вся горю от божьего огня.  
 Родная, пусть возьмет меня отсюда!  
 Клянусь, я больше никогда не буду!..—  
 Что мог ребенку взрослый, он, сказать?..  
 Он бормотал ей, что отыщет мать,  
 Что скоро будет Намико здорова...  
 Но утомилась девочка. И снова  
 Притихла, погрузилась в забытье,  
 Ушла в свои видения больные...  
 И развернул он скорбный лист ее  
 И прочитал на нем: «Лейкопения».  
 Нет, не вернется к Намико здоровье!

<sup>2</sup> Я не то, что я есть (англ.).

Ее сосуды сделались тонки,  
Они ломаются, как стебельки,  
И стенки их не держат больше крови.  
Как врач, он знает: нет пути назад.  
Бессильны здесь лекарства и природа.  
Все цифры беспощадно говорят  
О близости летального исхода,  
Ничто не может Намико помочь!..  
И, точно потеряв родную дочь,  
Заплакал он. С ним что-то приключилось.  
Ему и больно было и легко,  
Как будто сердце у него смягчилось  
От взгляда, от доверья Намико.  
И вдруг ему почудилось, что стал  
Он, как дитя, беспомощен и мал,  
Что он, бродивший в даях раскаленных,  
Узнавший плен и беды без числа,  
Как Намико, беспомощный ребенок  
В пучине торжествующего зла...  
«Что мы с тобою, девочка?! Ничто!  
Всего лишь безымянные пылинки,  
Затертые в неправом поединке,  
В раздорах Трумэна с Хирохито!  
Не слышат сильные наш слабый лепет.  
Страданья наши сверху не видны.  
В их книги вписаны «кредит» и «дебет»,  
А наши судьбы в них не учтены.  
Тростиночка!.. Ты гибнешь, засыхая.  
Что им, всесильным, наших душ сродство?!  
Но стоит ли грызния их волчьей стаи  
Одной слезы из глаза твоего?..»  
Так он шептал, не отирая слез...  
Не думая, в тисках своих сомнений,  
Что тот же самый роковой вопрос  
Когда-то миру задал русский гений,  
Что в том вопросе — мировая боль...  
Доколе будет он стоять?.. Доколь?!  
...Меж тем, прервав на время труд гуманный,  
Врачи обратно двинулись, к дверям,  
И плачущий над девочкой Адам  
Попался в поле зренья капитана.  
Начальник испустил притворный вздох,  
Воскликнув: — Deus vult! Так хочет бог! —  
Но тут же, Крейзи отведя в сторонку,  
Он грозно зашипел: — Вы кто?! Девочка?..  
Как вы посмели нюни распустить  
Перед врагом?! — И, словно в оправданье,  
Добавил (для японца): — Может быть,  
Коллеге вспомнились его страданья  
В застенке у тевтонов... Всю войну  
У варваров томился он в плену.  
Жестокость этих гуннов беспримерна!..—  
Как любо всем ругать чужую скверну,  
Своей не замечая сгоряча.  
На это все — слепые и глухие!  
Артур сиял, он был в своей стихии.  
Начальствуя, командуя, уча...

Тупицами считая всех заране,  
 Давал он разъяснения, указания,  
 Где должен быть один, а где — другой,  
 Как регистрацию вести, какой  
 Сначала делать у больных анализ,  
 Как только люди без него справлялись!..  
 Когда ж команда вышла из больницы,  
 Артур, самим собою восхищен,  
 Пожалуй, даже перешел границы:  
 — Вам, Крейзи, быть актером, не врачом!  
 Уж если вы не воин, то хотя бы  
 Мужчиной будьте, не слезливой бабой!  
 И не порочьте честь «Эй-би-си-си»  
 Спектаклями весьма дурного вкуса!  
 Вы, скажем прямо, праздновали труса,  
 Увидев: «hoggo vasii»<sup>3</sup> вблизи!.. —  
 Так он кричал, латынью щеголяя.  
 Пред ним стоял навтыжку Адам.  
 Он думал: «Грош цена его словам.  
 Сейчас я слышу нечто вроде лая.  
 Передо мной беснуется глупец  
 С набором фраз крикливых наготове.  
 Не нужно портить понапрасну крови,  
 Ведь замолчит он все же наконец!»  
 ...Адам преодолел себя. И гнев  
 И стыд утихли в нем мало-помалу...  
 На улице Адаму легче стало,  
 Дух перевел он, местность оглядев.  
 Над головой кипело серебро:  
 Струилось небо в чистых влажных звездах  
 И молодого месяца ребро  
 Дрожало, точно втягивая воздух.  
 И хоть внизу все было безотраднo,  
 Адам глотал прерывисто и жадно  
 Прохладный воздух за глотком — глоток —  
 И надыхаться досыта не мог.  
 Глаза привыкли к мраку. Различно  
 Раскинулась ночная Хиросима.  
 Ландшафт был призрачно-голубоват.  
 Обломки громоздились в беспорядке  
 И разбухали, как тела солдат,  
 Полегших в жаркой рукопашной схватке.  
 Среди руин над плоскостью унылой  
 Торчал стоймя единственный дворец —  
 Весь в дырах, как простреленный мертвец,  
 Не вовремя покинувший могилу.  
 А может, это горестная мать  
 На бранном поле вопиет о сыне?..  
 Не для того ль остался дом стоять,  
 Чтоб стало все кругом еще пустынной?..  
 Ни проблеска нигде, ни огонька.  
 Как будто протекли века, века  
 С тех пор, как свет здесь обернулся тьмою  
 И Хиросима сделалась немою.

---

<sup>3</sup> Ужас пустоты (лат.).

Ни голоса, ни шороха вокруг...  
Быть может, бомбою убили звук?  
Адам пошел по пустырю. В молчаньи  
Он пробирался между кирпичами,  
Брел по пластам сыпучим... И не раз  
Он вздрагивал, пугаясь то и дело,  
Что наступает на открытый глаз,  
На тело, что еще не отвердело...  
И вспомнил он фашистскую брехню:  
«Шагать по трупам вдвое мягче...» Боже!  
Сейчас она двойной казалась ложью...  
Как пепел Хиросимы жжет ступню!  
Он шел. Блеснула сумрачно река.  
Название ее как будто — Ота.  
Рассказывают люди: в день налета  
В ней клокотали струи кипятка.  
Сейчас она глухим забылась сном —  
Тусклей, чем Стикс, беспмятнее Леты...  
Наверно, такова река планеты,  
Куда нисходит душ усопших сонм?...  
И чудится Адаму: он один,  
Идет, идет, послушен и печален,  
По пустырям, где был Нью-Йорк, Берлин,  
Меж грешными камнями, средь развалин,  
Идет, послушен чьей-то злобной воле...  
Увидеть бы живое существо,  
Чумазого мальчонку одного,  
Хотя бы детский плач услышать, что ли!..  
Но он напрасно заостряет слух.  
Здесь человеческий убили дух.  
И пустота все тягостнее, шире...  
Вдоль мертвых рек, по мертвым городам  
Один, один в осиротевшем мире  
Идет последний человек — Адам.  
...Давно ли жизнь кипела в этом крае,  
Прославленном искусством и трудом?  
Здесь было все, что мы, соединяя  
В душе своей, гармонией зовем.  
Все, все погибло. Стало грудой пепла.  
Нет прошлого. Грядущее ослепло.  
Нет больше вишни, чей цветок нежнейший  
Лица касался, словно взмах ресниц,  
Нет схожих с иероглифами птиц,  
Нет резвых рыбок. Нет улыбок гейши.  
И кажется Адаму: все — в золе.  
Не только здесь. Везде. По всей земле.  
Где танец — счастье окрыленной плоти,  
Звезды-шалуньи отдаленный свет?..  
За искрой искру он дарил в полете...  
Где легкий танец?.. Танца больше нет.  
Где звук, что, как сама душа, духовен?..  
Мелодия, хранившая от бед?..  
Где повелитель музыки — Бетховен?  
Бетховена на свете больше нет!  
Нет музыки. И мысли нет. Нет слова.  
Шекспира нет. Нет мудрого Толстого.  
Нет в мире больше ни добра, ни зла.



И даже время сожжено дотла.  
И голько — не узнавшие забвенья —  
Мягутся неприкаянные тени:  
Тень матери, что погрузилась в ночь,  
Не поглядев на дорогую дочь;  
Отца, который с сыном не простился,  
И сына, что с любовью разлучился;  
Любви его — детей не породив,  
Она ушла: ее рассеял взрыв;  
Седого старца. Благостному Будде  
Он так и не успел воззвать о чуде;  
Бедняги, что в убийстве виноват,  
И жертвы, что несчастнее стократ;  
Всех тех, кто без прощанья, без прощенья,  
Без покаянья и без отпущенья  
В едином взрыве скопом сожжены,  
Земле опустошенной не нужны  
И с тяжестью грехов своих постылых  
Подняться к чистым небесам — не в силах.  
Над головой беззвучно тени стонут,  
А ноги в пепле Хиросимы тонут.  
И — душам неприкаянным сродни —  
Адам — ни тут, ни там, как все они.  
Пред ним земли заброшенный погост,  
Седое пепелище без границы,  
Над ним, вверху, непогрешимых звезд  
Прекрасные задумчивые лица.  
Небесный свод. Пустыня Хиросимы.  
Две сути эти — несоединимы...  
О нет!.. Сливая вместе два начала —  
С безгранной ширью — глубину без дна,—  
Мелодия нежданно зазвучала,  
Одной душе она была слышна,  
Но вырастала, ширилась, входя  
Всею свежестью в сознание больное,  
Как в почву, пересохшую от зноя,  
По капле входит благостность дождя.  
Над горькою землею, над вселенной,  
Души и мира оживляя связь,  
Плыл моцартовский Реквием нетленный,  
И расцветал, и убеждал, светясь:  
Пусть на земле возможна Хиросима,  
Душа — извечна и неугасима.  
И музыке беззвучной сладко вторя,  
Адам встряхнулся и взглянул светло.  
Но тут же вспомнил о ничтожной ссоре,  
И всю его торжественность смело.  
«Как мелко это!.. Самолюбье, честь...  
Сломить глупца!.. Да разве в этом дело?!»  
Но, как звоночек, в сердце прозвенело:  
«Что ж, это — жизнь!.. И жизнь пока что есть!  
Пусть я ошибся и вскипел впустую,  
Я ошибаюсь — значит, существую». —  
Но чувство буйной радости знакомой  
Лишь на минуту пробудилось в нем,  
И тем же мрачным, выжженным путем,  
Усталый, он побрел обратно к дому.

## 6

Плутая Хиросимую ночной,  
Адам добрался наконец до спальни.  
Он лег в постель, раздевшись машинально,  
И с головой накрылся простыней.  
Скорей забыться!.. Спрятаться во тьме!  
Душа была по-прежнему в накале,  
И впечатленья дня в его уме,  
Как траурные бабочки, мелькали.  
«Нет, видимо, уснуть я не смогу.  
Я все еще — в тех самых далях, высах...  
Я, точно речка выжженная, высох,  
Фитиль дымится у меня в мозгу»...  
Сон убегал от воспаленных век,  
Не повинуюсь просьбам и приказам...  
Адам лежал и думал: «Человек!  
Вот до чего довел тебя твой разум!  
Он был и плодотворен и могуч.  
Ученые в течение столетий,  
Борясь, как львы, и радуясь, как дети,  
Искали к тайнствам природы ключ  
И восхищались, что-то обретя,  
Не замечая, как растет дитя.  
Исчадь ада! — что способно выжечь  
Одним лишь поцелуем сотни тысяч.  
Любовью к людям был ученый горд.  
Служа познанию, и добру, и миру,  
Вещали о своих находках миру  
Эйнштейн и Бор, Кюри и Резерфорд.  
Они пришли к великим результатам  
И, торжествуя, расщепили атом...  
О гении! Вам было нелегко  
Предвидеть, что науки вашей пламя  
Мир опалит и потечет слезами,  
Бессильными слезами Намико,  
Что плод, который вы растили годы,  
В облатку из металла будет вбит  
И кто-то, бросив бомбу, расщепит  
На атомы венец самой природы.  
Вы не хотели стать отцами зла!  
Вы жизнь отдать могли бы, чтоб воскресли  
Несчастные, кого волна снесла...  
Не вы повинны в смерти их... Но если...  
«Что, если кто-то... — задрожал Адам,—  
Кто связан с вами неразрывной нитью,  
Как раз теперь приходит к берегам  
Новейшего последнего открытья,  
Которое когда-нибудь потом  
Согреет земли, скованные льдом?..  
Со временем... Позднее... А пока  
Оно — со всей своей проклятой силой! —  
Вдруг попадет в руки дурака —  
Все может быть! — злодея иль дебила,  
И будет вся планета сожжена...  
Кого судить за это?.. Чья вина?..  
Когда бы бомбу питекантроп взял

И, по неведению сорвав запал,  
Ко всем чертям взорвал бы шар земной,  
То он ли был бы этому виной?!»  
Адам стонал, в бессоннице мечась,  
И вскакивал... Но думал все упорней.  
И показалось Крейзи, что сейчас  
Он доискался, он дошел до корня...  
«Виновен тот, кто захватил добычу  
И, потащив ее в свое жилье,  
Во всех других кровавой лапой тыча,  
Впервые в мире возопил: «Мое!»  
«Мое!», «Мое!», «Мое!» — не это ль слово —  
Первопричина бедствия людского?..  
С него пошло... И это будет длиться,  
Пока материки поделены  
На страны и внутри любой страны  
Есть явные и тайные границы,  
Пока есть богачи и бедняки,  
Кварталы белых и кварталы черных,  
Пока в семействах при разделах вздорных  
Друг друга рады изодрать в клочки,  
И если б только бомбу раздобыли,  
То, верно, бы друг друга разбомбили!  
Увы, природа! Ты поторопилась,  
Ты рановато оказала милость,  
Чрезмерно резвую явила прыть,  
Позволив людям атом расщепить!  
Ты щедростью блеснула безоглядно..  
Пока дары твои хватают жадно  
Те, кто корыстью злобной обуян,  
Попроше бы давала им орудья...  
Вот если бы какой-нибудь тиран  
Из тех, кого так обожают люди,  
Определял бы, в чем они повинны,  
Лишь по старинке — с помощью дубины!  
Дубина — это, право, дар небес!  
Она гуляла б по спине, по шее,  
Чтоб люди исправлялись, хорошея,  
И потихоньку двигали прогресс!»  
Адам расхохотался... В этот миг  
Он позабыл, что рядом с ним — соседи.  
Немедля заворчал один из них:  
— Коллега, тише!.. Вы смеетесь, бредя.  
Ложитесь на бок, я вам говорю! —  
Адам сказал ему: — Благодарю! —  
Закрыв глаза и притворился спящим  
И вскоре сном забылся настоящим.  
А утром подал рапорт, попросив  
Его отчислить из «Эй-би-си-си»,  
Поскольку снова заболела рана  
И нервы измотались за войну,  
А здешний климат — как оно ни странно! —  
Во вред тому, кто побывал в плену.  
На колкости не поспешил он  
(Глаза начальства, как известно, зорки!)  
И был от должности освобожден.  
И вот он снова — у себя, в Нью-Йорке.

И почему б теперь не отдохнуть?..  
 Но если ты весь день ничем не занят,  
 Пережитого тягостная муть  
 Нет-нет да всколыхнется, и предстанет  
 То город, где и пусто и черно,  
 То детский глаз, исполненный упрека,  
 Иль вдруг тебя окликнет издалёка  
 Знакомый голос, что умолк давно...  
 Нет, отдых у Адама был недолог.  
 Потребовался доктор-травматолог  
 В одной больнице, самой рядовой...  
 Адам ушел в работу с головой.  
 Леча ушибы, трещины, удары,  
 Он знал исходы многих катастроф...  
 ...Дежурство передать он был готов  
 В тот час, когда втащили санитары  
 Очередную жертву. Пальтецо —  
 Все в ключьях. Юное лицо — бескровно.  
 «Столкнулись две машины»... Но... лицо?..  
 Лицо ее он знает безусловно.  
 Осмотр был кратким: — Трещина ключицы...—  
 — Я стану кривобокой?.. — Ерунда!  
 С недельку, мисс, придется полечиться,  
 От травмы не останется следа.  
 — Вы говорите правду?.. — прошептала,  
 Чуть улыбнувшись... Точно вспыхнул свет:  
 Он вспомнил все — и строгий кабинет,  
 И важную осанку генерала...  
 — Мисс Тафт?.. Катрин?! — Он мог бы без конца  
 Твердить «Катрин»... — Откуда вы узнали?  
 — От вашего почтенного отца.  
 — «Почтенного»?.. — Видать, о генерале  
 Она слыхала всякое... О боже!  
 Катрин, Катрин меж грустных этих стен!  
 — И вас я видел... Но об этом позже.  
 Сейчас без промедленья — на рентген!  
 ...О, как наутро он спешил в больницу!  
 И, заходя в палату, всякий раз  
 Он тоже словно начинал лучиться  
 Под взглядом молодых блестящих глаз...  
 Они разговорились... Постепенно  
 Ей, баловнице, не выдавшей зла,  
 Он рассказал об униженьях плена...  
 И слушала она, хоть было больно  
 Счастливице, не ведавшей невзгод,  
 В уютном, теплом гнездышке хранимой,  
 Он рассказал о муках Хиросимы,  
 О Намико... И знал: она поймет.  
 И слушала она, хоть было больно  
 От жестких слов, хоть содроганьем плеч  
 Она пыталась речь его пресечь,  
 Шепча в слезах: — Довольно! О, довольно! —  
 Но он не знал пощады. Вместе с нею  
 Спускался в глуби, поднимался ввысь,  
 И души их сближались все теснее

И воедино трепетно сплелись...  
 ...Но Тафт чернел, как только об Адаме  
 Речь заходила, хоть издалека,  
 Он раздувался, он вращал глазами,  
 Как бык при виде красного платка:  
 — Кто этот Крейзи? Антипатриот,  
 Припрятавший за пазухою камень!..  
 Из плена он спасен большевиками,  
 А это все к добру не приведет!  
 Нет, я не выдам дочь за дезертира!.. —  
 ...Напрасно вы кричите, генерал!  
 Да соберись все генералы мира,  
 Подняв весь современный арсенал,  
 С тем, чтоб любовь на свете истребить,  
 Испелить ее, как Хиросиму, —  
 Лишь любящих могли б они убить, —  
 Любовь — бессмертна и неуязвима.  
 Тафт не пришел на свадьбу. Без него  
 Справляли молодые торжество.  
 И осененный крыльями удачи,  
 Как будто лаской розовой зарни,  
 Адам теперь светился изнутри,  
 На мир и на людей смотря иначе,  
 Лучами счастья всех обогревая...  
 Любовь! Ты — музыка души живая.  
 Ты — словно песня. И, подобно песне,  
 Ты всех других материй бестелесней,  
 И ни обнять тебя, ни приласкать!..  
 Но ты — струящаяся благодать —  
 Однажды все ж находишь воплощенье,  
 Ты тяжелеешь, формы обретая,  
 В то самое желанное мгновенье,  
 Когда на свет является дитя.

## 8

Порой судьба и пасынкам своим  
 Передохнуть дает... Не для того ли,  
 Чтоб новый натиск неудач и боли  
 Замечен ими был и ощутишь?..  
 Все в доме Крейзи — гладко, слава богу!  
 В приемной от больных отбоя нет.  
 И старый Тафт смягчился понемногу,  
 Когда узнал, что он — счастливый дед.  
 Тафт с раздраженьем вспоминал о зяте,  
 Но сын Катрин ему был втайне мил.  
 Взглянуть на внука дед решил... И кстати  
 Игрушку новомодную купил.  
 На саранчу, крылатый и блестящий,  
 Он походил — забава для детей —  
 Изящный самолет «Энола Гей»,  
 На первый взгляд совсем как настоящий...  
 Адам, сдержав досаду еле-еле,  
 Заметил: — Этой миленькой модели —  
 Еще бы — «микробомбу» — на весу,  
 Да «микро-Хиросиму» — там, внизу!  
 «Бросайте, детки, бомбочку-малютку!..» —  
 У Тафта по лицу скользнула тень.

Боясь испортить светлый этот день,  
Катрин вмешалась: — Папа понял шутку.  
Игрушка — хоть куда!.. Отец, пойдём!  
Ждет не дождется деда внучек Том! —  
...Шли годы. Жизнь Адама баловала.  
Казалось даже, счастья он достиг.  
Давно забытый родственник-старик  
Ему оставил капитал немалый.  
И план давнишний воплощая свой  
(Кто думал, что мечта осуществится?),  
Адам построил наконец больницу,  
Где лечат от болезни лучевой.  
В печати появилось извещение,  
Что жителей японских городов,  
Всех тех, кто пострадал от облученья,  
Бесплатно Крейзи врачевать готов.  
Добра крупницы замечая зорко,  
Гуманность Крейзи похвалил «Уоркер».  
И вслед за этим, словно по сигналу,  
Прорвалось то, что до поры дремало,  
И потекла густой струею грязь...  
Приятели, их родственники, жены  
Адама обходили, сторонясь,  
Как будто он и вправду прокаженный.  
И старый Тафт — в отставке генерал, —  
Негодованьем праведным палимый,  
Приехав к зятю, с ходу заорал:  
— Кто вы такой, я знаю с Хиросимы,  
И это раскусили все теперь!.. —  
Тут Крейзи указал ему на дверь...  
Но ложь и клевета не так страшны,  
Пока они беснуются снаружи.  
Непониманье в доме — много хуже.  
Ужасен холодок — в глазах жены...  
В печальный день особых неудач  
Пришло письмо в надорванном конверте.  
Адам читал брезгливо: «Красный врач!  
Шпион! Предатель! Жди позорной смерти!»  
Тебя со всем отродием твоим  
И с чертовой больницей мы спалим!»  
Письмо Адаму принесла Катрин.  
Он видел по глазам: она читала...  
— Ты испугалась? — он спросил устало.  
Она ответила: — Ты не один.  
Ты мог бы помнить: у тебя семья,  
И от политики держаться дальше...  
— Катрин! Ты тоже думаешь, что я  
Политик?! — Знаю. Ты не терпишь фальши.  
Ты добр, Адам. Ты честен и гуманен...  
Но, друг мой, ты порою как-то странен.  
И резок ты с людьми... И грубоват.  
— Что ж тут поделывать?! Я не дипломат.  
— И все же гибче надо быть с другими!  
Пойми, мой друг, мой милый, что, грубя,  
Ты лишь порочишь собственное имя  
И унижаешь самого себя.  
— Так, значит, лгать?! — Катрин в ответ смолчала.

И это было — горькое начало  
 Того непонимания, того  
 Не то чтобы разрыва, а разлада,  
 Когда слова не значат ничего,  
 Но в каждом взгляде кроется досада.  
 Когда внезапно, из-за пустяка,  
 Вскипает непредвиденная ссора,  
 И льются речи, полные укора,  
 И жизнь — темна, бесцельна и горька.  
 Как будто что-то вдруг оборвалось,  
 Погас огонь, лишь дым остался едкий,  
 И две души живут вразброд и врозь,  
 Как два враждебных зверя — в тесной клетке.  
 Где прежнее слиянье?.. Где Катрин  
 С ее душой отзывчивой и чуткой?!  
 ...Все это было тягостно и жутко,  
 Невыносимо... Если бы не сын!  
 ...Пока отец претерпевал мученья,  
 Покуда мать с ним ссорилась до слез,  
 Осуществлял свое предназначенье  
 Их сын: он креп, он хорошел и рос.  
 Читая книгу жизни по складам,  
 Он громко плакал и смеялся звонко,  
 И, глядя на уснувшего ребенка,  
 Не раз, бывало, размышлял Адам:  
 «Подумать только! Из какой дали,  
 Отъединившись от первичной ткани,  
 Идя через историю земли,  
 Сквозь тьму пандемий, войн и злодеяний,  
 Претерпевая сотни перемен,  
 Передаваемый из рода в роды,  
 До наших дней добрался этот ген,  
 Чтоб стать ребенком — чудом всей природы!..»

## 9

Мелькают годы гребнями миража.  
 Но для истерзанной войной души  
 Они — увьи! — не слишком хороши:  
 Нет облегченья. Нет надежды даже  
 На краткий промежуток, на покой,  
 Что наступал меж войнами когда-то...  
 А ведь солдаты устремлялись в бой,  
 И падали под пулями солдаты,  
 Чтоб на земле трудиться — теплой, свежей,—  
 И слушать беззаботный щебет птиц,  
 И радоваться свету детских лиц,  
 И улыбаться, чуть заря забрезжит...  
 Но глаз людей не веселит рассвет.  
 Нет передышки... И покоя нет.  
 Не утешает вспаханное поле,  
 Не освежает сердца вешний сад...  
 Нет больше мира!.. А не для него ли  
 Во все века ведет войну солдат?!  
 Еще в руинах города... И сразу —  
 Угроза за угрозой... Водород  
 И бомбы, разносящие заразу...  
 Что перед этим — сорок пятый год

И атомная бомба — сгусток боли?!  
Сегодня устарел «Энола Гей».  
Он, по словам всезнающих людей,  
И впрямь игрушка детская, не боле!  
Корея... Гватемала... И Суэц...  
Когда конец?.. И будет ли конец?  
Прислушиваясь чутко к дням бегущим,  
К тревожному потоку этих дней,  
Адам предвидел только мрак в грядущем  
И горько думал о стране своей:  
«Не в ней ли, не в Америке ль, истоки  
Того, что наши времена жестоки?!  
Америка, народы «защищая»,  
Их защищает... от самих себя.  
Несутся стоны из любого края,  
Куда спешит «защитница», трубя.  
Америка, тобою старт открыт!..  
По твоему почину и старанью  
Все страны ринулись в соревнованье —  
Кто и когда кого перебомбит!  
Здесь все, как могут, проявляют прыть,  
О достижениях объявляя с помпой...  
Спешат, как будто персональной бомбой  
Боятся хоть кого-то обделить!  
Все мчатся в пропасть будущей войны.  
Война легла на мир багровой тенью,  
И люди, кажется, заражены  
Безумной жаждой самоистребленья,  
Взывая к гению: «Изобрети,  
Как побыстрее жизнь с земли смести!»  
Все, все пошло по твоему почину,  
Америка!.. — Так рассуждал Адам.—  
Пусть я без смысла жизнь свою отдам,  
Но — боже мой! — что ожидает сына?!»  
Глядит отец, как Том из автомата  
Строчит по взводу крохотных солдат.  
Пока еще из олова солдаты,  
Игрушечный не страшен автомат...  
Но срок придет: дадут оружие в руки...  
...И старый Тафт заботится о внуке.  
В дом Крейзи ездит он, как на работу.  
Как прежде, Тафту ненавистен зять,  
Но нужно же у внука развивать  
Те чувства, что приличны патриоту!..  
Уютно в кресле Томаса устроив,  
Старик витиевато и темно  
Ведет рассказ о подвигах героев,  
О тех, кто воевал давным-давно.  
Том — озорник, но парень он смысленный,  
И скучновато думать с малых лет  
О том, что делалось «во время оно»...  
Куда забавней, чтоб позлился дед!  
Том устремил на Тафта взгляд лукавый:  
— Про это говорил ты в прошлый раз.  
О русских слышать я хочу рассказ!  
(«Конечно, деду это не по нраву!») —  
И Тафт на удочку попался тут же:



— Что — русские?! Как негры. Только хуже.—  
 «Он сердится»... Доволен Том вполне.  
 — Неправда! Русские — народ отменный!  
 Они дрались как черти на войне  
 И папу моего спасли из плена!  
 А если наши негры с ними схожи,  
 То негры — славные ребята тоже! —  
 «Отцовский сын! Позор моих седин! —  
 Вздыхает дед.— Пока еще не поздно,  
 Мне следует заняться им серьезно...»  
 Но тут обоих позвала Катрин.  
 У телевизионного экрана  
 Она стояла, улыбаясь странно.  
 Отец шепнул: — Послушай, мальчик!.. Тише!.. —  
 А на экране диктор молодой  
 Насторожился, будто что-то слыша,  
 Как будто говорил он со звездой,  
 И звездный голос где-то рядом, близко...  
 Но голоса звезды не слышал Том,  
 Нет, доносилось что-то вроде писка:  
 «Пи-и, пи-и»... Комар влетел к ним в дом?  
 Или цыплята вывелись живые?..  
 А диктор громко, оглушая всех,  
 Сказал: — В земной истории впервые  
 Прорвался к звездам, в космос человек!.. —  
 Он волновался, словно там, вдали,  
 Сам побывал, вращаясь в звездных крутях...  
 И снова Том услышал слово «спутник»,  
 Вошедшее в наречья всей земли.  
 ...О небо! О поэзия поэзий!  
 Кого оно отныне не влечет?!  
 Уставясь в трубку, точно звездочет,  
 Сидел на крыше дома Томас Крейзи.  
 Он рылся в картах... Вечно беспокоен,  
 Стал Циолковского читать запоем.  
 У Томаса над письменным столом  
 Из рамки улыбается Гагарин.  
 Здесь разговор идет лишь об одном...  
 Адам не спорит: «Пусть мечтает парень,  
 Полезно это свежему уму,  
 Познания для юноши — не бремя.  
 Позднее разберется что к чему...  
 Потом, потом... Когда настанет время...»  
 А время?.. Время никого не ждет.  
 Оно упрямо движется вперед.  
 Хоть стой столбом — оно тебя подвинет.  
 Беги бегом — нагонит и дойдет...  
 Что дать кому положено — дает,  
 А что отнять положено — отнимет.

И Том подрос. И в армию был взят,  
 И вот ему повесили на шею  
 Короткий и тяжелый автомат,  
 И ну — учить, как убивать ловчее!  
 Как пересечь врагу бесшумно путь,  
 Ножом по горлу полоснуть получше,

Гранату дальше и быстрее метнуть  
 И как молитву сотворить на случай...  
 Как бегать, падать, вскакивать опять,  
 Мгновенно переламывать суставы,  
 Как по-пластунски ползать и стрелять,  
 Стрелять налево и стрелять направо...  
 — Стой как положено, сопливый фронт!  
 Расставил ноги, как на льду корова!.. —  
 Держа пред Томасом кулак здоровый,  
 Орал на Томаса лихой сержант,  
 Жестокой унижительностью крика  
 Зачеркивая за единый взмах  
 Все то, что говорится о правах  
 В американской хартии великой...  
 Стал каждый день для Томаса — как вздох,  
 От нудных повторений мозг иссох,  
 Но без конца в него вбивали, метя,  
 Чтоб встало крепко, точно гвоздь, в уме:  
 «Америка, Америка, Аме-  
 рика, ты — лучшая страна на свете!»

## 11

...В Сайгоне, у посольства, в час ночной  
 Внизу — под флагом звездно-полосатым,  
 Любуясь в небе Марсом красноватым,  
 Стоял недвижно Томас-часовой.  
 Желанный Марс манил его и влек,  
 Но Томас Крейзи был на карауле,  
 И тут внезапно просвистела пуля  
 И угодила Томасу в висок.

...А дождь все льет... Он льет во весь разгон,  
 Как будто там, вверху, разверзлись хляби.  
 Похоже, нынче не иссякнет он,  
 Не присмирееет, шумный плеск ослабив.  
 По тротуарам мутная вода  
 Несет листы газет и хлопья хлама...  
 И те, что нехотя пришли сюда,  
 Пытаясь разделить печаль Адама,  
 Стенают тягостно: — Бедняга Том! —  
 Вздыхают о немилости господней,  
 А разобраться — так скорей о том,  
 Что им придется вымокнуть сегодня,  
 И, натирая докрасна носы,  
 Томятся от мучительных усилий  
 И то и знай — косятся на часы:  
 «О боже! Стрелки словно бы застыли!»  
 Но точно отмечая ход минут,  
 Два воина с квадратными плечами  
 На место неподвижных двух идут,  
 И караул сменяется в молчаньи...  
 Тафт-генерал себя утешить тщится.  
 Он шепчет, принимая валидол:  
 — Том не поднялся на Железной Птице,  
 Но все же в небо дух его взошел... —  
 Гремят шаги. Прислали взвод солдат,  
 Должно быть, для прощального салюта.

Их сапоги размеренно стучат,  
 И с ними в дом ворвался дождь как будто...  
 Агент из похоронного бюро  
 Кивает офицеру: «Время!»... Оба  
 К хозяину, стоящему у гроба,  
 Придвинулись... Печально и остро  
 Проплыл над головами аромат  
 Цветов, которые увянут скоро  
 И знают это... Реквиема хоры  
 Все шире, все торжественней звучат...  
 Стрдание, что не вмещает слово,  
 Что за пределом языка людского —  
 В мелодии волшебю превратив,  
 Земную скорбь покоем просветляя,  
 Плывет над гробом музыка святая —  
 Души освободившейся порыв...  
 И скорбным звукам Реквиема вторя,  
 Вся жизнь туманным сонмищем теней  
 Прошла перед Адамом — с первых дней  
 И до конца, до нынешнего горя,  
 До гроба, где лежит — недвижен, строг —  
 Тот, кто в веках ее продолжить мог...  
 Все то, что дал, чего недодал бог, —  
 (А может, век?.. А может, стык эпох?..)  
 Всю жизнь свою Адам увидел сразу...  
 И черной молнией сверкнул итог:  
 «Tabula rasa»<sup>4</sup>.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Еще он слышит, как стучит надсадно  
 О крышку гроба мокрая земля...  
 Он, Крейзи, горю предается жадно,  
 Ни с кем напиток горький не деля.  
 Вернувшись полумертвым с похорон,  
 Он здесь, с живыми, лишь наполовину.  
 Душа и разум устремились к сыну,  
 И кажется отцу: не вправе он  
 Забыть раскат прощального салюта,  
 Не думать об ушедшем хоть минуту.  
 Перебирая выцветшие фото  
 (Подросток Томас, юноша, солдат...  
 Все карточки о чем-то говорят,  
 И в каждой все ж недостает чего-то),  
 Вдруг улыбался он, как будто связь  
 С погибшим возникла понемногу,  
 И тут же озирался, устыдась:  
 «Никто не видел?.. Нет?.. Ну, слава богу!»  
 Теперь, когда они навеки врозь,  
 Он с Томом говорит, как с младшим другом...  
 (А раньше не успел за недосугом,  
 И нужных слов как будто не нашлось.  
 Зато теперь они кипят в избытке,  
 Теперь, когда на свете Тома нет!)

<sup>4</sup> Чистая доска (лат.).

...В руках Адама — жалкие пожитки:  
Мешок солдатский, старенький планшет,  
Где — смятые бумаги, дневники,  
Набросанные наспех на привале.  
Иная запись — только в полстроки...  
И все ж в уме картины замелькали.  
Адам вникает в тоненький дневник:  
«Отец был прав»... О, господи!.. Возник  
Как будто на небе, в густом тумане  
Том-космонавт, невоплощенный Том...  
Вот он плывет в скафандре голубом —  
Должно быть, так ступают марсиане:  
Замедленно, по воздуху почти,—  
И машет голубой рукой с пути...  
Кому?.. Отцу? Планете ли родимой?  
На рыцаря в доспехах он похож,  
Он вдаль плывет... Он проплывает мимо...

...«Отец был прав...» — перевозмогая дрожь,  
Читает Крейзи эту запись дальше,  
Простую запись — без прикрас и фальши:  
«Сегодня за полдень произошло  
Такое, что навряд ли я забуду,  
Теперь оно пойдет со мной повсюду —  
Жестокое, бессмысленное зло,  
То поругание всего людского,  
К которому не подберу я слова.  
Да, я солдат. Но все ж я — не злодей  
И не хочу за это быть в ответе:  
Я видел истребление людей,  
И потому мне стыдно жить на свете.  
Все запишу, как пишут протокол  
(Свидетели тому — у нас в отряде).  
Сержант к нам «неприятелей» привел,  
Солдаты их подталкивали сзади.  
Четырнадцать — пятнадцать было их,  
Тех, на кого мы низвергаем пламя,  
В приказах именуемых «врагами» —  
Крестьян вьетнамских — тихих, пожилых.  
В глазах скорей растерянность, чем страх.  
И женщина... Ведь надо же случиться  
Там женщине с ребенком на руках!..  
Вьетнамка-мать, похожая на птицу.  
Подталкивал ее сержант — «герой»,  
Подмигивал при этом молодецки.  
Я замечал: у матерей порой  
Бывает взгляд такой — почти что детский.  
Он проникает в душу, не кланя.  
Он может и у камня вызвать жалость.  
Вот так она взглянула на меня,  
И сердце у меня невольно сжалось.  
Ребенок был похож на старика —  
Худой, в морщинках... Не подумав даже,  
Достал я шоколад из вещмешка  
И дал его мальчишке... Но тотчас же  
Сержант солдата подозвал — сайгонца —  
И, что-то на ухо ему шепча,

Взмахнул рукой... Смотрело с неба солнце.  
Земля цвела — влажна и горяча.  
Был день как день... И вдруг солдат берет  
Дитя у матери и лапой грубой  
Пихает плитку мальчугану в рот  
Все глубже, глубже... Так, что рвутся губы.  
Сайговец и сержант, смеясь, глядят.  
А мы молчим — растерянно, понуро.  
Ребенок захрипел... И струйкой бурой  
Течет по подбородку шоколад  
Иль кровь... Таращится ребенок дико,  
И воздух содрогается от крика  
Несчастной матери. Все — как во сне.  
Лицо у мальчугана посинело,  
Дрожа, обмякло худенькое тело,  
И — это не забыть веками мне! —  
Он, точно вянувший цветок, ослаб,  
Поникла голова на шейке тонкой...  
Тогда сайговец — злобный этот раб —  
Швырнул его на землю, как котенка.  
Мне все трудней становится писать,  
И память лишь обрывки сохранила...  
Хотя солдаты и держали мать,  
Она рванулась с непонятной силой  
И плюнула в сержанта. Взяв за косы,  
Он голову ее пригнул назад,  
Кинжал извлек, оставив автомат,  
И полоснул ее по шее косо.  
И стала шея белая — багряной,  
И я увидел, к месту пригвожден,  
Что кровь струей горячею фонтана  
В глаза убийце брызнула. И он  
Провел платком брезгливо возле глаз,  
И все же кровь комками запеклась...  
Нас проклинали пленные, грозья...  
Тогда сержант сильнее стал яриться,  
Крича: — Из этой своры желтолицей  
В живых оставить никого нельзя!  
И нашему терпенью есть предел!..  
До корня истребим их род проклятый,  
И увеличим боди каунт — счет тел!.. —  
И начал он строчить из автомата  
По связанным... И кровь ручьем текла.  
И содрогались на песке тела.  
...Об извергах рассказывал отец,  
Мы слушали — и веря и не веря.  
Но то ведь были гитлеровцы, звери,  
Фашисты... Им тогда пришел конец.  
Мы называли их «исчадьем тьмы»,  
Браня врагов, мы лезли вон из кожи.  
Убийцы, мол, и варвары... Но кто же?..  
Но кто же мы?»  
Так обрывалась запись в дневнике.  
Адам его захлопнул и в тоске  
Чуть слышно прошептал: — Великий боже!  
И вправду, кто же мы такие? Кто же?..  
...Нет, слишком долго он сидел один.

Скорее к людям!.. В клинику, в больницу —  
В труде своем привычном раствориться!  
Бежать, бежать!.. Но раньше от Катрин  
Дневник он спрячет — этот сгусток боли,  
Страданием переполненный сосуд,  
К странице прикоснешься против воли —  
И обожжет тебя, и побегут  
Потоки скорби и кровавых бед,  
Окрасив черным цветом белый свет.

## 2

Здесь каждый врач был пациенту друг,  
Не говоря уж о самом Адаме:  
Как будто вовсе не ценя досуг,  
С больными он беседовал часами  
(«Чем я живое слово возьму?»),  
Подолгу он сидел у изголовья  
Неизлечимых... И какой любовью  
Они платили своему врачу!  
Такой любви (к несчастью иль по счастью?)  
Не купишь ни деньгами и ни властью.  
И только весть в больницу долетела,  
Что сын — отцовской чести вопреки! —  
Ввязался в грязное, дурное дело,  
Больные это приняли в штыки.  
Как будто замутилось то, что свято  
И нерушимо было до сих пор.  
С палатой страстно спорила палата,  
До ночи не стихал горячий спор.  
Один твердил: — Солдат не виноват,  
В руках других он служит лишь орудьем.  
Что делать нам — простым, подвластным людям,  
Когда начальники стрелять велят?!  
— Кто ж виноват? — гремел вопрос в ответ.—  
Ведь президент — и тот солдат, не боле.  
И тот не по своей воле!  
Так рассуждать — виновных вовсе нет,  
А в мире между тем бушует пламя  
И люди погибают во Вьетнаме! —  
А тот, кто получил болезнь в наследство,  
Кто был еще во чреве облучен,  
Кто ощущал себя калекой с детства  
И с детства знал, на что он обречен,  
Воскликнул гневно, с яростным запалом:  
— Солдат не виноват, детей губя?!  
Да разве вместе с платьем штатским снял он  
И совесть и ответственность с себя?!  
Выходит, он совсем расчеловечен?..  
Иль робот он, который глух и нем?  
Нет, подлости не оправдать ничем —  
Ни рабским подчиненьем, ни увечьем!..  
Нет, честь в душе всегда сиять должна!..  
Пусть мне придется жизнью поплатиться,  
Я ухожу... Мне помощь не нужна  
Из рук врача, чей сын — детоубийца!.. —  
Так он кричал с решимостью суровой.  
И Крейзи понял спора существо,

Еще в дверях услышав речь больного.  
 Без раздраженья глядя на него,  
 В палату он вошел неслышным шагом:  
 — Вы правы, друг, считая высшим благом  
 Свободу, совесть чистую и честь.  
 Я попытаюсь выразить словами,  
 Что я считаю правдой, все — как есть... —  
 И он сказал, что думал о Вьетнаме.

## 3

В народе нашем говорят: «Язык  
 К больному зубу тянется невольно».  
 И Крейзи, хоть оно и было больно,  
 Тянуться мыслью к Томасу привык.  
 В бумагах сына, в тонкой этой связке,  
 Ему попалась под руку тетрадь  
 С пространной записью восточной сказки.  
 «Зачем решил мой Томас записать  
 Сказание о злой Железной Птице?». ..  
 Стал Крейзи перелистывать страницы  
 И прочитал: «В былые времена  
 В одной стране по приказанью хана  
 Была злодейка-птица создана  
 Для сокрушенья вражеского стана.  
 Прямые крылья в небе развернув,  
 Взвилась она над вражеской землею..  
 Стальные когти и железный клюв  
 Без промаха разили все живое.  
 Хан одержал победу в той войне  
 И Птицею доволен был вполне.  
 Но вскоре поступило донесенье,  
 Что Птица, вражьих доконав солдат,  
 Своих бойцов пошла глотать подряд,  
 Что от Железной Птицы нет спасенья,  
 Что Птица приближается: вот-вот  
 Дворец и хана самого сглотнет!..  
 И слышит хан: уже над головою  
 Она грохочет, скрежеща и воя,  
 Та, что его приказом рождена  
 И самому ему теперь страшна,  
 Та Птица, что, отведав крови красной,  
 От ненасытной жадности дрожа,  
 Теперь уже рассудку неподвластна  
 И над Землей отныне — госпожа!»  
 ...Всего лишь сказка... Даже бред, быть может...  
 Но что Адама Крейзи в ней тревожит?..  
 Катрин стучала в двери: — Поздний час! —  
 Он все не мог с тетрадью разлучиться.  
 «Да где ж я слышал о Железной Птице?..  
 Она в глазах проносится, мечась,  
 Гремит, грозитя близким и чужим...  
 Прямые крылья. Челюстей зажим.  
 Как саранча... Но в сотни раз огромней.  
 И, как в бреду,— противнее, страшней...  
 Быть может, в книге я читал о ней?  
 Еще немного напрягусь и вспомню...  
 В какой там книге?! Я сошел с ума!

Лишь в «книге жизни», это — жизнь сама,  
Конечно, в бормотаньи генерала  
Они мелькали — тени черных крыл...  
(Не ты, мой мальчик, Птицу подчинил,—  
Она, железная, тебя склевала!)»  
...Редает ночь, но далеко до дня.  
Тревожна тишина перед рассветом.  
Но почему-то, словно в полдень летом,  
В ушах стоит сухая трескотня.  
Кузнечики? «Быть может, я уснул?...  
Нет, это явь!» Но треск с жестокой силой  
Растет и переходит в низкий гул...  
В окно влетел кузнечик острокрылый,  
Нет, нет, скорее это саранча! —  
Чертит круги, треща и грохоча,  
И светится трассирующей пулей.  
Кровь капает с зажатых челюстей.  
Круги над головой — быстрее, быстрее...  
Адаму трудно усидеть на стуле.  
Да это же игрушка — самолет,  
«Энола Гей», подарок генерала!  
Откуда вдруг она сюда попала?!  
В ее кабине — крохотный пилот,  
Чернявенький, с блоху величиною...  
Годится и пигмей на этот пост,  
Совсем не нужен человеческий рост,  
Чтоб управлять игрушкой заводною!  
Он — гном, и только... Но лицо у гнома  
Подробно и мучительно знакомо.  
Лягушьей лапкой револьвер он сгрел  
И целится Адаму прямо в лоб,  
Повизгивает, гаденько хохочет  
И по-латыни что-то там бормочет,  
А смысла слов не уловить никак...  
Да это ж ты, Артур, мой старый враг!..  
Ты носишься по комнате, свистя!..  
Сейчас ты разобьешься непременно!  
Сейчас о стену шмякнешься... Хотя...  
Где стены?... Настежь распахнуло стены.  
Кругом — черно. Черно, как в чреве ада.  
Закрыла небо темная громада —  
Слепое Нечто. Изрыгая гром,  
Летит, за домом сокрушает дом,  
Железные вколоченные сваи,  
Как камышинки тонкие, сгибаая.  
Над океаном движется оно,  
И воды вздыбились в нездешней злости,  
Валы встают и обнажают дно,  
Где остовы судов — как мертвых кости.  
Над горной снизилось оно грядой —  
Низины пролегли, где были горы,  
Ключи кипящей вспенились водой  
И, клокоча, сливаются в озера...  
Душа Адама страхом смятена.  
Неотвратимо близится она —  
Губительница, дьявольская птица.  
Куда от черных крыл ее укрыться?!



Ощерилась земля, грозитя высь.  
 Где человеческой душе спастись  
 От Птицы Смерти, от тоски и гнета,  
 От ужасов сегодняшнего дня?..  
 «Нет, пусть другой, пусть неизвестный кто-то  
 Переживет все это за меня!  
 С меня — довольно!.. Дальше нет пути!»  
 ...От времени решил он вспять уйти,  
 В те годы, что уже прожил однажды,  
 И на пути своем попал в войну.  
 И вот опять он — в Африке, в плену,  
 В песках сыпучих мучится от жажды.  
 Он выжжен зноем. Он насквозь иссох.  
 — Воды! воды! — он стонет безотчетно. —  
 Воды!.. Хотя бы маленький глоток!  
 Хотя бы теплой, гнилостной, болотной!.. —  
 И нет воды. Скорее смерть хотя бы!..  
 Но вдруг он слышит — голосочек слабый  
 Внутри него лепечет: — Пощади!  
 Я — здесь, отец!.. Я — у тебя в груди.  
 Не умирай, отец, меня губя! —  
 И, вздрогнув, посмотрел Адам в себя.  
 Он видит: в сердце, в глубине глубин,  
 Росточком лишь с горошину, не боле —  
 Мальчишка Томас, нерожденный сын,  
 Забился в угол, скорчился от боли  
 И повторяет в черной глубине:  
 — Отец мой, сжался! Дай родиться мне!  
 Позволь изведать вашей жизни чудо!  
 Не умирай! Спаси меня отсюда!.. —  
 Как быть с прозрачным этим голоском?..  
 Уменьшенный, он все же так знаком!  
 И слабость сына жизненную силу  
 Внезапно у Адама воскресила:  
 — Нет, мальчик, нет!.. Тебя я не предам!  
 Воды!.. — кричит отчаянно Адам,  
 Бросая вызов темным силам мира...  
 И вдруг он замечает конвоира.  
 Он чует ствол холодный автомата:  
 Фашист его приставил поперек  
 Иссохших губ и выстрелил... Дымок  
 Потек, плывет струею синеватой...  
 Солдат гогочет дико: — Видишь, дым?..  
 Хорош напиток? Всласть напейся им!  
 — Мой Томас!.. Как тебя я сохраню? —  
 И, застонав, Адам решает тут же  
 К сегодняшнему возвратиться дню  
 Затем, что, будь он лучше или хуже,  
 Все ж никому из смертных не дано  
 Отбросить Настоящего звено.  
 Обратно — в жизнь! В свой век!.. Домой — опять!  
 Немедля исполняется желанье:  
 Адам — в Нью-Йорке. Город — не узнать.  
 Темно. Кругом — разрушенные зданья...  
 Иль, может статься, это — Хиросима?  
 В пространстве заблудиться так легко!  
 А где ж тогда малютка Намико?

Адам глядит, грустя невыносимо...  
 Нет, он — в Нью-Йорке. Он теперь стоит  
 На месте, где была его больница.  
 О боже мой!.. В поверхность сбитых плит  
 Впечатаны фигуры, чьи-то лица...  
 Он вдаль побрел. Осыпан пеплом берег.  
 На пепле жирный ангел распростерт,  
 Как гусь ошпаренный — в паленых перьях,  
 А с ним в обнимку — обожженный черт,  
 На дохлого козла точь-в-точь похожий,  
 Но только — голый, с лоснящейся кожей.  
 Друг друга ненавидя и не видя,  
 Лежат они сейчас лицом к лицу,  
 И слышится Адаму, что, в обиде,  
 Один мертвец другому мертвецу  
 Без слов бормочет: «Что ж оно такое?!  
 Что с нами стадо сделало людское?!»  
 Бредет Адам, как некогда, один.  
 Вокруг него — безлюдная пустыня...  
 ...Но тут внезапно вспомнил он о сыне,  
 И в сердце у него заплакал сын.  
 И вскрикнул Крейзи в приступе тоски.  
 И боль его по сердцу полоснула,  
 Переливаясь огненно в виски...  
 И без сознания он упал со стула.

## 4

«Когда собака спотыкнется раз,  
 То спотыкаться сотню раз собаке».  
 Такая поговорка есть у нас,  
 Правдивость этих слов изведal всякий.  
 Проверено всей жизнью, что беда  
 Не ходит в одиночку никогда.  
 С той ночи, что Адаму дурно стало,  
 Лежал неделю без сознания он,  
 В жару, в бреду... Катрин ему вливала  
 По ложечке водицу и бульон,  
 И у его постели до утра  
 Дежурили врачи, профессора.  
 И наблюденьям подведя итог,  
 В конце концов они пришли к согласью:  
 Психическая травма — вот исток  
 Болезни, — потрясение, несчастье,  
 И курс леченья попросту такой:  
 Покой и время, время и покой.  
 К восьмому дню в присутствии врача  
 (Тот проверял как раз биенье пульса)  
 Адам отдернул руку и очнулся,  
 С подушки поднял голову, шепча  
 Осмысленно и внятно, как бывало:  
 — Я есть хочу!.. — Опасность миновала! —  
 Воскликнул врач. — В себя пришел больной.  
 Болезнь переломилась, не иначе... —  
 И, пожелав здоровья и удачи,  
 Уехал он... Адам — вдвоем с женой.  
 Казалось, ждал он этого мгновенья...  
 — Катрин, не бойся: я вполне здоров.

Моя болезнь — лишь недоразуменье,  
Я просто спал и видел много снов.  
Я встану... — Он присел на край постели.  
Глаза его горячечно блестели,  
Но взгляд был и разумен и остер. —  
Дай мне поесть... Болезнь, конечно, — вздор.  
Я спал и рад, что удалось проснуться.  
Что нет врачей... Что дома — ты, одна... —  
Тут яблоко печеное на блюде  
С улыбкой подала ему жена.  
Был сморщен круглый плод коричневатый,  
Из тонких трещин кожуры примятой  
По капле проступал тягучий сок,  
И кисло-сладкий тепленький парок  
Над яблоком курился. — Кушай, милый!.. —  
Черты Адама вдруг перекосило,  
В глазах блеснул, остекленев, испуг,  
Вперед ладони выставил он вдруг,  
Отталкивая что-то в диком страхе,  
Он стал блее собственной рубахи,  
Беззвучно, криво разевал он рот,  
Как будто потерял внезапно голос,  
И медленно зашевелился волос  
Над взмокшим лбом его... На круглый плод  
Уставил он свой неподвижный взгляд,  
Как будто перед ним на блюде — яд  
Иль нечто и опаснее и хуже,  
Что неподвластно нашему уму...  
Обняв рукой худые ноги мужа,  
Катрин прижалась в ужасе к нему.  
— Ты что, Адам?.. — Она была бела...  
«Что перед ним маячит?.. Привиденье?..»  
— Катрин! Что ты такое мне дала?!  
Ты голову дала мне на съеденье,  
Я голову не надкусил едва!..  
Гляди, ведь это — сына голова!  
Мы Томаса убили, изувеча,  
А ты достала голову из печи...  
Конечно, это — голова... Молчи!  
Немного съежилась она в печи,  
Морщинистою сделалась и малой.  
Ты долго на огне ее держала.  
Смотри, наш Томас — словно старичок:  
Потрескалась, иссохнув, кожа щек  
И вытекли глаза его от жара... —  
Как будто бы в тугих тисках кошмара,  
Катрин, от ужаса едва жива,  
На яблоко украдкой покосилась  
И закричала: — С нами божья милость! —  
На блюде впрямь лежала голова...  
Но все прошло: на место встали пятна...  
«Я, верно, обезумела сама...  
А он, Адам?!» И стало ей понятно,  
Что бедный муж ее сошел с ума.  
Собрав остатки мужества и воли,  
Она сказала твердо: — Ты не прав,  
Смотри, ведь это яблоко, не боле... —

И потянула мужа за рукав.—  
Садись!..— Он опустился с нею рядом,  
Нашарив место, словно он — слепой,  
На яблоко смотря все тем же взглядом —  
Печальным, диким...— Милый! Я — с тобой!  
Приляг, мой друг... Тебя я не покину,  
Адам мой бедный... Слышишь ты меня?..  
— Пойми, Катрин!.. До нынешнего дня  
Мы оба поедали тело сына.  
И вот черед за головой теперь.  
Все матери и все отцы, поверь,  
Пьют кровь детей своих, жуют их мясо,  
Совсем как каннибалы...— Он затрясся.—  
Что — каннибалы?! Те врагов едят,  
А мы своих же пожираем чад...  
Ох, страшно, страшно!.. — Зарыдал Адам,  
И обняла Катрин его за плечи,  
И гладила его по волосам,  
Не убеждая больше, не перечая,  
Глубокой, чистой жалости полна,  
Как будто мать она, а не жена,  
А он, Адам, больной ее ребенок,  
Несчастное, родное существо...  
В ее глазах, страданьем просветленных,  
Стояли слезы... Мужа своего  
С такую нежностью, с такую силой  
Она, пожалуй, раньше не любила.  
И он притих. Улегся на кровать,  
Казалось, задремал... Шагнула к двери  
Катрин (хотелось ей отца позвать),  
Но голосом нормальным в полной мере —  
Как будто и не бредил никогда! —  
Адам ее окликнул: — Ты куда?..  
— Хочу прилечь, немного отдохнуть...  
— Постой, Катрин!.. Со мной побудь чуть-чуть,—  
Сказал он, усмехнувшись как-то криво,  
И снова взгляд его сверлил и жег,  
А губы дергались нетерпеливо,  
И пробегал по ним какой-то ток.—  
Пойми, Катрин... К молчанью я привык,  
А все ж порою чешется язык...  
Излиться бы кому-то... Хоть отчасти!  
Но я себя обуздываю все ж...  
А почему?.. Слова людские — ложь,  
И правду говорить — не в нашей власти.  
Скрывает слово мысли и дела,  
Существованье ложью загрязняя.  
И даже ты, Катрин, моя родная,  
И ты сейчас зачем-то солгала...  
Из деликатности?.. Из чувства долга?..  
Солгать — оно и просто и недолго.  
Все лгут друг другу! — простонал Адам.—  
И это началось во время оно...  
Ты помнишь, в детстве говорили нам  
О пресловутой башне Вавилона,  
Задуманной людьми по их гордыне?..  
Во гневе бог поверг ее во прах,

Разъединив людей... И вот донныне  
Мы говорим на разных языках.  
Но что — разноязычье стран и наций!  
Меня другое тяготит, признаться.  
Все, даже люди из одной страны, —  
Словами навсегда разделены!  
Те, что друг друга понимать могли бы,  
По сути дела, немые, точно рыбы,  
За ширмой слов укрыв дела свои...  
Что — из страны?! Да из одной семьи!  
На всех почило грозное проклятье:  
Не может сговориться муж с женой,  
На разных языках толкуют братья  
И словно бы разделены стеной,  
Отец и сын, равно как дочь и мать,  
Друг друга разучились понимать...  
На лжи теперь вращается Земля.  
Чуть подросло дитя — за школьной дверью  
Его встречает ложь... Учителя  
Чему ребенка учат? Лицемерью!  
А если педагог — душой честней,  
Он распростится с должностью своей!  
Лжет девушка — из страха, по расчету...  
Иные лгут, чтоб получить работу,  
Другие, чтоб работы им не дать...  
Реклама лжет. Газета — ей под стать.  
Проела души ложь неуследимо.  
Ведь даже президент высокочтимый,  
Когда он в Белом доме держит речь,  
Чтобы симпатии к себе привлечь  
И сохранить подольше пост высокий,  
Без счета извергает лжи потоки  
И лжет хозяевам, и лжет народу...  
Да, только лживый краснобай хорош  
В том государстве, где хозяйка — Ложь!  
Увы, Америка — «страна свободы»!..  
Свободы для единой госпожи —  
Ее величества бесстыжей Лжи!  
У нас в стране — и молодой и старый —  
Все, все как есть! — заключены в футляры,  
Запаян каждый в тесный коробок,  
От всех отъединен и одинок!  
В футляре — ты, и я — в своем футляре.  
Сейчас я проломлю его, ударя!  
Пробью ударом крепким кулака!..  
Он размахнулся... и поник, тоскуя: —  
А я-то думал, что стена тонка!  
Да нет — преграду возвели глухую —  
Из кирпича... А может, то — гранит?..  
Послушай только, как стена гудит!..  
Не слышишь?.. Даже ты оглушена,  
Как все, живущие сейчас на свете...  
А знаешь, друг, в былые времена,  
Всего за несколько тысячелетий,  
Внимали люди звездным голосам  
И различали звучность их и прелесть,  
Улавливали ухом тихий шелест

Там, в вышине, когда по небесам  
Плыл ангел — взмахами широких крыл...  
И если в мире кто-нибудь грустил,  
То откликались все другие души...  
А нынче глухи все. Как будто уши  
У них залили вязкою смолой,  
Чужим страданьям внять никто не хочет.  
И ты, Катрин, и даже ты порой  
Не хочешь слышать — что во мне клокочет...  
Ох, голова!.. — Он сжал рукой виски.  
— Там у меня — лекарства, порошки...  
Я принесу... — Не нужно. Благодарствуй!..  
Да если обойдешь весь шар земной —  
Пойми, Катрин! — ты не найдешь лекарства  
От этой странной боли головной.  
Я объясню тебе... Но ты... молчок!  
В плену когда-то, в Африке песчаной,  
Мне в ухо влез мохнатый паучок  
И прочно угнезвился, окаянный...  
Глубоко в мозг он проложил пути  
И начал там, под черепом, расти,  
Протягивая лапки вдоль извилин,  
Он мозгом завладел и стал всемогущ,  
Вертелся днем, а по ночам — вдвойне...  
Но правда лишь сейчас открылась мне,  
И я нашел своей болезни корни:  
Сейчас я понял, что в меня вползло  
Под видом паука земное зло  
И жжет мой мозг — все глубже, все тлетворней.  
Катрин, я, кажется, проник в секрет  
Душевного здоровья! С юных лет  
Ослепнуть и оглохнуть надо... Слушай,  
Тогда бы люди счастье обрели!..  
Все страхи, все страдания земли  
К нам входят сквозь глаза и через уши!..  
О, боже мой, как голова горит!..  
Нет, паучок тут ни при чем, пожалуй...  
Там, в полушарьях мозга, мир сокрыт.  
Земля туда запряталась, бежала  
От ожидающих ее невзгод.  
Весь мир сейчас в моем мозгу живет.  
Извивы мозга — это русла рек,  
В его бугры вошли, сжимаясь, горы.  
В его коре — земной коры повторы...  
И ты, Катрин, мой близкий человек,  
И ты — в мозгу моем, ты вся — во мне  
И только думаешь, что ты — вовне.  
И, что ни миг, меня тоскою полня  
И вызывая боли рецидив,  
Там микробомбы учиняют взрыв,  
Разбрасывая миллионы молний.  
Тогда мое подчерепное солнце  
Тяжелой тучей застилает стронций,  
И скоро-скоро мир сокрытый мой  
Угаснет, поглощенный смертной тьмой...  
Моя Катрин, ты мне роднее всех...  
В мой тайный мир вникая терпеливо,

Ты мне могла б помочь... Но, как на грех,  
 Нередко ты — сама — причина взрыва.  
 Ведь разрушения наносит тот,  
 Кто — ближе всех... Он всех вернее бьет...—  
 Так говорил Адам. Подчас тревожно  
 Он спрашивал и сам давал ответ.  
 И слушала туманный этот бред  
 Катрин, на мужа глядя безнадежно.

## 5

От гула городского — в отдалении,  
 От океанских вод — невдалеке,  
 В зеленом и тенистом уголке  
 Есть городок иль, может быть, селенье.  
 Там за широкой каменной стеной,  
 Под сенью парка, в стройном беспорядке  
 Разбросаны, блистая белизной,  
 Отличные дома солидной кладки.  
 Они приятны были бы вполне,  
 Они бы, верно, радовали взоры,  
 Когда бы не железные затворы,  
 Когда бы не решетка на окне...  
 Однообразен ход ночей и дней  
 У тех, кому пришлось уединиться  
 В закрытом этом городке, точней —  
 В большой психиатрической больнице.  
 Уютны — по-домашнему — палаты.  
 Лишь избранные здесь приют нашли,  
 И говорят, лечился здесь когда-то  
 Бомбивший Хиросиму — Изерли.  
 И говорят, здесь облегчают драмы,  
 Врачают душу от земного зла...  
 ...В больницу знаменитую Адама  
 Катрин с надеждой в сердце привезла.  
 Все ей понравилось — и сад красивый,  
 И то, что, словно чуткие друзья,  
 Врачи здесь объясняют терпеливо —  
 Что можно привозить, а что нельзя.  
 — Больным у нас покойнее, чем дома,  
 А нет лекарства лучше, чем покой... —  
 «Покой и время?»... Что ж, рецепт знакомый!..  
 Катрин махнула горестно рукой.  
 — И время... Время — тоже добрый врач!  
 Газет — не надо: вот совет наш первый.  
 Без радио и телепередач  
 И без газеты — отдыхают нервы.  
 А книги? Трудно обойтись без них!..  
 Но выбирать разумно вам придется.  
 Во избежанье тягостных эмоций  
 Не привозите современных книг!.. —  
 ...И выслушав разумные советы,  
 Катрин для мужа раздобыла том,  
 В котором автор рассуждал о том,  
 Какой была издревле жизнь планеты,—  
 Об увертюре ли, о первом акте ль  
 Трагикомедии «Земля», когда  
 В лесах бродили ящеров стада,

А в небо ввинчивался птеродактиль.  
В той книге было много иллюстраций:  
Гравюры, репродукции картин...  
«Бедняга на досуге, может статься,  
На них посмотрит,— думала Катрин,—  
Находка эта книга для меня:  
Что дальше от сегодняшнего дня?!»  
Но Крейзи книгу стал читать подряд  
И даже взволновался чрезвычайно,  
С какой-то страстью погружаясь в тайны  
Земли — миллионы лет тому назад,  
Когда, задолго до оледененья,  
Своих грядущих не предвидя бед,  
Густой, широколиственной сенью  
Душистых роц был шар земной одет,  
И зеленели всюду первозданно  
Дубы, и эвкалипты, и платаны,  
Когда в прозрачно-золотистой сини  
Белели цепи неизвестных гор —  
Ведь Альп в ту пору не было в помине! —  
Когда пылало солнце, как костер  
Иль раскаленная сковорода,  
Когда была планета молода...  
Ну и диковины тогда росли  
На щедрой почве молодой Земли!  
Какие чудики!.. В сплетеньи трав  
Так много зеленело их, похожих  
На раков иль. быть может, иглокожих,  
И был у каждого особый нрав:  
Один — угрюм, другой — задорно весел,  
А третий... Тот на лапках четырех  
Стоял, качаясь, и мохнатый мох  
Пушистой шкуркою его завесил.  
Тогда пары невиданного зноя  
Курились над болотами с утра  
И стлались вдоль чащоб... Была пора  
Жары и влаги — эра кайнозоя...  
Все рисовалось явственно глазам,  
И видел, слышал по ночам Адам,  
От удивленья открывая рот,—  
...Вот, заскрипев, как дерево сухое,  
Драконоптица вверх взлетела, стоя,  
Да, вертикально — точно вертолет! —  
И вслед за нею, солнце застилая,  
Все птеродактили взметнулись стайей.  
А там, внизу, зашевелились горы...  
Там, тяжело приминая мирт и лавр.  
Подобьем древним бронетранспортера  
Пополз по зарослям тиранозавр.  
За птеродактилем следил он жадно —  
Единственный в ту эру плотоядный!  
Вот почему, как будто по тревоге,  
Уроды-птицы устремились ввысь!..  
На хвост и на две лапы опершись,  
Казалось, утвердившись на треноге,  
Голодный хищник с яростью глядел  
В тот — недоступный ящерам — предел,



Куда добыча от него ушла...  
Затем, зубчатой шевельнув спиною  
(По виду — исполинская пила!),  
Нежданно пискнул... Может быть — «за мною»?..  
Должно быть, так... Сородичи ползком  
Пошли за ним тяжелым косяком.  
...Куда ни глянешь, всюду на лугах —  
Чудовища, внушающие страх.  
Но большинство из них пасется мирно,  
Травой одной питаюсь — влажной, жирной.  
И лишь, когда наткнется вид на вид,  
Дрожит Земля от севера до юга,  
Как будто, громыхая, бой кипит,  
Как будто танки лезут друг на друга.  
Громадны древних ящеров тела,  
Но головенки их внушают жалость.  
Куда ж такая силища ушла?  
Что с этой мощною армадой случилось?  
Быть может, неприметная бацилла  
Драконов скудоумных истребила?  
Иль вспыхнувшая новая звезда,  
Наслав потоки смертоносных квантов,  
Подвергла радиации гигантов,  
И вот они исчезли навсегда?..  
Кто знает?.. Автор обошел вопрос.  
Адам над ним задумался всерьез.  
В больном его мозгу пошла работа:  
«Но как же все-таки порвалась нить?!»  
Себя он вспомнил... Томаса... И что-то —  
Ему казалось — смог он уловить,  
Призвав на помощь Дарвина, Ламарка,  
С добавкой бредовых своих идей...  
«Когда б я был последним из людей,  
Пошло бы человечество насмарку  
Со смертью Томаса... Пстой, пстой!..  
Не здесь ли ключ к загадке непростой?!»  
Он по уши погряз в филогенезе  
И — он считал! — успехов здесь достиг..  
История былых земных владык  
Такой предстала — «по Адаму Крейзи»:  
Сначала были ящерицы слабы,  
Мелки — ну, вроде нынешних хотя бы...  
Траву, которая суха, бледна,  
Безропотно такие твари ели  
И очень мало прибавлялись в теле.  
Тогда смекнула ящерка одна  
(Инстинктом, что простейшей твари каждой  
Присущ, как голод, и любовь, и жажда):  
«Добраться надо бы до сочных трав,  
На этом свете кто силен — тот прав!»  
И все семейство жадно устремило  
Потенцию на собиранье силы —  
Чтоб разрастись им в мышцах и кости  
И все другие виды превзойти,  
Чтоб не было бойцов сильнейших, лучших  
Ни среди пернатых, ни среди ползучих...  
И, укрупняясь в каждом поколении,

Стал ящер, всей Земле на удивление,  
Такой длины, что если он всползал  
На многомильный горный перевал,  
То голова была на этом склоне,  
А на другом — влачился хвост драконий.  
Он всех других животных перерос,  
А сколько силы накопил полезной!..  
Гудели мускулы его, как трос,  
Из проволоки скрученный железной.  
Когда бы дальше нарастали силы,  
То разорвали б ящеров они,  
И вот природа гадов заключила  
В доспехи из чешуйчатой брони,  
И броненосцам не был страшен враг  
Ни в чаще, ни в болоте, ни в горах!  
Несокруσιμο тело их и кости.  
Но в организме есть один просчет:  
Растут их члены, хвост у них растет,  
А голова не прибавляет в росте!  
Мозг у чудовищ смехотворно мал.  
И, разума утративший остатки,  
Гигантский ящер только пил и жрал.  
Вступал из-за жратвы с другими в схватки.  
Откладывал яйцо (с котел — объем)  
И больше не заботился о нем.  
Спеша пожрать или попить спросонок,  
Родители ползли на водопой,  
И без подмоги шустрый ящеренок  
Сам справлялся с жесткой скорлупой:  
Долбил ее, и к свету выходило  
Отродие — размером с крокодила.  
Но как-то раз (мы — у разгадки тайны!)  
Почтенный ящер — древний старожил  
Густой дубравы — наступил случайно  
На то яйцо, куда он жизнь вложил,  
И раздавил его пятой могучей,  
И, погрузив (такой печальный случай!),  
Понюхал скорлупу, лизнул слегка...  
И тут ему на кончик языка  
Желток попался... Аромат прекрасный,  
Тончайший!.. И не выдержав соблазна,  
Отец вошел во вкус... И до конца  
Доел все содержимое яйца!  
Зародыш был и нежен, и громаден!..  
Но тут судьба взмахнула топором,  
И наступил жестокий перелом  
В бездумной жизни броненосных гадн.  
Отведав пищи лакомой такой,  
Почтенный ящер потерял покой.  
Один, слоняясь по неделям целым,  
В песках он рылся и по склонам гор,  
Губил потомство братьев и сестер,  
И -- на глазах! — чудесно молодел он.  
Блистал огонь в его глазенках злобных:  
Пошло на пользу гаду озорство!  
И стали все сородичи его  
Съедать — в зародыще — себе подобных.

И вот когда был съеден весь приплод,  
Когда последнее яйцо разбили —  
Не стало титанических рептилий,  
Гигантских ящеров пресекался род.  
...Так рисовался Крейзи ход событий,  
И верилось Адаму в этот миг,  
Что сделал он одно из тех открытий,  
Какие в мире производят сдвиг  
И служат человечеству на благо.  
Схватился он за ручку и бумагу,  
Чтоб записать все это непременно...  
Но взвыла так пронзительно сирена,  
Что сразу заболела голова.  
Два санитаря — дюжих парня два —  
К Адаму с шумом ворвались в палату  
И, руки прикрутив ему назад,  
Как будто был он в чем-то виноват,  
Поволокли по улице куда-то...  
Прохладой веяло от океана.  
Был тихий день... И мерзостно и странно  
Звучал тревоги атомной сигнал...  
Адама Крейзи бросили в подвал  
(«Чем не темница?») с леденящим полом,  
С промозглым, затхлым воздухом тяжелым...  
Забившись в угол, чувствует Адам,  
Что с ним — неладно... Нечто, камня,  
В его крови теснится все сильнее,  
Во что-то превращается он сам,  
В железное, чудовищное что-то,  
Там, в глубине его, идет работа,  
Меняющая весь его состав,  
Он, прежний, исчезает без остатка...  
Что с ним творится?.. Мрачная догадка  
Возникла, смертным холодом обдав.  
Он замер в ужасе: «Пока я тут,  
Все — ничего, Земля пока — на месте.  
Но стоит лишь распространиться вести —  
Кто я такой... Иль вдруг меня толкнут,  
Уронят на пол?.. Что — тогда?.. О боже!  
Я разорвусь, всю Землю уничтожу!»  
И он примолк — в своем обличье новом,  
Боясь себя случайно выдать словом,  
Дрожа от страха пред самим собой...  
А между тем уже гудел отбой,  
В палаты стали уводить болящих.  
Адам подумал: «Лучше я пока  
В подвале буду»... И в песочный ящик  
Залез поглубже, в теплоту песка  
Зарылся в страхе, затаил дыханье,  
Руками заслонился в ожиданьи  
Грозящего откуда-то удара...  
И тут рука стальная санитаря  
Рванула вверх Адама. Застонав,  
Он вырвался, прижался в угол, с дрожью  
Косясь на руку, словно бы удав  
Подполз к нему... — Прошу вас... Осторожней!  
Не прикасайтесь!.. Лучше сам пойду...

Не надо!.. Ох, накличете беду!  
 Держитесь дальше!..— ужасом томимый,  
 Служителям он бормотал в тоске.  
 Взъерошенный, дрожащий, весь в песке,  
 Смешным казался он невыносимо.  
 И вся команда дружно хохотала,  
 Беднягу извлекая из подвала...

На лучшее надеялась немного  
 Катрин — она б иначе не могла! —  
 Но нынче... Эта страшная «тревога»!..  
 Вонзилась в сердце тонкая игла —  
 Знобящее предчувствие дурного...  
 Катрин оделась и разделась снова.  
 Вновь собралась. И стала торопиться...  
 И все-таки поехала в больницу,  
 Хоть было поздновато и темно.  
 Адам, казалось, ждал ее давно:  
 Как на посту, стоял он у порога...  
 — Тс-с!.. Тише!..— палец он поднес к губам,  
 Как будто охраняя тайну строго.—  
 Садись!..— рукою показал Адам  
 На стул, что к полу был привинчен глухо.  
 Он запер дверь и приложил к ней ухо:  
 «Никто по коридору не идет?..»  
 Затем к окошку обернулся резко  
 И дернул шнур. Спустилась занавеска,  
 Прикрыв решетки частый переплет.  
 Все это было тягостно и больно.  
 Катрин смотрела в приступе тоски  
 На мужа... И заметила невольно,  
 Что на руках Адама — синяки.  
 «Как видно, побывал он в грубых лапах»...  
 Она вздохнула, ощущая запах,  
 Которым тут пропитаны все вещи,—  
 Гнетущий дух лечебниц и аптек,  
 Он ощущается тошней и резче,  
 Когда приходит с воли человек.  
 Адам закрыл еще плотнее двери,  
 Послушал: «Может, где-то спрятан враг?»  
 Потом, к жене приблизившись на шаг,  
 Шепнул: — Катрин, сейчас тебе доверю —  
 Да, изо всех людей тебе одной! —  
 Кто я такой и что стряслось со мной.  
 Тебе одной я рассказать могу.  
 Что приключилось нынче там, в подвале...  
 Ты помнишь — мы с тобою толковали  
 О микробомбах у меня в мозгу?..  
 Когда была объявлена тревога,  
 В моей крови скопилось бомб так много,  
 Что, только лишь меня толкнули вниз,  
 Они друг к другу начали стремиться,  
 Как синхрофазотронные частицы,  
 Соединились вместе, сопряглись  
 И пропитали мой состав природный  
 Металлом с водородом пополам...  
 И больше я — не Крейзи, не Адам...

Отныне стал я бомбой водородной,  
Такой, что я могу весь мир взорвать  
И время обратить к началу — вспять!..  
По счастью, только я об этом знаю  
Да вот теперь и ты, моя родная..  
Все это скрыто от других пока,  
И в этой засекреченности милость  
Судьбы ко мне покуда проявилась,  
Не то бы мир погиб наверняка!  
Когда б распространилась эта весть,  
Что началось бы на Земле — бог весть!  
Да что там!? Был бы паникой объят  
Весь мир... Ведь государств иные главы,  
Те ничего не пожалеют, право,  
Им лишь бы в бомбы превращать солдат,  
Чтоб каждый воин стал таким, как я!..  
И я молюсь, дыханье затая:  
Да охранит людей рука господня!..  
Да, да, Катрин... Не странно ль, что сегодня —  
Подумай только! — с нынешнего дня  
Судьба людей зависит от меня,  
От человека скромного, простого..  
Ведь стоит только обронить мне слово...—  
И превратятся города в руины,  
Все, все испепелится, все умрет,  
В могилу уходили властелины,  
Но оставался на земле народ.  
С собой покончил Гитлер бесноватый —  
Народ живет, проклятье с немцев снято,  
Без Гитлера им только жить и жить.  
Убили Кеннеди. Мы все рыдали,  
Однако жить мы продолжаем дале.  
А тут... Порвется самой жизни нить.  
Мгновенный взрыв — и на планете бедной  
И плоть и дух рассеются бесследно!..  
По счастью, не у бомбы я внутри —  
Она — во мне, я — вокруг нее, смотри!..  
Пока сюда не вторглась воля злая,  
Я самовластно бомбой управляю!  
Но если явятся, меня схватив?..  
Ах, многим, очень многим нужен взрыв!  
Катрин, пока об этом не узнали,  
Спешу домой. И — втайне от родни —  
Сейф закажи из самой прочной стали.  
В кабине, под защитой брони  
Храни меня, от всех злодеев пряча..  
Возьми меня отсюда!.. А иначе  
Они меня погубят, а со мной  
И всех людей, и самый шар земной.  
Пойми, мой друг! Я уцелел с трудом  
Совсем недавно... Вот, суди о том... —  
Он показал ей руку с синяками.  
...Катрин казалось, что тяжелый камень  
Сегодня навалили ей на грудь,  
...Она отправилась в обратный путь  
И погнала машину что есть мочи  
Не потому, что надвигалась ночь,—

В душе — темно, что ей бояться ночи?!  
И не затем, чтобы попасть домой,  
Что — дома?.. Одиночество. Тревога...  
И черная, как жизнь ее, дорога  
С глухую, черною сливалась тьмой.

## 6

Адам в тоске метался. Время шло,  
А от Катрин все не было известий.  
Того гляди свершиться может зло —  
И он взлетит со всей планетой вместе!  
Он пробуждался в ледяном поту:  
«Вдруг чье-то отдаленное проклятье  
Меня крылом заденет на лету  
И не смогу на месте улежать я?..  
Иль попросту ударюсь о кровать,  
А человечеству несдобровать!..  
И жизнь Земли — цветок благословенный,  
С таким трудом возвращенный во вселенной,  
Испепелится по моей вине!..»  
И наяву он плакал, и во сне.  
Но обливаясь горькими слезами,  
И день и ночь изыскивал пути,  
Как землю и людей ему спасти  
От бомбы, заключенной в нем — Адаме?  
И наконец решил на побег,  
Чтоб вместе с нею — бомбой окаянной —  
Навеки сгинуть, скрыть ее навек  
В Атлантике, в глубинах океана,  
Чтоб смертью искупить невольный грех,—  
Пожертвовать собою ради всех.  
«Но как я выберусь из этих стен?..  
Здесь двери нет без крепкого запора,  
Минуты нет без нудного надзора!..  
Как есть — темница иль фашистский плен!  
Однако все же я чего-то стою —  
Не зря прошел я гитлеровский ад.  
Дежурные порою сладко спят..  
А как же быть с высокою стеною,  
Которой обнесен мой каземат?  
Все ж, действуя разумно, терпеливо,  
Тебя покину я, моя тюрьма!..»  
Он вспомнил Вальтер Скотта, и Дюма,  
И все прочитанные детективы.  
«В них тоже есть полезное, хотя  
Те — устарели, а другие — плоски»...  
Две простыни он изодрал в полоски,  
Веревку-лестницу себе плетя.  
Затем — за доллар — пачку табака  
Купил у санитар-толстяка.  
Был толстый санитар ленивей всех  
И всхрапывал средь ночи то и дело.  
«В его дежурство совершу побег,—  
Решение внезапное созрело.—  
Все это время кроток буду, тих  
И подозренья усыплю у них».  
...Ночь выдалась, как на заказ, темна.

Одетый, он провел ее без сна,  
 Хоть спящим притворялся он при этом.  
 И в самый тихий час, перед рассветом,  
 Поднялся. Койка скрипнула слегка...  
 Подергал двери: «Нет, не на запоре!!!»  
 Прислушался: все тихо в коридоре...  
 «Что, если вдруг сменили толстяка?»  
 Запели двери под рукой... О боже!  
 Адам облился потом и ослаб.  
 Нет, все — в порядке. Слышен мирный храп:  
 Спит санитар, на стуле полулежа.  
 Беглец прокрался мимо, словно кошка.  
 «Так, превосходно!.. В сад не заперт ход.  
 Толстяк — небрежен... Так... еще немножко»...  
 Адам — в саду. Над ним — шуршащий свод  
 Деревьев... На лице — струя прохлады.  
 Шаг... шаг еще... И вот он — у ограды.  
 «Ну, вывози, фортуны колесо!  
 Судьба, яви мне хоть однажды милость!»  
 Петлю своей веревки, как лассо,  
 Адам подбросил кверху... Зацепилась!  
 Подпрыгнув, потянул ее: крепка!..  
 Не подведи, дрожащая рука!  
 Да нет, он все же — в форме, как ни странно!  
 Он лезет вверх почти как обезьяна,  
 Перемахнул ограду и повис,  
 Спустился по веревке... Прыгнул вниз!..  
 И в тот же миг его покинул страх,  
 Он радости исполнился великой,  
 Не позабыв, однако, второпях  
 Сорвать веревку — лишнюю улику,  
 Посыпать след пахучим табаком,  
 Чтоб обмануть собак (прием знаком!).  
 ...Адам бежал, вдыхая свежесть ветра.  
 На три или четыре километра  
 Он оторвался от своей тюрьмы.  
 Светало. Расплывались клочья тьмы...  
 Багрово-красен и великолепен,  
 Пробился солнца петушинный гребень,  
 А что внизу волнуется?.. Туман?..  
 О боже мой, да это — океан!..  
 Адам глотает свежий запах йода  
 И слушает шуршание волны...  
 Какое счастье!.. Океан. Свобода.  
 Блаженное дыханье тишины.  
 При свете бело-розовой зари  
 Он позабыл о черном гнете бедствий,  
 Забыл о ней — о бомбе там, внутри...  
 Такое было только в раннем детстве.  
 Быть может, возвратился он туда?..  
 Блестящие приподнимая крылья,  
 Как лебеди, медлительно скользили  
 По краю вод рыбацкие суда.  
 — Эгей! — как в детстве, закричал Адам.—  
 Удачного улова рыбакам! —  
 Он впитывал соленое дыханье  
 Рассвета, океана и земли.

В голубовато-розовом тумане —  
Недвижные — застыли корабли.  
У ног Адама шелестели травы,  
Одна травинка нежно и лукаво  
Преподносила капельку росы,  
Как будто предлагая обновиться...  
Прошли, казалось, дни, а не часы  
С тех пор, как затворил он дверь больницы...  
...Адам смотрел, как, выгнув свой хребет —  
Зубчатый и чешуйчато-блестящий, —  
Из круглой чаши пьет гора... «Да нет,  
Ведь это ж мой знакомец — древний ящер —  
Залез в недвижный океан по груди!..  
Из тьмы веков явился он, наверно,  
Лишь для меня, чтоб резче подчеркнуть,  
Насколько красота Земли безмерна!..»  
От солнца черноту искусно пряча  
И словно улыбаясь белизной,  
Кружились чайки стаею сквозной  
И вскрикивали — прямо по-кошачьи.  
Как весело на птичьем их базаре!  
— А я забыл про этот блеск и гам! —  
Захотел от радости Адам,  
Себя по ляжкам что есть сил удара. —  
Черт побери!.. Нет, право, до чего ж  
Наш ветхий мир — и молод, и хорош! —  
И он зажмурился. Лучи, струясь,  
Ласкали щеки и тепло, и зыбко...  
Конечно, между светом и улыбкой  
Таинственная существует связь,  
Они не просто — одного настроения:  
Свет и улыбка — это брат с сестрою.  
Стоит Адам, с прохладой утра слит,  
С веселою, бодрящей этой ранью...  
Его лицо — счастливое — блестит  
В алмазе утра самой светлой гранью.  
Свободен он. Он здоров и невредим,  
От неба и земли неотделим...  
Адам склонился над травинкой малой,  
Той, что росу так щедро предлагала.  
Взял крохотную на руки Адам.  
И показал ее горам, судам,  
И любовался ею, как подругой,  
Зеленой кожей ее упругой,  
И трогал каждый тоненький сустав,  
Вдыхая запахи ее живые —  
Как будто травку видел он впервые! —  
И прошептал, ее поцеловав:  
— Кто в силах разгадать твою загадку?  
Что знаем мы?.. Что дышишь ты весной,  
Как люди, той же свежестью земной...  
Но почему твое дыханье сладко?  
И почему, когда ты на посту,  
Жизнь предстает прозрачной, чистой, звонкой?..  
За доброту твою, за простоту  
Спасибо, младшая моя сестренка!.. —  
Он дальше зашагал... Былой тоски



И опасений — словно не бывало.  
И годам и обидам вопреки  
Он был готов начать всю жизнь сначала  
И все преграды смог бы побороть:  
Душа легка и невесома плоть.  
Навстречу людям, вольный и беспечный,  
Шагал он, улыбаясь всем вокруг  
Так искренне, как будто каждый встречный  
Его, Адама, закадычный друг...  
А люди стали попадаться чаще.  
Все выше солнце — над горой, над чашей...  
Адам поднялся на гранитный мыс,  
Вот он — почти на самом берегу...  
Сбегая по тропе, он смотрит вниз  
На вогнутую водную дугу,  
Отчеркнутую линией прибоя.  
Лагуну видит он перед собою.  
Тропа спускается на пляж песчаный.  
Манят людей пушистые пески:  
И там, на пляже, — словно бы тюльпаны  
Нарядные раскрыли лепестки, —  
Там столько плавков — желтых, красных, белых —  
И столько тел — до блеска загорелых!  
Купальщики полощутся в воде,  
Кричат, ныряют, брызги поднимая,  
Смуглеют влажно в пенистой гряде...  
Там жизнь кипит... А в стороне — немая,  
Нагретая лучами добела,  
Уходит в небо голая скала,  
Людскую презирая кутерьму...  
И хоть внизу, на пляже, так чудесно,  
Адам, не понимая почему,  
К ней устремился — к той скале отвесной,  
Среди людей не задержался даже...  
...Все ж, проходя, он видел, как на пляже  
Одни тянули воду и вино,  
Другие, отдавая дань азарту,  
Играли в шахматы и домино,  
Гоняли мяч иль тасовали карты...  
Любители печати между тем  
С газетами запрятались под тенты  
И обсуждали важные моменты,  
Не уклоняясь от военных тем...  
Как ни спешил Адам, он видел их —  
Худых и толстых, старых, молодых...  
Цветных очков сменялась вереница,  
Мелькали, точно в киноленте, лица...  
Навряд ли Крейзи смог бы их узнать,  
Когда бы с ними повстречался снова,  
Но он запомнил молодую мать,  
Ребенка забавлявшую грудного —  
Малыш был точно персик на песке! —  
Да тех, двоих... Они щека к щеке  
Лежали ото всех чуть-чуть в сторонке,  
Дыша одним дыханием, стройны,  
Руками воедино сплетены,  
Как ветками — дубок с лозинкой тонкой...

Смуглело, золотилось, розовело  
Нагое человеческое тело,  
Всей силой — гибкой, мускулистой, юной  
Доказывая зримо, что оно  
Прекраснее всего, что здесь, в подлунной,  
Великим мастером сотворено!..  
...Но зашумел транзистор, взвизгнул джаз,  
И звуки закружились бестолково.  
Певица, кажется, в любви клялась!..  
И почему-то у Адама снова  
Привычной болью заболел висок...  
Блеск, синева, и волны, и песок  
Вдруг стали ярки — до невероятья,  
Зной — невтерпеж, дорога — неполъем...  
И Крейзи снова вспомнил о проклятьи —  
О бомбе, что засела тайно в нем  
И грозное свое готовит дело..  
И все внутри как будто омертвело,  
По жилам словно бы растекся яд,  
Железное вонзилось в сердце жало...  
Теперь его до боли раздражало,  
Что люди веселятся, пьют, едят,  
Забыв о близкой гибели... На них  
Косился он в невольном удивленьи:  
«Мне кажется, попал я в отделение  
Особенных психических больных...  
Возможно ль, здравый разум сохранив,  
Играть с детьми, мечтать о чьей-то ласке  
За несколько мгновений до развязки,  
Когда в затишье назревает взрыв?!  
Нормально ль до того утратить страх,  
Чтоб привести любимых к океану,  
Не думая, что я сюда нагряну,  
Что близок я, что в нескольких шагах  
Я — всемогущий, я, как черный смерч,  
Несущий всякому дыханью смерть?!  
Чем не безумцы?! Дремлют на песке,  
А им бы нужно пребывать на страже!..  
Но разве это только здесь, на пляже?..  
А там, в Нью-Йорке?... В каждом городке?..  
Смешно, ей-ей!.. Попытались в дома,  
Как будто их спасут от смерти стены!  
Все, все ума решились, несомненно,  
Америка, ты вся сошла с ума!  
Весь мир сошел с ума! Весь мир — бедлам!...»  
Тут кто-то сзади прокричал: — Адам!  
Куда же ты?.. Постой, Адам!.. Послушай!.. —  
Хрипели голоса. Врывались в уши,  
Раздался чей-то наглый, жирный смех...  
И Крейзи бросился бежать от тех,  
Кто устремился по его следам,  
Кто догонял его, свистя и воя...  
Нахальный смех гремел над головой...  
К большой скале бегом бежал Адам,  
Быстрее зверя, что спасает шкуру,  
Знакомый смех гремел за ним вдогон...  
Адам бежал; внезапно понял он,

Что этот смех принадлежит Артуру...  
Он — тут, Артур, он — во главе погони —  
Штабная крыса, перевертень, гном...  
Не по его ль доносу табуном  
Несутся, точно взмыленные кони  
Под хлесткими ударами бича,  
Те, что кричат Адаму, гогоча:  
— Врешь! Не уйти тебе! Нет, не отбиться!  
Полиция!.. Держи!.. Держи!.. Убийца!.. —  
Адам бежит к сияющей скале —  
Последнему спасенью на Земле.  
А за спиной, все круче наседая,  
Орет и улюлюкает оно —  
Стоногое, но слитое в одно —  
В собачью, волчью, человечью стаю,  
Стоокое и все-таки — слепое,  
Бежит, сто длинных свесив языков,  
Чудовище, что испокон веков  
Зовется озверелою толпою.  
И за Адамом тянется рука,  
Хватающая все издалека,  
Растет она и вцепится вот-вот...  
И бег Адама переходит в лёт.  
Как ветер, он проносится над бездной,  
Одним прыжком он — у скалы отвесной!  
Блестит скала — бела, оголена, —  
Прямая неприступная стена,  
Лишь кое-где подернутая мхами...  
Но близится зловонное дыханье  
Чудовища... Как белка по стволу,  
Адам почти взбегает на скалу,  
Ладонями нащупывает сразу  
Неровности, чуть видимые глазу,  
На выступ — с выступа, рывком, рывком,  
По заостренным глыбам — босиком,.  
За мох цепляясь, за сухие травы,  
На камне оставляя след кровавый...  
Он слышит там, внизу, и смех, и свист,  
Злорадно подстрекающие крики...  
Но он, Адам, уже на самом пике  
Стоит, как первоклассный альпинист...  
...С минуту вниз глядел он, торжествуя,  
На гидру стоголовую живую:  
— Что — просчитались?.. Ну-ка, догоните! —  
Потом глаза направил в синеву  
И вздрогнул: он увидел наяву,  
Как разбежались трещины в зените  
И небо расколосось... И на дне —  
В ночной, бездонной, черной глубине —  
Блестящих звезд проплыло ожерелье,  
И музыкою зазвучала высь,  
Мелодии со звездами слились  
И закружились плавной каруселью.  
Тут небо сдвинулось немного набок,  
Земля ушла, качнувшись, из-под ног,  
И, сделав несколько движений слабых,  
Адам в беспамятстве упал на мох.

...Час пролежал он или только миг?..  
Очнулся.. Он — под небом, на площадке,  
На малом пятачке.. А снизу крик:  
— Ответьте, Крейзи!.. С вами все в порядке?.. —  
Адам подполз к обрыву, глянул с дрожью:  
«О господи!.. Как я сюда залез?!»  
Внизу голов и шляп — пестрящий лес:  
Купальщики столпились у подножья.  
«Похоже, я весь пляж сюда собрал..  
Всем лестно соучаствовать в скандале..  
Вон — белые халаты замелькали.  
Примчался наш больничный персонал.  
И он явился, санитар-засоня.  
Кричит, сложивши рупором ладони:  
— Спускайтесь, Крейзи!.. — Машет так и сяк..  
Придется отвечать тебе, толстяк!»  
Но вдруг Адаму стало безразлично,  
Что там — далёко, в толчее людской..  
На душу снова снизошел покой  
И ощущение воли безграничной.  
Вот он стоит вверху, на крутизне,  
С решением своим наедине,  
Свободный — над простором океана..  
«Сейчас я сброшу свой проклятый груз  
И вместе с ним навек исчезну, кану..  
Боюсь я смерти?.. Нет, я не боюсь,  
Хоть жаль мне все ж глухую жизнь мою..  
Да, я умру... Но добровольной смертью,  
Порывом мужества и милосердия  
От катастрофы Землю отстою.  
Я — у конца своих земных дорог,  
Но человечество спасу, как бог.  
Люблю вас, люди!.. Пусть я — на юру,  
Далек от вас... Хорошее, дурное  
Вы мне давали, и дурного — вдвое.  
Но счастлив я, что я за вас умру.  
И за травинку... За живое тело  
И душу светлую моей Земли...»  
И сердце у Адама потеплело,  
И слезы по щекам его текли..  
Сквозь пелену счастливых этих слез  
Перед глазами что-то проступало,  
Какой-то образ уплотнялся, рос..  
Тумана разорвалось покрывало,  
И показалась женщина. Грустна,  
Погружена в раздумье... «Кто она?» —  
Подумал он, все так же сладко плача.  
Струился платя белого атлас,  
Лучился взгляд ее печальных глаз.  
Она притронулась рукой горячей,  
Пытаясь грусть Адама превозмочь..  
— Кто я?.. Я — вечности великой дочь.  
Та, что самую жизнью возвращена,  
Чтобы людские прекращать мученья.  
Я — Смерть...— Прекрасна ты, а не страшна.  
И понял я твоих речей значенье  
И тайну Смерти, кажется, постиг:

Кто жертвует собою для других —  
Рождаёт смерть, прекрасную, живую,  
Достойную порыва своего,  
И превращает гибель в торжество.  
За все свою судьбу благодарю я.  
Бездонный не страшит меня провал,  
И я готов на вечную разлуку... —  
Адам склонился и поцеловал  
У Смерти теплую, живую руку.  
И тут же Смерть растаяла, ушла...  
...Сплетенные из тонкого стекла,  
Заголубли нити над Землей  
И, точно струны, дрогнули в эфире:  
От солнца и до океанской шири  
Все стало арфой — золотой, сквозной...  
И кто-то, к знанию высшему причастный,  
Играл, с его законами согласно,  
На струнах арфы. Музыка лилась,  
Земли и неба утверждая связь,  
Душой овладевая безраздельно,  
Лаская, ободряя и светя,  
И обернулась песней колыбельной...  
Казалось, мать баюкает дитя,  
Казалось, где-то женщина запела,  
Но голос был так светел и хорош,  
И так на все земное не похож,  
Что струны стали вторить ей несмело,  
И, стоя на своей отвесной круче,  
Адам взгляделся зорче в небосвод:  
Быть может, там сама любовь поет,  
Та, что добрей всех делает и лучше?..  
Клубились над скалою облака,  
Одно как будто источало пенье,  
И что-то шевельнулось в нем слегка —  
Плечо, лицо мелькнули в пышной пене,  
На небе — со скалою по соседству —  
Предстал летящий ангел — ангел детства.  
Да, это песня ангела была!  
Как мог не догадаться он об этом?..  
Два мускулистых, перистых крыла,  
Пронизанные воздухом и светом,  
Парили чуть заметно в облаках...  
Ребенка нес крылатый на руках  
И пел над ним — так, как Катрин, бывало...  
Глядит Адам: младенец годовалый,  
Румяный, беленький — не кто иной,  
Как Томас, Том, сынок его родной!..  
Ручонкой машет он издалека,  
Вся в перетяжках пухлая рука,  
Похожая на руку херувима...  
Он вдаль плывет... Он проплывает мимо,  
Как тот — в скафандре — призрак голубой,  
Тот марсианин или древний витязь...  
Адам забыл, что можно бы с мольбой  
Рвануться вслед, вскричать: «Остановитесь!»...  
И ангел с Томасом исчез вдали...  
Но лишь мгновенье был Адам в печали.

Внезапно ощутил он: за плечами  
Два бугорка упругих проросли ·  
И за спиной без всякого усилья,  
Шурша, как ветви, развернулись крылья.  
Адам сложил их с чувством незнакомым:  
Неужто он по небу проплывет?..  
Но там, вверху, заскрежетало с громом,  
И увидел Адам, что вертолет  
Над ним кружится, точно коршун злой..  
И вот уже — над самою скалой,  
Качнувшись, лестницы повисла лента,  
По ней солдаты вниз сойти спешат..  
Понятно!.. Это — войско президента:  
Сюда, за бомбой, он прислал солдат!  
Как видно, несмотря на пост высокий,  
Не знает президент, что близко сроки,  
И Зло, непобедимое вчера,  
Рассеется при светочке Добра,  
И в мире воцарится Милосердьё..  
Решив проверить прочность новых крыл,  
Адам шагнул, рванулся и... поплыл,  
Смесь, ликуя, — в океан Бессмертья.

## 7

Меж двух могил с утра сидит Катрин.  
На свете больше не о ком скорбеть ей.  
Налево — муж ее, направо — сын..  
Ну что ж, ее могила будет третьей.  
Молчит Катрин, в себя погружена.  
А на ветвях, в листве осенней, блеклой,  
Молчат большие птицы... Дочерна  
Их оперенье под дождем намокло.  
Катрин одна — меж двух гранитных плит..  
На кладбище опять везут солдата,  
И так же скорбно Реквием звучит,  
Как над могилой Томаса когда-то.  
Опять грохочет траурный салют  
И стонут инструменты духовые.  
А птицы — и пером не поведут:  
Они — как чучела, как неживые..  
Все это им порядком надоело.  
Наохлились над холодом гробниц.  
Теперь, когда почти совсем стемнело,  
Они похожи на Железных Птиц.  
В ветвях, под птицами — мутнеет высь.  
Уж поздно... Звезды тусклые зажглись.

*Перевела с калмыцкого Юлия Нейман*



---

---

Е. ГЕРАСИМОВ

★

## МОРЕ В ЧЕРКАССАХ

*Повесть*

**Д**авно, очень давно не бывал я на Украине — с тех первых послевоенных лет, когда в сожженных войной селах люди еще жили в землянках. А в свое время всю ее исколесил и исходил вдоль и поперек, подумывал даже, что хорошо было бы навсегда поселиться где-нибудь на Днепре, Десне или Сейме. Заглядывал я и в Черкассы. Помню глухую одноколейную железную дорогу, которой в гражданскую войну добирался до этого захолустного тогда уездного городишка, соседа громкославной Золотоноши, куда валом валил с севера голодный люд, кто с городским барахлом, кто с солью, все — за хлебом и салом. В тех сытых, пшеничных местах гуляли банды, шашками секли наезжавших сюда городских людей, однако поезда до Золотоноши были забиты мешочниками. От самих Черкасс, где я не один раз в гражданскую войну и после пересаживался с поезда на пароход, в памяти у меня остались только высокая паровая мельница на берегу Днепра, длинный железнодорожный мост да пыль, гулявшая на немощных улицах.

Нет, не милые воспоминания тех далеких лет, когда я в молодости странствовал на Украине, заманили меня нынешним летом в этот город, а мои знакомые москвичи, раньше ездившие летом отдыхать на черноморские курорты, а потом променявшие их на Черкассы — наварят там за свой месячный отпуск по несколько ведер вишневого и абрикосового варенья и знать не хотят больше никаких прославленных курортов.

Выйдя на пенсию, изменил Черноморскому побережью и мой уважаемый сосед Остап Тарасович, с которым мы часто встречались на лестничной площадке, когда он выходил из своей квартиры с набором разных щеток, чтобы почистить ботинки, пальто и шляпу. Конечно, к чему ему Сочи или Гагры, если теперь и в Черкассах есть свое море и если к тому же у него там куча родственников, и все они живут в городе, как в деревне, в собственных домиках с садами, так что вишнями и абрикосами хоть завались.

Он-то и предложил мне поехать в Черкассы, пообещав устроить там у кого-нибудь из многочисленных родственников. И я поехал, не подозревая, чем это грозит, но в дороге, как только мы вошли в вагон, подумал, что, пожалуй, спутник для меня он будет неподходящий.

Несколько раз переключивал Остап Тарасович с места на место свой багаж — два увесистых чемодана с подарками родным и один маленький с дорожным провиантом, — пока наконец счел, что все уложено удобно, потом, сняв шляпу, долго искал место для нее и решил, что головной убор лучше всего положить на задвинутый в верхний багажник чемодан, конечно, предварительно расстелив на нем газету.

Затем ему пришлось долго утирать взмокшее от пота лицо, шею и лысину. Исключительно аккуратным человеком оказался мой спутник. Прежде чем усесться, он должен был еще осмотреть себя с одного бока и с другого, подтянуть брюки, одернуть пиджак, огладить его ладонями спереди и сзади.

Приведя себя таким образом в порядок, Остап Тарасович сел за столик у окна и разложил на нем большую, удачно приобретенную на вокзале в газетном киоске карту железных и шоссейных дорог Украины, вырвал листок из блокнота, вооружился остро отточенным карандашом и поманил меня пальцем сесть к нему поближе.

— Смотрите, вот Конотоп... Вот Бахмач... Вот Прилуки... А вот Золотоноша,— заговорил он, показывая острием карандаша все эти пункты, записывая и подчеркивая на листке их названия, а потом обводя каждое кружком.

Золотоношу Остап Тарасович у себя на листке дважды подчеркнул и дважды обвел кружком.

— В Золотоношу я хуру возил из Черкасс, когда маленьким еще был,— сказал он, старательно рисуя некое подобие колеса телеги.

Не понял я, что за хуру возил он в детстве.

— Хура считалась у нас в деревне за счастье,— сказал Остап Тарасович и начал подсчитывать на бумажке, сколько мужик мог зарабатывать, подрядившись с торговцем перевезти из Черкасс в Золотоношу на своей лошадке двадцать пять пудов гвоздей, теса, соли или каких-нибудь других городских товаров и обратным путем доставить из Золотоноши в Черкасы столько же пудов пшеницы, овса или ржи, если получал всего по пять копеек за пуд с погрузкой и разгрузкой. Решив эту арифметическую задачу, он объявил: — Двадцать пять на пять будет рубль двадцать пять в один конец.— Затем он пририсовал к нарисованному ранее колесу еще три колеса, обозначив тем телегу, на которой мужики возили хуру, положил карандаш на столик и сказал: — Только редко нам с отцом выпадало такое счастье. А как железную дорогу протянули с Бахмача до Черкасс, хуры еще меньше стало, только на отдаленные хутора возили.

Снова взявшись за карандаш и вернувшись к обозначенной на бумаге телеге, Остап Тарасович зачеркнул одно колесо и сказал, что, когда он был еще маленьким, ему однажды пришлось везти хуру на трех колесах: отец приболел и послал его одного с грузом, по дороге в степи колесо сломалось, но он все-таки довез тяжелые ящики с гвоздями на далекий хутор и сделал это с помощью веревки, которую сумел приспособить к телеге вместо сломанного колеса. Как это ему удалось сделать, Остап Тарасович тоже постарался наглядно показать мне, и я истомился, пока он вычерчивал на листке нечто трудно поддающееся изображению.

К счастью, был уже поздний вечер, проводница поторопилась принести белье, и Остап Тарасович, сложив карту, стал разбирать и рассматривать его. Готовя себе постель, он разглаживал рукой простыни, потом долго возился с подушкой, встряхивая ее в наволочке и взбивая, пока подушка не наполнила ровно все углы наволочки, раздевшись до трусиков и майки, долго раскладывал и развешивал вокруг себя одежду, а улегшись наконец, повернулся на бок к стене, подмял под ухо подушку, натянул на голову простыню и сразу же громко захрапел.

Круглая и блестящая, как намасленный блин, лысина Остапа Тарасовича видна была из-под укрывавшей его простыни, и, поглядывая на нее, я думал, как бы мне, приехав в Черкасы, поскорей избавиться от своего успешного уже утомить меня спутника. Утром, проснувшись, я увидел его уже снова сидевшим за разложенной на столике картой с карандашом в руке, в пиджаке, застегнутом на все пуговицы, и при



галстук. Глядя в окно, он ставил галочки у себя в блокноте. Похоже было, что Остап Тарасович находится при исполнении каких-то служебных обязанностей и отмечает галочками мелькающие за окном телеграфные столбы, но я уже догадывался, что он делает это просто так, машинально, по привычке к карандашу и бумаге.

Как только я поднялся, Остап Тарасович незамедлительно пригласил меня к карте. Он показал мне на ней все станции, которые мы миновали за ночь, сообщил, какие остановки будут еще до Бахмача, где мы свернем с киевской магистрали на Черкассы, сколько километров, часов и минут нам еще ехать, и предупредил, что поезд идет с опозданием, но небольшим, всего на три минуты, и что проводница уже разносит чай.

— Так что не будем терять с вами времени — умывайтесь и давайте завтракать, — сказал Остап Тарасович.

Сложив карту, он принялся выкладывать из чемоданчика свой дорожный провиант, который оказался как тщательно упакован, что, когда он извлек из одного пакетика полбатона хлеба, из другого кусочек колбасы, из третьего куриную ножку, столик был завален ворохом бумаг и все-таки два яичка остались еще завернутыми каждое в особую бумажку.

В Москве наше знакомство с Остапом Тарасовичем было шапочное: встретимся на лестничной площадке, поздороваемся, похвалим или побраним погоду и пожелаем друг другу всего доброго. Я знал о нем только, что он инженер-строитель, уже давно на пенсии, но иногда еще уходит куда-то с портфелем, живет в однокомнатной квартире с женой, которую летом часто видишь на балконе — выйдет из комнаты и долго стоит, сложив руки на груди: не то на играющих на дворе детей глядит, не то на цветы, насаженные первоэтажниками у себя под окнами.

О Черкассах Остап Тарасович заговорил со мной, когда узнал от кого-то, что я собираюсь туда, — спросил, еду ли просто так отдыхать или задумал что-нибудь написать об этом городе. Я ответил, что мне хочется написать кое-что из своих давних украинских воспоминаний. И тогда Остап Тарасович сказал, что прошлое в Черкассах интересное и он сам мог бы написать о нем, так как это его родной город — в детстве на лодке возил с отцом рыбу на рынок, деревня, в которой жил, прямо против города стояла, — потом долго работал там на строительстве железной дороги и железнодорожного моста, да вот хотя по должности и инженер, но грамотности не хватает, чтобы книгу написать, — учился, когда на грамоту мало обращали внимания.

Позавтракав — к тому времени мы уже и Конотоп и Бахмач миновали, — он опять, взявшись за карту, стал объяснять мне с карандашом в руке, как при полном отсутствии механизации прокладывалась железная дорога на участке Бахмач — Черкассы. сколько мужиков наезжало из деревень к штабелям заготовленного для строительства буттового камня, толклось у них и рвало камни из рук друг у друга, торопясь нагрузить свою грабарку, какая свалка была при погрузке связанной в пучки фашины, как грабари из глубокого котлована возили на своих тощих лошадках грунт на высокую насыпь, как дети и подростки, в числе их и он сам, укладывали дерн по откосу насыпи и укрепляли его колышками, как они же, дети, вязали фашинные канаты, — подробно объяснял и показывал на бумаге, как все это делалось, и говорил:

— Вот как до революции люди из сил выбивались, чтоб прокормить свою семью. — И подсчитывал в кубометрах, сколько камня и грунта мог перевезти грабарь на своей лошадке за пятнадцатичасовой рабочий день и какие гроши получал за эту не всем посильную работу.

Я томился, изнемогал уже, но терпел, рассчитывая, что в Черкассах на вокзале махну на такси в гостиницу — перспектива ехать с Остапом Тарасовичем к его родным решительно не устраивала меня больше. Но, увы, я забыл про его чемоданы. В Черкассах, когда он выгружал из вагона свой багаж, мне пришлось подхватить один из его тяжелых чемоданов, и с ним удрать было, конечно, невозможно. Не сумел сделать этого я и на стоянке такси по той причине, что пассажиры расхватали все машины раньше, чем мы дотащились до нее. Мы топтались тут в очереди, пока к нам не подошел какой-то молодой человек, спросивший, куда нам надо, и сказавший:

— Идемте за мной.

Взяв два чемодана, один Остапа Тарасовича, а другой мой, он пошел за угол вокзальной площади. Мне волей-неволей пришлось пойти за ним и сесть с Остапом Тарасовичем в машину этого левака.

В машине Остап Тарасович называл мне улицы, по которым мы ехали, говорил, как они назывались до революции, когда и сколько раз переименовывались, показывал, где и какие учреждения сейчас помещаются, куда нам с ним обязательно надо будет заглянуть...

А я между тем думал, как бы и где мне выскочить из машины. И когда он объявил: «Это вот гостиница», я попросил водителя остановить машину и принялся убеждать Остапа Тарасовича, что не могу я прямо с вокзала ввалиться в гости к незнакомым людям с чемоданом — сначала надо привести себя в порядок с дороги.

— Ну что ж,— согласился он.— В таком случае я завтра утром зайду за вами в гостиницу.

В гостинице, как и следовало ожидать, свободных мест не оказалось, и впервые меня это не огорчило, а скорей даже обрадовало, так как теперь-то уж Остап Тарасович вряд ли сумеет напасть на мой след в Черкассах. Плохо же знал я его еще!

Большой областной и промышленный город сейчас Черкассы, но сядешь в центре его на автобус, проедешь несколько остановок — и ты уже в деревне. Конечно, деревня эта особая, находящаяся в черте города, но по внешнему облику от обычной украинской деревни ее отличают только лодочные причалы с множеством моторок, стоящих вплотную одна к другой, да примыкающий к ней с одного края длинный песчаный пляж под разделенными оврагами кручами Днепра, безбрежного тут, как море.

Было уже под вечер и собирался дождь, когда я, не получив места в гостинице, притащился сюда с чемоданом искать себе жилье или хотя бы пристанище на ночь. Подойдя к круто обрывавшемуся берегу и увидев внизу вытянувшуюся под поросшей вековыми соснами горой деревню, я подумал: хорошо бы устроиться здесь на квартиру так, чтобы Днепр и эти сосны на горе видны были из окна. Спустившись овражком, пробитым в горе и чисто вымытым стекавшими с нее в дождь ручьями, я сразу же оказался на деревенской улице.

Тишина, людей не видно, сады, огороды, колодцы, зеленые изгороди, среди светлых шиферных крыш темнеют и соломенные — как стога высятся они, низких окон почти не заметно, в садах яблони, вишни, груши, сливы, абрикосы, шелковица, грецкий орех, вьющийся по стенам виноград, и все это у самого моря, под длинной горой с соснами наверху. Пройдя немного по улице, я остановился у приглянувшегося мне домика. Он стоял под горой выше других, весь на виду, маленький, с высоким крылечком, и под единственным его окном, глядевшим прямо на Днепр, рос большой куст жасмина с такими крупными цветами, что издали я принял их за белые розы. Ничего лучшего и желать нельзя было, но в калитку меня не пускала рвавшаяся с цепи

собака. Пока я ждал, не выйдет ли кто-нибудь на ее лай из дому, ко мне подошла женщина с ведрами.

— Афанасьевич на дежурство ушел, а Наталья Гавриловна еще не вернулась с работы,— сказала она и спросила: — Отдыхать приехали?

— Да, комнатку бы мне тут.

— Наталья Гавриловна вот-вот должна подойти. Может быть, и сдаст. Подождите, погуляйте пока,— сказала она и пошла к колодцу, оставив меня в раздумье: то ли идти дальше, то ли ждать хозяйку этого облюбованного мною домика.

Не хотелось таскаться по деревне с чемоданом, и после короткого раздумья я сунул его в калитку под охрану собаки и стал прохаживаться по улице. Я все больше проникался уверенностью, что раз мой чемодан уже на дворе, то мне нечего беспокоиться о ночлеге. Однако вскоре начал накрапывать дождик, а хозяйки все не видно было, и я, побоявшись, как бы на ночь не остаться под открытым небом, решил, что надо искать какое-либо другое пристанище, и пошел за своим чемоданом.

Не знаю, как это произошло, но оказалось, что я проглядел возвращение Натальи Гавриловны домой. Вероятно, причиной тому были тучные огороды, на которые я засмотрелся, поджидая ее на улице. У нас в Подмоскovie, когда я уезжал, не все еще зазеленело на грядках, а здесь длинные плети огурцов обвили уже высокую кукурузу и, цепляясь усиками за ее стволы, взбирались по ним вверх. Так или иначе, но, когда я пришел за чемоданом, хозяйка была уже дома — пожилая мощная женщина, стоявшая у калитки с моим чемоданом в руке.

Объяснять, каким образом он оказался у нее во дворе, мне не пришлось. Ей все уже было известно, и она приняла меня как гостя, которого ждала.

— Заходьте, только утей моих не подавите, они ще малёнькие,— сказала она.

На ее тесном дворе между тремя клетушечными домиками, летней кухней под навесом и сарайчиком расхаживало несколько больших уток, едва волочивших по земле свои грузные зады, а утят разных возрастов, от пушистых, только что вылупившихся младенцев до голенастых подростков, уже подымавших свои короткие крылышки, бегало, сновало и копошилось столько, что ступить некуда было, пока хозяйка не согнала их всех в сад под яблони, где они сгрудились и захлюпали в грязи у большой чугунной сковородки с водой.

Две небольшие собачки, сидевшие на цепи — одна под навесом летней кухни, другая в будке у сарая, — десятка полтора на редкость крупных, как и утки, кур, клевавших рассыпанное по земле пшеничное зерно, и два кабанчика, которые высовывали из-за низенькой перегородки сарая свои белые лоснящиеся пяточки, — все тут говорило, что у хозяйки хлопот по дому достаточно и без квартирантов.

Однако мне повезло. Из трех маленьких домиков, находившихся во владении Натальи Гавриловны, она сдавала на лето два. Один был уже сдан постоянным дачникам из Конотопа, и они скоро должны были приехать, а другой, как раз тот, что я облюбовал, с высоким крыльцом, еще сдавался. Правда, издали он выглядел привлекательнее, чем вблизи, а тем более внутри. Видно, некогда предназначался для хозяйственных нужд, попросту говоря, служил кладовкой с погребом при летней кухне. Погреб остался погребом, в нем и сейчас хранилась прошлогодняя картошка, а в кладовке было пробито окно, и тем самым она превратилась в комнату для дачников, в которой только и умещались что кровать, небольшой столик и стул.

Полил уже дождь, и я заторопился договориться с хозяйкой о цене.

— Не бойтесь, в обиде на меня не будете,— сказала Наталия Гавриловна и пообещала: — Когда я борща насыплю, рыбы нажарю, вареников сготовлю... А яички — рубль десяток,— добавила она со вздохом, как бы сожалая, что за яйца мне придется платить отдельно.

Домик еще не совсем был готов к приему квартиранта, и мне пришлось немного постоять под навесом летней кухни, пока Наталия Гавриловна очень проворно мыла в комнате недокрашенный и затоптанный уже по свежей краске пол (не успела докрасить — картошку пришла пора окучивать), а потом прибывала гвоздиками кусок пестряди над кроватью вместо коврика, чтобы укрыть грязные пятна на стене (собиралась побелить ее, да не успела по той же причине). Слизив затем в погреб и выйдя на крыльцо с картошкой в тазике, она сказала:

— Отдыхайте на здоровье, а мне еще надо борщ сварить на завтра.— И предупредила, что утром рано уйдет на работу, но Афанасьевич к тому времени вернется с дежурства и будет весь день дома, так что может и борща насыпать и яички сварить, но если он попросит денег, то ни в каком случае не давать ему, потому что он, негодяй, нальется горилкой и тогда его в доме не удержишь — пойдет шататься по людям.

Я рад был, что мне посчастливилось устроиться в домике с окном, выходящим прямо на море, но утром в пелене зарядившего с вечера дождя в окне ничего не видно было, кроме поникшего куста жасмина и железной трубы, вероятно, некогда ставившейся на самовар, а сейчас торчавшей из крыши старой времянки, в которую перебиралась на лето моя хозяйка со своим негодяем Афанасьевичем.

Небо было обложено тучами, с горы бурно скатывались потоки воды. На улицу не высунешься, и, встав с постели, я достал из чемодана тетрадь с начатыми в ней моими давними украинскими воспоминаниями.

Перелистывая тетрадь, я вспомнил лето 1921 года в Славянске и кукурузу на леваде — так назывался луг, распаханый под огороды рабочих славянского содового завода. В степи земля трескалась от жары и сухости, а на леваде по утрам все дышало свежестью и влагой, казалось, что ночью выпал обильный дождь, и удивительно было, почему он оросил только одну леваду. Кукуруза была здесь выше человеческого роста. Когда я мчался на велосипеде шлаковой дорожкой, как саблями, секли меня по рукам ее острые и жесткие густо-зеленые листья, а по бокам били выпирающие из-за пазух стеблей тугие початки со свисавшими с них шелковыми нитями. Я работал тогда в уюме комсомола и носился по всему уезду на велосипеде, а иногда и на боевой тачанке, но сейчас вот, полвека спустя, мне почему-то прежде всего вспомнились тучные и всегда влажные огороды на леваде.

Вспомнились и летние ночи под Белой Церковью, Уманью, Одессой, Николаевом, которые я в студенческие годы, странствуя по Украине, часто проводил под открытым небом, чтобы, лежа на спине в полном одиночестве, поглядеть на далеко мигавшие миры и послушать доносящиеся изредка со шляха голоса людей, скрип телег — только что впервые прочитанная чеховская «Степь» оживала тогда во мне.

Вспомнилась и маленькая деревушка с вишневыми садами у соснового бора на речке Рось, вверх по которой я часто подымался к Днепру поудить рыбу. Я жил в той деревушке предвоенным летом у одинокой колхозницы. Помню, как горько корила она себя за то, что не уберегла своих детей, померших от голода в том злополучном на Украине тридцать третьем году, хотя и могла уберечь, если бы решилась зарезать стельную корову: ждала, что вот-вот отелится и будет тогда чем

накормить детей, но они померли раньше, чем корова отелилась. Помню и хромого, подраненного серпом зайчонка, которого моя хозяйка нашла во ржи на своей приусадебной полоске и принесла в подоле домой. Долго она выхаживала его, поила с блюдечка молоком и так приручила, что уйдет он, бывало, в лес, набегается там, прихрамывая, а к вечеру вернется домой, сядет у порога и ждет, когда ему откроют дверь.

Не в первый раз перебирая все это в памяти, вспомнил я и киевское общежитие партизан-ковпаковцев — небольшой каменный дом с крыльцом, выходящим на рыночную толкучку. На крыльце стояла табуретка, и на ней, как на троне, царственно восседал дневальный с красной лентой на шапке-кубанке, с автоматом на коленях, всем своим видом выражавший тоскливое презрение к проходившей мимо публике. Это было в начале 1944 года. Я приехал тогда к Сидору Артемовичу Ковпаку из Москвы с письмом от издательства. Вынув письмо из конверта, я протянул его дневальному вместо пропуска. Он долго читал его, время от времени поглядывая на меня из-под свисавшего ему на нос чуба таким же тоскливым взглядом, что и на рыночный люд, а потом погрузился в глубокое раздумье. Тем временем из подворотни вышел и поднялся на крыльцо низенький скуластый старик с седеющей бородкой клинышком, в длиннополой и широкой, как тулуп, наброшенной внакидку шубе. Он был в генеральской папахе, но я не сразу это заметил, потому что, сбита на затылок и примятая назад, она выглядела отнюдь не генеральской.

— Что за писанина? — сердито подняв плечи, спросил он дневального, увидев в его руках бумагу.

— Да вот человек пришел, кажись, письменник. Не знаю, пропустить или как? — ответил тот, слегка шевельнувшись на своем высоком троне, чтобы протянуть письмо появившемуся из подворотни старику в шубе.

Порывшись в глубоком кармане шубы, старик извлек из него очки, нацепил на нос, опустил на каменную плиту крыльца, опять порывшись в кармане, вытащил огрызок карандаша и, начертав им что-то на уголке письма, молча сунул его мне в руку.

Прочитав наложенную им резолюцию «Пропускать беспрепятственно. С. Ковпак», я подумал, что меня разыгрывают, но когда я поднял глаза, старик, повернувшись ко мне спиной, обнаружил при этом красный генеральский верх своей папахи. Таким образом я получил одновременно и автограф Ковпака, и постоянный пропуск в партизанское общежитие, которое в то время было чем-то вроде его ликвидационного штаба, где он подводил итоги своих рейдов по тылам немецких оккупантов.

Живо встала в памяти и маленькая комнатка с двумя по-солдатски заправленными койками и столиком между ними, в которую я прошел следом за Сидором Артемовичем. Сев на одну из коек и показав мне рукой на другую, он вытащил из-под койки и кинул на стол толстую конторскую книгу.

— Вот вся наша писанина тут, — сказал он.

Это был рукописный журнал боевых действий его партизанского соединения с приказами по отрядам, краткими описаниями боев и всех происходивших в отрядах событий. Два года в тылу врага изо дня в день вел этот журнал начальник штаба Ковпака Григорий Яковлевич Базима, до войны работавший в Путивле директором школы. Первые его страницы были заполнены в лесной землянке под Путивлем, последние — на горных вершинах Карпат.

С этого начался наш разговор с Сидором Артемовичем о предстоящей нам работе над его книгой. Короток он был чрезвычайно.

— От Путивля аж до Карпат,— сказал Ковпак и тут же мгновенно решил: так и назовем книгу.

— Одно слово, пожалуй, лишнее,— заметил я, осмелев.

— А если лишнее, так долой его. Будем писать без лишних слов,— сказал он, весело и хитро глянув на меня...

На этом мои воспоминания оборвались: кто-то тихо постучал в дверь — Афанасьевич, муж моей хозяйки, пришел. С мокрой непокрытой головы его капало, и, утирая лоб рукой, он смущенно улыбался, словно ему неловко было, что он постучал в дверь.

— Не желаете ли борща, Николаевич? Наташа велела спытать,— сказал он, как бы оправдываясь.

Я не отказался от борща, но он не уходил, переминался с ноги на ногу и посматривал на меня, чего-то ожидая. Немного помолчав, спросил:

— А рыбки жареной не желаете? Или, может, яишню поджарить?

Ни от того, ни от другого я не стал отказываться, так как не хотелось под дождем идти разыскивать столовую. Но Афанасьевич все еще выжидательно топтался у порога, посматривая на меня. Наконец он подошел ко мне поближе и робко спросил:

— А как насчет горилки? У соседки-кумы есть, можно взять, только без денег она мне не даст.

Понятно было, что борщ и все прочее только предлог. Не хотелось мне нарушать запрет хозяйки, но я подумал, что один-то раз можно выпить с Афанасьевичем по стаканчику для знакомства, и дал ему на пол-литра. Взяв деньги, он сейчас же исчез, а через несколько минут вернулся, вытащил из кармана и поставил в угол у дверей на пол две поллитровки, заткнутые бумагой. Оказалось, что у соседки-кумы горилка ровно в два раза дешевле, чем в магазине, поэтому-то он и взял вдвое больше.

Словно живой водой окропила Афанасьевича его соседка. С веселым блеском в глазах вернулся он от нее и сразу же заговорил со мной на «ты».

— Ну что ж, Николаевич, я побегу яишню жарить, а ты бери горилку и приходи до меня в хату — там нам с тобой ловчее будет,— сказал он и быстро шмыгнул под дождем через двор в летнюю хозяйскую хатенку.

И действительно, там нам было ловчее. Правда, тесно и грязно, как на дворе — лоханки, тазы, ведра с помоями, картофельные очистки, сваленные в углу, зато стол у самой плиты и все под рукой — борщ, яичница на плите, хлеб, зеленый лук, тарелка с рыбой и куча немойтой посуды на столе.

— Наварить и нажарить Наташа успевает, а прибраться времени у нее нема, не соблюдает культуры гигиены,— пожаловался Афанасьевич, распахивая ногой по углам лоханки и тазы с намоченным в них бельем, а потом уже, выпив и закусив головкой зеленого лука, похвалился, что если бы не он, то Наташа в степи бы спину гнула, а сейчас вот на продбазе в городе работает, и там все ее уважают, хотя она и неграмотная, только что подписаться может.

— У нас с Наташей по этому поводу были сильные расхождения во взглядах,— сказал он.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что до затопления днепровской поймы мои хозяева жили на левом, луговом берегу Днепра, сперва оба работали в колхозе, потом Афанасьевич устроился конюхом в санаторий на правом, черкасском берегу — как раз напротив горы, под которой они сейчас живут,— ездил на работу через Днепр на лодке, и никаких расхождений во взглядах у них тогда не было. Они появились

уже после того, как началась подготовка к переселению из зоны затопления и было сказано, что при этом колхозникам будет предоставлена полная свобода выбора: те, кто останется в колхозе, поедут на новые места в степь под Золотоношу, а кого это не устраивает, могут перебраться в Черкассы и там строиться на полученные от государства средства или ехать куда кто желает. Для Афанасьевича это как нельзя кстати было — от колхоза он давно оторвался, домой из своего санатория приезжал на лодке только переночевать, и то не всякий день, и поэтому рад был случаем совсем перебраться в Черкассы. А Наталия Гавриловна, как он сказал, прилипла к своему колхозу, говорила: куда колхоз, туда и я.

— Не уважала Наташа город. За скотом предпочитала ходить, телят воспитывать, деревенщина была, — так объяснял мне Афанасьевич причины своих тогдашних расхождений с женой.

— Как же вы уломали ее? — спросил я.

— А чего мне уламывать было? Много ли она получала на свои колхозные трудодни. Сам знаешь, Николаевич, какое время было. А я на твердой государственной ставке находился. Ультиматум поставил и балакать больше не стал — иди в степь одна с детишками, а я при санатории буду жить на конюшне.

Потом он вспомнил отца и мать, умерших в тридцать третьем году от голода, и стал рассказывать, как он тогда утек из деревни без паспорта и грошей в кармане, бродяжничал и побирался в России, в Москве побывал и в Кашире арбузы с баржи сгружал.

— Так вот, Николаевич, пережил я много, про все говорить не буду, но ты имей в виду, что заслуги перед партией и правительством у меня есть, — сказал он в заключение.

Я не стал спрашивать у захмелевшего Афанасьевича о его заслугах, поднялся было из-за стола, но он вдруг спросил:

— А ты, Николаевич, чул о Ковпаке?

И когда я сказал, что сейчас, только что вот вспоминал о Сидоре Артемовиче, он кинулся ко мне с распростертыми объятиями:

— Больше всех героев уважаю Ковпака и тебя, Николаевич, раз ты знал Сидора Артемовича, уважаю!

Засиделся я в его старой хате-временке, с худой крыши которой нет-нет да капнет на стол. Оказалось, что в сорок первом году, выбираясь из окружения под Киевом, Афанасьевич ушел с кучкой бойцов на север, и под Путивлем в Спадщанском лесу они, встретившись с партизанами Ковпака, влились в его отряд, так что нам было о чем поговорить, о чем вспомнить, за кого выпить. Расчувствовавшись, мы выпили больше, чем можно было, и кончилось это тем, что, вскакивая и снова садясь, Афанасьевич соскользнул с табуретки и грохнулся в стоявший позади него большой таз с намоченным бельем. Поднялся он страшно сконфуженный, притих и вдруг, ничего не сказав, куда-то ушел под дождем в одной майке. Когда я выглянул в калитку, которую он оставил за собой незакрытой, его уже не видно было на улице.

Я рано завалился спать — Наталия Гавриловна еще не вернулась с работы — и, проснувшись ночью, долго не мог заснуть: все думал о том, что было связано в моей жизни с Украиной, что хранилось в памяти и как обо всем этом написать...

На дворе надрывались в лае обе хозяйские собачки — только одна замолкнет, как другая тотчас загавкает, словно договорились по очереди выполнять ночью свои сторожевые обязанности. Вдруг они затихли, и на дворе раздался громкий голос Наталии Гавриловны:

— Негодяй! И як ты не сдох, валяясь под дождем на причале?

Затем я услышал хлесткие удары: она била по щекам Афанасьевича. Он молча сносил их, потом тихо проговорил:

— Не бей меня, Наташа, я ж тебя николи не бил.

С минуту было слышно только шумное дыхание Наталии Гавриловны. Отдышавшись, она еще злее захлестала мужа по щекам:

— От негодай! Да за что ж тебе было бить меня? За то, что я тебя годую, як дите малое!

Потом Наталия Гавриловна затолкала Афанасьевича в хату. Дверь она не закрыла, и я слышал, как она продолжала ругать его там:

— Негодай! И что мне с тобой робить, не придумаю!

А Афанасьевич жалостно просил прощения:

— Я понимаю, Наташа, что виноват, и не обижаюсь на тебя, полное право имеешь бить меня.

После этого Наталия Гавриловна сразу заговорила мирно:

— Тут чуток осталось, опохмелись да борща похлебай.

Долго у них еще продолжался тихий семейный разговор. Наталия Гавриловна допытывалась:

— Ну, чего тебя на причал занесло?

— Сам не пойму. Сильно перебрал, расстроился я, Наташа,— Ковпак помер, Базима помер...

О смерти бывшего начальника штаба Ковпака, Григория Яковлевича Базимы, Афанасьевич узнал только вчера от меня. Собираясь на Украину, я думал побывать и в Путивле у Базимы, но перед самым отъездом из Москвы узнал, что Григория Яковлевича уже нет в живых. В сорок восьмом году я прожил у него все лето. Мы ходили тогда с ним в Спадщанском лесу по местам боев, которые вели здесь с немцами партизаны Ковпака.

Уцелели еще кое-где на Украине большие лесные урочища, такие, как Спадщанский лес под Путивлем. Показывая, где стояли партизанские заставы, где располагался штаб отряда, его землянки, от которых остались только заваленные бревнами ямы, Григорий Яковлевич обошел со мной тогда весь этот большой лес — некогда неприступную партизанскую крепость, пугавшую немцев своими топкими мшистыми болотами и вечно темными еловыми чащами, где сплетения нижних засохших ветвей образуют сплошную колючую изгородь. Но есть здесь и светлые березовые и осиновые рощи, как в зеркале повторяющие одна другую, есть и песчаные, покрытые вереском и лишайником пригорки, с которых далеко видно волнистое лесное море с глубокими впадинами и гребнями — самой природой созданные наблюдательные вышки.

Стояли мы на одной такой вышке, посматривая на зеленые дали, и вдруг Григорий Яковлевич стал прислушиваться к чему-то, нахмурился, вздохнул и сказал:

— Рубят лес, и ничего не поделаешь — приходится, нужда заставляет. Три года уже как кончилась война, а наши колхозники все еще живут в землянках.

Особенно хороши в Спадщанском лесу старые дубы и липы-богатыри, стоящие на опушках и полянах по колено в многоцветной траве. В пору цветения лип путивльские пчеловоды вывозят сюда и расставляют среди лип свои ульи.

В то лето, когда я жил в Путивле, многие бывшие партизаны заделались пасечниками. Григорий Яковлевич Базима, недавно выйдя на пенсию — после войны он работал в райкоме партии, — тоже всерьез занялся пчеловодством. Был я у него и на лесной пасеке, видел, как он, уследив вылет из летки молодого роя, бегал за ним с жестяным ведерком, а потом, сидя на корточках под кустом, долго смахивал веточкой и чайной ложечкой сгребал в ведро густо облепивших куст пчел. Там



же, под старыми липами, мы с Григорием Яковлевичем посменно крутили медогонку, ели мед с накрошенными в одну миску свежепросоленными огурцами. Меду хватало, ели его мы большими ложками, а хлеба вот недоставало, и об этом разговор вели тогда на пасеке все собравшиеся вокруг миски с медом партизанские деды. Жаловались они Базиме на Ковпака. На высоком посту стоит он в Киеве, а не может принять мер, чтобы помочь колхозам, пострадавшим в войну от немцев, побыстрее стать на ноги.

Побывал я с Григорием Яковлевичем и в этих пострадавших в войну колхозах: ездили мы с ним на резвой райисполкомовской лошадке, которой он сам правил, сидя бочком на грядке телеги, из одной прилегающей к Спадшанскому лесу деревни в другую. Все они были тыловыми базами Ковпака, кормившими и пополнявшими его отряд, и всех их спалили немцы, чтобы пусто было вокруг лесной партизанской крепости. Мало еще кто успел отстроиться после войны, одиноко стояли новые хаты среди заросших бурьяном пустырей и землянок. Невесело встречали здесь в те дни бывшие партизаны своего бывшего начальника штаба, невесело и провожали его. Шла уборка урожая, а хлеба уродилось мало, к тому же град местами сильно побил поля, и все зерно подчистую вывозилось по строгому графику прямо с токов на элеватор — ни на трудодни, ни на семена ничего не оставлялось в колхозах. С этого председатели и бригадиры начинали разговоры с Григорием Яковлевичем, когда мы слезали в деревне с телеги, на этом же и кончали их, когда мы садились на нее, уезжая.

— Может, Ковпаку напишете, — говорили они, скребя затылки. — Хотя бы на град скидку дали, а то опять без хлеба в землянках зимовать будем.

Григорий Яковлевич молча пожимал плечами и, беря вожжи, сердито понукал лошадь. Что он мог сказать этим людям, которых знал, когда они еще ребятишками были, ходили к нему в школу и которые потом в войну, пройдя с ним от Путивля до Карпат, вернулись домой калеками, кто без ног, кто без рук.

Молча ехали мы с ним из одной деревни в другую.

— А на град-то разве не полагается скидки? — вырвалось у меня наконец.

— Полагается-то полагается, — сказал он, — только просить не полагается.

Утром я сидел за столиком у раскрытого окна. Дождь прошел, на солнце все светилось, блестело — кусты, деревья, лужи, и в раме окна море было совсем как на картине, если бы не ржавая железная труба, торчавшая из залатанной крыши хозяйской халупы, но она-то, эта труба, бывшая некогда самоварной, и придавала морскому пейзажу какую-то особую домашнюю прелесть. Мне надо было кое-что записать, чтобы освободить голову от нахлынувших ночью воспоминаний.

Услышав тяжелые шаги хозяйки, поднимавшейся ко мне на крыльцо, я вспомнил, что нарушил вчера ее наказ, и замер в ожидании нагоняя. Действительно, Наталия Гавриловна пришла ко мне с недобрым лицом. Остановившись на пороге, она вызывающе скрестила руки на груди.

— Почто гроши вчера дали моему негодяю?

Я пообещал, что больше этого не будет, и Наталия Гавриловна, смягчившись, стала рассказывать, что она вчера перетерпела, пока нашла своего хозяина — и где! — представить себе это невозможно: ночью под дождем спал на лодочном причале, свесив голову над водой, — и как ей жалко его — красивый был и лихой, когда из партизан вернулся и конюхом работал в санатории, а как поставили ночным сторожем де-

журить, в такого негодяя превратился, что выгнала бы его со двора, да куда ему деваться, кто его кормить будет — до пенсии ему еще больше года осталось, завхоз давно уже грозитя снять с работы, а он вчера опять не вышел на дежурство, сегодня бегала в санаторий, едва упростила не выгнать.

Высказав все это, Наталия Гавриловна сразу успокоилась, словно решила, что повздохала, поохала и хватит — за дело надо браться.

— В столовку сегодня не ходьте, — сказала она, — суббота, мне на работу не идти, к обеду вареников готовлю. А сейчас чайник закипит, принесу. Яичек сварила вам десяток, кушайте на здоровье, поправляйтесь у нас в Черкассах.

Два дня сейчас выходных, но все равно для женщины, на плечах которой и работа и домашнее хозяйство, тем более с огородом, курами, утками и кабанчиками, суббота — самый суетливый день: со всем, до чего на неделе руки не доходили, надо управиться, чтобы на воскресенье не оставлять. У Наталии Гавриловны была большая стирка — два таза с намоченным бельем ждали ее на скамейке во дворе, в летней кухне печь топилась, в котле кипела вода, — но она, принеся мне чайник и яички, словно забыла про все свои хозяйские дела. Увидев, что я что-то пишу, сказала:

— По дому уже соскучились, письмо пишете? — И вздохнула: — А я, стыдно вам сказать, неграмотная.

Стоя в дверях, она принялась рассказывать, как это случилось, что она осталась неграмотной. Мачеха была злая, убежала она от нее к чужим людям — в совхоз, на ферму. Хорошие были люди, посылали в школу учиться, но ей больше нравилось за телятами ходить на ферме — очень полюбились ей телятки. А потом, когда мачеха померла, трудно было отцу управиться с оставшимися от нее малыми детьми, пришел он на ферму и расплакался: «Виноват перед тобой, Наташенька, прости меня». Ей тогда двенадцать лет было. Пожалела она отца, вернулась домой, хозяйкой и нянькой стала в доме.

— В школу не ходила, неграмотная, а считать могу. На продбазе тысячи две буханок перекидаешь за день, но чтоб со счета сбилась — случая такого ще не было. — Собравшись уже уходить, она обернулась и сказала: — Пенсия идет мне с этого года, но ще пороблю. Хорошо стало теперь, очень хорошо — зарплату получаешь и пенсию тебе начисляют на книжечку. Дай бог здоровья государству.

Ушла и через минуту вернулась, усмехнувшись, показала в окно на Афанасьевича и зашептала мне на ухо:

— Подывитесь, як мой тунеяец сегодня старается, грех свой замаливает. (Афанасьевич вывозил на тачке навоз со двора.) Утром встаю, а он уже воды наносил и в сарае клеть кабанчикам чистит. Додумался, а то двор не заставишь подмести, цельный день слоняется из угла в угол, с одной скамейки пересаживается на другую, а чтобы помочь в доме по хозяйству, настроения у него нема. Сегодня появилось. Чули, як я его воспитывала ночью?

Она расцвела от удовлетворения, что ее воспитание благотворно подействовало на Афанасьевича. Должно быть, привыкнув к квартирантам, она и меня считала уже своим в доме человеком. Видно было, что ей еще хотелось поговорить, но стирка ждала ее.

Наталия Гавриловна стирала белье у меня под окном в окружавшей ее толчее кур, уток и множества утят, которые бегали в возбужденном оживлении от одной лужи к другой. Загляделся я в окно, как властно царствовала она там, на умытом дождем дворе, у поднятого на скамейку цинкового корыта со стиральной доской в пузырявшейся пене: щупленький Афанасьевич, почтительно ожидавший поодаль ее повелительных знаков, кидался то к ведру с мыльной водой, чтоб опорожнить

его на задах двора, то к бочке с дождевой водой, чтоб зачерпнуть из нее ведро и вылить в корыто.

И вдруг распаивается калитка, и на дворе появляется Остап Тарасович. Ну конечно же, он: серый, самый обыкновенный штатский однобортный костюм, но чем-то похожий на мундир, может быть, только тем, что застегнут на все пуговицы, а их на нем, кажется, на одну или две больше, чем принято у штатских, и летняя шляпа самая обыкновенная, капроновая, но тоже сидит у него на голове строго, как форменная фуражка. Очень представительный, солидный человек Остап Тарасович, лицо у него гладкое, розовое, свежее, не скажешь, что старик, но плечи сильно сутулятся и походка старческая, с большим наклоном вперед, кажется, что он крадется на цыпочках.

Я невольно весь сжался и пригнул голову, чтобы он не заметил меня в окне, и в тот же миг услышал всплеск рук и радостное восклицание Наталии Гавриловны:

— Остап Тарасович! Приехали?!

Когда я поднял голову, Остап Тарасович уже стоял со шляпой в руке перед моим окном, утирал платком вспотевший лоб и смотрел на меня с улыбкой уставшего человека, укоризненно говорившей, что он изрядно заморился, пока разыскивал меня.

Наталия Гавриловна тоже подошла к окну.

— Вин из одной деревни с нами, брательник моей старой подруженьки Мани,— радостно объявила она мне, по-свойски ткнув Остапа Тарасовича пальцем в плечо, что заставило его отступить от нее на шаг в сторону и отряхнуть рукав пиджака.

Да, напрасной была моя попытка скрыться в Черкассах от Остапа Тарасовича.

Поднявшись ко мне, он оглядел с порога мою каморку и недоуменно пожал плечами, потом посмотрел в окно на хозяйскую халупу с железной трубой, покачал головой и сказал:

— Да-а-а, не очень-то презентабельно! И вас это устраивает?

— Вполне,— сказал я.— Видите: жасмин под окном и море в окне.

Остап Тарасович снисходительно похлопал меня по плечу, выразив тем свое огорчение, что, понадеясь на гостиницу, я попал в такую дыру. Приметив мою дорожную тетрадь, лежавшую на столе раскрытой, он опять покачал головой.

— Уже пишете что-то? Несерьезно как-то все получается у вас. Я полагаю, что прежде, чем писать, надо ознакомиться с тем, о чем вы хотите писать. Правильно я полагаю или нет?

Нельзя было не согласиться, что Остап Тарасович полагает совершенно правильно.

— В таком случае давайте начнем с того, что составим план, как это полагается,— сказал он и, взявшись за карандаш, попросил у меня листок бумаги, без которой, как я это уже знал, разговаривать ему было трудно.

— Какой план? — испугался я.

— План, по которому я буду знакомить вас с Черкассами,— пояснил он и, сев за стол, сразу же принялся составлять список всех своих родных и знакомых, у которых мы с ним должны будем побывать — у одних обязательно и в первую очередь, у других тоже обязательно, но во вторую очередь, у третьих не обязательно, но желательно, если время позволит. Так как конца этому списку не видно было, я понял, что план Остапа Тарасовича сулит мне бесконечные хождения с ним по гостям из одного дома в другой. Такой способ изучения города, несомненно, имеет некоторые преимущества и с ним можно было согласиться, но я ведь не собирался писать о сегодняшнем дне. Не успел я

сказать об этом Остапу Тарасовичу, как с ним вдруг что-то стряслось. Он побледнел, похоже было, что чего-то испугался, выпустил из руки карандаш и стал прислушиваться, непонятно только к чему. Я посмотрел в окно, не случилось ли чего на дворе. Нет, там ничего не случилось: Наталия Гавриловна развешивала на веревке выстиранное белье, Афанасьевич вынимал из таза и почтительно подавал ей его.

— Что такое? — спросил я Остапа Тарасовича.

— Извините, наверное, что-то нехорошее съел вчера в гостях. С утра уже меня мучило и немного подташнивало, а сейчас резь в животе почувствовал, — сказал он и попросил разрешения прилечь на минутку.

Перебравшись со стула на кровать, Остап Тарасович прилег, свесив ноги на пол, помял живот и принялся вспоминать, что он вчера и у кого ел в гостях.

— Может быть, студень свиной повредил?.. Или копченая селедка? — гадал он и ругал себя, что не может вспомнить все, что вчера ел, наверное, потому, что выпил лишнюю рюмку, а это никогда к добру не приводит. Потом, вспомнив, что у кого-то закусывал какими-то томатными консервами, он забеспокоился, не отравился ли ими, поднялся и сказал, что, видно, придется пойти на прием к врачу.

Заторопившись в больницу, Остап Тарасович, однако, не забыл оставить адрес своей сестры, у которой остановился, и наказал мне обязательно зайти к нему завтра утром, чтобы, если он будет здоров, не тратить попусту время в Черкассах.

Что будет завтра, это еще посмотрим, подумал я и пошел проводить Остапа Тарасовича в больницу. Перед ее воротами он немного постоял и, ощупав живот, сказал, что резь в желудке, кажется, проходит. Я уже опять поник было, но Остап Тарасович все же, подумав, решил, что лучше показаться врачу, так как со здоровьем шутки плохи, и, прощаясь, еще раз напомнил, что завтра утром ждет меня и тогда мы окончательно утрясем намеченный им план.

— Обязательно, — пообещал я, чтобы не задерживать его у ворот больницы.

Во всяком случае, сегодняшний солнечный день я мог провести так, как хотел. В ожидании вареников, которые Наталия Гавриловна пообещала приготовить к обеду, я сидел на днепровской круче под седыми соснами, забеленными пухом растущих по соседству с ними тополей. Не на скамейках сидят здесь и смотрят на море люди, а на голых стволах гигантских, сваленных бурями сосен. Тела этих павших деревьев костенеют тут, гладко отшлифованные задами, наверно, уже не одного поколения всех пересидевших на них людей. А те, что стоят еще вкривь и вкось над кручей, — памятники многих битв, которые они выдержали с буйными ветрами, обрушивавшимися на них с далекого разгона. Как глубоко укорениться, как цепко держаться за землю должны были они, чтобы устоять здесь, на краю крутой горы, думал я, глядя на эти искалеченные сосны: у одной макушка — как свернутая набок голова человека, у другой скручена в узел, точно в петлю затянута, или так ободрана, что только короткие сучки торчат вверх, как рожки. А позади этих калек, принимавших на себя самые сильные удары ураганов, толпятся, довольные своей счастливой судьбой, кудрявые красавцы с ветвистыми кронами. Нельзя было не подумать, что в жизни людей происходит то же самое, и не посмотреть на искалеченные сосны с той горечью и уважением, с какими смотрят на изуродованного в боях человека.

Страшно подойти к крутому откосу, голова закружится, если помотришь вниз. Но недалеко песчаным оползнем идет тропинка,

и по ней бегом, взявшись за руки, спускаются с горы девушка с высокой прической и парень со стародавней гитарой на плече, которая нынче отлично уживается у многих с неумолчным транзистором на боку.

Свежо после дождя, солнце греет не жарко, и внизу на обширном пляже малоллюдно. Большой, широкой дугой опоясывает он нижний берег от лодочных причалов до закрывающей его длинной дамбы, по которой шустро ползут из города к мосту и с моста в город автобусы и прочие автомашины. Сбежали с горы на пляж парень с девушкой и где-то уже затерялись. Есть там, на пустынной песчаной дуге, много маленьких зеленых островков мелкого лозняка-раakitника, где можно уединиться и в тени и на солнце у самой линии прибоя, отмеченного полоской тростникового крошева.

По влажной кромке песка, выглаженного накатом воды, бежит кто-то в плавках легкой спортивной трусцой, огибает пляж и исчезает под зеленым откосом дамбы, по которой, как дым, текут тени облаков. С глухим, протяжным шумом идет по мосту, скрытый его переплетом, поезд, и, когда выползает на дамбу, шум его становится гулким, а через несколько минут сразу глохнет — поезд уходит в сосновый бор. Над соснами высоко парит коршун, и он тоже, замахав крыльями, быстро скрывается за дамбой, где зеркало моря, преломляясь, поднимается к горизонту и сливается с небом. Мелькнет над водой чайка — и нет уже ее, растаяла в воздухе, как снежинка.

Должно быть, из какого-нибудь ближнего санатория или дома отдыха подходили кучки гуляющих и останавливались у поваленного бурей гиганта, чтобы поглядеть на море с горы. Из-за разноцветных будок, рядами нагроможденных на выступе нижнего берега, застроенного лодочными причалами черкасских рыболовов и охотников, величаво-медленно выплыл большой, блистательно белый на голубом фоне неба пароход. С дальнего причала, укрытого купой деревьев, к нему рванулись две точно с цепи сорвавшиеся моторки. Зарываясь в воду, вздымая пенные буруны, как горпеды, пронеслись они под кормой парохода и, затерявшись где-то далеко в солнечных бликах моря, вдруг словно из воды вынырнули у него перед носом. Пока пароход добирался до моста, они все время носились вокруг него. Казалось, что он стоит на одном месте, как слон, запутавшийся в петлях, которые одну за другой накидывают на него эти молниеносные моськи. Похоже было, что они смеются над беднягой. Должно быть, когда-то, и не так-то уж давно, еще на нашем веку, он слыл красой и гордостью днепровского пассажирского флота, а сейчас годен лишь на то, чтобы возить отдыхающих на недалекие водные прогулки, подумал я. И мне стало жаль, как живое существо, этого все еще нарядного, молодящегося тихихода — всех их, стариков, на Волге, на Днестре, на Каме постигла одна участь.

Наконец-то он добрался до моста и скрылся за его бетонными быками с глаз людей. Вскоре вдогонку за ним гордо пронеслась на своих подводных крыльях «ракета», перехватившая все пассажирское движение на реках и мяхах-водохранилищах, но она не привлекла к себе внимания зрителей — никто не повернул головы ей вслед, не новинка уже: на линии Киев — Черкассы, курсируя по несколько раз в день, стала обыкновенным речным трамвайчиком. Ох, как страшно быстро все устаревает нынче!

Много чего можно увидеть и о чем подумать, сидя на днепровской круче в Черкассах.

Вдруг кто-то вскрикивает: «Ах!», а кто-то другой: «Ох!» — и я вижу на море человека, который на полусогнутых ногах, по шиколотку в кипящей пене мчится, как показалось мне, за каким-то фыркающим и

выпрыгивающим из воды белогривым зверем. Если бы не вскрикнутые рядом «ах» и «ох», я принял бы это за причудлившееся мне фантастическое видение, промелькнувшее и исчезнувшее с космической скоростью. Люди, стоявшие неподалеку от меня, напряженно вглядывались во что-то, чего я не замечал. Через две или три минуты то же видение снова появилось, но на этот раз ближе к берегу, так что я мог уже ясно разглядеть его.

Конечно, я слышал, что есть лыжи, на которых хорошо натренированные спортсмены бегают по воде, но знал об этом только понаслышке, должно быть потому, что всегда большим рекам и водохранилищам предпочитал маленькие, тихие речки и глухие, заваленные корягами лесные пруды, где еще водятся караси и даже русалка может выплыть при луне, если очень уж разыграется воображение.

Теперь я воочию увидел, что такое спорт на водных лыжах, и тоже громко ахнул. Все произошло в одно мгновение. Только успел я разглядеть человека, которого моторка, выпрыгивавшая из воды, как зверь, тащила за собой, как он выпустил из рук туго натянутые шнуры, взлетел вверх ногами и ушел головой под воду. Ну как тут не ахнуть! Я был уверен, что он пошел на дно морское с такой же быстротой, с какой летел на лыжах за моторкой, и не подняться ему уже из глубин, в которые нырнул. Но в следующее мгновение громкий смех зрителей дал мне понять, что не удержавшийся на лыжах спортсмен успел счастливо вынырнуть.

Зрителей на горе поубавилось: те, кого не пугал крутой спуск песчаной тропинкой на пляж, сбегали вниз посмотреть на барахтавшегося в воде лыжника. Я тоже стал спускаться с обрыва, не торопился, осторожно ступал, чтобы не сорваться, но все же не удержался на ногах, потерял очки, и мне пришлось поползти и порыться в песке, пока нашел их. А к тому времени ни моторки, ни лыжника не было видно уже, и люди, сбегавшие с горы, разбрелись.

Вернувшись домой, я застал Наталию Гавриловну и Афанасьевича сидевшими уже за обеденным столом, поставленным посреди двора под кустом жасмина. Пригласив меня к столу, Наталия Гавриловна спросила:

— Ну как, Остапу Тарасовичу трошки полегчало? — И сказала, что муж его сестры, а ее подружки Мани работает на скотобойне, и борщ у нее такой жирный, что Остап Тарасович, приезжая из Москвы отдыхать, первые дни всегда страдает желудком, но после привыкает к борщу и здоровеет от него как на дрожжах, так что беспокоиться за него не надо.

Затем она поинтересовалась, где я познакомился с Остапом Тарасовичем — в Москве или по дороге, и похвалила его за то, что он сердечный и внимательный ко всем человек: кто бы что ни попросил достать в Москве или справку какую-нибудь навести — в книжечку себе запишет и непременно сделает то, что просили, а летом, когда приедет, всех своих родственников и земляков обойдет, никого не забудет, за пятьдесят километров съездит в деревню на автобусе, только чтобы передать привет от своей супруги.

Налив мне, или насыпав, как говорят здесь, тарелку борща, Наталия Гавриловна пожаловалась, что с мясом стало трудно — ни в магазине, ни на рынке не достанешь, — и поэтому борщ у нее не такой, как у Мани, но вот утята подрастут, и тогда будет пожирнее. Посмотрев на сновавших под ногами утят, она сказала:

— Старшеньким уже недолго бегать осталось — месяца через два в борщ зачну кидать.

— Уважаю с утятинной — самый наилучший борщ, — промолвил Афанасьевич.

— Утятину вин уважает, а до себя уважения у него нема, — сказала Наталия Гавриловна, разволновалась и заговорила о помоях, без которых остались сегодня кабанчики из-за того, что Афанасьевич вчера свалился с ног на причале и не вышел на дежурство. — Одна только польза от мужика, что ведро помоев принесет из своего санатория, — сердито заключила она разговор об этом.

Афанасьевич не оправдывался. Он сидел за столом с довольной улыбкой, но эта улыбка как-то удивительно сочеталась на его лице с выражением самого искреннего раскаяния в том, что он натворил вчера, и готовностью всячески выслуживать у жены прощение всех своих тяжких грехов, и не просто выслуживать, а с удовольствием, как человек, который хорошо понимает пользу наказания и очень рад, что удостоился его.

— Наташенька, — ласково заговорил он, когда Наталия Гавриловна примолкла, — забудь сказать тебе вчера, пшеницу в магазин завезли, тридцать копеек кило. Не взять ли нам мешок в запас, а то как бы не разобрали всю — чем тогда будем курей кормить зимой?

Афанасьевич прямо-таки лоснился от удовольствия, что стал таким хозяйственным — вчера невдомек ему было двор подмести, а сегодня обо всем в доме у него забота: лето еще только начинается, но он уже загадя печется, как бы на зиму куры не остались без корма.

Хорошо, когда, войдя временным квартирантом в чужую семью, начинаешь чувствовать себя здесь своим человеком, сидишь за обеденным столом вместе с хозяевами и невольно вникаешь в их домашние дела и заботы. Самая простая, обыкновенная жизнь, но тем-то она и интересна, что обыкновенная, повседневная, всем людям причастная. Одно смущало меня: Наталия Гавриловна работает и вдобавок пенсию получает, Афанасьевичу тоже идет какая-то зарплата, в хозяйстве куры, утки, кабанчики, сад, огород, летом дачникам сдают два домика, а хата, в которой сами живут, худая и нет в ней, как я имел уже случай убедиться в этом вчера, ничего, что говорило бы о достатке хозяев, — одна старая, переташенная из деревни рухлядь: тазы с облупившейся эмалью, черные от копоти, обросшие жирной засохшей накипью керосинки, ходики с потемневшими от времени гирями и выцветшим циферблатом, вековечный, окованный железом сундук и огромная, заваленная ватным тряпьем и засаленными подушками без наволочек, деревянная кровать, похожая на старинную, снятую с колес колымагу. В чем же причина такого неприглядного обихода, думал я, принимаясь после борща за обильно политые сметаной вареники с творогом, которых Наталия Гавриловна навалила мне полную глубокую тарелку, — и едят в доме не бедно, и квартирантов угощать не скупятся, а щербатый обеденный стол только в середине покрыт ветхой, протертой до дыр клеенкой.

Недолго мне пришлось размышлять об этом. Мы еще сидели за столом, когда во двор зашла молодая пара, осторожно переступавшая между непросохшими после дождя лужами. Она выглядела здесь столь же неуместной, как и роскошный куст жасмина, цветущий под боком у жалкой хозяйской хатенки. Судя по их обличью, эти люди — элегантный молодой человек в белоснежной нейлоновой сорочке и его не менее элегантная дама — могли заглянуть сюда, на загаженный утками и курами двор, только случайно или по ошибке. И вдруг я слышу:

— Мама, можно тебя на минутку?..

Это сказал молодой человек. Он остановился со своей дамой у дверей хозяйской хаты, словно не решался пройти с ней дальше во двор.

Я не сразу сообразил, к кому он обратился, где тут его мама,— понял это, когда Наталия Гавриловна уже вышла из-за стола и заговорила с молодыми людьми. Разговор шел вполголоса. Афанасьевич, оставшийся со мной за столом, сидел с равнодушнейшим видом, но заметно было, что равнодушие его напускное, а на самом деле он внимательно прислушивается, и то, что доходит до его слуха, все больше и больше не нравится ему. Когда Наталия Гавриловна, на минутку зайдя в хату, вышла из нее и передала что-то в руки молодому человеку, которого все еще трудно было мне признать за ее сына, Афанасьевич уже не мог скрывать свое неудовольствие и насунился как сын.

Молодая пара вскоре выпорхнула со двора, и Наталия Гавриловна, вернувшись к столу, сказала мне:

— Бачили, якие гладенькие сынок мой и невестка? Недавно женила. Им теперь жить, а нам дал бы бог только здоровья, чтобы помогать им.

— Гроши для них припасать,— невольно, должно быть, сорвалось с языка у Афанасьевича, потому что он тут же сник под грозным взглядом Наталии Гавриловны.

— Не твои гроши даю,— сказала она и, круто обернувшись к Афанасьевичу спиной, чтоб не видеть его, негодая, сложила руки на груди и долго сидела молча, величественно суровая.

Пытаясь вывернуться, Афанасьевич жалостно заискивал:

— Наташенька, ты не поняла меня, я же не против, чтобы ты Сереже с Ниной помогала. Помогай, расходы у них большие, потому я и сказал тебе, что надо гроши припасать.

На все согласен был Афанасьевич, только бы снискать милость снова разгневавшейся на него жены, но Наталия Гавриловна непоколебимо продолжала сидеть к нему спиной. Ни одним словом не удостоила она больше бедного Афанасьевича. Посидела молча, потом глубоко вздохнула и заговорила со мной о том, что, должно быть, не раз приходило ей на ум,— как трудно начинать жизнь в городе молодым людям, которые получили образование и обязаны соблюдать, чтобы все было дома культурно, как положено образованным, а дома у них нет ничего своего, все надо покупать в магазине или на рынке, за каждое яичко платить.

Заговорила об яичках и совсем разволновалась, что за них придется деньги платить сыну с невесткой.

— Это же немыслимо, сколько им денег надо иметь! А за образование много ли платят? Сережа вот институт окончил в Киеве, третий год врачом работает в горбольнице, а я неграмотная, только считать умею, получаю на продбазе побольше его. Как же не помочь им холодильник купить, раз случай подвернулся. Нам холодильник ни к чему — погреб есть, а они на пятом этаже живут в новом доме.— Заулыбавшись вдруг, она сказала: — К зиме кабанчика зарежу, будет им что в холодильник положить.

И это счастье для нее, что у сына с невесткой холодильник будет. По такому случаю, подумал я, она, пожалуй, зарежет одного кабанчика, не дождавшись зимы.

Все, что на уме, то и на языке у Наталии Гавриловны. Квартиранты ее несколько не стесняют. Может быть, потому и приглашает их на вареники, чтобы было с кем поговорить за столом, кому пожаловаться на Афанасьевича.

Порадовавшись, что у молодых холодильник будет, Наталия Гавриловна сказала, что теперь ей надо бы присмотреть для них трехстворчатый полированный шкаф, а потом, спохватившись, стала ругать себя, что засиделась за столом — огород ее ждет: ветром нанесло колорадского жука, ест картошку, если не опрыскать ботву, всю дотла сожрет —



сама сегодня слышала, по радио говорили. Вспокоилась, заторопившись на огород травить жука. и принялась тут же у стола разводить в помойном ведре что-то такое пахучее, что я поблагодарил за угощение и поспешил выйти со двора.

Тихо было на деревенской улице, далеко уходявшей куда-то. Я шел, не глядя вокруг, и думал, чего только не пришлось пережить за свой век Наталии Гавриловне и как она счастлива сейчас: полновластная хозяйка в своем доме, мужем командует, и взрослый сын с высшим образованием у нее, неграмотной женщины, как видно, на полной опеке. А росла сиротой в чужих людях. Думал о Наталии Гавриловне, и в памяти вставали лица многих знакомых пожилых деревенских женщин, судьбы которых были разными, а доля-то, в общем, одна — непосильная мужскому полу. Безжалостной была крестьянская жизнь к бабе, но характеры выковывала такие, что, какую бы ношу ни навалили, она не застонет, не скинет, безотказно будет тащить. И то, что Наталии Гавриловне с Афанасьевичем надо воевать, это для нее, кажется, тоже счастье — счастье всепобеждающей бабьей жалости: Афанасьевич же для нее дите слабое.

Шел, думал, вспоминал, пока не услышал чей-то голос:

— Что за человек ходит?

Оглянувшись, я увидел, что на скамейках у калиток сидят старушки и зорко глядят на меня. Деревня, а в деревне, как известно, старушки не пропустят мимо ни одного незнакомого человека, не полюбобытствовав, откуда он тут взялся, чего ему надо.

Я зашагал быстрее, но улица была длинная и на всем ее протяжении в тени тополей, шелковиц и белой отцветающей акации сидели бабы, позволившие себе отдохнуть в выходной день. Чтобы скрыться от их вопрошающих взглядов, я свернул в первый попавшийся глухой проулок. Он вывел меня на заболоченный лужок, где паслись гуси и несколько коз, привязанных к колышкам. Обойдя лужок, я попал в другой проулок и, когда выбрался из него на улицу, потерял уже всякое представление, в какую сторону идти домой. На беду себе, я не позаботился узнать у хозяев их адреса, фамилии даже не знал. Пришлось возложить всю надежду на гору, авось увижу с нее приметную железную трубу хозяйской хатенки или куст жасмина, растущий под моим окном. Однако забравшись на гору, я увидел, что раскинувшейся внизу деревне конца не видно ни в одну, ни в другую сторону — далеко расползлась она по всему нижнему берегу. Где уж тут, в этом море крыш, найти какую-нибудь одну.

Как выяснилось потом, раньше здесь были две большие, слившиеся теперь пригородные деревни Василица и Дахновка, и я, задумавшись о безжалостной к бабе крестьянской жизни, сам того не заметил, как прошел одну и попал в другую. Обе они нынче в черте города, мне надо было только дойти до остановки автобуса, чтобы через несколько минут, выйдя из него, спуститься с горы прямо к себе на двор.

Наталии Гавриловны не было дома. Управившись на огороде, она уехала за море, как сказал мне Афанасьевич, — туда, где возле своей затопленной деревни ловит с кем-то из соседей рыбу в камышах.

— Наташа у меня хорошая рыбацка, — сказал он. — Съездит на ночь и на неделю рыбы наловит. Мелкую себе оставит, а крупную отложит для Сережи с Нинкой — они только крупную уважают.

Афанасьевич стоял под яблоней на табурете, обирал с нее паутинки с червячками плодовой и совал их в карман, а то и мимо него просыпал, словно дело это было никчемное и он не хотел попусту утруждать себя. Видно было, что если в присутствии Наталии Гавриловны Афанасьевич выполняет наложенные на него наказания с удовольствием, то, когда она уходит из дому, относится к ним чисто формально.

Спрыгнув с табуретки, он сел на скамейку и сказал:

— Скоро мне на дежурство идти в свою санаторию, надо трошки отдохнуть. Присаживайся, Николаевич, покурим, побалакаем.

— Всю ночь дежурите? — спросил я.

— До самого утра.

— Устаете?

— Как не устать — за день-то умаешься дома по хозяйству.

— А на работе?

— Конохом был — работа была, а сейчас всех делов у меня что электричество включить и выключить.

— Скучновато?

— Пока свет не выключу, поскучаю, как выключу, так спать лягу, — сказал он и вздохнул: — Сегодня опять видел во сне медаль.

— Какую медаль? — спросил я.

— Свою дорогую, партизанскую. В Киеве Сидор Артемович Ковпак самолично вручил мне. «Не золотая, говорит, но дороже самой золотой». А я, негодяй, один день поносил и потерял свою высокую награду. Ехал из Киева в Черкассы, а в вагоне жарко было, скинул пиджак, на станции выскочил в буфет, встретил дружка — тоже партизан с медалью, — выпили мы с ним по сто с прицепом, ну и отстали от поезда. Ему-то что — медаль при нем, а моя медаль уехала с пиджаком в неизвестном, как говорят, направлении. Вот как бывает в жизни, Николаевич. Теперь только во сне вижу свою правительственную награду. Как выпью, обязательно приснится мне, что я с медалью хожу.

Потом Афанасьевич опять заговорил о Ковпаке:

— Бачили в Киеве шубу Ковпака?.. В музее ее выставили. Драгоценнейшая трофейная шуба. Она только и спасала Сидора Артемовича от ревматизма. Ни зимой, ни летом, если холодно было или сыро, николи не скидал ее. А когда мы на Карпаты в рейд шли, в Полесье страшный мороз стоял. Бой там был, вдруг, слышим, кричат: «Ковпака убили!» — и правда, несут его бойцы закутанного в шубу. По шубе все признают, что Ковпак. Но эта не он был, а только шуба его была. Ковпак скинул ее в бою, чтобы укрыть одного раненого, не побоялся, что ревматизма замучает. Вот какой герой — превыше самого Суворова, Кутузова и даже Александра Невского почитаю его.

Афанасьевич был у Ковпака повозочным в санчасти — возил раненых и больных в обозе, но нет, должно быть, у него ничего дороже, чем память о тех партизанских годах, когда и его краешком коснулась слава. Посидели мы с ним на скамеечке, поговорили о Ковпаке, и он пошел на ночное дежурство, прихватив с собой ведро для помоев кабанчикам.

Всю ночь просидел я за столиком у открытого окна и, поглядывая на освещавшие дамбу огни, которые далеко уходили по ней в тьму моря, перебирал в памяти все свои встречи с Сидором Артемовичем Ковпаком, Григорием Яковлевичем Базимой, их боевыми соратниками и кое-что записывал. Утром, посмотрев, как солнце, вылезая из воды, живо расписывает море красками нового чудесного дня, завалился спать такой счастливый, словно самого бога увидел и он приветствовал меня с неба. А проснувшись, вскочил как змеей ужаленный — услышал голос Остапа Тарасовича:

— Двенадцатый час, а вы еще спите, ну, куда это годится.

Забыл я, что пообещал Остапу Тарасовичу зайти к нему сегодня утром, чтобы окончательно утрясти предложенный им план, совсем, совсем забыл про Остапа Тарасовича, будто его и на свете уже не существует.

Нет, не во сне, а наяву увидел я его, живого, здорового, отлично выглядевшего в своем выходном, старательно отутюженном костюме ●н

стоял у меня под окном с полевым биноклем на шее и укоризненно качал головой:

— Ай-яй-яй! С восьми часов жду вас. Думал уже, что заболели, а вы спите как ни в чем не бывало. Нехорошо! Нехорошо! Раз пообещали, надо держать слово, я так считаю.

Нет ничего хуже, когда тебя спросонок захватят так вот врасплох, что не увильнешь, не убежишь, не скроешься... Пришлось признать, что да, плохо, очень плохо получилось — долго не мог заснуть и проспал, к сожалению.

Остап Тарасович махнул рукой: ну что поделаешь, раз такой несерьезный человек — приехал в Черкассы и спит до полудня.

— Не будем больше зря время терять, — сказал он. — И без того много потеряли. Одевайтесь скорее, умывайтесь и пойдем.

— Куда? — спросил я.

— Врач велел мне посидеть два дня на диете, — сказал он, — так что сегодня, пожалуй, лучше нам ни к кому не ходить. Воспользуемся хорошей погодой и пройдемся по городу, чтобы вы могли получить общее представление о Черкассах и особенностях его городского хозяйства. Я полагаю, что вам это необходимо прежде всего.

Ну как не согласиться с тем, что, будучи в Черкассах, необходимо получить хотя бы общее представление об этом городе. Надо отдать должное Остапу Тарасовичу — твердые, непоколебимые основы у него, не возразишь.

Пока я одевался и умывался, Остап Тарасович, разложив на скамейке газету, чтобы не опасно было присесть на дворе к кухонному столу, принялся что-то чертить карандашом на листке бумаги. Подозвав затем меня, он показал сделанный им схематический набросочек плана города Черкассы и обозначил на нем крестиками все те важнейшие объекты, которые нам с ним предстояло обозреть в течение сегодняшнего дня. После этого он поднялся, сложил газету и сказал:

— Сейчас мы взберемся с вами на гору, сядем на автобус и доедем до Сосновки — это будет северная окраина Черкасс, отсюда мы двинемся в южном направлении к порту. Таким образом, за один день, увидев старые Черкассы и новые, вы сможете сравнить, что было раньше и каким город стал сейчас.

Да, не отвертеться мне от этого хождения и сравнения, подумал я и сказал:

— Отлично, но я еще не завтракал, а перед таким путешествием надо как следует подкрепиться.

— А я считаю, что нам лучше сделать это по дороге в каком-нибудь кафе или столовой, где можно будет получить что-нибудь диетическое, — сказал он.

И против этого трудно было возразить, имея в виду, что Остап Тарасович на диете, а ему, вероятно, тоже необходимо подкрепиться.

— А бинокль-то зачем? — спросил я.

— На всякий случай, чтобы издали можно было посмотреть, — ответил Остап Тарасович и сказал, что этот бинокль у него с 1918 года, подобрал его, уходя с развалившегося фронта, и очень кстати подобрал, потому что, если бы возвращался домой без бинокля, неминуемо попал бы к белым — такая тогда была тут заваруха.

Мы вышли из автобуса на конечной остановке, где он разворачивается на кругу в сосновом парке перед крутым спуском к берегу. Здесь Остап Тарасович показал мне живописно расположенную в парке туристскую гостиницу, в которой, как он сказал, я мог бы хорошо устроиться, если бы она не была сейчас на ремонте, и павильон с открытой террасой, где мы могли бы позавтракать, если бы там не стояла очередь за пивом. Затем он привел меня к двум расположенным по соседству с гостиницей

ресторанам. Один из них был весь на виду, обыкновенный, стеклянный, а другой скрыт в глубине горы, из которой на поверхность подымается только дворцовый вестибюль с застывшим у дверей швейцаром в золотых галунах.

— В подземный не пойдем, дорогой, там за бочками и на бочках сидят,— сказал Остап Тарасович, и мы пошли в сверкавшую на солнце стекляшку.

Официантка приняла у меня заказ, успела уже подать на стол, а Остап Тарасович, изучая меню, все еще раздумывал, что бы такое взять, что не повредило бы ему, пока наконец не решил ограничиться бутылкой кефира. Но когда кефир был подан, Остап Тарасович передумал и попросил заменить его стаканом чая с лимоном. Официантка, разгневавшись, схватила кефир и унесла его, ничего не сказав. Я уже поел, но Остап Тарасович все еще упорно ждал чая. Заскучав, я взял в буфете бутылку кагора и предложил в ожидании чая выпить со мною по стаканчику этого сладенького вина.

— Пожалуй, это не должно повредить мне. Кагор — вино лечебное,— сказал он, изучив этикетку.

После голодной диеты, на которой Остап Тарасович сидел со вчерашнего утра, вино заметно подействовало на него. Порозовев, он растянулся стягивавший, как корсет, пиджак, обмяк, и на лице его появилось выражение человека, который, устав от повседневных трудов и забот, пришел сюда отдохнуть и поэтому может спокойно посидеть в ожидании чая, поглядывая в бинокль на сияющие за стеклянной стеной солнце и море.

Я подумал, что вино авось поможет мне как-нибудь уклониться от обязательного обозрения всех объектов городского хозяйства Черкасс, и, чтобы отвлечь мысли Остапа Тарасовича подальше от этих объектов, необходимых для сравнения прошлого с настоящим, завел разговор о его жене — почему она не поехала с ним в Черкасы, осталась в Москве одна-одинешенька.

— Тяжело ей встречаться с моими родственниками,— сказал он.— Дети у них живы остались, а наш единственный сынок погиб на войне. Больше тридцати лет прошло уже, но она все плачет, увидит детей и расстроится. Из дому не выйдет погулять в хорошую погоду, на балконе только и дышит воздухом.

Мы просидели с Остапом Тарасовичем в стекляшке, пока бутылка кагора не опустела. Он рассказывал, как провожал с женой в сорок первом году с Белорусского вокзала сына, лейтенанта, какой он был красивый, умный, как его все в школе любили, показал его цветную фотографию, которую носил в одной обертке с паспортом.

Фотография была не с натуры, а с акварельного портрета, который был заказан Остапом Тарасовичем какому-то художнику уже после войны и написан по старым, довоенным снимкам сына. Лицо молодого лейтенанта выглядело на этой фотографии таким кукольно красивым, неживым, что я смотрел на него и неловко чувствовал себя, не зная, что сказать Остапу Тарасовичу.

Разгневавшаяся на него официантка так и не подала ему чая, и когда мы поднялись из-за стола, он подошел к ней и корректно выразил свое сожаление, что обслуживание клиентов в сети общественного питания все еще не достигло надлежащего уровня.

Из летнего ресторана Остап Тарасович повел меня в глубину лесопарка, где приехавшие на выходной день горожане закусывали на травке под соснами, прогуливались по тропинкам, поднимаясь с одного бугра на другой, и присаживались на пни, которые все тут искусно превращены в причудливые столы, скамейки и кресла. Не бог весть какое изобретение, но как не присесть в кресло, если сиденьем служит огромный

пень, а спинкой нижний сук, сохранившийся от того же сваленного дерева, и если эти кресла стоят вокруг стола, состоящего из двух пней, так насаженных один на другой, что издали стол только своими габаритами отличается от коренастого гриба-боровика.

И мы с Остапом Тарасовичем на минутку присели на эти расставленные под соснами кресла. Присев, он посоветовал мне обратить внимание на то, как горсовет в Черкассах умеет украсить отдых людей.

— Не надо замалчивать недостатки, но и достижения обязательно надо отмечать,— сказал он и снова заговорил о своем сыне, погибшем в окружении чуть ли не на второй или третий день после того, как они с женой проводили его с Белорусского вокзала.

Много лет искал Остап Тарасович затерявшуюся в лесах могилу сына, пока не понял, что ее уже не найти, и тогда задумал поставить сыну памятник на каком-нибудь сельском кладбище под Москвой. Надо было получить на это разрешение, и он добился его, поставилobelisk с цветной фотографией сына под стеклом, ограду, скамеечку, посадил цветы и теперь по воскресным дням ездит с женой на эту символическую могилу.

— Считаю, что наш сынок тут похоронен,— вздохнул Остап Тарасович.

Немало, наверное, есть на наших кладбищах таких условных могил с памятниками, поставленными родителями своим погибшим на войне детям. Знаю я еще одного человека—это мой давний знакомый,—который больше двадцати лет ежегодно ездит на далекие братские могилы, где, как можно было предполагать, захоронены или перезахоронены останки двух его сыновей, а потом, когда ему уже не под силу стало больше ездить далеко, поставил им общий памятник на кладбище одного подмосковного поселка, и теперь для него их могила тут.

Я посмотрел на Остапа Тарасовича и, будто увидев в нем своего старого знакомого, подумал, что нужно быть добрее ко всем людям и не торопиться судить их.

Потянув за цепочку, Остап Тарасович вытащил из брючного карманчика свои тяжелые, как гири, часы с крышкой, которая открывается беззвучно, а когда закрываешь, громко щелкает.

— Время идет, а мы с вами расслаживаем,— сказал он, засунув часы обратно в карманчик и подергав цепочку, свисавшую из него и закрепленную в другом кармане на замочек, такой же стародавний, как и часы.

Из Сосновки нам следовало двигаться пешком куда-то в южном направлении по намеченному Остапом Тарасовичем маршруту, уклониться от которого у меня уже не было возможности. Однако недалеко мы с ним ушли пешим ходом, шагая обочиной широкой асфальтированной дороги. Только два или три автобуса успели обогнать нас, как Остап Тарасович почувствовал слабость в ногах—конечно, при голодной диете один кагор не мог подкрепить его надолго—и предложил воспользоваться городским транспортом, чтобы сэкономить необходимые нам силы.

Мы проехали на автобусе несколько остановок и, сойдя с него, снова попали в сосновый парк. Здесь Остап Тарасович предложил мне обратить внимание на широкую аллею с низенькими скамеечками—какой они оригинальной конструкции, на огромные, похожие на обломки скал камни—как живописно нагромождены они тут и там среди сосен, на каскад прудов с водостоком под гору—как загрязнен верхний пруд и как чист нижний, и на ряд других объектов, украшающих этот городской парк. Потом он привел меня под крышу воздвигнутой над кручей горы беседки с колоннами и балюстрадой, и тут мы немного постояли, глядя на море. Дамба и мост остались уже позади нас, и все необозримое про-

странство моря, которое они скрывали раньше, теперь простиралось перед нами.

— Вон там было мое село,— показал рукой Остап Тарасович, глядя в свой цейсовский бинокль.— Около тысячи дворов, ветряные и водяные мельницы, кузни, сукновалки...

— Где? — Я ничего не увидел на всем этом пространстве, кроме зеркала блещущей на солнце воды.

— Сейчас оно давно уже все под водой, но говорят, что, когда вода спадает, из нее выступает маленький островочек и на нем большой пенёк. Люди ездят на лодке посмотреть на этот пенёк. Большой тополь рос там, на бугре,— сказал Остап Тарасович.

Он долго смотрел в ту сторону, куда показал, будто ждал, что этот бугорок с пнем тополя вот-вот может появиться из воды.

Все родные у него здесь, сам он уж давно на пенсии, так почему бы ему со своей старухой не вернуться на родную землю, которая, как видно, тянет его к себе, подумал я и спросил об этом.

— Я считаю, что мы должны жить там, где стоит памятник нашему сыну,— ответил он.

Обернувшись спиной к морю, Остап Тарасович навел бинокль на новый многоэтажный дом, одиноко возвышавшийся за оврагом на соседней прибрежной горе.

— Это будет самая большая в Черкассах гостиница. Строительство ее в основном уже закончено, но недоделок, как я вижу, еще много,— говорил он, а затем повел меня показывать новую гостиницу с другой стороны.

По дороге на захламленных задворках строительства мы натолкнулись на большую кучу битого оконного стекла. Остановившись возле этой кучи, Остап Тарасович повздыхал, покрутил головой и сказал, что нельзя равнодушно проходить мимо такого расточительства дефицитного стройматериала. Он уже вынул из кармана свою записную книжечку и карандаш, чтобы взять на заметку это расточительство, но, увидев двух девушек в заляпанных побелкой комбинезонах, отдыхавших лежа за кустом под глухим забором, направился к ним. Девушки, вовремя заметившие, что к ним подходит кто-то с книжечкой в одной руке и с карандашом в другой да еще с биноклем на шее, вспорхнули, как вспугнутые птицы. Не понимая, куда они в один миг исчезли, Остап Тарасович растерянно блуждал взглядом, пока не обнаружил в заборе дыру, куда и нырнули строительницы, принявшие его, должно быть, за какое-то невзначай нагрянувшее начальство.

Так мы и не осмотрели новую гостиницу с другой стороны. Поругав строителей за кучу набитого стекла, Остап Тарасович предложил мне посмотреть телевизионную вышку, одну из новейших достопримечательностей Черкасс. Эта вышка, сооруженная на самой высокой точке города, отлично видна издали, поэтому мы ограничились тем, что посмотрели на нее в бинокль.

Дальше наш маршрут пролегал лабиринтом узких, стиснутых заборами улочек и проулков с маленькими домиками и садиками. Это была старая окраина Черкасс, где нам следовало заглянуть на минутку к сестре Остапа Тарасовича Марии Тарасовне, у которой он остановился. Такая необходимость вызывалась тем, что Остап Тарасович не мог пройти мимо дома своих родственников, не познакомив меня с ними.

Мы застали их обоих на дворе, затененном зеленым навесом из виноградных лоз, державшихся на проволочном каркасе. Все тут радовало глаз, но обращенные на меня взгляды хозяев если не откровенно, то все же достаточно ясно говорили, что они не совсем понимают, чего ради Остап Тарасович привел к ним незнакомого человека. Оба смотрели на меня как бы с опаской, словно мое появление на дворе могло чем-то

угрожать им. Однако Остап Тарасович, не обратив на это внимания, представил меня своим родственникам так, будто они только и ждали, когда же наконец познакомятся со мной. Потом он, ничего не говоря хозяевам, провел меня в дом, чтобы показать, как хорошо устроился у родных и как я мог бы хорошо устроиться здесь.

В столовой с черным громоздким буфетом было полутемно от виноградных лоз, затемнявших окно, но в зале и спальней зеркально сверкали полы, а стены, оконные рамы, подоконники, занавески на окнах, плотняные чехлы на диванах, накрахмаленные скатерти на столах, пикейные покрывала и горы пышно взбитых подушек на кроватях белоснежно сияли. Все тут говорило, что хозяева дома — старые добропорядочные люди, которые не гонятся за временем, живут так, как им предки завещали, и больше всего блюдут чистоту в доме.

Пока Остап Тарасович показывал, как было бы тут хорошо и мне — вот какой у него в комнате совершенно свободный диван, стол, настольная лампа под белым абажуром и все прочее, — оба они, сестра, очень похожая на него, но менее видная, и муж ее, человек ничем не примечательной внешности, молча стояли в дверях столовой и смотрели на меня с застывшим в глазах испугом. Однако Остап Тарасович решительно не замечал этого. Предлагая мне перебраться к нему на квартиру, он даже не обернулся к хозяевам — видимо, пребывал в полной уверенности, что ради него, своего дорогого московского гостя, они сочтут за счастье предоставить диван и все прочее кому угодно.

Чтобы успокоить хозяев, я поторопился напомнить Остапу Тарасовичу, что мы зашли сюда по дороге только на одну минутку, и взял его под руку. Уходя, он предупредил свою сестру, что вернется домой сегодня поздно, потому что должен показать мне весь город, а пока успел показать лишь окраину его.

Жаль было мне Остапа Тарасовича — зачем ему, старому, больному, сидящему на диете человеку, знакомить меня с людьми, которые несколько не нуждаются в этом? И с чего это ему втемяшилось, что он должен помочь мне написать о Черкассах, сравнить старое с новым? Ноги у него уже слабели, а он ходит, мучает и меня и себя. Заведет еще на какой-нибудь двор, где сорвавшаяся с цепи собака покусает нас...

Так это чуть было и не случилось вскоре. Не легко выбраться из лабиринта старых черкасских улочек: как ручейки, прихотливо виляют они из стороны в сторону, если на перекрестке не постоишь, не подумаешь или не спросишь у людей, куда надо свернуть, легко сбиться с направления и пойти по той же улице в обратную сторону. И Остап Тарасович не раз останавливался, думал, смотрел в бинокль вперед и назад. Наконец мы начали спускаться с горы оврагом, застроенным маленькими домишками.

Здесь Остап Тарасович предложил мне зайти в один из этих заползших в овраг домиков, чтобы посмотреть картину, написанную его хозяином, бывшим рыбаком, страдающим после войны расстройством речи. На мой вопрос, что это за картина, он ответил, что на ней изображена его бывшая деревенская хата, проданная потом этому самому рыбаку и художнику, и что на картине я увижу перед хатой два старых тополя, хотя на самом деле возле нее рос только один тополь, как многие хорошо помнят и как это доказывает выступающий из воды пеня.

— Иначе осталось бы два пня, а не один, — сказал Остап Тарасович, остановившись у калитки домика, где ныне проживает создатель картины, работающий после затопления деревни газетным киоскером в городе.

Вот тут-то, когда мы входили в калитку, на нас со злым лаем кинулась собака. Хорошо, что мы успели вовремя попятиться и захлопнуть

калитку перед самым ее носом. В эту же минуту из-за угла дома выбежал его хозяин, похожий не то на старого запорожца, не то на турка — бритоголовый, седоусый, до пояса голый, в широких, колыхавшихся, как юбка, штанах. Присев на согнутых ногах, он замахал руками, захлопал себя по ляжкам. Оказалось, что таким образом он подзывал к себе собаку. Когда она, завиляв хвостом, подбежала к нему, он ловко подхватил ее в охапку, утащил куда-то на задворки, быстро вернулся и, на ходу натягивая на себя куций парусиновый пиджачок, двинулся к Остапу Тарасовичу с живейшим выражением радости на лице. Пока он крепко жал и тряс ему руку, во рту у него все время что-то булькало — похоже было, что от радости он захлебывался словами и поэтому ничего не мог сказать. А когда Остап Тарасович представил меня — товарищ вот приехал из Москвы и хочет взглянуть на его картину, — он живо подхватил нас обоих под руки и поволок к себе домой как счастливо подвернувшуюся ему добычу.

На пороге дома — разноцветно размалеванной мазанки под шиферной крышей — нас поджидала уже успевшая приодеться хозяйка, в которой я сразу же узнал на редкость в наше время любезную продавщицу фруктовых вод, разливного вина и табачных изделий в знакомом мне уже ларьке у автобусной остановки — Зиночку, как ее звали клиенты, хотя ей, наверное, уже перевалило за пятьдесят.

Зиночка провела нас в нарядно убранную горницу с дорогим телевизором в углу и с большой, в позолоченной багетовой раме картиной на стене, сказала, что сейчас быстренько что-нибудь сообразит, кокетливо, как молоденькая, улынулась Остапу Тарасовичу и скрылась за дверью.

Остап Тарасович, сняв тяжелый, натерший ему шею бинокль, положил его на стол и подвел меня к картине. На ней был изображен ярко-зеленый бугор с голубой мазанкой под соломенной крышей, с крыльцом и двумя маленькими окошечками по фасаду и два пирамидальных тополя, стоявшие по бокам хаты навытяжку, как часовые на посту.

— Хата, которую вы видите перед собой, — говорил Остап Тарасович, поясняя мне картину, — давно уже исчезла с лица земли. Здесь изображен, если можно так сказать, ее прах, который покоится на дне моря и живет в наших сердцах. Мы глубоко благодарны Осипу Ивановичу, бескорыстно посвятившему творение своего самобытного таланта памяти этого маленького кусочка нашего прошлого, то есть нашей затопленной деревни.

Сказав это, Остап Тарасович обернулся к Осипу Ивановичу, пожал ему руку и еще раз поблагодарил его от лица всех своих земляков. Расстроганный до слез, хозяин часто-часто заморгал и громко всхлипнул.

— И все же, — снова заговорил Остап Тарасович, — я должен сказать, что хата стояла на краю большой колхозной деревни, а на картине деревни совсем не видно и никаких признаков колхоза нет. Это я считаю большим упущением.

Осип Иванович не способен был внимать критике: расчувствовавшись от похвал и благодарности, он все всхлипывал и всхлипывал, но Остап Тарасович сурово продолжал:

— И второй тополь, я считаю, совсем ни к чему. Не надо искажать действительность, но и приукрашивать ее тоже не надо... Так вот я полагаю, — закончил он и, приосанившись, обратился ко мне: — А вы как полагаете?

Когда Остап Тарасович приосанится, его и без того достаточно солидная фигура приобретает министерскую монументальность. Мне ясно стало, что, говоря об ошибках Осипа Ивановича, он имел в виду упущения и искажения, которые могу допустить и я, если все же напишу что-нибудь о Черкассах.



— Ну, что ж, давайте двигаться дальше,— сказал он, потянувшись за биноклем.

Однако не успел Остап Тарасович нацепить его себе на шею, как Зиночка появилась в дверях с большим, тяжело нагруженным подносом и стала быстренько накрывать на стол.

Напрасно Остап Тарасович мотал головой, отмахивался и пятился от стола к двери, уверяя, что у нас нет времени рассиживаться и к тому же он на строгой диете, хозяйка только томно улыбалась ему, расставляя на столе графинчики, стопочки, тарелочки, а хозяйин, одной рукой утирая слезы, другой энергично толкал нас к столу.

Долго упирался Остап Тарасович, но в конце концов все же согласился присесть на одну минуточку и выпить только одну капельку. Упустил он из виду, что после голодной диеты просыпается зверский аппетит, особенно если выпить хотя бы одну только капельку. Выпив и закусив кусочком черкасского сыра, самым безопасным из того, что было на столе, Остап Тарасович как ни крепился, но не смог превозмочь желания закусить еще чем-нибудь и после некоторого колебания разрешил себе попробовать кусочек рыбки, а чтобы она не повредила ему, перед этим выпил еще одну капельку. Так и пошло — одна капелька за другой, кусочек за кусочком, и вскоре Остап Тарасович, сняв пиджак и повесив его на спинку стула, стал жадно закусывать всем без разборю.

— Больше на сальце налегайте, а колбасой не советую увлекаться, если желудок не в порядке,— посоветовала ему Зиночка.— Молочная называется, а с чего ее працуют, кто знает, только не из мяса.

И дома, за столом, она такая же, как в ларьке у автобусной остановки, где с шуточками и прибауточками отпускает вино, называя его шестнадцатиградусным пойлом, что, однако, нисколько не мешает клиентам, выпив стакан, повторить, но не сразу, а постояв, поболтав и полюбезничав с завлекательной продавщицей, как это бывало в давние времена, когда продавали его не такие, как нынче, молодые, неприступные, суровые девицы с башнями на голове, а простые, веселые, разбитные бабенки, умевшие приманить покупателя.

Пошутив и посмеявшись над тем, что в Черкассах нынче из-за трудностей с мясом приходится налегать на сало, Зиночка принялась расспрашивать Остапа Тарасовича о Москве — как там сейчас люди живут, что хорошего в магазинах появилось, легко ли достать мохеровую кофточку, шапочку или шарф. А когда Остап Тарасович спросил, какая это «мохеровая», она воскликнула:

— Ой, какой же вы ужасно отсталый человек — в столице живете и не знаете, что такое мохера! У нас в Черкассах простые деревенские бабы гоняются за мохерой.— Потом она взглянула на картину, ради которой Остап Тарасович привел меня сюда, и заговорила о ней: — Намалевал вот Осип Иванович нашу хату, забыть ее не может. Как вода спадет, поедет на рыбалку, и черт тянет его завернуть на тот островок, где хата стояла. Посмотрит там на выступивший из воды пень, и чувства у него расстроятся. А вернется домой и сам над собой смеется, что по хате вздыхает. Чего вздыхать? И слава богу, радоваться надо, что затопили деревню.

Осип Иванович, сидевший за столом как именинник, чрезвычайно довольный, что гости из Москвы почтили его, и открывавший рот только для того, чтобы опрокинуть в него стопку, вдруг стал издавать какие-то невнятные булькающие звуки. Сначала казалось, что у него во рту вздуваются и лопаются пузыри, а изо рта вылетают только одни брызги, но потом я начал улавливать более или менее членораздельные звуки.

Зиночка досадливо замахала рукой, и Осип Иванович замолк.

— Глупости говорит. Противно слушать — вспомнил, сколько рыбы ловил, когда жили в деревне, — рыбы и сейчас нам хватает, — сказала она

и заговорила о товарах, которых больше всего не хватает в Черкассах.— Попробуйте-ка достать у нас серебряные сапожки. А вот Клавка наша — помните, Остап Тарасович, Степана Хромого? Батя ваш хуру с ним возил — внучка его, официанткой в ресторане работает, ездила в Москву и привезла золотые. В колхозе гусей пасла, босиком бегала, а сейчас в золотых сапожках ходит, как народная артистка.

Остап Тарасович насытился уже, осоловел и отвалился на спинку стула. Он то закрывал глаза, то вздрагивал и открывал их, встряхивался, а потом голова его низко опустилась, и он начал тихонько похрапывать.

Я хотел было толкнуть его локтем, но Зиночка сказала:

— Не трожьте, пусть отдохнет, некуда ему спешить,— и стала доказывать мне, что против прежнего, когда они жили в деревне и весной выгребали из погреба, таскали на своих плечах в город последнюю картошку, жить стало не сравнить как лучше, только вот дорогих товаров еще не хватает, так что одни дураки и беспамятные люди могут вздыхать по деревне.

Хозяин, видимо, не мог согласиться с этим. Он еще пытался возражать, надувал щеки и булькал что-то возбужденно, но супруга отмахивалась и говорила, что ей противно слушать его глупости. Как я ни старался уловить его затрудненную речь, я понял только, что деревня Осипу Ивановичу больше по душе, чем город, и что ему жаль пойменных лугов, которые сейчас превратились в болота.

Остапа Тарасовича все же пришлось будить. Очухавшись, он посмотрел на часы и сказал:

— Ай-яй-яй, как мы засиделись! В город уже поздно идти.

Распростившись с хозяевами, мы условились с Остапом Тарасовичем встретиться завтра утром на автобусной остановке пораньше, чтобы успеть закончить свое путешествие к вечеру. Я уже ничего не имел против того, чтобы еще походить с ним по городу — совсем не таким уж скучным занятием показалось мне это.

Когда я вернулся домой, было уже темно. Увидев свет в моем окне, ко мне зашла Наталия Гавриловна, принесла чайник и спросила:

— Где это вы с Остапом Тарасовичем загуляли?

Я сказал, что мы заходили к его сестре, ее подружке Мане, а потом он повел меня к одному из своих знакомых посмотреть его картину, и там мы задержались.

— Ах вот как! Значит, у Зинки загуляли.— И Наталия Гавриловна долго честила Зинку за то, что она, соблюдая свою выгоду, отпускает Афанасьевичу вино в долг до получки, и поэтому в получку он толчется у ее ларька, пока она все гроши не вытрясет у него из кармана.

Поговорили мы с Наталией Гавриловной и о ее подружке Мане, с которой она в колхозе телят растила,—какая у нее в доме чистота. Оказалось, что Маня сегодня вечером заходила к ней и, между прочим, поинтересовалась, заплатил ли я вперед за квартиру. Должно быть, беспокоилась, как бы Остап Тарасович не уговорил меня перебраться к нему на свободный диван. И я опять подумал, что Остап Тарасович, сам того не подозревая, немало беспокойства и волнений вносит в дом своих родственников.

На другой день я пришел в назначенное мне Остапом Тарасовичем место встречи точно в условленный час. Он уже поджидал меня в тени тополя с биноклем на груди. Шляпу он держал в руке так, словно милостью просил у прохожих, но, несмотря на это, его монументальную фигуру издали можно было принять за памятник, воздвигнутый тут кому-нибудь открывателю новых земель.

— Все обошлось, желудок у меня, кажется, уже в порядке,— сообщил он, выйдя из тени на солнце и надев шляпу.— Но все же надо быть осторожнее, и поэтому, я полагаю, сегодня мы не будем ни к кому заходить.

Затем он посмотрел на свои часы и спросил:

— А на ваших сколько?

Оказалось, что мои часы отстают почти на двадцать минут.

— Архиерейские же у вас часы,— сказал он, деликатно намекая мне, что я долго заставил его ждать.

И мы решили, что в следующий раз, уславливаясь о встрече, будем обязательно сверять часы.

В тот день Остап Тарасович по своему плану должен был прежде всего познакомить меня с набережной Гагарина, по которой сам ни разу еще не проходил с начала до конца, потому что она очень длинная.

Извилистой улочкой мы спустились с высокой прибрежной горы, тесно застроенной маленькими домиками, и вышли на пустынную набережную. Широкая лента асфальта, аллея молодых пирамидальных топей, современные фонари-светильники, которые, как журавли, стоят здесь вдоль дороги, вытянув головы,— это и была набережная Гагарина, далеко уходящая вдоль песчаного пляжа с кустиками лозняка у воды. На всем ее протяжении не видно было ни машин, ни прохожих, тишину нарушали только волны, набегающие на песок и обмывающие камни,— защищая берег, они грядками выступают в море.

— Здесь все еще в будущем,— сказал Остап Тарасович и стал смотреть в бинокль направо и налево.

Многэтажное здание гостиницы, которую мы вчера видели на горе за оврагом, было теперь позади нас. На краю горы, как ласточкины гнезда, лепились маленькие деревянные домики с садиками, заборами и сарайчиками, сползавшими с кручи — вот-вот рухнут, повалятся, посыплутся вниз, под гору, на новую, широкую, как проспект, набережную.

Пока здесь еще тихо, думал я, но эта большая магистраль уже готова к движению, и как только оно начнется, бульдозеры быстро сломают и растащат эти старые Черкассы, все эти вросшие в город, расплзшиеся по горе и под горой деревни. Плохо ли это — отдать старую хатенку на слом и получить квартиру со всеми городскими удобствами в новом большом доме, хотя бы и на пятом этаже без лифта! — но все же кое-кто будет долго вздыхать, вспоминая свою хату, садик, сарайчики.

Так думал я, а Остап Тарасович, стоя рядом со мной посреди пустой набережной, все смотрел и смотрел то в одну, то в другую сторону. Наконец он увидел высунувшуюся из калитки старушку — должно быть, заметила нас и забеспокоилась, чего это человек смотрит в трубу,— и помахал ей рукою, приглашая подойти к нам, словно опасался, как бы она не скрылась раньше, чем он сам успеет подойти к ней.

То ли старушка не поняла его жеста, то ли испугалась, но она не выходила из калитки, только голову высовывала, и тогда он сам зашагал к ней. Долго топтался я на асфальте, ожидая, пока он у этой старушки, а потом у ее соседей, вызывая их из калиток, что-то выяснял и что-то записывал в свою книжечку. Вернувшись, он сказал мне, что эта набережная называлась раньше улицей Шолома Алейхема и где-то здесь жил богатый еврей-коммерсант, тот самый, к которому он с отцом нанимался возить хуру (а один раз, когда отец заболел, сам возил, и тогда у него сломалось на дороге колесо), но никто уже не помнит этого коммерсанта — должно быть, давно помер, и что где-то здесь жил бедный еврей, извозчик Шлемка, но и он тоже, наверное, давно помер.

Я вспомнил извозчика, который возил меня в тридцатых годах из Канева в Межиричи,— его тоже звали Шлемка. И тот Шлемка по дороге смешливо рассказывал мне, как в гражданскую войну он однажды спря-

тался от петлюровцев в заброшенном колодце и всю ночь просидел, глядя на звезду, светившую ему прямо в колодец. Когда я поделился этим воспоминанием с Остапом Тарасовичем, он сказал, что, наверное, это был тот же самый извозчик, потому что Шлемка возил людей по всему побережью от Черкасс до Канева и даже до Киева добирался на своей дохлой лошадке.

Вскоре росшие вдоль набережной тополя стали повыше, и Остап Тарасович снова остановился, приметив, что поднятый корнями асфальт вспучился, местами уже потрескался и выступившие из-под него корни расползались по мостовой, как змеи.

— Ай-яй-яй! Ну и качество же! — сказал он, сокрушенно покачав головой, и стал объяснять мне, как и почему это произошло, какая ошибка была допущена при строительстве дороги.

Долго простояли мы и здесь. Остап Тарасович высказал много правильных мыслей о тех условиях, которые надо соблюдать и которые, к сожалению, часто не соблюдаются, чтобы все строилось на «отлично» или, в крайнем случае, на «хорошо», и только против одной его мысли, пожалуй, можно было возразить — что в его время, то есть тогда, когда он еще работал, строили лучше.

Грустно было, что человек, так горячо принимавший к сердцу все наши недостатки, уже не у дел и никто, конечно, с ним больше не считается, не желает слушать его указаний, замечаний, все бегает, скрываются от него, как и я сам пытался сделать это. И взяв Остапа Тарасовича под руку, я сказал:

— Ну, что ж, пойдем потихонечку, тут мы с вами уж ничем не можем.

Он тоже погрустнул, но скоро оживился, вспомнив, как в молодости работал на строительстве Днепростроя, грунт возил на лошадке из котлована, бетон трамбовал на плотине, и как американские специалисты были посрамлены тогда в своих выкладках и расчетах. И я вспомнил Днепрострой, повышавшиеся изо дня в день сменно-встречные планы бетонщиков, о которых перед закрытием гребенки я посылал в свою редакцию одну телеграмму за другой, и гордую королеву бетона, за которой бегал тогда по пятам с блокнотом в руке, — высокая, статная, красивая была девчонка в замаранном комбинезоне и резиновых сапогах, все корреспонденты сходили по ней с ума, но ей некогда было с нами разговаривать, презирала она нас, бумагомарателей, и наши дорогие авторучки.

Предавшись воспоминаниям о тех далеких днях своей молодости, мы с Остапом Тарасовичем шли и шли по асфальту береговой магистрали, пока слева и справа от нас местность не приобрела городские, вернее, курортные черты. Дикий песчаный берег вдруг превратился в современно оборудованный пляж с цветными зонтиками и площадками для детских игр, с качелями и прочим спортивным инвентарем, и перед нами вырос павильончик с прохладительными напитками, уютно расположенный в тенистом садике со столиками и стульями. Павильончик этот напомнил, что пора немного передохнуть. Мы присели здесь, и за бутылкой фруктовой воды Остап Тарасович завел речь о том, что пожилым людям, особенно с такой сердечной недостаточностью, как у него, лучше всего отдыхать в Черкассах именно в это время, в начале лета, пока не очень жарко. Правда, пожалел он, фруктов и ягод, кроме дорогой клубники, еще нет и вода холодная — полежать, погреться, позагорать на песочке можно, но купаться пока опасно, и если дети уже купаются и даже далеко заплывают, то родители, как он считает, напрасно позволяют им это делать.

Когда мы уходили из павильончика, Остап Тарасович, чтобы не утруждать буфетчицу, сам отнес ей стаканы и кстати спросил, где тут

можно узнать, какая сегодня температура воды в Днепре. Буфетчица показала на будку медпункта, стоявшую неподалеку на детском пляже. Подойдя к этой будке, мы увидели двух девушек в белых халатах, сидевших на скамейке. Оказалось, что они не мерили температуру воды — градусника нет.

— А зачем вы тогда тут? — удивился Остап Тарасович.

Девушки вскочили.

— А вы кто такой?

А когда Остап Тарасович стал объяснять, что хотя он и никто, просто гражданин на пенсии, но беспокоится за детей — долго качаются на качелях, а потом разгоряченные, потные бросаются в воду и долго не вылезают, а вода, наверное, холодная, девушки возмущенно закричали, что если он волнуется за детей, то пусть сам и вытаскивает их из воды, а они не обязаны это делать — не няньки, а медработники.

— Я полагаю, что вы не правы, — сказал Остап Тарасович и, попросив девушек успокоиться, принялся убеждать их, что забота о детях — общее дело всех советских людей, независимо от того, на какой они должности находятся, и поэтому медработники не только обязаны оказывать детям помощь при заболевании, но и предупреждать болезни, в том числе и такие, как простуда, которую они могут схватить в холодной воде, после того как покачаются на качелях.

Притихшие девушки слушали его вроде бы внимательно, но потом одна из них вдруг взорвалась:

— Чего вы к нам пристали? Старый, солидный на вид человек — и не стыдно вам приставать к девушкам?

А другая сказала:

— Выпил, наверное, лишнее — вот и хулиганит.

Бедный Остап Тарасович — как грустно, должно быть, было ему услышать это! Но он сохранил выдержку и спокойствие, только пожал плечами и сейчас же выпрямился, поднял голову повыше, повернулся и пошел.

— Опасно связываться с современными девицами, — сказал я ему.

— Но кто-то же должен учить их, — ответил Остап Тарасович и только вздохом сожаления дал мне понять, что как бы ни тяжело было нарываться на такие вот неприятности, но ничего не поделаешь — надо учить молодежь.

Неудобно мне стало перед Остапом Тарасовичем: он выполнял свой гражданский долг, а я, вместо того чтобы поддержать человека, нетерпеливо и даже с раздражением дергал его за рукав.

Медленно, очень медленно продвигались мы к центру города, потому что здесь, на набережной, некогда была сосредоточена вся промышленность Черкасс и Остап Тарасович хотел уточнить, где и что начиналось и где что кончалось — лесопилки, гвоздильный завод, паровая мельница. Он останавливался, вспоминал, задумывался, возвращался назад, а потом стал обращаться ко всем прохожим пенсионного возраста с просьбой помочь ему вспомнить, где что было, но сделать это было трудно — старожилы помнили только, что да, некогда берег загроможден был здесь лесопилками, стоял и гвоздильный завод, и паровая мельница, но где именно, на каком месте нынешнего пляжа, затруднились сказать или, когда их собралась куча, один показывал туда, другой сюда, все оспаривали друг друга, и чем больше Остап Тарасович собирал вокруг себя стариков, тем труднее было что-либо уточнить. Но когда я заикнулся было, что бог с ним, с прошлым, оно не вернется, Остап Тарасович, обернувшись ко мне, строго сказал, что хотя прошлое, конечно, не вернется, но забывать его не следует, и напомнил, что еще мальчиком он именно отсюда, с гвоздильного завода, возил с отцом хуру на полтавскую сторону, в степные хутора, случалось, что и сам

грузил на телегу ящики, такие тяжелые, что сейчас ему не под силу было бы поднять их.

Все же Остапу Тарасовичу не удалось ничего уточнить здесь, и когда мы свернули на улицу, поднимающуюся в гору, он остановился у первого большого каменного дома старинной кладки, чтобы выяснить, не живет ли еще в этом доме кто-нибудь из родственников хозяина гвоздильного завода, которому он принадлежал до революции. С этим вопросом Остап Тарасович обратился к старику, стоявшему у ворот. Но оказалось, что старик по своей глубочайшей древности уже совсем потерял память. Убедившись в этом, Остап Тарасович попросил его вызвать кого-нибудь из жильцов этого или соседнего с ним дома помоложе, и вскоре на улице опять собралось несколько стариков и старух, которые единодушно засвидетельствовали, что все родственники давным-давно помершего хозяина гвоздильного завода разъехались кто куда. Все же опрос кое-что дал — один старик, будучи подростком, сам работал на гвоздильном заводе и как раз в те годы, когда Остап Тарасович возил отсюда хуру, а одна старуха одновременно с ним работала потом на строительстве железной дороги и моста — тоже, как и он, вязала фашинные канаты, укладывала дерн на откосы, укрепляла его колышками.

Оживленный разговор завязался у Остапа Тарасовича с этим стариком и старухой. Подробно расспрашивал он их о заработках и условиях труда подростков в дореволюционные годы, уточнял и записывал в блокнот, за какие гроши они выбывались из сил, а иной раз, полдня проработав, падали от слабости.

Опросив черкасских старожилов, Остап Тарасович на всякий случай записал их фамилии, имена, отчества. Когда мы пошли с ним дальше в гору, он сказал мне:

— Обязательно надо, чтобы наша молодежь все это знала и помнила, обязательно,— подчеркнул он.

Подымаясь в гору, Остап Тарасович скоро начал уставать. Фигура его быстро теряла осанку, сникала, голова и плечи все больше склонялись вперед, а ноги не успевали — с трудом тянулись они, шаркая по асфальту. Остановившись передохнуть, он уже шумно дышал, потом снова принимался шагать, энергично подымая ноги, снова сникал и шаркал подошвами. Надо было бы опять где-нибудь присесть, но Остап Тарасович не хотел сдаваться, говорил, что мы уже и без того не укладываемся в срок. Однако когда мы наконец поднялись в гору и вышли на небольшой скверик, он все же присел на скамеечку под плакучей ивой, зеленые космы которой спадали до земли. Под этой похожей на пальму ивой я попытался убедить Остапа Тарасовича, что срок не висит над нами как дамоклов меч.

— Как это так не висит? — не понял он. — Срок всегда висит над головой.

— Правильно,— согласился я,— но только не в данном случае,— и спросил у него, что случится, если мы закончим общий обзор города не сегодня, а завтра?

— Если откладывать со дня на день, то никогда ничего не закончишь,— сказал он.

Попробовав подойти к этому вопросу с другой стороны, я напомнил Остапу Тарасовичу, что ему в его возрасте, страдающему сердечной недостаточностью, переутомляться опасно, тем более что солнце начинает уже сильно печь голову.

— Да, и врач предупреждал, что солнце мне вредно,— вздохнул он.

Остапа Тарасовича беспокоило, успеем ли мы в таком случае побывать у всех его родственников, с кем он считает нужным познако-

мить меня, чтобы я мог получить представление о сегодняшней жизни Черкасс.

— А что, если вы собереге всех родственников в одном доме, лучше даже в садике или на дворе у кого-нибудь из них, чтобы попросторнее было? — ухватился я за мелькнувшую идею.

— Ну, что ж, — подумав, сказал Остап Тарасович. — Можно и так — соберем по старинному обычаю товарищества всех до своего куреня.

После этого он уже легко согласился с тем, что сегодня ему действительно лучше пойти домой, полежать у сестры в садике на раскладушке, чтобы набраться сил и завтра утром встать пораньше, пока солнце не начнет припекать.

Нет, нелегко давались Остапу Тарасовичу эти наши черкасские прогулки. Пока мы дотащились с ним до остановки автобуса, он совсем раскис, однако, когда мы прощались с ним, не забыл сверить свои часы с моими и, обнаружив, что за время сегодняшней прогулки часы у меня отстали еще на две минуты, посоветовал сходить к часовых дел мастеру, чтобы завтра снова не опоздать.

На другой день мы пришли в скверик, где условлено было встретиться, минута в минуту — я с одной стороны, он с другой, прямо и бодро шагавший мне навстречу, и опять с биноклем на груди.

В этот день нам прежде всего предстояло обозреть самые центральные объекты города, и мы начали обзор с нового Дома связи — вполне современного сооружения со сплошной стеклянной стеной по фасаду, на которое Остап Тарасович предложил мне посмотреть сначала издали в бинокль, чтобы сравнить со стоящим по соседству домом обкома и облисполкома — величественным зданием с полуколоннами по фасаду, построенным в пятидесятых годах, — и обратить внимание на то, как основательно строили тогда, в его время, и как стали строить сейчас, когда из всех строительных материалов отдается предпочтение самым легковесным.

— Воздуха много, дешево, легко и даже красиво, — говорил он, признавая, что нынешний архитектурный стиль, конечно, имеет свои преимущества, но той основательности и солидности, что были в пятидесятых годах, когда строили дворцы культуры с колоннами даже в районах, уже, к сожалению, нет.

Я напомнил Остапу Тарасовичу об архитектурных излишествах, которые допускались при строительстве всех этих дворцов, а потом осуждались, и он сказал:

— Правильно, допускались, а потом осуждались, но не забывайте — это были дворцы и они еще долго будут стоять как памятники нашей с вами эпохи.

Разговор задержал нас на перекрестке двух центральных улиц. Передавая бинокль из рук в руки, мы смотрели то в одну, то в другую сторону, затрудняясь решить, какой архитектурный стиль преобладает в Черкассах сегодня — шестидесятых, пятидесятых или еще много более ранних годов. Между тем прохожие начали собираться, и нам пришлось оставить вопрос открытым, чтобы не привлекать к себе внимания.

Неторопливо шагали мы центром города, и Остап Тарасович, вспоминая старое и показывая новое в Черкассах, сравнивал то и другое — бывшие особняки с новыми многоэтажными домами, бывшие купеческие лабазы и лавочки колониальных товаров с нынешними продмагами и универмагами, бывшие трактиры и кабаки с новыми ресторанами, столовыми, кафе-молочными и кафе-морожеными. Асфальтированные улицы вызывали у него в памяти булыжные мостовые и грохотающих по ним

ломовиков, пронесившиеся мимо автобусы, троллейбусы, такси напомнили об извозчичьих пролетках, а многочисленные вывески областных и городских учреждений — о городской управе, полицейской части и пожарной каланче.

— Глухое захоlustье было, а теперь посмотрите,— сказал Остап Тарасович, показывая на стрелку с надписью «переход». — Не в любом месте улицу перейдешь.

У этого обозначенного стрелкой перехода, заложив руки в карманы, похаживал взад да вперед пожилой человек в белой нейлоновой сорочке, при галстукe и с красной нарукавной повязкой дружинника. Засмотрелись мы с Остапом Тарасовичем, как он, непринужденно шагая с поднятой вверх головой — будто следил за порядком не на земле, а на небе,— вдруг легко, изящно и так круто поворачивался на ходу, что галстук его взмывал, как флаг. Удивительно было, что от его устремленного вверх взора не ускользал ни один прохожий, норовивший перейти улицу не там, где это положено. Выдернув руки из карманов, он тотчас кидался наперерез нарушителю порядка, с легким поклоном и улыбкой прикладывал пальцы правой руки за неимением головного убора к седому виску, а левой рукой показывал на стрелку перехода. Рта он не раскрывал — только улыбался, и нарушители тоже только улыбались, извинялись и поворачивали назад.

Приятно было смотреть на блюстителя порядка, который с таким изяществом и вкусом выполняет добровольно взятые на себя обязанности, и мы походили за ним следом туда и назад, гадая, кто он по специальности, работает или уже на пенсии.

— Полагаю, что на пенсии, потому что время сейчас рабочее. А по специальности, считаю, скорей всего бухгалтер,— сказал Остап Тарасович.

Оказалось, он по своему многолетнему опыту работы в штабе дружины знает, что из интеллигентных пожилых людей в дружинники охотнее всего идут те, кому после работы полезно и даже необходимо промяться, погулять, а кому это больше всего необходимо, если не бухгалтеру?

Заговорив о своем опыте работы по содействию органам милиции, Остап Тарасович сказал, что на молодых дружинников не всегда можно положиться — одни излишне горячатся, другие любят покуражиться и сами затевают на улице скандалы. Пожилые же если и страдают недостатком, то только одним — обходят хулиганов стороной, побаиваются с ними связываться, но такой недостаток легче преодолеть, чем недостатки зеленой молодежи, и поэтому к борьбе с нарушителями общественного порядка надо привлекать людей солидных и прежде всего пенсионеров.

Этот начатый на улице разговор Остап Тарасович продолжал в кафе, где мы, сидя за столиком у стеклянной стены, подкреплялись кефиром и калорийными булочками, не упуская при этом из виду седого дружинника, который неподалеку от нас, за стеклом, на редкость деликатно, с улыбками и поклонами, приучал черкасцев переходить на другую сторону улицы.

— Вы посмотрите, с каким уважением к прохожим этот пожилой товарищ выполняет свои общественные обязанности,— говорил Остап Тарасович, убеждая меня, что пенсионеры-общественники — колоссальная, из года в год растущая сила, которая горы может сдвинуть в любом направлении, если ее мобилизовать. Пообещав как-нибудь познакомиться меня с разработанными им по этому вопросу предложениями, он раскрыл свой объемистый бумажник, туго набитый разными взятыми на всякий случай бумагами, вынул из него и показал мне большой конверт с машинописной копией разработанных им и переданных куда-то



на рассмотрение предложений о порядке обязательного использования пенсионеров на общественной работе.

— Зачем же обязательного? — спросил я, прочитав подчеркнутые в заголовке слова.

— Всякий порядок должен быть обязательным, иначе это будет не порядок, а беспорядок, — резонно сказал он.

Мы сидели за столиком на солнце. Сильно припекало, и у Остапа Тарасовича разболелась голова. Выйдя из кафе, он предложил еще немного отдохнуть где-нибудь на свежем воздухе. Захватив в киоске газеты, мы присели в тени на бульваре, и я вскоре заметил, что Остап Тарасович, читая газету, то и дело перебегает глазами с газетного листа на какой-то появившийся у него в руках раскрашенный листок плотной альбомной бумаги и рассматривает на нем что-то в крошечную складную лупу, словно сравнивает то, о чем читает в газете, с тем, что изображено на этом листке. Я поинтересовался, что там у него такое, и Остап Тарасович показал мне вырезанную им когда-то из газеты, наклеенную на толстую бумагу и раскрашенную цветными карандашами карту Индокитая.

Исключительно предусмотрительный и заботливый человек Остап Тарасович — все, что ему может потребоваться, у него всегда при себе. Я убеждался в этом буквально на каждом шагу: вот захватил с собой в Черкассы и эту карту, не забыл взять и лупу, необходимую ему, чтобы прочесть все мелко напечатанные на ней названия населенных пунктов.

Поговорили мы с ним о последних событиях в Индокитае, показал он мне на карте расстановку всех действующих там сил, и мы пошли к следующему намеченному им по плану объекту — центральному рынку Черкасс.

До рынка было недалеко, но мы долго добирались до него, потому что на улице встречалось много расклеенных на стенах и досках объявлений о купле-продаже домов и обмене квартир, а Остап Тарасович читал их все подряд и что-то записывал в свою книжечку. Я спросил, что это он записывает.

— Адреса москвичей, имеющих желание перебраться на жительство в Черкассы, — ответил он.

— Пенсионеры, наверное, здешние уроженцы, на старости лет хотят съехаться со своими родственниками, — предположил я.

— Вот и я думаю, что именно так, но надо будет уточнить это, — сказал он. — Может быть, найдутся даже земляки, которые живут в Москве на одной улице со мной, а я их не знаю.

На подходе к рынку, где мы долго стояли у длинной доски с объявлениями, пока Остап Тарасович изучал их и записывал адреса, какая-то юркая бабенка, вынырнувшая из рыночной толкучки, спросила:

— А вы, молодые люди, что на что хотите сменить?

— Ничего мы не хотим, ничего нам не надо и не молодые мы люди, — печально махнув рукой, сказал Остап Тарасович, и мы пошли на рынок.

Для рынка время было уже позднее, но женщины с сумками еще толклись в торговых рядах, выглядывая на столах и прилавках что кому надо. И мы с Остапом Тарасовичем стали выглядывать, чем богат сейчас рынок в Черкассах.

В изобилии была редиска, крупная, бело-розовая, влажная, как на грядках по росе или после дождя. Привлекательно выглядели и пучки чистенько вымытой, не просохшей еще, подобранной одна к другой морковки и багровой свеклы со свежей, просившейся в борщ ботвой. Навалом лежал на столах длинноперый зеленый лук с голыми нежно-белыми хвостатыми головками, зеленели связки аккуратно нащипанно-

го укропа, серебрилась россыпь старого седого чеснока, ядовито краснел сухой перец. Рядом со старой, бурой и пыльной картошкой на чашках весов появилась уже и ранняя молодая, светлая и гладенькая, как речная галька. На лотках много было и дорогой еще пока, но отборной клубники. Остапа Тарасовича радовали яркие краски всех этих даров природы, которые на рынке долго хранят свой живой цвет, а в магазинах почему-то сразу теряют его.

Долго ходили мы по рынку. Остановившись у некоторых столов с овощами, он приподнимал шляпу, здоровался со стоящей за столом бабой и спрашивал у нее, из какой она деревни, а если баба не разуме-ла, зачем ему это надо, то он объяснял ей, что его интересует привоз, откуда что привозят сейчас на рынок, и говорил, что в детстве сам часто раненько утром ездил на лодке в Черкассы с батей, спешившим продать выловленных лещей, пока они еще трепыхаются в корзине, переложенные мокрой осокой, потому что на живую рыбу больше спрос был, чем на снулую, и с мамкой он тоже ездил — гусей продавать... И тогда баба сразу, переходя с ним на «ты», спрашивала:

— А ты сам откуда? Не с Панского ли?.. С Панского? И мы с Панского. А сейчас туточки под горой проживаем в городе.

Походив от одной бабы к другой, порасспросив их, Остап Тарасович сказал мне:

— Не тот уже рынок, что был — никакого привоза не вижу, вся зелень с городских огородов.— Посмотрел на часы и заключил: — Надо будет как-нибудь сходить на рынок пораньше, а то мы можем с вами впасть в ошибку.

Не переставал Остап Тарасович при всяком случае предостерегать меня от ошибок, словно взял на себя полную ответственность за то, что я напишу о Черкассах.

Когда мы вышли с рынка, он опять пожаловался на головную боль — в висках стучит, в глазах темнеет, черные мухи летают, завтра надо будет ему давление смерить, гипертония, как бы криз не наступил.

— Сердечная недостаточность, гипертония, а вы уже третий день из сил выбиваетесь, таскаясь со мною по городу целые дни. Сейчас же садитесь на такси и поезжайте домой,— предложил я.

Сесть на такси Остап Тарасович согласился, но только с тем условием, что сначала мы с ним съездим в речной порт, чтобы закончить свой маршрут и больше уже к нему не возвращаться.

— Так мы договорились с вами с самого начала и давайте будем держать слово, иначе я не понимаю, зачем было договариваться,— сказал он.

Я не мог возражать: его суровый взгляд уличал меня в постыдном желании воспользоваться случаем, чтобы увильнуть от выполнения добровольно взятых на себя обязательств.

Когда мы примчались на такси в порт, там только что отвалил от причала один из тех старых, но еще нарядных речных тихоходов, которые нынче возят туристов и отдыхающих — пассажиров они не берут, заходят в порты, когда им заблагорассудится, и поэтому их никто не встречает и не провожает. Одиноко стояли мы на пустом перроне речного вокзала, глядя на медленно удаляющуюся от нас палубу с детьми и по-домашнему одетой взрослой публикой. Остап Тарасович помахал рукой детям, и дети весело помахали ему как своему старому знакомому. Потом он повел меня в пассажирский зал, где было парадно, тихо и пусто, как в церкви после обедни, и только расписание на стене свидетельствовало о пассажирском движении. Здесь Остап Тарасович переписал в свою книжечку часы отправления «ракет» из

Черкассы на тот случай, если трудно будет достать билет на поезд и придется возвращаться в Москву через Киев.

Выйдя затем на площадь и предупредив таксиста, что мы задержимся еще на минутку, он сказал, что теперь ему остается только познакомиться со скульптурой, которая стоит у входа в порт и не просто так, для украшения, но с большим символическим значением.

Возвышавшаяся над портом гигантская фигура молодой женщины с блюдом в руках хорошо была видна издали и ясно говорила, что в Черкассах приезжих людей ждет гостеприимная встреча. Однако Остап Тарасович предложил мне подойти к ней поближе. Подведя меня к самому пьедесталу, на который вознесена эта молодая женщина с блюдом, полным всяких яств, и с кувшином в руках, он снял перед ней шляпу и, обернувшись ко мне, сказал:

— Вот видите, как в Черкассах принято встречать гостей, и имейте в виду, что мы с вами здесь тоже гости.

Напомнив мне таким образом о предстоящей нам еще встрече со всеми его черкасскими родственниками и земляками, о которой он уже договорился и которую решено было устроить у его сестры, Остап Тарасович вспомнил о седой старине, когда его предки, запорожские казаки, в порядке товарищества ходили в гости от куреня к куреню, из хутора в хутор и по два месяца в году пропадали в гостях, а старики, ходившие, постукивая батожками, случалось, и помирали там, где загуляли.

— Теперь, конечно, так уже не гуляют, времени на это нет, но все же старые обычаи не забывают,— сказал он.

Встреча была назначена на субботу. Остапу Тарасовичу хотелось, чтобы в ней принял участие, кроме его близких родственников, ныне живущих в черте города, и те дальние, что остались в колхозе, переселившиеся на новые места, в степь, и для этого ему необходимо было до субботы съездить километров за восемьдесят, под Золотоношу и еще куда-то на автобусе или такси. Мне он посоветовал тем временем записать поподробнее свои черкасские впечатления и, может быть, кое-что уточнить еще на месте, потому что, как он заметил, в нашем возрасте склероз уже не позволяет полагаться на память. Конечно, и записать и уточнить неплохо было бы, но мне, как школьнику, отпущенному на каникулы, не сиделось за столом — ну как тут усидишь, когда солнце пылает в окне, а за окном море блещет и нужно только спуститься с крыльца, шагнуть за калитку, чтобы выйти на песчаный пляж с райскими кущами лозняка под затененной соснами горой, и раз вода еще холодная, то хотя бы разуться и ноги помочить в пене прибоя. И я, забывая о заданном мне Остапом Тарасовичем уроке, шлепал по воде или валялся на песке, поглядывая, как люди старательно набираются здесь здоровья,— занятие, которое нынче, пожалуй, больше, чем что-либо иное, отличает горожан от деревенских людей.

К каким только способам не прибегают сейчас горожане, тем более те, что уже на пенсии, для продления своей жизни — прыгают, скачут, бегают, и говорят, что есть даже бегуны, которые регулярно пробегают по тридцать километров в день и тем самым ежедневно сгоняют с себя чуть ли не по целому килограмму живого веса, но все же подавляющее большинство всем способам оздоровления все еще предпочитает по старинке самый простой — лежачий способ. И черкассы не составляют исключения: одни часами дремлют на пляже под зонтиком или кустиком лозняка, другие жарятся на солнце с нашлепками на носу — поодиночке, парами, семьями, некоторые и с собаками, которые так же, как и забредающие сюда куры и утки, придают здешнему пляжу особый деревенский колорит.

Я лежал, посматривал вокруг, а думал о своей хозяйке, Наталии Гавриловне. Много лет уже, как она живет в черте города, на краю пляжа, от которого ее огород отделен только шаткой изгородью,— там сыпучий песок, а тут бог весть откуда взявшаяся плодородная, тучная земля,— но представить себе ее на пляже так же трудно, как и на луне. Каждый вечер, вернувшись с работы, она выходила с тяпкой на свой отвоеванный у сыпучего песка огородный участокок окучивать картошку, в междурядьях которой у нее растет кукуруза с фасолью. В какой уже раз с начала лета она окучивала ее — третий или четвертый? Разогнет спину, утрет с лица пот запястьем руки, передохнет, опираясь на тяпку, или, обнаружив в междурядье легший на землю кустик фасоли, поднимет его, быстренько, сноровисто обовьет вокруг стебля кукурузы и снова тят-тят шаг за шагом. Грузная пожилая женщина, а на огороде она работает, как шустрая молодлица: смотришь на нее — и тебя подмывает взять в руки тяпку и пройтись с ней рядок.

Как-то, зайдя к Наталии Гавриловне на огород, я сказал:

— Работаете все, работаете...

— Хиба я роблю? Отдыхаю на огороде,— сказала она.

Раньше, живя в деревне, Наталия Гавриловна, конечно, не сказала бы, что ходит отдыхать на огород, а сейчас, пожалуй, и правда, огород ей нужен не только для овощей: пока у нее есть клочок земли у хаты, она и в городе чувствует себя как бы в дзрєвнє. Разогнет спину, перекинется через изгородь словом с соседкой — вот и отдых!

Уже темнело, на дамбе горели огни, когда Наталия Гавриловна, вернувшись с огорода, принималась хозяйничать у себя в хате. Появляясь вскоре у меня на пороге с чайником в руке, она говорила:

— Запозднилась я сегодня маленько с чаем.

Поставив чайник на стол, она хоть минутку, другую, но постоит у дверей — нужно ей пообщаться с квартирантом. Постоянные дачники из Конотопа должны уже приехать, а их все еще нет и нет, задержались что-то, и Наталию Гавриловну это беспокоит. Хвалит она их — как свои уже, вечером сядешь с ними за стол чай пить и поговоришь. А с Афанасьевичем какой разговор? Он только команды понимает: скомандуешь — сделает, не скомандуешь — с одной лавки на другую будет пересаживаться и ворон на небе считать. Только о Ковпаке или же о Суворове рассуждение имеет — кто из них больше герой и кого надо выше почитать. Ни о чем другом у него нет никакого понимания.

И бранит, и жалеет она Афанасьевича:

— Як булы кони — за конями ходил, як кони перевелись — места себе не найдет, негодяй.

Но не для того, принеся чайник, задерживается она на пороге — это только присказка, чтобы начать разговор. Побранит она Афанасьевича, вздохнет, и вдруг лицо ее засветится.

— Огурки пошли,— говорит она так, словно это бог весть какая радость для нее.— В субботу окрошку сготовлю — Сереженька с невесткой обещались в воскресенье зайти. Обожают они окрошку с яичками.

Видел я, как она подкапывала на огороде цветущую еще картошку. Не велела она мне говорить об этом Афанасьевичу, а то как бы и он не стал копать. Для себя она пока не копает, только для сына с невесткой понемножку: они старой не хотят брать, проросла уже, а молодая на рынке еще дорогая. Носит она им и яички, и лук зеленый.

Нелегкая жизнь у Наталии Гавриловны, но она ей еще под силу и по нраву, думал я, чувствуя себя у нее после прогулок с Остапом Тарасовичем, как вернувшийся домой из дальних странствий. Загорались вечером огни на дамбе, и я знал, что она вот-вот громко затопает, подымаясь ко мне с чайником по крутым ступенькам крыльца.

В пятницу вечером, накануне назначенной Остапом Тарасовичем встречи, Наталия Гавриловна взбежала ко мне на крыльцо запыхавшаяся, отдышавшись, поставила чайник на стол и сказала:

— Чули, Тарасович-то что затеял? Всех родных гуртом скликает до сестры. Маня аж плачет, с ног сбилась, просит подсобить ей. Человек, говорит, тридцать пригласил к обеду. Хиба одна она на всех готовится? — Взмахнув рукой, Наталия Гавриловна заспешила спасти свою подружку Маню.

Остап Тарасович велел мне прийти пораньше, чтобы вместе с ним встречать гостей. Когда я пришел в назначенный им час, все столы были уже вынесены из дому во двор и Мария Тарасовна с Наталией Гавриловной расставляли их в ряд под зеленым навесом виноградных лоз. Остап Тарасович еще почивал у себя в горнице. Сестра его, посмотрев на меня недобрый взглядом, сказала, что вчера он вернулся из Золотоноши поздно и сильно уставший — лица на нем не было, потому до сих пор и не будила, но теперь уже пора.

— Будите, скоро люди начнут собираться.

Он лежал на кровати пластом, вытянувшись во весь рост под белоснежной накрахмаленной простыней, укрытый с головой, совсем как покойник. В растерянности я молча остановился посреди комнаты, не решаясь будить его. Но он не спал, откинув с лица простыню, увидел меня и стал подниматься, спустил уже ноги с кровати, сел и вдруг покачнулся, закрыл глаза, и нижняя губа его жалостно отвисла.

— Что с вами? — испугался я.

Немного помолчав, он открыл глаза и сказал:

— Голова закружилась, но ничего, проходит уже, садитесь, я сейчас.

Я сел на диван подождать, пока Остап Тарасович оденется, но он не одевался, сидел на кровати голый, в одних трусиках, поглаживал голени и рассказывал, какой хороший порядок на автобусной станции в Черкассах — очень понравился ему: билеты продают заранее, все места нумерованные, диспетчер стоит у дверей, следит за посадкой — и как плохо все это организовано в Золотоноше — никуда не годится, билетов никто не проверяет, люди лезут в автобус как попало, кучей, берут места нахрапом.

— Всю обратную дорогу простоял в толкотне, ночью заснуть не мог, и сейчас еще мурашки по ногам бегают, — пожаловался Остап Тарасович, а потом стал рассказывать, как он расстроился, когда по дороге в Золотоношу заехал в село к двоюродной сестре своей супруги передать ей посылочку и лекарство, которое она просила прислать. В этом приднепровском селе он обратил внимание на новый, недавно поставленный памятник воинам, погибшим в бою за него.

— Памятник хороший и обращение на нем к прохожим хорошее: «Остановись, постой, почти память героев». А люди проходят мимо не останавливаясь, и никто, кого ни спросишь, не знает, кто тут захоронен, — говорил он.

Не мог так оставить этого Остап Тарасович: побывал он в сельсовете, потом в район съездил, разыскал в райвоенкомате список захороненных в селе воинов, и ему пообещали перенести на памятник фамилии, инициалы и воинские звания всех, кто числился в списке.

— Надо будет проверить, а то бывает иногда и так, что пообещают и забудут, — сказал он и после этого начал потихоньку одеваться.

Надев брюки, Остап Тарасович обнаружил, что они вымараны в грязи, снял их и понес во двор чистить. Не раз он выходил босиком, в одних трусиках во двор, приводя в порядок свою одежду и обувь.

— Дождя как будто не было, а весь в грязи вымазался, — недоумевал он.

Голый Остап Тарасович выглядел тощим, и видно было, что ноги у него подрагивают, но, побрившись, умывшись, одевшись, подтянув галстук и одернув пиджак, он сразу преобразился — совсем еще нестарый, бодрый, крупный мужчина с розовым глянцем на тугих щеках.

Поджидая гостей, мы сидели с ним на крыльце перед длинным рядом сдвинутых, накрытых скатертями столов, на которых хозяйка с помощью Наталии Гавриловны уже расставляла миски и тарелки с закусками.

— Задали вы хлопот своей сестрице, — сказал я.

— Что вы — для Мани это одно удовольствие, — сказал он, хотя на лице его сестры можно было прочесть что угодно, но только не удовольствие.

Не радовали хлопоты и хозяина: в ожидании гостей он угрюмо расхаживал по двору в тапках на босу ногу. Одна Наталия Гавриловна, приглашенная хозяевами на помощь, действительно с удовольствием бегала с пылавшим от кухонного жара лицом от летней кухни к столу.

Вскоре приглашенные на встречу родственники и земляки начали подходить. Первой пришла приехавшая из колхоза свояченица Остапа Тарасовича. Войдя во двор, она остановилась у калитки и молча поклонилась. Несмотря на жаркую погоду, на ней была меховая безрукавка, а поверх нее она была повязана крест-накрест шерстяным платком. Ее немолодое уже лицо выглядывало из-под платка, как зверек из норки.

— Ксюша, — назвал мне ее Остап Тарасович, шагнул к ней навстречу, обнял ее и расцеловал. — Решилась все-таки приехать. Молодец. Знакомься — мой товарищ из Москвы, показываю ему Черкассы, между прочим, и деревней тоже интересуется, — представил он меня Ксюше и тут же, посреди двора, задержав ее, стал объяснять мне, какой она молодец: тридцать лет проработала дояркой и до сих пор еще бы доила коров и повышала надой, если бы болезни не напали — радикулит замучил и еще какая-то хворь, название которой никто не может сказать, хотя полгода в больнице ее продержали, всевозможные анализы и обследования делали и из Киева профессор приезжал на консультацию.

— К сожалению, много еще случаев бывает, когда медицина оказывается беспомощной, — сказал Остап Тарасович.

Ксюша, слушавшая его, глядящая из своей глубокой норки и смущенно улыбаясь, подняла руки и помахала над головой кистями, как машут доярки после тяжелой дойки, как бы подтверждая, что да вот, ничего не поделаешь — коров не доит уже, а руки все еще болят.

Следующий гость вошел в калитку, распахнув ее сильным ударом ноги, так как руки его были заняты двумя бутылками шампанского. Это был богатырской стати мужчина в черном костюме с распахнутым пиджаком и в белой нейлоновой сорочке с расстегнутым воротом.

— Всем гамузом к тебе, дядюшка! — весело объявил он, шагнув к Остапу Тарасовичу, сжал его в объятиях, не выпуская бутылок из рук, чуть приподнял и легонько встряхнул.

Со слов Остапа Тарасовича я знал, что среди многочисленных черкасских родственников наиболее видная фигура в городе — его племянник Степан Григорьевич, заместитель директора большого завода. «Гамузом» пришел именно он, и «гамузом», видимо, был выползший следом за ним из калитки хвост не то его домочадцев, не то просто родственников с сумками и сетками, от которых потянуло еще не успевшим выветриться ароматом чего-то свежезажаренного и свеженепеченного.

Гости подходили и подходили — одни кучками, должно быть, жившие по соседству, другие супружескими парами или одиночками, молодые, пожилые и совсем старые, по обличению и городские, и деревенские. интеллигентия преимущественно мужского пола, а простой народ жен-

ского. Остап Тарасович больше никого не встречал и ни с кем меня не знакомил: завладевший им Степан Григорьевич усадил его за стол и, обняв за плечо, крепко держал при себе. Если Остап Тарасович и порывался подняться, чтобы поздороваться с подходившими к нему сзади гостями, то эти порывы оставались тщетными — он мог только голову повернуть и вытянуть шею к тем, кого хотел расцеловать.

Стол был обильный, и все на нем — жареное, вареное, заливное, печеное, соленое, маринованное и зеленое огородное — было своего, домашнего приготовления, из магазина только две бутылки шампанского и одиноко стоявшая с ними рядом поллитровка «столичной», остальные напитки содержались в графинах и кувшинах. Гости усаживались за стол сами, подходили и садились кто где хотел, но когда все расселись, как-то само собой получилось, что на одном краю стола собрались все престарелые, совсем старые и больные, на другом зеленая, еще не оперившаяся молодежь, а середину стола заняли зрелые и солидные люди, расположившиеся по бокам и напротив Остапа Тарасовича и его самого видного в городе племянника. Этот порядок нарушила только одна ларечница Зиночка.

Она появилась во дворе в огненно-красном платье в сопровождении пыхтевшего следом за ней Осипа Ивановича, но за столом супруги оказались в противоположных концах: и с возрастом своим не посчитавшись, Зиночка подсела к молодым людям, и они, конечно же, ее постоянные клиенты, вступили с ней в веселое общение, и Осипу Ивановичу, может быть, единственному в Черкассах человеку, который до наших дней сохранил в целости облик тех старых запорожцев, что писали письмо турецкому султану, пришлось отправиться в общество старух.

Хозяева затерялись где-то среди гостей. Скрылась из виду и Наталия Гавриловна, присевшая в дальнем уголке, где на стол свисал с проволочного каркаса виноград, за двумя удивительно, как двойняшки, похожими одна на другую головами, большелобыми старухами — обе они были в одинаковых темных платках, обе сидели неподвижно, как мумии, и, строго поджав губы, смотрели на застолье, казалось, с суровым осуждением кого-то или чего-то. Может быть, они осуждали зеленую молодежь, которая на противоположном краю стола, не выражая достаточного почтения к старшим, ерзала, хихикала, подмигивала и потирала руки в нетерпеливом ожидании выпивки. А может быть, они осуждали даже самого Степана Григорьевича за то, что он, занявшись разговором с московским дядюшкой, забыл, что они тоже его родственники и заслуживают уважения.

Помимо Степана Григорьевича, высшее черкасское общество за столом, несомненно, представляла и сидевшая рядом с ним представительная дама, курившая, стряхивая пепел за спинку стула. Обращал на себя внимание и майор авиации, повесивший свою парадную фуражку на виноградную лозу у себя над головой.

Когда за столом оставалось только одно свободное место рядом с дамой, Степан Григорьевич стал посматривать на часы — значит, кто-то еще должен был прийти. Как выяснилось потом, Остапу Тарасовичу готовился приятный сюрприз: его племянник, заместитель директора, поджидал самого директора, уехавшего накануне по делам в Киев и обещавшего, если успеет вернуться к обеду, заглянуть по дороге почтить земляков. Но и такого уважаемого гостя ждать уже нельзя было — люди истомились, попусту сидя за накрытым столом, и Степан Григорьевич, еще раз глянув на часы, поднялся и, приняв на себя обязанности упорно укрывавшегося у кого-то за спиной хозяина, объявил:

— Ну, что ж, товарищи, поедем помаленьку, чтобы, если кто еще подойдет, сумел нас догнать.

Застолье ожило, все потянулось к блюдам, мискам и графинам. Бу-

тылки «столичной» никто не коснулся. Одиноко стояла она как нечто священное. Степан Григорьевич, кивнув мне на нее, сказал:

— Представителю печати можно из этой бутылочки налить. Сами мы к ней не прибегаем, предпочитаем горилку местной кустарной самодеятельности. «Столичную» держим только для украшения стола.

Так вот пошутив и тем самым как бы и со мной познакомившись и представив меня всему застолью, он поднял стопку и обернулся к Остапу Тарасовичу:

— За ваше здоровье, дядюшка! Живите долго на славу нашего древнего рода из села Красное, бывшее Панское, которое, увы, уже в бозе почило на дне морском.— И скомандовал: — Ну, поехали, друзья.

— Поехали! Поехали! — заторопилась молодежь.

Все по очереди подходили к Остапу Тарасовичу и чокались с ним, а те, кто не сумел сделать этого раньше, обнимали и целовали его, пока он в растроганных чувствах не пролил всю стопку себе на штаны. Ее снова наполнили, все выпили за здоровье Остапа Тарасовича, и майор авиации, тоже его племянник, приехавший в Черкассы отдыхать с Дальнего Востока, стал рассказывать, как в одном письме он, между прочим, пожаловался Остапу Тарасовичу на свою жену, что у нее только одна мечта — рижский столовый гарнитур, как у самого полковника.

— И что вы думаете? — Майор, смеясь, обернулся ко мне. — Не прошло и двух недель, как мы получили от дяди телеграмму с извещением, что он уже записался в очередь на гарнитур и гарантирует доставку его нам контейнером. Представляете, что было и каких это хлопот стоило дяде? О себе я уже помолчу из скромности, — сказал он.

Все посмеялись. Дама, оказавшаяся председательницей родительского комитета местной школы, заулыбавшись, передала Остапу Тарасовичу благодарность от имени редколлегии школьной стенгазеты за присланные им воспоминания о тяжелом труде подростков, работавших до революции на строительстве железнодорожного моста в Черкассах.

— Живя в Москве, дядя всегда с нами и принимает самое горячее участие во всех общественных мероприятиях нашей школы, — сказала она, тоже обернувшись ко мне, словно один только я из всех собравшихся за столом все еще не могу представить себе, до чего доходит отзывчивость Остапа Тарасовича и как его на все хватает, а другим об этом говорить нечего — сами давным-давно прекрасно знают.

А Степан Григорьевич, поторопившись заключить этот разговор, сказал:

— Я думаю, что все мы согласимся с тем, что наш дорогой дядюшка — человек во всех отношениях идеальный. И если присутствующий здесь представитель столичной печати так именно и напишет, то он попадет прямо в точку. А теперь, товарищи, поедem дальше, — скомандовал он, взявшись за графин.

Молодежь громко захлопала в ладоши, закричала:

— В точку! В самую точку! Дядюшка — наш идеал. Поцелуем его еще раз и поедem дальше.

Покраснев от похвал, Остап Тарасович смущенно улыбался, крутил головой в разные стороны, поднимал и опускал ее, словно голова стала ему вдруг ужасно мешать.

Отдав должное московскому дядюшке, Степан Григорьевич посмеялся и над своей присутствующей за столом дочерью Лидочкой, которая на днях с отличием окончила среднюю школу:

— Перед ней двери всех институтов открыты, но она у меня ужасный романтик — на производство хочет пойти... чтобы с папой на одном заводе работать.



Лидочка, и фигурой и ростом далеко уступавшая отцу, закричала, что папа и романтика тут ни при чем — в институт она пойдет, но только в заочный и не сразу, сначала они с Толей получат на заводе квартиру и обзаведутся приличной мебелью, чтобы по-человечески можно было жить, а не так, как папа с мамой, поженившись, жили в студенческом общежитии, — не те уже времена. Молодежный край стола шумно поддержал Лидочку. Председательница родительского комитета, оказавшаяся ее мамой, повздыхала:

— Ох дети, дети, рано вы спешите жить.

Остап Тарасович тоже что-то хотел сказать по этому вопросу — он встал, чтобы попросить слова, как это полагается на собрании, но Зиночка опередила его, закричав, что надо выпить за счастье Лидочки с Толей. А потом Степан Григорьевич заговорил со своим братом об охоте на водоплавающую дичь, и Остап Тарасович, постояв немного, сел, ничего не сказав.

Из разговора его племянников выяснилось, что оба они — местный, заместитель директора, и дальневосточный майор — страстные охотники, а уток под Черкассами, после того, как море затопило левобережные луга, тьма-тьмушая и добраться до них на моторке пустяк: заведешь мотор — и вынимай ружье из чехла, начнешь палить — и только успевай уток подбирать, за утро полную лодку кряковых накидаешь, как уверял Степан Григорьевич своего дальневосточного брата, клянясь богом и стуча себе в грудь, что не «заливает» — прошлый сезон за одну охоту тридцать шесть кряковых ухлопал, и не где-нибудь, а там, где раньше на лугу, за ветряком, ребятишки пасли гусей и он сам с братом пас их.

— Самая охота там — камыш, болото, дикие места, — говорил он, сожалея, что брат приехал не в охотничий сезон, а то бы они, конечно, не один рассвет встретили в камышах.

Поговорили они об утках — как много их нынче развелось в камышах, которыми заросли бывшие луга, вспомнили о гусях, которых когда-то пасли, — много их было в Панском, как под снегом, белел от них луг. А потом Степан Григорьевич, еще раз посмотрев на часы и решив, что директора ждать уже нечего, поднялся и предложил выйти проветриться на откосе у моря, а то дядя уже начинает дремать за столом.

Остап Тарасович встряхнулся, выпрямился и сказал:

— Идите, а я пойду полежу лучше немножко.

Племянники пошли, и я пошел с ними проветриться.

Из садика мы вышли на огород, на задах которого у крутого обрыва к морю стояла скамеечка с высокой, как у кресла, спинкой.

— Специально для дяди поставлена, — сказал Степан Григорьевич. — Любит он посидеть здесь и посмотреть в бинокль на тот берег.

Да, чудесная скамеечка: за спиной большой город, но его не видно, не слышно за садами, как вознесенный на небо сидишь и смотришь на море сверху вниз — внизу узенькая полоска пустынного песчаного берега, а дальше, до самого горизонта, вода, вода и вода...

Исчезнувшее ныне под водой село Панское и раньше весной заливалось — в паводок Днепр всегда был тут широк, как море. Степан Григорьевич с братом, сидя на скамеечке, рассказывали мне, как, бывало, весной, когда к селу подступала вода, женщины угоняли скот и гусей далеко в степь, а мужики и дети перебирались со всей домашней утварью, курами, кошками и собаками на чердак и иной раз по два месяца, пока вода не спадала, если и слезали с него, то только прямо по лестнице в лодку — к соседям ли, в церковь к пасхальной заутрене, в город на рынок — все равно надо было на лодке плыть.

Конечно, молодым нечего жалеть свое Панское, а старики вот все же посматривают, не выступил ли там из воды бугорок с тем пнем, что

только и остался от большого, в тысячу дворов села с водяными и ветряными мельницами, кузницами и сукновалками. И Остап Тарасович привозит с собой из Москвы цейсовский бинокль, сохранившийся у него с первой мировой войны, должно быть, только для того, чтобы посмотреть на этот пень, подумал я.

С полчаса просидели мы на откосе горы, освежились на обдувавшем нас с моря ветерке и, вернувшись после этого в сад, увидели, что за столом остались только несколько сильно подвыпивших молодых людей. Они еще шумели, а все остальные, столпившись у крыльца, стояли с встревоженными лицами и, чего-то ожидая, разговаривали вполголоса. Когда мы подошли к ним и Степан Григорьевич спросил, что случилось, его супруга, появившаяся в этот момент на крыльце, сказала:

— Дяде плохо стало, пошел прилечь и тут вот на крыльце свалился, только что в сознание пришел.

Врача, жившего где-то по соседству, уже привели, и в ожидании, что он скажет, собравшиеся у крыльца женщины толковали всяко. Хозяйка, не подававшая за столом голоса, слезно жаловалась: каждый раз случается это с братом — придет из Москвы, разболеется, и все потому, что очень у него беспокойный характер — гуда ему надо и сюда надо, одного навестить, другого пригласить, ни себе, ни другим пскою не дает, а человек уже не молодой. И, между прочим, говорила она, врачи не советуют ему ездить в Черкассы, лето для него здесь жаркое, а он все ездит, не дай бог еще помрет. Наталия Гавриловна, утешая свою подружку Маню, говорила, что ничего с Остапом Тарасовичем не станет — полежит сегодня, а завтра снова здоровый и бодрый подымет, дай бог каждому в его годы таким быть. И ларечница Зиночка уверяла, что все это пустяки, с каждым может случиться в любую минуту, если выпить лишнее, и что, наверное, он споткнулся и стукнулся головой. Приехавшая из колхоза доярка Ксюша сказала, что позавчера у них в селе Остап Тарасович сильно разволновался из-за памятника и это, наверное, повлияло на него. И другая его родственница колхозница Катерина, приехавшая из-под Золотоноши, сказала, что и у них в колхозе Остап Тарасович переволновался: пошел посмотреть новый скотный двор и там молодые телятницы, принявшие его за приезжее начальство, раскричались и такого наговорили ему, что он, вернувшись от них, как слепой тыркался в дверь — шеколды никак не мог найти, и уехал в Черкассы совсем расстроенный.

Женщины сочувствовали Остапу Тарасовичу, вздыхали, охали, и только две головастые суровые старухи в ожидании приговора врача молча стояли особняком. Казалось, что, как и раньше за столом, они все еще кого-то или что-то строго осуждали, но свое осуждение твердо решили держать про себя.

Врач, щупленький старичок с чемоданчиком, появился в дверях в сопровождении Степана Григорьевича, который, поддерживая под руку, помог ему спуститься с крутого крыльца и сразу же повел к столу. Уже одно это говорило, что жизни Остапа Тарасовича сколько-нибудь серьезная опасность не угрожает, и все снова двинулись к столу и стали рассаживаться за ним.

За столом врач объявил родным Остапа Тарасовича, что, конечно, давление у него повышенное, к тому же сердце не совсем в порядке, но ничего страшного нет — должно быть, просто сильно перегрелся на солнце. И за столом тут же было решено, что раз здешнее солнце вредно Остапу Тарасовичу, то лучше всего как можно скорее отправить его домой, а то он такой неугомонный, что его не удержишь — опять пойдет таскаться по городу, переутомится, перегреется и окончательно свалится с ног.

Очень неудобно почувствовал я себя — из-за меня ведь, чтобы помочь мне, Остап Тарасович таскался целые дни по солнцу, — и недолго просидел я после этого у его родственников.

...Хороший город Черкассы, и особенно хороша летом его приднепровская окраина, где по соседству с благоустроенным курортом, кафе, ресторанами люди, приезжающие сюда отдыхать в начале лета, всегда могут найти приют в деревенской хате с садиком под высокой горой, с соснами у самого моря, а если посчастливится, то найдут такую гостеприимную хозяйку, как Наталия Гавриловна, для которой все квартиранты свои люди. Она показывала мне фотографии дачников, которые из года в год приезжают к ней из Конотопа, — очень милая, интеллигентная супружеская пара фотолюбителей, каждое лето награждавших ее множеством фотоснимков, сделанных ими в Черкассах на пляже, в лодке, на горе под соснами, в парке, у себя на дворе и в садике. Показывала она и пластинку, изготовленную в студии звукозаписи черкасского горкомбината, на которой они поздравляют ее в день свадьбы сына и на которой тоже есть их фотография. По всем этим фотографиям я сразу узнал их, когда они, наконец приехав из Конотопа с встревожившим Наталию Гавриловну опозданием на несколько дней, появились на дворе среди кур и уток, похожие на туристов, совершающих международное путешествие, — оба были в бело-синих кепи с длинными целлулоидными козырьками, в так называемых эстонках, навьюченные разноцветными рюкзаками и с фирменными сумками Аэрофлота в руках.

Это было в воскресенье, на следующий день после устроенной Остапом Тарасовичем и так неудачно закончившейся для него встречи с родственниками и земляками. Похлопотав там, помогая своей подружке, Наталия Гавриловна хлопотала теперь у себя на дворе за столом, угощая сына и невестку, а вместе с ними и квартиранта праздничной окрошкой с огурцами, яйцами и зеленым луком. Оба прибывших из Конотопа дачника, он и она, были уже далеко не молодыми людьми, но Наталия Гавриловна встретила их как малых, где-то долго пропадавших детей — и поругала, и расцеловала, и помогла им развьючиться, провела к рукомойнику, подождала, пока они умоются, подала им полотенце и поспешила усадить за стол, очень довольная, что они так кстати подоспели. И они, сев за стол, как малые дети, возбужденно перебивая друг друга, принялись объяснять, как это случилось, что они нынче запоздали: вздумали поразвлечься, решили поехать через Киев, чтобы прокатиться на «ракете», в Киеве заглянули к знакомым, загостились и те уговорили их, вместо того чтобы ехать на «ракете», лететь на самолете, и из-за этого они задержались еще на одни сутки и натерпелись страху, зато долетели от Киева до Черкасс за двадцать минут и теперь больше не будут бояться пользоваться воздушным транспортом.

Милые, симпатичные люди, но в Киеве они успели обзавестись транзисторным приемником и, прежде чем приняться за окрошку, начали демонстрировать свое приобретение на разных волнах и диапазонах.

Остапу Тарасовичу был предписан врачом полный покой, и я считывал, что теперь-то уж ничто не помешает мне погрузиться в давние воспоминания, от которых он оторвал меня, затащив в сегодняшний день, — и вот тебе на!

Не напрасны были мои опасения. Если первое время, пока погода стояла солнечная и жаркая, конотопцы выгоняли меня из дому музыкой только во второй половине дня, после того как, пожарившись на пляже, нагулявшись в сосновом парке, пообедав в столовой, возвращались домой, едва волоча ноги, с фото- и радиотехникой на шеях, и сей-

час же, улегшись на раскладушках под кустом жасмина в нескольких шагах от моего окна, засыпали под музыку с невыключенным транзистором, то потом, когда погода испортилась, задождило, я уже с раннего утра не знал, куда деваться. Шел дождь — конотопцы наслаждались музыкой, сидя дома у раскрытого окна шагах в пяти от моего, дождь переставал — конотопцы выходили во двор и устраивались со своей голосистой коробочкой у меня на крыльце под самой дверью или под окном на скамеечке, на которую тотчас подсаживался и Афанасьевич, чтобы поговорить и послушать музыку, — какие уж тут воспоминания, когда сегодняшний день неумолчно гремит на дворе!

Между тем начался плодово-ягодный сезон, и все черкасское побережье было забито приезжими отпускниками, так что если бы я и попытался найти себе тихое убежище, то мог бы сделать это разве что с помощью Остапа Тарасовича. А его к тому времени в Черкассах уже не было — Мария Тарасовна поторопилась отправить своего брата в Москву — «спроводить», как сказала мне Наталия Гавриловна, посмеявшись над опасениями своей подружки, как бы Остап Тарасович совсем не развалился. Конечно, если его родственники действительно опасались этого, то зря.

Вернувшись в Москву и зайдя к Остапу Тарасовичу, я не застал его дома, и супруга, сидевшая в квартире одна, сказала с печальным вздохом, что днем он редко бывает дома — как приехал из Черкасс, с утра до вечера ходит по каким-то делам. На другой день он сам зашел ко мне и сказал, что в Черкассах ему очень повезло — недаром переписывал там с доски объявлений адреса москвичей, желающих обменять свои квартиры на жилплощадь в Черкассах, — со многими уже успел перезнакомиться и хочет помочь им с обменом, потому что дело это сложное, хлопотливое, а люди свои — земляки, пенсионеры, и один даже родом из села Панское, в детстве тоже хуру возил со своим батей.

Год уже прошел с тех пор, но Остап Тарасович все еще хлопочет по этому делу. Супруга его сердится, говорит, что лучше бы ему уйти с пенсии обратно на свою работу, раз он без нее потерял покой.

— С ума с ним можно сойти, целый день где-то шатается, а ночью спать не дает: сидит за столом и бумажками все шелестит и шелестит, — жалуется она и страшно морщится, показывая, как это все ей опротивело.

Многие не понимают Остапа Тарасовича: одни говорят, что он не от мира сего, а другие, наоборот, говорят, что уж очень он настырный, но я думаю, что его можно понять. Найдя общий язык, мы живем теперь с ним как хорошие соседи: заходим друг к другу, вспоминаем свою поездку в Черкассы и каждый раз что-нибудь проверяем и уточняем.



---

## ВЛАДИМИР ЦЫБИН

★

### ЭХО

Пригвожден к своим годам,  
ждал успеха — без успеха.  
В мир кричу —  
и тут же сам  
повторяюсь в нем, как эхо.

Растерявшись, впопыхах  
в даль кричу,  
в людские лица,  
в мир кричу — в его громах  
все, озвучась, повторится.

От версты и до версты —  
по своей судьбе скитаюсь,  
тишиной на свет звезды —  
я на нежность откликаюсь...

Так чего же ты спешишь,  
увлеченный давней гонкой,  
на соломенную тишь  
вслед за первую поземкой!

Из былой любви изгой,  
шумно жил —  
и вот — растрата.  
Меж тобой и той, другой,  
не моя ль душа распята?

Незабвенен и забыт,  
почему, боясь излета,  
откликаюсь на зенит,  
как мотор у самолета?

Принимаю вышину  
всею тягой крыл гудящих,  
откликаюсь на вину  
всех надолго уходящих.

Этот мир во мне гудит,  
словно по полю поземка,  
жду, что сердце повторит  
боль далекого потомка.

Повторится мир во мне:  
города и захолюсь.  
Я ведь жил —  
и на земле  
никогда не повторюсь я.

Мир, летящий сквозь зарю,  
с маетой его и правдой,  
содрогаясь, повторю  
наковальной под кувалдой.

\* \* \*

Этот день, такой ранний-ранний и теплый,  
этот день распахнут настужь передо мной.  
Он сыплет к ногам  
тополевою, зыбкую опылъ,  
и я в него вхожу не спеша,  
как в дом обжитой.

Скоро зноя медленный, клейкий запах  
поплывет над полем пухом и тишиной.  
Как мексиканцы — в широкополых огромных шляпах  
подсолнухи тяжестью наклона  
сдвигают с места шар земной.

Так в день я вхожу,  
глазами касаясь его сиянья,  
руками комочков света касаюсь едва —  
и сам я, с ног до головы  
обсыпанный ранью,  
слышу — привстала на цыпочки  
и к дню прислонилась трава.

На тополиной листве сохнет розовая погода,  
глохнет шелест воды между гулких камней.  
И, предчувствуя тяжесть движенья  
и тяжесть полета,  
я рвусь из себя,  
как рвется дерево из своих корней.

Я постигаю,  
что здесь, среди марев сонных,  
все идет, все движется, как прежде, как встарь:  
где звезда упадет — вырастет подсолнух,  
где упадет подсолнух —  
вырастет новая даль.

От птичьего гама остается гортанное эхо,  
выпадает роса — остается мокрая тень,  
от робкого следа остается новая вежа,  
от маленькой капельки света —  
вырастает день...

\* \* \*

Когда грядущий день встает, маня  
куда-то вдаль от суеты случайной,  
хочу сказать я с нежностью печальной:

— Душа моя, не искушай меня,  
полнощик мой  
и искустель тайный.

Не искушай любовью  
как бедой,  
живая ты, душа, а не святая.  
Не искушай,  
покой мне обещаая,  
беспомощной своею правотой.

Немая, разве ты заговоришь,  
глухая, разве ты услышишь тишь,  
слепая, разве ты увидишь пламя?  
Живая, все равно ты устоишь.  
Раздвиг огонь — сама ты в нем сгоришь:  
останется лишь горсткой пепла  
память.

И все же света ты и тени смесь.  
И я, в тебе порою разуверясь,  
прошу,  
не искушай меня, как ересь,  
прошу —  
не искушай меня  
тем, что ты есть!

Отчаяньем ли можно искусить  
того, кто верит правде,  
словно диву?  
Кто, подойдя к глубокому обрыву,  
старается все вспомнить,  
все забыть  
и новою любовью искупить  
и жизнь свою,  
и душу свою живу.

\*.\*

Спокойствием дыша,  
как на исходе лето,  
творишь, моя душа, —  
из радуги. из света,  
из тихого ручья,  
из облачка над кущей,  
из звонкого шитья  
листвы, с берез бегущей...

Свершайся каждый миг,  
творишь без промедленья  
из дней моих былых,  
из этого мгновенья,  
из ясности простой,  
что с болью нету слада,  
из памяти о той,  
кого забыть мне надо.

Чудак, порой вздохну,  
что — пасынок эпохи —  
хотел — на всех одну —  
раздать ее по крохе,  
раздать, расторговать  
и рассорить по свету.  
Вернуть ее опять  
нельзя, как песню спету...

Творишь, душа моя,  
из шума беглых ливней,  
творишь из забытья  
земли  
под дымью зимней —  
из звезд, летящих ввысь,  
из троп, бегущих где-то,  
всю жизнь мою  
творишь,  
как белый день из света!

Объяв и даль, и ширь,  
и высь, и воду, и сушу —  
бросаю в этот мир  
доверчивую душу.

\*.\*.\*

Все с той же грустью, с той же силой  
в январском поле средь равнин  
я вижу снова свет остывший  
задутых вьюгою рябин.

К ним тянется, как прежде, сердце,  
словно навстречу белу дню,  
забудусь чуть —  
и, чтоб согреться,  
тяну я руки к их огню.

Сюда приду я ранней ранью  
издалека и упаду,  
как это тихое пыланье,  
на землю — белую звезду,

или щекой прижмусь к рябине,  
уже не свой, а только гость,  
в руке земли сжимая горсть,  
как бы и не был на чужбине...

\*.\*.\*

Воспоминаний не тая,  
опять живешь ты в ранней рани,  
а белая страна твоя  
подожжена вся снегирами.



Ты слышишь, как с берез и крыш  
в снегов февральское горенье,  
в свеченье дня  
сквозь синь и тишь  
за каплей капля каплет время...

Пусть капает,  
но я от тех  
огней души не зажигаю.  
Любил лишь миг, но целый век  
нетерпеливо забываю.

И я из времени того,  
презрев и позу и искусство,  
зову себя же самого,  
зачем — и сам не знаю грустно.

И оттого я как в бреду,  
и оттого в душе остуда,  
что не придешь ты,  
не приду,  
что не придем к себе оттуда.

Что понял я? Что я постиг?  
Ведь до сих пор и сам не знаю:  
любил ли век, любил ли миг,  
забыл  
иль только забываю?..

\* \* \*

Своей тоской плачу тебе оброк,  
плачу за то, что день прощанья дивен,  
за то, что самого себя обрек  
на имя твое певчее, как ливень;

на маету, на торжество, на власть,  
твою себя обрек я ненароком,  
на белых звезд затейливую вязь,  
на изморозь твоих прощальных окон.

В прощанье — твой, и в отречение — твой,  
так выпало, должно, в час неурочный,  
чтоб я с тобой, как верный крепостной,  
расплачивался верностью оброчной...

И я твержу — приди, приди в меня,  
приди в меня в стремительном разбеге  
как, позолотой зыбкою звеня,  
листва нисходит поздняя на снеги...

Я обречен всем прожитым на грусть!  
Но, обреченный вечно звать в разлуку,  
я, может, жизнью всей не расплачусь  
за верность, за доверчивость, за муку...



---

ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ

★

## Я И МОЙ АВТОМОБИЛЬ\*

*Роман-фельетон*

**Рассказ о том, как Трофим Михайлович Картузенко имел  
собственный автомобиль**

**Ж**изнеописание Трофима Михайловича Картузенки начинается главным образом с того момента, когда он появился в Москве с женой своей Лизаветой и малым ребеночком Мишенькой на руках.

До указанного времени жизнь свою он сам решил в расчет не брать как неудачную и прошедшую в тумане и как бы во сне молодых своих ошибок. И с таким твердым решением он и прибыл к месту дальнейшего жительства.

История жизни Трофима Михайловича Картузенки есть история жизни семейно порядочной, без каких-либо предосудительных излишеств, как то водка или же самогон.

Трофим Михайлович представлял собою довольно крупного мужчину, достигшего ста тридцати шести килограммов веса. Эти его личные килограммы располагались по всей наружности хозяина весьма пропорционально и даже красиво, а именно: больше в плечах и шее и, в самой небольшой степени, на животе. Когда Трофим Михайлович надевал шляпу и выходил на двор посмотреть что к чему, он ничем не отличался от других интеллигентных людей, разве что повышенной представительностью. Но, конечно, раньше он таким не был.

История его жизни начинается лет двадцать пять назад, когда он приобрел небольшое строение в дачном кооперативе «Заря». Там между прочими дачами разместился небольшой курятничек в полностью запущенной чашобе, поскольку курятничком никто не пользовался ввиду смерти хозяина и легкомыслия наследников, которые и спихнули наследство с рук.

Наследники этого курятника были людьми еще молодыми, но уже достойными сожаления, если говорить честно. Они беззаботно заявили тогда еще молодому Трофиму Михайловичу, что не имеют страсти к земельным угодьям, будучи городскими людьми. Сам наследник, зять покойного, довольно молодой научный работник, прямо сказал, что возить с этой заброшенной дачей у него нет ни времени, ни возможности.

Правда, квартира у них, как заметил Трофим Михайлович, была обширной, видать, также оставшейся по наследству, но была она в плачевном состоянии, что подтвердил сам научный работник недвусмысленными словами:

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

— Лучше мы на вырученные деньги произведем ремонт, а на лоно природы будем ездить как вольные птицы, не страдая от частной собственности.

Трофим Михайлович, несмотря на свою тогдашнюю молодость, был уже человеком честным и по этой причине почувствовал себя в моральном тупике, поскольку возвращаться в родные места ему никак нельзя было, ибо его могли там узнать. С одной стороны, ему хотелось, конечно, подсказать научным работникам всю несостоятельность их мечтаний и перспектив, но, с другой стороны, он являлся покупателем, в чьи обязанности не входит наносить себе материальный ущерб. Кроме того, в отличие от жены наследника супруга Трофима Михайловича уже произвела ему небольшого сынишку, который в настоящее время бегал как живой и требовал чистого воздуха прямо сейчас, немедленно, просто-таки вынь да положь.

Поэтому Трофим Михайлович не вдавался в вопросы, что кому нравится, а говорил уклончиво, например, сколько они себе представляют стоимость ремонта городской квартиры. Они себе представляют стоимость ремонта как легкомысленные люди и эгоисты, не принимающие во внимание, что ихний курятник не стоит и половины. Для того чтобы довести до действительности ихний курятник, нужно будет вложить в него большой капитал, которым Картузенки не располагали в той мере, в какой составили себе видимость научные работники.

Это он им сказал лично, считая, что не обязан, как покупатель, сообщать, сколько у него в действительности средств.

Научные работники, особенно молоденькая жена, угощали его при этом чаем с печеньем «Привет», но Трофим Михайлович стоял на своем и сделка не состоялась.

Добравшись домой, то есть к дружку, у которого Картузенки оставались в поисках жилища и у которого без них хватало забот, Трофим Михайлович сразу напоролся на неудовольствие своей Лизаветы. Она прямо сказала при всех, что он губит родного ребенка при помощи своей скупости, как какой-нибудь изверг, а не родной отец. Дружок тоже поддерживал супругу, поскольку эти Картузенки прогрызли уже ему башку своим безвозмездным присутствием с ребенком, который постоянно путается под ногами, вроде своих детей нет. При этом Лизавета заплакала, держа на руках маленькое дитя, как богородица. Жена дружка тоже подала реплику, что, мол, пора и честь знать, имея немалые деньги от поспешной продажи дома в родных местах. И если человеку повезло с устройством под Москвою, так он это должен считать за счастье для своей семьи.

Трофим Михайлович, человек рассудительный и не без ума, тут же поставил на стол бутылочку и выложил полкило колбасы «краковской», купленной как в предчувствии.

Конечно, тут было дело не в колбасе, а в дружеском разговоре, который при колбасе возник. Дружок, конечно, подумал немножко, но, переглянувшись с женою, думать перестал, поскольку раз уж они продали родные места и при деньгах, так пускай несут другую бутылку; довольно того, что хозяева поставили капусту собственного квашения при такой жилищной тесноте.

Лизавета, конечно, сбегала, и Трофим Михайлович, приняв по новой, сказал, что научные работники не такие дураки, как он их представлял в своем нормальном воображении.

Тут обиделся дружок:

— Как так — не дураки? Этого не может быть. Сейчас мы имеем май месяц — уже можно жить на воле, так?

— Ну, так...

— То-то и оно! Если жить сложа руки — конечно, они не дураки, а если утеплять эту постройку к зиме — то они дураки. Вот и смекай!

— Чем же ее, к примеру, утеплять в смысле стройматериалов?

— Хороший хозяин найдет, — заметила жена дружка. — Сейчас кругом строительство, вот и соображай.

— Правильно, — сказал дружок, — если с умом, так до того лета доживешь в тепле, а летом сдать под дачу. Вот тебе и новые денежки.

— А сам куда с ребенком?

— Сам будешь в конуре собачьей жить — невелик барин, — а ребенка с Лизаветой к родителям на лето... У тебя пока еще родители живые, не то что я, круглый сирота. Что же они, внучка выгонят?

Трофим Михайлович хотел было сказать дружку, что жену пока еще никак нельзя посылать по первому времени, но смолчал, имея на то секретные основания. Он смолчал и подумал, что может спокойно пережить лето с семьей, не лишая ребенка чистого воздуха.

Да, давно это было.

Где теперь тот дружок с его капустой, где те научные работники! А Трофим Михайлович уже двадцать пять лет как хозяин и за истекший период, живя семейно, немало служб переменял. Служил он и в лесничестве, и в совхозе, и в потребсоюзе и всюду, где служил, наживал одни благодарности от начальства, ибо голову свою ценил и зря ею не рисковал, исключительно придерживаясь законодательства.

Так на его участке постепенно преобразился курятник, вырос небольшой сарайчик для коровенки с кабанчиком, протянулись-таки небольшие грядочки под клубнику, была своя картошка, так что можно было вполне жить при своем уме.

Жена Лизавета по первым годам в бывшие родные места не ездила, а помогала развивать хозяйство, находясь с престарелыми родителями в переписке, будто нахождение самого Трофима Михайловича ей пока еще неизвестно. Но родители, конечно, понимали что к чему и вели себя как потерявшие сына.

Бывший курятничек был также оформлен на жену Лизавету на тот случай, если что произойдет.

И еще на жену Лизавету было оформлено новое приобретение, для которого заранее Трофим Михайлович выстроил не что иное, а такой небольшой гаражик.

Мишка, войдя в пионерский возраст, будучи передовым человеком нового времени, корову не одобрял, следя, чтобы отец не кормил ее печеным хлебом, как какой-нибудь стяжатель, о котором писали газеты. А чтобы кормил он ее сеном, раз уж она ему так нравится. Из-за такого передового взгляда собственного сына Трофим Михайлович и вовсе от коровы отказался и года три ее не имел — ввиду невозможности обеспечения. Когда же восторжествовала справедливость и был на всю катушку разрешен приусадебный скот, корова снова появилась у Картузенков. Кабанчик же не переводился, ибо питался отходами продуктов питания и под закон не попадал. Мишка и кабанчика осуждал, но домашнюю колбасу под каждый Новый год кушал, собачий сын, как несознательный, будто не соображал, из чего та колбаса выросла. Или сало.

Но что Мишка одобрял с детства — так это гараж. Сначала, будучи ребенком, а потом и юношей в летах.

При Мишке-ребенке Трофим Михайлович приобрел автомобиль «Москвич-401», истинную картинку, а не автомобиль, по тем временам даже красавца. Такой был чистый зелененький автомобильчик, как игрушечка. Мишка, по молодым годам, от автомобиля прямо-таки не отлеплялся. Но отец баловаться не разрешал, а велел ждать, пока придет возраст, чтобы научиться на курсах и затем уже ездить.

Автомобиль стоял у него на колодочках, таких небольших козелках, чтобы не давил понапрасну на шины. Все же стоял он так недолго, всего два года. Конечно, он был в полной исправности эти два года. Трофим Михайлович лично не спускал с него глаз каждый день. А раз в месяц, летом, приходил к нему леспромхозовский шофер дядя Вася и заводил мотор, чтобы проверить, крутится или же нет. С козелков его, конечно, не спускали, поскольку проверить кручение колес можно и в подвешенном положении. Трофим Михайлович садился рядом с дядей Васей и присматривался — что и как нажимать, чтобы достигнуть нужного состояния. Потом они, конечно, выпивали и обедали, разговаривая о разных марках машин, а также о том, что надо этого красавца загнать, поскольку подходит очередь на «Победу».

Трофим Михайлович располагал довольно догадливой головой и за годя записал свою Лизавету на «Победу» на всякий случай. И теперь этот случай пригодился.

Однажды, когда Мишка перешел уже в пятый класс, Анастасия — в третий, а меньшенький Владимир только закончил первый, то есть прекрасным летом явился дядя Вася с покупателями.

К тому времени, за сроком давности, Лизавета находилась в отсутствии, а именно у родителей, которые постарели и жили теперь в другом колхозе, где Картузенков никто не знал — откуда они взялись и какая автобиография у ихнего сыночка Трофима Михайловича. Сам Трофим Михайлович уже давно осознал ошибки своей молодости и искупил свою вину честным трудом, а вина была у него такая, что сдезертирничал он в нехороший момент и вынужден был ошибаться дальше в присутствии злого врага. Но теперь он полностью осознал, что был не прав.

И вот по прошествии времени детки с Лизаветою уехали к родителям, а сам Трофим Михайлович опять-таки остался, чтобы присматривать за хозяйством и за дачниками, которые снимали у него постоянно дачку, то есть комнату с верандой, при парном молоке для растущего ребенка. Они снимали дачу с молоком, потому что Трофим Михайлович сообразил, что так людям удобнее, вместо того чтобы бегать на сторону. Лизавета сама доила корову, а на лето по хозяйству помогала одна деревенская старушка, которой много не надо было и даже не считалось, что ее нанимали.

Вот старушка доила молоко, растущий дачный ребенок поправлялся, потому что они договорились и масло пахтать, которое хранили в погребе. А дядя Вася привел покупателей.

Для этого случая автомобиль приподняли домкратом, вынимая козелки, и он очутился на своих ногах, новенький, как с завода. Покупатели — муж и жена неизвестного происхождения — прямо обрадовались, что машина как с завода, а муж имел желание поездить, на что Трофим Михайлович хотел было ответить, мол, сначала купи, а потом езд. Но воздержался по справедливости, поскольку такую покупку не дешевую и ответственную нужно, конечно, попробовать.

Муж поездил по дорожке взад-вперед и пришел-таки в полное удовольствие, начав торговаться. Наверно, все-таки он подмазал дядю Васю, поскольку этот не чужой, казалось бы, водитель держал его сторону, говоря, что больше никто не даст, ибо машина стареет.

— Как же она стареет, — возразил Трофим Михайлович, — когда она вся новая, а на спидометре всего сто семьдесят девять километров.

— Видите ли, — пояснил муж, — существует еще и моральный износ...

Трофим Михайлович в мораль никогда не лез, но понимал, что, когда начинают про мораль, надо ждать подвоха. Поэтому он сказал:

— Мне не к спеху. У меня дети растут — будут ездить.

Однако он тут немного сбрехал, потому что очередь на «Победу» подошла, а покупать новую машину, не сбыв с рук старую, он не считал удобным. Он не любил разговоров, которые возникнут вокруг при наличии у него двух машин — одной в гараже, а другой на участке. Машины эти обросли бы разговорами, как лопухами, и кто знает, может, выйдет закон вторую машину отбирать, тем более в газетах писали про частную собственность и даже требовали такого закона, чтобы была справедливость. А газетам Трофим Михайлович верил свято, особенно когда они писали плохое. Кроме того, он любил порядок и считал, что денежки любят счет, а именно: автомобиль надо покупать на автомобильные деньги, а не на какие-нибудь другие.

Жизнь обернулась таким образом, что дальновидность вошла в особую цену. Люди стали чувствовать свое понятие быстрее, чем выпускались автомашины. Конечно, сначала и людское понятие и выпуск машин шли как бы в обнимку, ноздря в ноздю. Но со временем ихние скорости разошлись, поскольку для роста понятия достаточно было своей родной головы, для роста же выпуска машин требовались различные внешние условия, как то строительство заводов и другие. Понятия крутились в мозгах, появляясь как бы из мечты, а для того, чтобы сделать автомобиль, одной мечты было мало. И вот, скажем, человек созревает своей мечтой до автомобиля, которого все еще нет, и ходит с неудовлетворенными мозгами. И хочет он эти мозги удовлетворить потому, что они крутятся все больше и делают безавтомобильную жизнь невыносимой. И тогда он бежит к дальновидному человеку, который заранее записался на очередь или же имеет один автомобиль купленный, а другой на подходе. А дальновидный человек уже смекает, что надо отпустить машину так, чтобы безвозмездно купить следующую, как справедливо ожидающий очереди, не то что легкомысленные люди, не запишавшиеся загодя, не имевшие предвиденья насчет растущих понятий.

Поэтому Трофим Михайлович прикинул стоимость «Победы» и, высив ее для дальнейшего обсуждения, назвал цену. Муж и жена, конечно, стали торговаться, не отрывая глаз от этого «Москвича». Но оставились и ударили по рукам так, что вышла без малого стоимость «Победы» и ихний магарыч. Дядя Вася, конечно, кинулся за магарычом, но муж и жена оказались непьющими, что не смутило Трофима Михайловича, ибо по всему было видать, что они начинают новую жизнь, которую начинать с водки нехорошо, если они, конечно, не дураки.

Потом они, конечно, на этом «Москвиче» поехали оформлять, указав в оформлении не ту сумму, что была в действительности, а меньшую, ко взаимной выгоде сторон и без вреда для государства.

Так был продан этот красивый маленький автомобиль, а ровно к приезду семьи дядя Вася пригнал в гараж новую зеленую «Победу», потому что были там только зеленые, желтые и коричневые, которые Трофиму Михайловичу не нравились, ибо он уже привыкал к зеленому цвету.

Машину поставили на те же козелки, которые подошли, а дядя Вася даже покрутил мотором колеса, и они не доставали до земли. Тут и сам Трофим Михайлович решил наконец управлять машиной, и у него тоже хорошо получилось. С этой поры он подумал, что можно дядю Васю отстранить, поскольку он высказал неправильное поведение при продаже «Москвича».

Когда «Победа» была установлена, а семья вернулась, младшенький Владимир первым делом кинулся смотреть машину в гараж. И, не узнав ее, удивился по малолетству и даже закричал:

— Мама! Мама! Машина выросла!

Насмешил он таки семью, не разобравшись, будучи ребенком.

Но потом он разобрался после объяснений.

Трофим Михайлович, отказавшись от дяди Васиной помощи, сам научился заводить машину и даже делал это, довольно умело вертя рулем, но, конечно, в подвешенном состоянии. Прежде, при маленьком «Москвиче», у него была мечта: собравшись всей семьей, укатить на юг к старикам родителям, которых он не видел с той самой поры, как поселился под Москвой. С тех пор, конечно, множество лет прошло, но будто-таки незаметно, потому что особых перемен в себе Трофим Михайлович не чувствовал, только что номер одежды у него стал пятьдесят четвертый, а также пятьдесят шестой. Также увеличился номер воротничка до сорок пятого. Обувка же осталась как была, только старые полуботинки давили слегка в подъеме. Он не заводил себе лишней одежды, а та, что была заведена, вся годилась к употреблению, кроме трех костюмов, еще совсем хороших, но тесных, и что с ними делать, они с женой пока не знали — и продать жалко, и Мишке перешивать тоже жалко.

Дети росли как самосад — не заметили, как выросли, — и потому не указывали на текущее время. Вырастали они из одежды, и надо было им все больше учебников. Жена Лизавета, конечно, потолстела, стала прямо-таки очень толстая, но и тут ничего не скажешь против природы, которая всегда полнит женщин ввиду их устройства.

Но что действительно указывало Трофиму Михайловичу на неудержимо пролетевшее время, так это вид окрестностей, изменившихся за истекший период. Дачу справа на его глазах перебирали дважды, а что такое перебрать дачу — хорошему хозяину завсегда известно, хоть дача может быть и чужая. Для переборки надо иметь и время и средства. Теперь эта дача была под черепицей, глядела на голландский манер и даже была отштукатурена под кирпич. Трофим Михайлович и сам бы хотел покрыть свой дом черепицей — вечное дело, — но достать ее никак не мог, а сосед, видать, в беседы не ввязывался, и выяснить, откуда он ее приобрел, не удавалось.

Дачка слева, сама по себе весьма аккуратненькая, уже переходила в третьи руки, что также свидетельствовало о текущем времени и о том, что годы не стоят на месте, а таки движутся вперед.

И вот Мишка учился в институте как юноша-самородок со способностями, несмотря на то, что вырос как бы в деревне и был сыном простого деревенского служащего сначала при совхозе, потом при потребсоюзе, а потом снова в совхозе, но уже при другом директоре. Мишка учился и по своим способностям и общественной работе достиг общежития, куда и переехал как отрезанный ломоть. Такое безотцовское состояние, конечно, повлияло на молодого Михаила, и он вскорости женился на городской, а эта городская сказала, что отец, то есть тесть Трофим Михайлович, не надорвется, если преподнесет им автомашину, как будто это кулек клубники.

Сам бы Трофим Михайлович никогда не пошел бы на разврат собственного ребенка, который ничего своими руками не заслужил, а уже требует совместно с молодой женой такого ценного подарка. Но Лизавета очень любила сына Мишутку, поскольку пережила с ним тяжелое неопределенное детство без видимого счастья, которое появилось только несколько позже.

И вот она записала Мишку на очередь на нового «Москвича», говоря Трофиму Михайловичу — мы не ездили, пускай хоть дети поездят. Она была хитрая баба и записала Мишку тайно, когда он еще находился в школе. Так что к четвертому курсу пришла уже открытка с извещением, что можно вносить деньги.

К этому моменту Трофим Михайлович уже никак не понимал своего положения, чтобы в гараже у него не было автомобиля. Как-то он уже

не мог себе этого представить и считал, что Мишка Мишкой, а свою машину на черный день тоже надо иметь. Закон, чтобы вторую машину отбирать, все не выходил, и газеты давно перестали его требовать. Если говорить формально, так у Трофима Михайловича как у такового ни одной машины не было, потому что машина была самостоятельно за женою, поскольку женщины, слава богу, имеют равные права с мужчиной по закону.

И тут появился довольно-таки постаревший дядя Вася и сказал, что есть покупатели на «Победу» и дают за нее столько, что хватит и на «Москвича» и на «Волгу». Трофим Михайлович сперва отказался, сам не зная почему. Дядя Вася сказал, что думать нечего — время идет.

— Что же ты,— сказал дядя Вася,— солить ее собрался? Скоро машины на воздушных подушках ездить будут, а твоя и на колесах ни шагу не ступила! Вон газеты пишут — без колес, на воздушных подушках!

Это техническое сообщение зацепило Трофима Михайловича, и он подумал, что без колес машина будет надежнее в смысле кражи баллонов. Но, видать, не скоро такая машина появится... Дядя Вася ушел, а Лизавета устроила скандал за сына.

— Никак ты не понимаешь,— сказала Лизавета,— что дождешься беды. Ты как себе хочешь, а я снимаю с книжки на своего ребенка, тем более книжка на мое имя.

И она действительно сняла-таки деньги, которые нажиты были тяжелым трудом при неподвижной «Побед» в гараже.

Она сняла эти трудовые деньги, не понимая, будучи женщиной, что у самой подходит очередь на «Волгу», новую машину, выпускаемую взамен «Победы». Трофим Михайлович невзлюбил своего сына и даже не ездил к нему и не видел его «Москвича», не желал видеть.

И конечно, дождался горя. Вышел-таки закон неприятного, прямо-таки губительного содержания, чтобы частники машины свои продавали исключительно через комиссионный магазин во избежание спекуляции. Там, в этом чертовом магазине, машину оценят, вычтут из нее комиссионные, присвоят себе, а хозяину — разницу. И выходило, что зря она стояла в гараже и зря ее берег Трофим Михайлович. И пополнить недостачу на сберкнижке он уже не мог частным путем.

Что тут было — страшно рассказывать. Лизавета, как узнала про закон, метнула в мужа утюгом, ибо к моменту закона гладила. Она метнула утюгом в бывшего любимого мужа, с которым жила, как голубица, в любви и согласии, и деток вырастили, и, слава богу, не голодали. Она его ругала боровом и кнуром, поскольку утюг пролетел мимо, не произведя над мужем должного действия. Она его ругала за свою несчастную жизнь, как будто он враг и себе и своей семье. Как будто он своими руками выдумал этот проклятый закон, чтобы порушить собственное счастье. И еще она ему кричала про забытые ошибки и называла опасными политическими словами вроде «дезертир» и кое-что пострашнее. Так что хорошо, что по осеннему времени на участке не было посторонних ушей и в соседских дачах тоже было пусто. А дети находились в школе — Владимир в седьмом классе, а Анастасия в десятом.

И далеко не известно, чем бы все это кончилось, как заявился престарелый дядя Вася, говоря Трофиму Михайловичу дурака. Трофим Михайлович дурака скушал и не ответил этому подвыпившему водителю, находящемуся на пенсии и подрабатывающему автомобилями — кому починит, кому совет даст, кому покупателя найдет.

Они с Лизаветой стали Трофима Михайловича охаживать обидными словами, но Лизавета про ошибки юности не заикалась, обходясь боровом и кнуром. Когда уже пора была детям возвращаться из школы. Ли-



завета заревела и бухнулась всей тяжестью на кровать. Дядя Вася закурил и сказал:

— До чего ты, Трофим, жену довел — это страшно смотреть... К тому же имеется покупатель — ему «Победа» во как нужна...

Тут Лизавета закричала:

— Теперь, на наше горе, они — как осы на чужое мясо! Натё, ешьте! Теперь им закон цены устанавливает, а мы будто ни при чем! Будто не мы ее стерегли! Боров! Заел мою жизнь всю до капли, кнур паршивый!

Эти слова относились, конечно, не к закону, а к мужу, то есть Трофиму Михайловичу. Дядя Вася выпустил дым и сказал:

— Про закон речи нет... Закон законом, а покупатель покупателем. Этот человек тебе за «Победу» двенадцать тысяч даст. Ему новая «Победа» во как нужна. Ты возместишь за «Москвича» и «Волгу» купишь... Он человек богатый — он фруктами торгует.

Лизавета, несмотря на свое дородство, ловко вскочила на кровати, свесив ноги в шлепанцах. Ноги не доставали — коротка была.

Упершись в бока руками, Лизавета устала на дядю Васю:

— А закон?

— В том-то и дело, что закон... За такие деньги закон можно и объехать без всякой опасности.

Услышав про объезд закона, Трофим Михайлович струхнул, подумав: «Неужели погорю на этом? Должен же я погореть в жизни за непродуманную свою молодость?!»

Лизавета слезла с кровати.

— Ты нас плохому не учи...

— Плохому не учу, а только хорошему... Этот покупатель вам деньги из рук в руки даст. А вы ему — доверенность на машину. Разрешаете ему пользоваться.

— Что же он — дурак? — спросила Лизавета. — Доверенность кончилась — и при нем ни машины, ни денег?

— Он не дурак, — сказал дядя Вася. — Вы ему доверенность дадите и отдельно расписку, что должны ему четыре тысячи. Срок выйдет — он деньги затребует, а денег нет. Скажете, что нет у вас денег, а есть машина. И эту машину вы ему отдадите по закону, в счет долга. И он машину оформит как присужденную по справедливости. По закону... Они там у себя всегда так делали. Еще до комиссионков. Для верности.

Лизавета подумала:

— Выходит, он на нас в суд подаст?

Баба была смекалиста, все соображала. Дядя Вася снова закурил.

— Ну и что? Дело-то гражданское, полюбовное. С кем не бывает, что денег нет? Решать будет он сам, по своему месту жительства. Тут и не узнает никто.

Лизавете не нравился никакой суд, хоть и гражданский, хоть и любовный. Сроду она не судилась и упаси боже! Потому что суд может так далеко залезть, что и вообразить страшно. Она сказала:

— Подумаем...

— А чего тут думать? — сказал дядя Вася.

С этими словами он вытащил из кармана две пачечки: в одной десять — сторублевками, в другой две с половиной — четвертными.

— Я бы, — говорит, — сразу бы все отдал за вычетом пятисот...

Таких денег сразу Картузенки еще не видели. Каждый человек, увидав такие деньги сразу аккуратно заклеенными и готовыми к употреблению, сам себя зауважает.

— Зачем же вычитать? — любопытствовала Лизавета.

— А мне-то причитается что-нибудь? — ответил дядя Вася.

— Тебе? А тебе за что?

— На глупые слова нет ответа.

— А ты таки ответь: за что тебе пятьсот рублей? На пропой и сотни хватит.

Дядя Вася встал, пряча денежки.

— Мне эти деньги доверены, чтобы вам показать. Я их никак не распечатаваю, имея совесть. А вот вам какого рожна еще надо — не пойму...

Конечно, покупатель был не дурак. Он знал, в каком виде надо показывать деньги. Он был умный человек. Он стоял неподалеку с двумя своими корешами, несмотря на осеннюю прохладу. Они даже смеялись по-своему, ожидая с интересом, чем все это кончится. Они догадывались, что если показать человеку деньги, так они увидят перед собою именно деньги, а не что-нибудь другое. Зачем не доверять людям? Зачем долго разговаривать?

Так была продана «Победа».

Покупатель даже вина принес. И ящик мандаринов. Он сказал:

— Теперь не надо волноваться. Все берем на себя. На суд не являйся. Письмо напишешь. Мы письмо получим, на суде покажем — все сделаем. Напишешь — берите машину, нет денег. Мы возьмем.

Легко говорить, но Трофим Михайлович стал ждать конца расписки прямо-таки как страшного суда. После утюга он замолчал и вовсе. Как-то ему стало опасно жить после утюга. А тут еще этот с мандаринами прибавился. И еще его давило, что все вокруг, сделанное его трудовыми руками, было как бы не его. Дом — на жену, машины — на жену, книжка — на жену. И так она озверела, что даже будто бы и вовсе его не было на свете, даже будто бы он стал уменьшаться и подсыхать и уже почти что влазил в старый костюм. Ну, допустим, обойдется с судом. А коли не обойдется? Иск, конечно, к Лизавете. А коли что не так? Чья жена, а? И страшно до трепетания сердца становилось Трофиму Михайловичу. Так-то его вроде бы и нет, вроде бы он непричастный. А глядишь, когда дело дойдет до ответа — причастят его, и никого другого. И предчувствовал он смертельное похмелье на чужом пиру.

Лизавета купила «Волгу» ранней весной. Подошла очередь, пришла открыточка. Трофим Михайлович и не взглянул на нее. Машина была, как обычно, зеленая. Васька пригнал ее, установил, как положено, на колодочки. И выпивали они с Лизаветой, а сам Трофим Михайлович таился в другой комнате и сох от тоски, будто предчувствуя близкую смерть.

Лизавета набралась до смеху, словно ее Васька щекотал. Детей, конечно, дома не было — находились в городе у старшего семейного брата, от которого и началась отцовская гибель.

Васька кричал спьяну:

— Трофим! Трофим! Выпей с нами!

Лизавета, толстая стерва, как пощекотали:

— А на что он нам сдался?!

— Как на что? — Это Васька смеется. — Он законный хозяин!

— Нету меня! — крикнул со зла Трофим Михайлович, но не крикнул, а как бы шепотнул.

И ночью ходил по участку, худея телом и приговаривая:

— Нету меня... Нету...

На грядки поглядел в снежных проплешинах — «нету меня», на бревне возле забора — «нету меня»... И отовсюду, куда бы ни глянул Трофим Михайлович, несло ему одно и то же: «Нету меня, люди добрые, нету...».

И так бы он, может быть, решил уму, если бы не ясность, влетевшая ему в голову, когда он очутился около гаража. Там стояла Лиза-

ветина «Волга», зеленая новая «Волга», записанная на эту лахудру, лучше бы ему уж отбыть срок и не видеть ее по гроб жизни. Лучше бы ему расстрел принять в молодых годах, чем видеть этого Ваську, ибо змеи завелись в доме.

— Нету меня-а-а,— пел Трофим Михайлович,— ой нету меня-а-а.

Как так нету?

Трофим Михайлович ровно бы очнулся от ясности. Как так нету, когда все тут — мое. «Волга». Моя «Волга»! И тот носатый возит мандарины на моей «Победке»! И те, что тогда еще являлись, на моем «Москвиче» ездят! И Мишка, собачий выродок, маменькин сынок, не дотянешься, а все равно на моем «Москвиче» возит свою молодую стерву!

Вот как стал думать Трофим Михайлович к рассвету, просветлев умом.

И почувствовав силу в теле, понял, как ему быть. Понял и даже засмеялся тихонечко. Еще Лизавета с детьми спали, а он твердо пошел в сарай, взял штыковую лопату и вышел перед гаражом, впервые с детства перекрестясь.

Он перекрестился и стал в спешке, словно окоп рыл, копать перед гаражом канаву. Он копал ее, хукая и дивясь собственной силе. Сила шла в него из морозного мартовского утра и уходила в руки, а из рук в лопату. Он рыл канаву, как бульдозер, будто дорвался в конце трудовой жизни до подлинной работы.

«Ну что? — думал он.— Моя «Волга» или не моя? Таки моя она, оказывается!»

Земля поддавалась послушно, и вырастал вдоль канавы бруствер, и надо бы еще Трофиму Михайловичу пулемет, чтобы отогнать Ваську, как паршивого фрица. Он копал, и думал, и не заметил, как рассвело и выскочила Лизавета:

— Ой, лихо!

— Не замай,— зверел Трофим Михайлович,— не замай, убую!

И убил бы, каб не убежала.

«Ну, чья взяла?»

Он сидел на сырой земле в своей траншее, облокотясь руками о черенок лопаты.

— Как же выезжать, Троша? — испуганно спросила Лизавета сдавленным голосом.

— Не замай,— сказал Трофим Михайлович,— не замай, Лизавета, уйди от греха.

Он сидел на сырой земле, ногами в могиле, может, долго, а может, нет. Детишки остановились с портфельчиками. Настя — совсем барышня, и ножки при ней, и сама справненькая.

— Папа, что же это будет?

Володечка тоже подрос за зиму.

— Тятка, мамка ревут...

— Идите, деточки, идите... Идите в школу, хорошо учитесь... Я тут по хозяйству... Идите, деточки...

Так чья же теперь «Волга», когда перед гаражом канавы? Чья же она — того, на кого записана, или же того, у кого в руке штыковой заступ? Может быть, у кого в руках имеется труд, а не пустые разговоры? Трофим Михайлович хитро посмотрел на раннее весеннее солнце, уже залезшее на сосну. И показалось ему, что с ветки смотрит на него толковая птица грач, имея в глазу понимание.

Так чья же теперь она есть, эта зеленая «Волга»?

Он вылез из свежей канавы легко, воткнул заступ в свежую землю и пошел по блеклой дороге в лесничество. Он знал теперь, что делать. Лесничество помещалось неподалеку, за водокачкой. Он шел, и понимал

свою справедливость, и думал скорее закончить, сегодня же закончить свое правое дело.

Когда он вошел во двор, голова его была ясной, как в детстве, и он полностью годился делать дело. На обширном дворе лежали привезенные для посадки тополя-малолетки с корнями, обернутыми мешковиной. Тополя эти, небольшие, мерзнувшие, сдавили сердце Трофима Михайловича детскими воспоминаниями.

— С чем явился? — окликнул его кладовщик, живший при складе. Бородатый небольшой старичок в старом военном картузе.

— С добрым днем, Тимофеич, — ответил Трофим Михайлович ясно. — Хочу у вас три тополечка принять... Попробовать — пусть растут.

Старичок рассмеялся:

— Да их хоть слезами поливай — не примутся... Бери! У них корни мороженые.

— У меня вырастут... Я полью...

— Ну-ну... Бери для чуда... Запишем за тобою и поглядим...

Трофим Михайлович выбрал три тополечка, расписался и по одному, ибо все-таки были они не легкие, понес до дому.

Он посадил их в канаву, а пока сажал, Лизавета ходила, как на молитве, и глядела на него выпученно:

— Как же выехать, Троша?

— Не замай, — ответил Трофим Михайлович.

И встали при гараже часовыми его тополя, и принялись на диво, перегорев дорогу зеленой «Волге».

Смех смехом, а вам бы такое — не смеялись бы.

Дачники, конечно, приехали летом, и Лизавета по знакомству сунулась было к дачнице как к женщине: так, мол, и так, а Троша у нас будто бы с приветом стал. Никому не верит, живет своей жизнью помимо семьи и все молчит, как глухонемой. Нет ли у них какого лекарства, чтобы подсыпать ему тайно, ибо не доверяет. Воды из рук не примет, сам себе кастрюлю завел и там варит. А когда допечешь его, только одно и говорит: «Не замай, нету меня».

Дачница говорит:

— Это бывает. Нервное расстройство у него. Центральная система у него чересчур нервная стала. От умственного перенапряжения. Ему бы хорошо курс уколов пройти и зарядку делать.

— Какие там уколы! Его пальцем тронешь — он до убийства дойдет!

Тогда дачник говорит:

— Вы врача позовите, психиатра. Думается мне, что он теперь не кто иной, как параноик. Но вы не бойтесь. Эта болезнь известная. От глубоких мыслей. Так что вы не сомневайтесь — зовите врача.

А сам — видать по всему — Трошу побаивается. Ребенку своему тоже приказывает от веранды далеко не отходить, и по всему видать — хотят эти испытанные дачники поворотить оглобли. Погода им в этом году не по душе, ребенок подрос, и вообще хорошо бы им проехаться в Крым, тем более теща сказала, что с сумасшедшим хозяином не будет находиться. Черт с ним, с задатком.

Испугаешься!

Трофим Михайлович, кроме своих тополков, ничего уже не признавал, поливал их, выхаживал, но, видимо, и им не доверял. Видимо, в его мезенном сознании плодились различные мысли касательно угона машины. А как ее угонишь, если перед нею деревья растут? Но сознание было настолько нездоровое, что всякий раз, когда вдоль участка проезжала легковая машина, он кидался в гараж проверять — не «Волги» увели. А однажды по дороге проезжал фургон. Здоровый такой

фургон, на котором продукты возят в соседний дом отдыха. Так Трофиму Михайловичу померещилось, будто эту проклятую «Волгу» в фургоне увозят. Кинулся он было за фургоном, закрутился — то ли фургон догонять, то ли в гараж бежать. Но гараж таки перевесил. Прибегает, смотрит — слава богу... Стоит эта «Волга» на козелках, как поставили. Ну, он успокоился, посидел возле нее, в середку влез, завел, вроде как бы покатался на месте.

Долго он находился в гараже, все никак не мог оторваться от машины. Наконец вышел. Выходит и прямо-таки лицом перекашивается: дачный ребенок по дорожке бежит от гаража и на веревочке игрушку свою тянет. Машину «Волгу» зеленого цвета.

Трофим Михайлович как рванет за ним, а ребенок без понятия, думает — дядя с ним в игрушки играет. Побежал резвее. Трофим Михайлович за ним — держи вора! Ребенок заплакал, бросил веревочку и — бабке в колени. А Трофим Михайлович на игрушку глянул, руками за лицо взялся, по глазам провел и как-то весь стих — то ли заплакал, то ли так затрясся от слабости. Видимо, прозрение на него нашло: что же это я делаю? Ребенок ревет, и игрушка как игрушка, и что же это мне так померещилось, что я предметы не различаю, и за что же это меня господь покарал?

Он глядел виновато, как побитый, и словно просил помощи Христа ради, и жалел ребенка, который все еще плакал, напуганный ни за что. И в глазах его появился смысл и жалость, и он понял-таки свою ошибку и вернулся в гараж.

С тех пор он и жил в гараже. Откинул в машине сиденье и спал в ней. Если украдут — так пускай крадут с хозяином.

Теща увезла ребенка в город немедленно, а Трофим Михайлович на дорогу ей сказал:

— Я вашей детке зла не сделаю... Пускай он не боится меня, потому что меня больше нету... Я дальше гаража шагу не ступлю, там и скончаюсь...

Но она ему ничего не ответила.

Дачник с дачницей приехали к вечеру с полными авоськами, как обычно. Они с работы приехали, не заходя в городе домой, Лизавета плакала, рассказывала им все как было и прямо-таки ломала руки, потому что поведение мужа выходило из рамок семейства. Конечно, дачница забеспокоилась о ребенке, и они оба решили немедленно ехать в город. А дачник сказал:

— Мы перебудем в своей квартире, а вы все-таки скорую помощь вызовите. Иначе нам придется от дачи отказаться ввиду маленького ребенка, которого Трофим Михайлович напугал.

И они уехали со своими авоськами, ибо в городе у них есть холодильник и продукты не пропадут.

Но Лизавета звать врача побоялась.

Прошло с тех пор целых три года. Трофим Михайлович жил тихо, вроде бы отошел от умопомрачения, трудился по хозяйству и не забывал заводить «Волгу», оставаясь ею доволен. Уже Владимир кончал школу, Настя родила от замужества, и на участке появились внуки. И пришлось первый год отказать дачникам. С сыном Михаилом наступил мир. Сын теперь на «Москвиче» не ездил, имея казенную машину. «Москвичом» он только баловался по выходным, или же летом, или же иногда к родителям заедет. И все он посмеивался над стариком отцом за эту «Волгу» которая стояла как бы похороненная заживо. Васька то ли спился, то умер, то ли Лизавета его отвадила ввиду нервного расстройства му. Никакого страшного суда от тех мандаринов тоже не было, и на семье все ничего такого незаконного не висело.

А тополя здорово-таки выросли. Стали справные, сочные, довольные на вид. Кладовщик с лесничества наведывался и удивлялся. Ни один с той партии не прижился, кроме как у Картузенков.

— Вот ты нам лесные посадки и увеличил,— хвалил кладовщик.— Благодарность тебе от командования.

Трофим Михайлович кланялся при таких словах:

— Это вам спасибо.

— Как же думаешь машину-то вытаскивать? Через крышу, что ли?

Трофим Михайлович разговоры про машину воспринимал пугливо. Была она заперта прочно — и то слава богу...

И пришел день, когда Васька воскрес. Он воскрес летним утречком, когда все семейство было в сборе. И внуки, и дети, и даже сам Мишка не погнушался — ночевал у родителей и сейчас, подлец, парное молоко пил. Пил, разговаривал:

— Вы, папаша, имели нервное расстройство от припадка частной собственности. Частная собственность есть классовое мировоззрение...

Многое такое говорил по утреннему времени Михаил Трофимович, молодой Картузенко, получивший образование от парного молока и имеющий на сегодняшний день немалую должность.

— Частная собственность,— говорил,— это единственное, что надо сметать на своем пути в поступательном движении.

Автомобиль его «Москвич», уже обьеженный, стоял посреди участка и улыбался старой никелированной рожой. Сноха, Мишкина супруга, вихлялась в тонких штанах — сухозадая, несерьезная, глаза подведены синим, на устах улыбочка превосходства. Ребенок ихний слюни пускал, и бабка, Лизавета то есть, безумствовала над ним, как над молодым Исусом. Снохе парное молочко было не по вкусу: коровой пахнет. Да, дорогая сноха, тут этим навозом все пахнет. И автомобиль ваш тоже. И образование ваше. Хотел было так сказать Трофим Михайлович, но не сказал, а посмеялся в душе. И так ему стало хорошо от этого невидимого смеха, так ему стало безбоязненно, как будто просветление нашло. И почувствовал он, что ничего ему не страшно. Вдруг — за всю жизнь — и не страшно. Не от безумия не страшно, а от полного сознания, что жизнь прожита, другой не будет, и слава богу.

И как раз к этой улыбке подоспел Васька. Откуда он взялся — все удивились. Почитай, три года не показывался и след простыл. Мишка, конечно, первым делом — машину посмотри, коробка барахлит. Лизавета губы поджала — здрастье, коли не шутите. Анастасия бровью не повела — вся в мать, тоже с годами толщину добудет, а Владимир — баском:

— Дядя Вася! Откуда вы явились?

И так они все суетились около того Васьки, расспрашивая, и угощая, и не зная в точности, зачем он явился. И только Трофим Михайлович не суетился, ибо знал, что пришел этот Васька за его душою, которую он имел сегодня отдать.

— Видал я твои тополи,— сказал Васька,— чудной ты все-таки хозяин.

Семейство переглянулось — не ударится ли отец в прежнее безумие от таких посторонних слов. Но Трофим Михайлович улыбнулся, впервые за много лет.

— Я вам, дорогие детки, подарочек сегодня сделаю, и вам, дорогая жена, и тебе, Василий.

С этими словами Трофим Михайлович встал, вышел на волю, взял топор и двинулся к гаражу. Семейство потянулось вслед, глядя, что будет. Трофим Михайлович хукнул в ладонь, укрепил в ней топориче, при-

мерился к правому тополю-подростку и рубанул от всей души под самый корень. Он рубанул разок и другой, и с пятого удара тополь закачался, задумался, отделенный от земли, и пошел, шелестя молодыми листьями.

— Тятка,— испугался Владимир,— их бы пересадить лучше... Жалко же так...

«Хозяин будет, молодец»,— подумал Трофим Михайлович, но ничего не сказал.

А кладовщик, натасканный слухом на порубку, как собака на кота, был уж тут как тут. Вырос поганым грибом:

— Ты что же это леса губишь? Ты что же, не знаешь, что земля народная и за каждое дерево тебе отвечать как вредителю? А вы, сознательные граждане, заместо того, чтобы топор отнять у вашего психического, рты разинули. Это вам не пройдет, эти тополя за ним записаны, и он ответит по закону.

— А, власть явилась,— сказал Трофим Михайлович.— Ну, давай — беги за милицией...

И ударил топором по второму тополю.

— Граждане! — заверещал кладовщик.— Отберите у него топор, я счас бердан принесу, стрелять в него буду!

Сноха от крика ушла. Мишка сказал:

— Папаша, вы не имеете права губить народное добро... Вы, папаша, сперва должны спросить у инстанций...

— Не замай, сынок,— ответил Трофим Михайлович, вгоняя топор.

— Одно слово — псих,— сказала Анастасия.— Мама, удержите его от горя...

Васька вставил:

— Их бы керосинчиком заморить без шума.

Кладовщик крикнул:

— Стой, говорят тебе! Замочи их керосином, не вводи меня в беззаконие!

Но Трофим Михайлович свалил-таки и второе дерево. Свалил, распрямился и — кладовщику:

— Где же твоя милиция? Беги на своих ногах, веди милицию!

Тут Лизавета заголосила:

— Трошенька...

— Не замай,— ответил Трофим Михайлович и ударил в третий тополь.

Теперь уже все стояли как в ужасе, дожидаясь. Тополь упал. Трофим Михайлович откинул топор и спросил кладовщика:

— По бутылке за тополь — заткнешься, гриб поганый?.. Записано у тебя? Конец записям! Семейство! Берите машину! Волю ей даю!

И пошел Трофим Михайлович к дому, и было над ним ясное небо, и была под ним свежая земля под травой, а с боков шумели деревья. Шумели они далеким шумом, как в чужом сне, и он слышал их и не слышал. Шел Трофим Михайлович домой, шел уже не своей силой, а как бы на воздушной подушке. Пришел, хотел было разобрать кровать — не разобрал, только полуботинки скинул. Перекрестился, как в детстве, на угол, где не было образов, и лег на спину.

Семейство зашумело, бабы детей похватали, но ему это было все — как чужое. Гриб поганый верещал где-то над ухом. Лизавета бухнулась в ноги — вроде как бы жили люди кругом. Володечка подошел тихо:

— Тятя...

И хотел ему ответить ласково Трофим Михайлович — не ответил, ибо было ему все равно.

К обеду он умер...

## От автора

Я знал наизусть эту квартиру.

Всякий раз, когда я сюда приходил, мне почему-то вспоминались слова: «Вот мельница, она уж развалилась...»

Слова эти принадлежали не мне, а Пашке Петухову.

В этой комнате с балконом жили мы с Клавой. Теперь в ней никто не живет. Павел говорит, что сюда хотели подселить кого-то, но пока удалось отбиться,— помог брат Коля, у него большие связи. Может быть, удастся отстоять комнату.

Да, Давыденковы. Маленькая комната, в которой жил затворником загадочный мальчик Коля, представитель поколения, которое называли «ищущим», а в отдельных случаях «сердитым». Название было весьма метким. Коля действительно искал чего бы поесть и, бывало, сердился, когда Клава не успевала сварить суп. У него всегда были важные дела. Он был точен, сдержан и не питал лирических иллюзий. Клава говорила, что Колька растет без всяких видимых интересов, подчиняясь только расписанию уроков, кружков и планам комсомольского комитета.

— Он не читает художественной литературы,— говорила Клава,— я боюсь за него.

Она ошибалась. За Колю не надо было бояться.

В тот год Пашка еще лечился. Мы хотели к его приезду отремонтировать квартиру и устроили семейный совет. Коля на совете молчал. Он хлебал пустой суп, отгородясь от нас кнжкой. Эта привычка меня всегда раздражала, но втайне я поощрял ее: если бы Коля не читал за едой, нам пришлось бы беседовать, а о чем беседовать с Колей, я не знал, мне всегда казалось, что он ведает какую-то тайну. Клава сказала:

— Коля, почему ты молчишь? Это же важный вопрос! Ты же мужчина!

Коля поднял тяжелую голову и сказал почти дружелюбно:

— Мужчина не я, а он.

И хихикнул.

— Николай! — строго сказала Клава.

— Клавдия! — ответил он и ушел к себе.

Денег на ремонт квартиры у нас не было — мы были студенты. Но имелось наследство — старая, заброшенная дача, которую я никогда не видел. Три наследника имели на нее право: Клавдия, Павел и Николай Петуховы. Но Павел еще лечился. Николай ушел в свою комнату, а у Клавы со мною были великие перспективы. Нас не прельщала собственность. Она тяготила нас. Нам очень важно было отремонтировать квартиру к Пашкиному приезду. Клава была старшей, она распоряжалась по законам майората.

Мы продали эту дачу какому-то темному человеку. Клава угощала его чаем, а он все время шмыгал носом, будто принюхивался. Это был странный молодой дядька. Видимо, он накрутил чего-то общественно-нехорошего и бежал быстрее лани, а может быть, даже быстрее, чем заяц от орла. Он все интересовался — не заявим ли мы прав на его покупку, если у нас родится ребенок. Видимо, он был чадолобив. Он жаждал погрязнуть в болоте частной собственности, и мы даже неловко чувствовали себя, ввергая дядьку в сие ненавистное болото. Мы вылазили из болота, втапывая в него этого странного добровольца. Где он сейчас — жив ли?

Мы вели себя как столбовые дворяне эпохи упадка: распродавая наследство и проедаясь. Лекции по политэкономии не шли нам впрок. Из них мы уяснили только то, что нам было удобно,— собственность есть великий вред. Сие уяснение позволяло не ударять пальцем о палец.



— Ну, освободились от частной собственности? — спросил мальчик Коля мимоходом.

— Ты не должен нас упрекать! — возмутилась Клава. — Кто бы во- зился с этим курятником? В конце концов, ты имеешь право на свою долю!

— Дарю ее вам, — царственно сказал Николай и ушел на какое-то юношеское заседание.

Мы с Клавой долго убеждали друг друга в разрушительных свой- ствах частной собственности.

Потом вернулся Павел и сказал:

— Вот мельница, она уж развалилась...

Он назвал себя рыцарем, лишенным наследства. Мы с ним подру- жились. Квартиру мы так и не отремонтировали.

Потом появился Иван Раздольнов. Я привел его сам. Когда нужно было привести неприятность, я никогда не порекомендовал этого важного дела никому. Раздольнов читал нам свои стихи и смотрел на Клаву с удивлением. Стихи были хороши — иначе я не привел бы его.

Про дачу он сказал:

— Я не продал бы. Нерационально.

Клава ушла не сразу. Но я почему-то понял, что она уйдет, как только привел Раздольнова. Может быть, если бы я не понял этого, она бы не ушла? Яков Михайлович, все ли предопределено в этой жизни? Если бы вы знали, как мне хочется, чтобы мадам История хотя бы од- нажды признала сослагательное наклонение!

Пашка сказал:

— Ты ворвался в нашу семью подобно атаману Зеленому на пуле- метной тачанке. В тебе всегда было что-то от бандита.

Он утешал меня.

Это было давно, в другой жизни, наполненной легкомысленным не- долговечным счастьем, недостоверным и убедительным, как отроческие стихи...

И вот я стучусь к Павлу Петухову, в бывший свой дом, как жилец, за которым числится недоплата.

Дверь мне открыла Катерина Великая. Она явилась из кухни, боль- шая, румяная, обтянутая фартуком, и подставила мне щеку. Щека была горячей и пахла французской пудрой и свежими котлетами.

— Почему у тебя нет совести, Катерина? — спросил я. — Почему ты постоянно отсутствуешь, вместо того чтобы постоянно присутствовать?

— Это я уже слышу все утро, — сказала Катерина.

— Не трогай ее, — сказал Петухов, — она открыла очередное полез- ное ископаемое...

Он принял меня в шелковой стеганой пижаме, которой несомненно гордился. Пижамы были лиловой, с большими отворотами и обшлагами. Катерина купила ее в комиссионке. В таких пижамах обычно показывают в кино домашнюю жизнь деловых людей.

Комната Петуховых представляла собой обширный склад книг, жур- налов и чертежей. Книги были неинтересного вида — в блеклых колен- коровых переплетах, со скучными техническими названиями. Журналы же резко делились на две категории — очень серые и очень красочные. На обложке журнала, брошенного на письменный стол, прекрасная блон- динка с упитанными ляжками хлопала дверцей маленького автомобиля. Дамочка улыбалась упругой улыбкой, не вызывая никаких сомнений в том, что ей хорошо живется, поскольку она обеспечена запчастями и может крутиться, не боясь амортизации.

Засунув в карман стеганой пижамы зеленый обшлаг пустого рукава дымя старой трубкой, обтянутой кожей, расстегнув с продуманной не-

брежностью воротник крахмальной рубахи. Павел Петухов принимал меня как обладатель великих ценностей. Так он выглядел всякий раз, когда возвращалась Катерина.

В комнате не было стен — их скрыли книжные полки. Возле письменного стола разместился кульман, на котором был укреплен сложный чертеж.

— Элементарная вещь,— сказал Петухов, небрежно ткнув в чертеж черным черенком трубки.— Экономия усилия — восемь процентов.

Элементарная вещь состояла из частых линий и кругов.

— Это твое изобретение? — спросил я.

— Нет,— сказал Павел.— Я бьюсь за этот узел уже пять лет. Он крутится во всех автомобилях.

— Так почему же ты за него бьешься?

Он пожал плечом и выпустил дым.

— Продукт должен диктовать производству. Для этого нужно постоянно менять технологию. А изменение технологии — это последнее, что мы любим. Мы живем в мире бетона и цельностянутых конструкций. Они неподвижны...

Он ходил передо мною — важный и значительный Павел Петухов, обретший свою Катерину.

А Катерина наверстывала упущенное. Ее появление преобразило местность. Должно быть, ей, постоянной страннице и добровольной жертве науки, надоедали палатки и костры.

— Конец! — воскликнула Катерина.— Материала у меня на три года работы. Кончилась твоя свобода, Павел!

— Моя свобода? — пустил дым Пашка.— Что ты знаешь о свободе, Катенька? Ты думаешь, если женское сословие заняло мужские должности, так оно обрело свободу? Оказывается, дама может быть геологом, врачом, летчиком — кем угодно, даже укладчицей шпал! Оказывается, женщина тоже человек! Наконец-то! Но, насколько я помню, в этом уже давно никто не сомневался, кроме питекантропов...

— Что с ним, Катерина? — спросил я.

— Это с утра,— ответила она.— Я жарю котлеты, а он философствует.

— Я ей внушаю, что баба кинулась в великую деятельность не от равноправия, а оттого, что не хватает тугриков! Вот когда мужик научится рожать — тогда я поверю в равноправие.

— Паша,— сказал я,— но тугриков действительно не хватает...

— Это потому, что мы проедаемся! Катерина открыла новое место рождение нефти. Ну и что? Будем торговать подешевевшей нефтью? Ты! Специалист по продаже недвижимости! Много ты натрговал?.. Мы не такие богатые, чтобы продавать дешевые вещи. Когда вы это поймете?

Это была странная форма недовольства семейным укладом. Пашка любил жену и, если бы имел немного больше честолюбия, говорил бы о ней чаще. Катерину знали в геологии. В данном случае его консервативные взгляды на дамское равноправие не соответствовали действительности. Но что может быть убедительнее обобщений?

— Мы освободили не женщину, а мужчину,— брюзжал Петухов.— Джентльмен не в состоянии содержать даму... И радуется, что она сама себя содержит... Позор... Выпьем по этому случаю на вдовый кошт...

Катерина смеялась:

— Павлик, жениться нужно на такой женщине, с которой легко развестись, с ней и не разведешься — это твоя теория!

— Дама должна сидеть дома! — бурчал Петухов.

— Дама — дома, дома — дама,— поддержал я,— в самом языке заложена эта истина...

— Никакой истины в языке не заложено,—возразил Павел.—Язык есть переходное состояние от мычания к телепатии. Он не выражает мысли, а скрывает. Язык — это путь от примитивной правды к сложной... Если бы уже существовала телепатия, я знал бы о Катерине гораздо больше, глядя в потолок, чем читая ее письма!

— Что ты хочешь этим сказать? — улыбнулась Катерина.

Павел пустил дым. Я ответил за него:

— Он хочет сказать, что лучше бы ты сидела дома.

— А ты откуда знаешь, что он хочет сказать?

— У нас с ним началось телепатическое общение. Сначала мы немножко помычали, потом капельку поговорили и наконец приобщились к истинной вере.

— Тrepачи,— сказал Павел,— все вы плачете от брехни, поданной в виде истины. Это возможно только с помощью языка. Истина — это вещь, а не слово! В чертеже написано гораздо больше, чем в поэме. По крайней мере шестерня меня ни разу не обманывала. Если она была плохой — значит, я ее плохо сделал. А если ни к черту оказывается какая-нибудь теория, так виноват почему-то не тот, кто ее выдумал, а тот, кто увидел, что она ни к черту. Я не лирик, я — технарь...

— Чего это он у тебя сегодня? — спросил я Катерину.

Она погладила Пашку по плечу:

— Соскучился...

Она присела рядом — прекрасная дама из далеких стран в пунцовом платье,— и мне не хотелось видеть ее в кирзовых сапогах. Возможно, телепатическая связь с Пашкой натолкнула меня на эту мысль.

Но звонок унес Катерину в прихожую.

— Катерина Петровна,— зычно донеслось оттуда.— Вы, никак, дома! Вот уж сюрприз так сюрприз!

Я узнал Ивана Раздольнова.

Он вошел крупно, улыбаясь белозубо, как жених на рекламе. Был он и сам не мал, и голос имел немалый, и двигался с учетом широкого пространства.

— Я мимо ехал, решил зайти. Извини — без звонка...

— Ничего,— обрадовался Петухов, грубовато обнимая Раздольнова за плечи.

— Почему же? Звонить надо. Ты временами бываешь холостой, всякое бывает.— Поглядел на Катерину бодро.— С Николаем Павловичем встретились в путешествии. Вот, просил передать тебе проспекты новых машин.— Раздольнов показал на пакет.— Занятные есть вещи, тебе интересно будет... А это от меня сувенирчик, не побрезгуй.

Мы с ним были на «ты», и с Павлом он был на «ты», но младшего, Николая, он величал по отчеству с самого начала, когда Коля был еще мальчиком. «Интересно, спросит он у Пашки, что пишет ему сестра Клава?» — думал я. Я знал, что ее нет в городе. Я почему-то всегда знал, где она. Это было нетрудно. На Пашкином столе лежал конверт, исписанный знакомым почерком. Письмо было из Крыма. И Раздольнов, как мне показалось, тоже увидел конверт.

— Принимай сувенир,— повторил он.

Раздольнов достал из пиджачного бокового кармана толстый карандаш-фломастер с красным сердечком в прозрачном футлярике. Петухов принял вещицу. Раздольнов протянул мне паркеровскую ручку:

— Вот и тебе подарок. Прости, не знал, что застану.

— Ваня,— сказал я,— это для меня слишком много.

Раздольнов засмеялся:

— Для хорошего человека не жалко. А с вами, Катерина Петровна, просто не знаю как быть. Ошарашили вы меня своим появлением.

Ошарашили и обрадовали. Всякий раз думаю — надо же, какие бывают дамы на свете!

— Как раз об этом мы сейчас гуторили,— вставил Пашка. Раздольнов улыбнулся.

— Слово выбрал не к месту... Не гуторили вы, добрый человек, а говорили. О чем же, коли не секрет?

— О производительности труда!

— Эка вас занесло! Это с такою-то собеседницей? С чего бы?

Катерина улыбнулась.

— Иван Митрофанч, оставайтесь обедать.

— Благодарствуйте! Просто не знал, что на вас напорюсь... А дел в городе — множество. Я лучше другим разом... А впрочем, погодите — я сейчас...

Он вышел стремительно, хлопнув дверью.

— Что с ним? — спросила Катерина.

— Какой-нибудь фортель готовит,— сказал Петухов.

Я тупо смотрел на его подарок. Мне казалось, я смущаю Раздольнова. Но на самом деле он смущал меня. Петухов молча пыхтел трубкой, разглядывая чертеж, и незаметно прикрыл крымское письмо. Катерина ушла на кухню.

Минут через двадцать Раздольнов вернулся. Катерина, открыв ему, вскрикнула как от пожара. Мы вбежали. Раздольнов стоял в обнимку с неправдоподобно громадным пылающим букетом пионов.

— Прямо на душе легче,— говорил он грубовато от смущения Катерине.— Этим заморские цацки подавай! Ну и шут с ними! А вам — сама природа к лицу. Ее же из-за моря возить не надо!

Он был радостен и сдержан. Катерина чмокнула его в щеку и потащила цветы в ванную.

— Молодец,— похвалил я.

Раздольнов будто бы не слышал, прошел в комнату.

— Ну, рассказывай, что ли,— строго сказал Петухов.— Может, выпьем для приезда?

— Не могу, за рулем...

Но Пашка все-таки полез в шкафчик.

Раздольнов оглядел журналы, не приглядываясь. Тянул неловкое время.

— Журналец технический, что ли?

— Технический.

— А красочный какой. Смотри-ка. С бабками голенькими.

Петухов возразил:

— Ну, не совсем голыми. Все-таки соцдемократы...

Раздольнов хмыкнул:

— Однако... прямо тебе на грани...

Пашка наклонился над журналом:

— Да... Осталась самая чуть... Убери эту чуть — и сразу тебе капитализм начнется.

Раздольнов засмеялся, закрыл журналец.

— Я, мужики, на все эти штуки гляжу, как собака на афишу. Бумажка, она и есть бумажка... Баба должна быть вживе. А живую я и под сарафаном разгляжу, когда охота придет... А не придет — бог с ней... Насильничать природу — последнее дело... Психопатия... Жаль, гороплюсь. А вы заезжайте, мужики, когда в пути окажетесь. Я в городе редко. Все в деревне сижу. Сейчас по делам был, сувениры раздавал. Словом, облегчал душу перед старой дружбою...

И открыл дверь, так и не спросив про Клаву.

В коридоре он столкнулся с раскрасневшейся Катериной, несшей пионы в вазе.

— Куда? — спросила она. — А обедать?

— Виноват, красавица Катерина Петровна, вдругорядь, — улыбнулся Иван и сказал Пашке, повертев большой голову: — Вот тебе, добрый человек, и вся производительность труда!

И ушел, радостно ухмыляясь.

### ЧАСТЬ III

#### «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

От автора

Человек, стареющий вместе со своим автомобилем, имеет в руках прекрасную модель самого себя.

Автомобиль начинает сыпаться сразу и со всех концов, как, впрочем, и человек. Пока они оба новые — все идет хорошо и все ремонтные работы не уходят глубже вопросов внешнего вида. Промыть полировочной водой, побриться, срезать бородавку, заменить ниппель, принять пирамидон, сменить ремень, выпить эссендуки и прочие мелочи.

Можно еще быть беззаботным и проявлять повышенное волнение, твердо понимая, что все это пустяки, здоровья непочатый край и можно ехать дальше, ни о чем существенном не заботясь.

В одной книге написано: «Молодой человек — это не старый человек». Сколько живу на свете, не устаю удивляться безошибочности этого суждения.

Старый автомобиль — это не новый автомобиль. Когда он стареет, он стареет сразу по всем швам. Уже в поисках стука вкладышей можно натолкнуться на развалившийся подшипник или задранный поршень, уже следуя точной диагностике и устраняя шум в заднем мосте, можно совершенно свободно обнаружить прорехи в системе питания или неполадки в коробке передач.

Так, устраняя гастрит, мы натываемся на язву двенадцатиперстной кишки, обнаруживая по дороге холецистит и замечая признаки диабета. И уже не до полировочной воды, не до бородавки и не до пустячной головной боли. Черт с ним, с ниппелем, не в нем счастье. Надо лезть в глубь организма, где уже поцокивают сносившиеся клапаны, гремят редукторы, барахлит печенка и органы внутренней секреции производят свою подспудную борьбу за безопасность организма, обезопасить который уже весьма и весьма трудно.

А жить между тем надо. Это может подтвердить любой житель, не связанный никакими предрассудками. Жить надо. Это может подтвердить любой парень, который в воскресенье в первой половине дня выходит на автомобильный базар, держа в руках свой разнокалиберный, безалаберный, нетавренный, не записанный в преysкуранты, но зато абсолютно гарантированный товар.

Любой парень в возрасте от семнадцати до семидесяти лет, пришедший со своим товаром на этот базар, становится неоформленным действительным членом подспудной секты жрецов Автомобильного Долголетия.

В эти часы милиционеры уходят пить квас, а торговые надзиратели опускают очи долу. Великий бог торговли Меркурий с металлическими закрылками на щиколотках осеняет своим присутствием драгоценное

старье, вываливаемое на асфальт, на прилавки, на ящики и на рундучки.

Робкие торговки раннею зеленью в эти часы подвержены особому пристрастию базарных надзирателей, которые поднимают свои веки, для того чтобы смотреть только на них, на робких торговок.

Мир разделен на два взаимоисключаемых клана. Явный и ясный клан, уплативший базарный налог за свои натуральные плоды природы, и мутный подспудный клан, чей товар не мерен, не оценен и не ясен, как не ясны пути его движения от производителя к потребителю.

Ах, как по-разному разговаривают в этих кланах! Разве можно сравнить холодную чопорность суетных зеленых рядов с братским простодушием клана жрецов Автомобильного Долголетия!

— Дама, дама, почем редиска?

— Дама, по двадцать копеек...

— Дама, это неинтеллигентно, всюду по восемнадцать...

— Дама, нигде еще редиски нет, смотрите, какая редиска...

Нет, не здесь гуляет истина. Гражданин Меркурий звякает своими закрылками возле заколоченных лавок, в которых редиска еще не созрела. Возле лавок расположились жрецы...

— Шеф, амортизаторы надо?

— Новые?

— С пломбой.

— Почем?

— Сам знаешь — в магазине двенадцать монет. За червонец отдам.

— Восемь рублей...

— Хрен с тобой, бери.

Можно брать не глядя. Амортизаторы новые, с завода, на котором, видимо, служит продавец. Дальше начинается жестокая фирменная честность.

— Втулочки на коробку найдутся?

— Поищи.

Надо наклониться над чемоданчиком, набитым копеечной рухлядью: головками, вентилями, манжетами, шуцерами — черт знает чем, новым, не новым, сверкающим, засаленным. Владелец этих ценностей беседует с соседом:

— Але! Тебе тяги нужны или не тебе?

— Какие?

— Победовские.

— Не мне.

— А чего тебе надо?

— Москвичовские.

— Были с утра.

— Новые?

Вопрос очень важный. Интересно знать, какие были тяги, проданные утром.

— Одна новая, другая десять тысяч прошла.

— Ага.

А втулочки нет. Маленькие такие резиновые втулочки с медной прокладочкой, без которых коробка скрежест.

— Земляк! Резинок никаких нет?

— Резинки в аптеке! Хо-хо! Чего надо?

— Втулки нужны для коробки.

— Где ты ходил? Сейчас продал пару с кронштейнами.

— Новые?

— А то какие?!

— Слава богу, хоть новые.

«Земляк» — это так, как обращение. А вот действительно земляк. В синеньком пиджачке, староватый уже парень, на пиджачке под карманом колодки: «За отвагу», «За оборону Кавказа».

— Где служил на Кавказе?

— Тамань, браток. А ты оттеля?

Я называю часть.

— Соседи.

Я присаживаюсь на корточки возле товара. Надо что-то купить. Товар не новый. Шланг маслопровода купить у него, что ли?

— Со «студебеккера»?

— С «форда»! Не видишь — москвичовский.

Я вижу, что москвичовский, да больно старый. А купить надо. Почему-то он мне приятен, этот староватый парень с орденскими колодками, среди которых есть и такая, как у меня. Колодки засаленные, пиджачок тоже. Жалко мне его, что ли? Интересно, болит у него печенка по ночам?

Он стоит над своим бедовым товаром, а рядом на ящике сидит обширная пригородная баба лет сорока пяти, белая и пухлая. Судя по тому, что деньги принимает она, она, наверно, жена моего земляка. Я беру шланг, даю бабе рубль и стараюсь настроить себя на сентиментальный лад. Не получается.

— Шеф, крестовина нужна?

— Покажите...

Молодой парень с плакатным лицом токаря-передовика показывает новенькую крестовину в промасленной бумаге.

— Возьмите пару, — просит он, — надоело стоять.

Я знаю, что не переплачу. Парень отдает мне пару крестовин и говорит, принимая деньги:

— Не сомневайтесь.

Я не сомневаюсь ни в чем. Чистенький пробковый ободок свидетельствует о торговой честности этого славного парня.

«Стихийное перераспределение продукта», как говорит Пашка Петухов.

Я уйду с базара, в общем, не купив того, что хотел, но купив то, что пригодится.

Мне бы хотелось, чтобы люди покупали на толкучке запчасти, дабы подновить сносившиеся детали своего организма. Красивые парни наловчатся выносить их через проходные будки и без всякой асептики, анестезии и прочего вздора будут продавать с рук сердца и печени и отмеривать столярными метрами кровеносные сосуды. И можно будет не сомневаться в том, что отмеривать они будут честно, потому что и тогда над ними будет витать подвыпивший гражданин Меркурий, как витает он сейчас возле заколоченных лавок, звеня своими закрылками.

Дожить бы...

Я возвращаюсь домой, открываю дверь и вижу Фильку, который встречает меня, держа в зубах свой ошейник и поводок. Он протягивает мне свои доспехи и с достоинством ждет, пока я застегну пряжку на его шею. Он явно гордится тем уровнем мышления, которого достиг. Ему надобно до ветру, гулять...

Филька, Филька, кем ты был, когда тебя еще не было? Кем ты был в своей прошлой жизни? Ты ведь веришь в переселение душ?

Может быть, ты был благообразным добрым чиновником, педантичным и чистым, не бравшим взятки за исполнение закона. Ты ведь знаешь, Филья, что взятка за исполнение закона носит феодальный ха-

ракти. Это отсталая форма взятки, возникающая в те времена, когда человек брал человека не за руку, а за судьбу. Но ты ведь был хорошим чиновником, ты ведь не злоупотреблял тем, что от тебя зависит чья-нибудь судьба? Но тогда с чего ты кормился, Филя?

Нет, скорее всего ты был аристократом. Ты ходил по утрам в халате, в лиловой стеганой пижаме, как Пашка Петухов. Ты ходил среди предметов искусства, наполненный своей родовитостью. Ты пил по утрам кофе из настоящей японской посуды и, просматривая газеты, знал, что в них нечего читать. Ты ограничивал круг своих друзей и дрался на дуэлях. Но, Филя, эта привычка тоже носит на себе феодальный характер и возникла тогда, когда кастовость понизилась естественным состоянием. Впрочем, если бы ты не ограничивал свой круг и не дрался бы на дуэлях, как же ты защищал бы свою честь?

Думаю, что ты был купцом-негоциантом. Ты носил жабо, розовые брабантские кружева, и за поясом твоим торчали пистолеты с инкрустацией. Это были дорогие пистолеты, они прекрасно били, ими можно было с палубы вдавить муху, севшую на клотик. Стрелял ли ты из них? Ты же знаешь, что и привычка стрелять по каждому пустяку тоже носит на себе феодальный характер. Она возникла в эпоху, когда человек был человеку волком. Но если ты не пользовался своими инкрустированными пистолетами — как же ты защищал свою собственность?

Нет, Филя, должно быть, ты не был ни купцом, ни аристократом, ни чиновником. А был ты скорее всего проповедник. Я думаю, что это было так, потому что глаза твои загораются синим фанатическим пламенем, когда ты видишь кошку. Но ты ведь не выдумывал врагов своей пастве? Ты ведь учил ее тому, что все люди — братья, ты ведь дружил, как Франциск Ассизский, с волчицей и мирно беседовал с братом-огнем, горевшим на рукаве твоей единственной старой хламиды. Правда, Филя?

Нет, Филя, не был ты проповедником. Ты не ожесточал сердца, не был ты ни угрюмым начетчиком, ни велеречивым бездельником, а был ты мастером. Ты помогал гармонии и красоте, ибо гармония и красота нуждаются в помощи.

Идем, Филя, гулять. Этого требует твое естество, и самый великий грех на земле — это насилие над природой.

Мы гуляли с Филькой мирно, никого не задирая и ни перед кем не выпячиваясь. Мы нюхали влажную землю и фыркали от удовольствия, что она пахнет наступающим летом. Мы подошли к автомобилю, посмотрели на спущенные колеса и остановились в печали.

— Хреновина, — сказал выросший неподалеку Миша Архангел. — Помыть?

— Это ему не поможет. Сначала его надо отремонтировать.

Миша кивнул и улетел, а я заметил, что на автомобиле отсутствует правый задний фонарь. Это было естественно: началась пора ремонтов и кому-то понадобилась лампочка больше, чем мне. Эта суровая логика жизни еще раз напоминает нам, что все сущее — разумно.

Гегель говорил, что если на одном автомобиле есть подфарники, а на другом нет, то поставить их надо на тот, который ездит. Аристотель считал материю пассивной. Он правильно указывал, что сама она с места не сдвинется, и если на моем автомобиле нет того, что пока еще есть на твоём, то, сам понимаешь, чикаться я с тобою не буду. Я думаю, что фонарь у меня сперли философски грамотно.

Филька рванул поводок неожиданно и вылетел из моей руки как пуля. Он залаял диким неслыханным лаем и зарычал звериным рыком. На дорожке прогуливалась крупная, по пояс, черно-зеленая овчарка.



Она была больше Фильки, как живая лошадь может быть больше игрушечного зайца.

— Назад! — закричал я.

Но было поздно. Филька уже висел на мощном овчаркином плече, вызывая ужас в глазах собаки и ее хозяина. Они опешили. Огромный пес стеснительно встряхнулся, Филька упал, но снова вскочил, и если бы я не успел подхватить поводок — он съел бы овчарку. Овчарка смотрела изумленно, подняв переднюю лапу, как балерина, которую выгоняют за прогул. На ошейнике ее позванивали заслуженные медали. Хозяин был смущен.

— Что это он у вас? — спросил он холодно. Он спросил с чопорным превосходством, как владелец большой собаки владельца маленькой. Он даже не счел Филькин выпад за хулиганский поступок и не потребовал ни сатисфакции, ни медицинской экспертизы. Филька дрожал от негодования. Его слабые задние лапы бессильно скребли асфальт. Овчарка конфузливо, бочком выбиралась из ситуации.

— Извините, — попросил я, — это страшный зверь. Мы с ним охотились недавно в Африке на гиппопотамов. Он загрыз восемь штук.

— Вы шутите, — сказал овчаркин хозяин, и я, чувствуя, что он не совсем верит, поспешил снизить число несчастных гиппопотамов до трех с половиной. Теперь он, кажется, поверил.

Мы поговорили о погоде, и медалированный хозяин посоветовал мне кормить Фильку особыми пилюлями, исправляющими характер.

— Да он у вас ковыляет? — пропел хозяин красивым голосом.

— Увы.

— Усыпить, — пропел хозяин, — усыпи-и-ить... И на пилюли не надо тратить!

И они прошли, гордые своей величиной, значимостью, здоровьем и заслуженными наградами.

Кем же ты был в своей прежней жизни, Филька, если ты так смело кидаешься на черно-зеленых средневропейских овчарок, отмеченных медалями за беспорочную службу?

— Дядя! — неожиданно заорал отрок Федор. — Дайте погулять с собакой!

Просьба его была, конечно, чрезмерной. Но вспомнив все добро, которое он мне сделал, я уложил все это добро на одну чашу весов, Фильку вместе с поводком на другую и увидел, что чаши уравновесились.

— Ты почему не в школе? — спросил я строго.

Отрок Федор повернул ко мне честную веснушчатую физиономию.

— Я бюллетеню! Видите, молотком по руке стукнул!

И гордо предъявил руку, обмотанную бинтом.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Перекрестный допрос хитрована Крота и этой правдолюбивой курицы, по крайней мере, открыл следователю тактику новых свидетелей. Тактика была неглупой — он оценил это сразу. Крот подтверждал любое показание Брюховецкой, чем подчеркивал свое якобы присутствие на месте происшествия. Поддакивая, он расположил к себе эту глупую бабу, которая к тому же была до смерти напугана его аппаратом.

Крот не отрицал ничего. Он только добавлял подробности.

Следователь с досадою слушал и думал об обвиняемой, которая казалась такой тихоней, а на самом деле передала Кроту все подробности прежних допросов... Следователь понимал, что во главе этого кодла, подсунутого в последний момент, стоял безусловно Крот с его непойманными глазками и фигурой, сделанной из крутой резины.

Крот добавлял подробности. И главной подробностью вырисовывалась черная «Волга», проскочившая слева и закрывшая обзор. Эту высосанную из пальца «Волгу» тащил и Карпухин. Обвиняемая ни на какую «Волгу» не показывала. Она сказала то, что говорят в таких случаях все водители: не видела пешехода. А эти как бы взялись объяснить причину такой интересной слепоты.

Брюховецкая, уходя с допроса, спросила Крота с запоздалым кокетством:

— Вы кандидат наук?

— Почему же кандидат? — ответил Крот. — Я доктор.

— О! А такие молодые!

Она его боялась и теряла для следователя интерес как стойкий, убежденный свидетель.

Значит, «Волга». Опровергнуть эту «Волгу» было так же трудно, как доказать. Но у этого Крота было преимущество. Он пришел и сказал: была «Волга». Он был активным. А отрицание «Волги» было пассивным. Ее не было в действительности, и поэтому никому не приходило на ум ее отрицать.

Так рассуждал следователь, все больше убеждаясь, что перед ним жулики. Но чем больше он убеждался в этом, тем больше понимал, что из паутины их показаний все труднее выбраться. Неужели еще год-другой снимут этой лахудре? Кто она им, что они за нее так уцепились?

И следователь навел справки и обнаружил вообще черт знает что! Он обнаружил, что гражданка Сименюк А. И. находится в разводе со своим мужем, проживая с ним в одном месте вот уже три месяца. За это время гражданка Сименюк вступила в жилищный кооператив «Микрофон», внеся вступительный пай на двухкомнатную квартиру. Для этого нужны деньги. Откуда телефонистка взяла столько денег, чтобы заплатить пай? Муж дал? Для чего? Отступного дал? Весьма возможно — у них двое детей. Тем более на развод подавала она. Значит, виноват в разрушенном браке он? По какой причине? Измена? Другая семья? Дети находятся у свекрови. И свекровь принимает невестку, а с сыном своим находится в натянутых отношениях... Черт знает что. И потом, какое отношение это все имеет к делу о наезде? Никакого. Следователь вздыхал от обиды, чувствуя тяжелую скуку заниматься этим делом, которое выскальзывает из рук.

А пока накапливались эти сведения, не имевшие отношения к делу, следователь вызвал третьего свидетеля, а именно Яковлева И. Е.

#### От автора

Утром заявился пропащий Генка. Я удивился и обрадовался:

— Геннадий Степаныч! Где же ты пропал?!

Он взмахнул белыми ресницами:

— Главное — не тушеваться!

— Подожди, подожди!! А как же твой братан? Как же твой замечательный председатель с его удивительным свинарником?

— Не дают...

— Как? Окончательно не дают?

— Почему окончательно? Ничего окончательного в жизни не бывает... А вы все тушуетесь? Собаку завели... Эх ты, собака! Породистый...

Он присел на корточки и потрепал умную Филькину голову. Филька в свою очередь обнюхал его довольно внимательно и одобрил. Геннадий Степанович поднялся:

— Машину мало-помалу раскурочивают... Пора делать ремонт...

Генка, конечно, устроит запчасти. Это видно по его слегка осунувшемуся лицу. Он найдет того перипатетика, который достанет все что нужно.

Но где мы это будем делать? Кто нас пустит на яму в похоронном гараже?

Генка объясняет:

— У нас новый завгар. Старого выгнали за левые дела. Новый не решается пока. Ему приказание нужно. Позвоните начальству.

И снова треплет Фильку. Пес ложится, гарабанит хвостом по полу, принимая дружбу.

— Николай Петрович,— говорю я в телефон.— Извините, что я вас беспокою...

Нельзя. Он против. Он не может допустить, чтобы частные лица. Не может. Тем более известны отдельные случаи, когда вследствие попустительства заведующего гаражом рабочие заводили частные автомашины при помощи похоронного транспорта.

— Неужели заводили?

— Представьте себе такое кошунство!

Да. С бюро похоронных процессий у меня нелады. Придется ждать официального случая. Ибо Николай Петрович начеку.

— Зря звонили,— говорит Генка.— Отрезали себе дорогу. Мы бы и без него все сделали. Надо было вам с завгаром туда-сюда...

— Но ты же мне сам велел звонить, Гена!

— Велел-велел... Что у вас — своей головы нет? Не надо было звонить.

— Да, Гена, теперь я вижу, что наделал делов этим звонком. Теперь ворота вашего гаража будут закрыты для подобных случаев. Николай Петрович не позволит.

Генка перебивает меня удивленно:

— Почему закрыты? Это же он только вам не велел. А про других же он не говорил? Другие же ему не звонили!.. Это вы только себе делов наделали...

Филька вскакивает и делает несколько заячьих прыжков. Геннадий Степанович замечает его недостаток:

— Как же он будет у вас жениться при таких ногах? Эх ты, калека...

Я не отвечаю. Мне сейчас не до Филькиной женитьбы. Я думаю о том, что слишком высоко забрался своим телефонным звонком.

— За углом, в Малом Стратотерпцевом есть гараж,— размышляет Генка.— Мы там с Борисом по совместительству.

— Так что же, Гена, звонить новому Николаю Петровичу? А может, не звонить?

Генка отвечает косвенно:

— Там у них жестянщик есть. Кузьмич. Первый мастер. Торопиться не любит, сделать любит.

Генка говорит уважительно. Он поджимает губы, прикрывает глаза и, покачивая головой, подтверждает, что Кузьмич действительно первый мастер.

— Так как, Гена, звонить или не звонить?

Он ухмыляется нерешительно:

— Дело ваше... Вам же автомобиль делать, вы и думайте.

Я вздохнул:

— Если я ему позвоню, а он откажет? Собственно, вы от этого не пострадаете, поскольку он откажет только мне. Часть меньше целого. Я — меньше стада автомобилистов. Стадо не пострадает от выбраковки одной овцы. Или барана. Но зато если он разрешит — я буду ходить расправив плечи... Гена, скажи мне как философ философу: стоит риска желание ходить расправив плечи или не стоит?

Генка застенчиво улыбается:

— Тоже скажете... Звоните, может, повезет. Там завгар новый, еще пока непонятный...

Совершенно верно — главное, не тушеваться. Есть еще и другие Николай Петровичи на земле. А пока они есть, мы не пропадем!..

В этом я убедился на следующий день.

Утром возле автомобиля возился парень, которого я где-то видел. Лицо его и повадка были мне знакомы. Он накачивал баллоны — резко и мощно, со всего маху. Вероятно, это и был Борис, служивший по совместительству в том благородном оазисе, где моему автомобилю предстояло ожить.

— Кто это вам мигалку удружил? — спросил он, не отрываясь от насоса. — Рвут, паразиты, с мясом, воровать культурно не научились! Елкин корень!

Ну, конечно! Я сразу узнал его. Это же тот самый прохожий-энтузиаст, который помогал продавщице бить посуду!

— Глядите! — сказал он, распрямляясь. — Будто отвертки нету! Шакалы!

Действительно, задний фонарь сперли технически малограмотно. Это могло хоть кого удручить.

— Не тушуйся, Борис, — сказал Генка, — теперь одно к одному.

— Я не тушуюсь, — ответил Борис, — но кто ж так фонари снимает?

Рядом возник Миша Архангел и тоже встрял в разговор:

— Помыть не надо?

Борис глянул на него жестко:

— Я тебя сейчас помою! Ключом по кумполу, алкаш!

Мы выкатились на нашу улицу, и улица остановилась, понимая всю важность нашей миссии. Улица ждала не шевелясь, пока мы по ней проедем. Мы доехали до пивной палатки, свернули в переулок, потом в другой, потом еще в один и уперлись в тупичок, оканчивающийся большими зелеными воротами с проходной будкой. Над воротами во всю их длину пламенела вывеска с накладными буквами, выкрашенными алой люминесцентной краской: «Спасибо за честный труд!»

Это и был гараж.

Борис выскочил, хлопнул дверцей и вошел в проходную.

Ворота медленно поплыли на смазанных петлях, проломившись посередине. Они отступали перед нами гостеприимно, законно, не таясь.

Николай Петрович разрешил.

Мы въехали во двор, и мой автомобиль остановился среди могучих грузовиков, как облезлая овечка среди стада носорогов. Носороги не пошевелились.

Вышел завгар — небольшой сухонький дядечка в кепке с пуговкой. На лице его, морщинистом и остроносом, не отражался ни один порок. Я вылез приветствовать его, как вассал приветствует суверена.

— М-да, — сказал суверен, оглядев овечку. И, еще раз оглядев, добавил: — Делов — будь здоров... К стенке ее...

И показав, к какой стенке, ушел в свою конторку...

Я был представлен Кузьмичу.

Он вышел из мастерской, держа в руках автогенную горелку. Немолодое, одутловатое, добродушное лицо Кузьмича туманилось легким налетом застенчивости. Беретик покрывал его большую голову, как крышечка. Он переложил горелку в левую руку, вытер правую о чистенький, стираный-перестираный комбинезон и протянул ее мне, почтительно наклонившись в так рукопожатию. Движения его были мягки, медлительны и приятны.

Он молча положил горелку на ящик с песком и стал исследовать автомобиль. Генкины legionеры ему мешали, и он без слов отстранил их круглым плечом, не глядя на них и не интересуясь их чувствами.

Кузьмич был немногословен. Он предпочитал молчать. Произносил слова он чрезвычайно редко, но скороговоркой, как бы торопясь от них избавиться. Я ходил за Кузьмичом как опытный проситель, отличающийся робостью и послушанием, а потому получающий кое-какие блага на этом свете.

— Порожки надо, надо порожки,— проговорил Кузьмич и стал проговать двери.

Видимо, двери его устраивали, о них он не сказал ничего. И когда я уже собрался начать переговоры, Кузьмич проговорил:

— Надо варить дно, варить дно надо...

— Кузьмич,— сказал я,— сделайте, пожалуйста, все что нужно.

Он не ответил. Он отстегнул английскую булавку на кармане комбинезона и вытащил аккуратный листок наждачной бумаги. Булавку он застегнул снова, а наждаком стал протирать места кузова, вызывающие его подозрение. Я не смел задавать ему вопросов. Я даже отступил к ящику с песком и присел на него, наблюдая за действиями Кузьмича.

Подожел Генка, светясь улыбкой:

— От имени рабочего класса! На бутылку, чтоб поехало. Аванс.

Неожиданно Кузьмич проговорил:

— Трещите, как сороки, как сороки, трещите...

— Кузьмич, надо выпить! — нахально веселился Генка.

— Работать надо, а не пить, не пить, а работать.

Генка смутился.

— Геннадий Степаныч,— сказал я.— Кузьмич прав.

— Рабочий класс, рабочий класс,— пробурчал Кузьмич.— Трепачи, дерьмо...

Генка толкнул меня локтем в бок и сказал не то с уважением, не то с насмешкой:

— Мастер...

И ушел.

Кузьмич снова расстегнул булавку, вытащил из кармана мелок и стал рисовать на кузове.

— Красить им не давайте, не давайте им красить... Герасимыч покрасит, Герасимыч. По-быстрому дешево стоит, да не быстро ходит. Сам с ним поговорю, сам...

Герасимыч, видимо, был профессором-консультантом в этой поликлинике. Видимо, попасть к нему на прием было нелегко. Мне сказали, что он красил машину самому Николаю Петровичу, и я был тронут словами Кузьмича и почувствовал признательность больного, который наконец достиг радостной перспективы быть зарезанным не простым ординаром, а редкой знаменитостью.

— Хороший мастер? — бестактно спросил я Кузьмича, стараясь скрыть ликование.

И тут Кузьмич преобразился. Он выпрямился, в первый раз улыбнулся и без скороговорки, а певучим бабьим голосом ответил:

— Ну что-о-о вы! Каретник!

И слово «каретник», оставшееся от далеких доавтомобильных времен, от времен деревянных спиц и проселочных дорог, от времен мастеровой горделивости и приятных окошек с бальзамино и занавесочками,— это слово вдруг повеяло на меня таким тончайшим цеховым ароматом, что на душе моей стало спокойно и естественно, как после причастия.

— Ка-а-аретник! — снова пропел Кузьмич, и я почувствовал, что и Герасимыч, видимо, называет Кузьмича не жестянщиком, как Генка, а именно каретником, когда сватает кому-нибудь его работу...

Потому что жестянщик и маляр — это совсем не то же самое, что каретник и каретник.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Карпухин осваивал профессию, которая называется пока еще неудобным словом «дизайнер». То есть он был специалистом по внешнему виду внутреннего содержания. Он со своей бригадой делал Яковлеву чайную по договору и сделал толково, с той долей модернизма, которая допускается уже повсеместно, вызывая, с одной стороны, некоторое смущение, а с другой — полное спокойствие за моральный облик. Он сделал чайную хорошо, с коваными рисунками церквушек, тракторов и оленей, с некрашеным деревом где надо, а где надо — с обнаженным кирпичом.

Работая, Карпухин присматривался к Яковлеву и отмечал про себя, что председатель — заказчик правильный, дизайнерство любит и хотел бы приручить карпухинскую бригаду, ибо имел планы немалые.

Когда же председатель угостил Иннокентия Викторовича и заговорил о Спасе на юру, Карпухин увидел сразу новую интересную работу, однако сообразил тут же, что никакой монастырь Яковлеву не отдадут.

Но план монастыря ему сделал. Впрочем, не безвозмездно, а за некую щекотливую услугу.

Услуга сия заключалась в том, что Иван Ефимович Яковлев должен будет показать, что такого-то числа на таком-то перекрестке он, Яковлев, видел, как на красный свет пролетела черная «Волга», после чего был совершен наезд на пешехода. Больше ничего Яковлев говорить не должен был.

— «Волга» действительно пролетала, — сказал Карпухин. — Тут не сомневайтесь.

— Как же я покажу, если не был там? — насторожился Яковлев.

— Почему же не были? — спросил Карпухин. — Вы же в город ездили именно в тот день...

Карпухин придумал это действие не сам.

Сергей Васильевич Сименюк доложил об Анюткином несчастье начальнику своему Николаю Павловичу Петухову. Николай Павлович собирался за границу и особенно в дело не вник, жалея своего сотрудника, но не зная, чем помочь. Он, как начальник, хотел было смягчить обстоятельства характеристикой, но тут и маленькому ребенку было ясно, что характеристика, выданная мужу, никак не поможет жене, сбившей пешехода. Тем более жене, находившейся в момент наезда в разводе. Поэтому Николай Павлович сказал:

— Скажи Кроту. Пусть что-нибудь придумает.

И уехал.

Роман Романович Крот, как заместитель, подумал и потребовал привести Анютку. Он считал поручения начальства святыми, и еще не было случая, чтобы не выполнял их в лучшем виде. А наиболее щекотливые не перепоручал никому.

Так что следователь был совершенно прав в том, что во главе всей этой новой петрушки стоял не кто иной, как Крот.

Крот никогда ничего не делал, не подготовив рабочего места. Это был аккуратист на редкость. Он пытал Анютку целую неделю, записывал ее впечатления от следователя и свидетелей, и в башке его стала вырисовываться кое-какая картина. Он ездил на место присшествия, думал, рисовал, вычислял и наконец придумал.

— Кеша, — сказал он своему приятелю Карпухину, — есть возможность сыграть роль в одном смешном спектакле. Провести правосудие в сторону смягчения наказания.

— Мне некогда, — сказал Карпухин.

— Это не разговор, — возразил Крот. — Это будет железный рзыгрыш. Ты будешь плакать от смеха.

Карпухин был человеком, чьи глаза имели способность загораться блеском. Когда он сдавал экзамен за Крота, этот блеск принес Ромке искомую пятерку. И Крот знал, что Кешка поартачится, но от соблазна не уйдет.

А когда Крот привез Карпухина на место происшествия, Кешка и вовсе загорелся:

— Верняк! А что за баба?

— Это жена нашего парня.

— А,— сказал Карпухин вяло,— ладно... Но показать ты мне ее должен.

— Только без разбоя,— предупредил Крот.— И теперь вот еще что... По моей мысли, тут должен быть еще один свидетель. Хорошо бы представитель рабочего класса или, еще лучше, трудового крестьянства.

— Лучше крестьянства,— сказал Кешка.

Такой разговор был между этими друзьями на месте происшествия.

Яковлев же от странного предложения Карпухина отказался.

Карпухин сказал:

— Можно подумать, вы не сидели понапрасну... А теперь нужно выручить молодую мать двух слабых детишек... Можно подумать — у вас нет детей.

— Я с женой посоветуюсь,— сказал Яковлев.

— Иван Ефимыч,— возразил Карпухин,— я вам скажу прямо: вы хороший человек. Если вы в ваших стеснительных условиях пытаетесь выколачивать прибыль из земельной ренты и находите работу таким никчемным людям, как я, вы действительно хороший человек. Вам повезло — вы были в городе в день происшествия. Что вам еще нужно? Меня в тот день и близко не было, я у вас тут сидел. И то я иду на это. Меня мучает гражданский долг...

— Я с адвокатом посоветуюсь,— сказал Яковлев,— у меня есть знакомый адвокат.

— Еще чего,— возразил Карпухин.— Вы еще с прокурором посоветуйтесь. А то и с самим следователем.

Яковлев засмеялся:

— Они посоветуют...

Карпухин сказал:

— Давайте лучше думать не о пустяках, а о деле. Монастырь вам могут дать, а могут не дать. Если не дадут — ничего не напишешь. Но если дадут — я к вашим услугам не по долгу, а по душе...

Яковлев не возражал. Как же все-таки живут люди на земле — по выгоде или по жалости? И чувствовал Яковлев, что в жалости, которую вызывал в нем Карпухин, имеется также примесь выгоды...

#### От автора

Павел пришел мрачный, и я понял, что Катерина удалилась искать что-нибудь еще. Может быть, сейчас она билась в сетке меридианов и параллелей, как большая рыба. Может быть, она высматривала тайны земли по одной ей знакомым приметам.

— Слушай,— сказал Петухов,— я понял, почему автомобиль сломал тебе руку. Он сломал ее из мстительного чувства.

— Не может быть, Павлик,— возразил я.— Мой прекрасный автомобиль не знает чувства мести. Он очень благороден.

— Я говорю серьезно. Он тебе отомстил. Вернее, не тебе, а твоей руке, которая больше восторгалась, чем думала. Вещи начинают мстить за себя. Они мстят за свою дикую судьбу... За то, что их моют дожди, засыпает их пыль и ветер над ними колышет ковыль... Хорошие стишки и, главное, правильные, если речь идет о производстве и продукте.

Филька был третьим собеседником. Он внимательно выслушивал стороны.

— Павлик, ты внушаешь собаке грустные мысли... Почему бы тебе не внушать их людям?

Пес приблизился к Петухову, понимая, что разговор будет сугубо конфиденциальным. Петухов обратился к нему:

— Что я могу тебе сказать по данному вопросу, дорогой Филя? Вопрос производства продукта волнует человечество издавна...

Пес вытянулся, встал на колени и замахал хвостом. Он протянул к Петухову понятливую морду. Он смотрел на него, как наивный профессор, который надеется услышать на экзамене от бедового студента хоть что-нибудь, напоминающее его прекрасные лекции.

— Итак, Филя,— сказал Петухов, глядя в академические глаза собаки,— вот, скажем, конфета. Что тебе важнее, Филя, как потребителю: сам конечный продукт или процесс его производства тебя может волновать только как общественного деятеля?

Где конфета? — спросил Филя одними глазами.

— Вот видишь — где? Именно — где? Вопрос вполне естественный, пока конфеты нет.

Филька не возражал. Петухов взял самолетный леденец, снял с него бумажку и протянул псу:

— Вот конфета.

Пес посмотрел на леденец внимательно, закрыл рот, медленно приблизился к его руке и одними губами осторожно, мягко принял продукт.

— Итак, конфета есть, Филя. Она является продуктом определенного производства. Она отражает производственный процесс, технологию, сырье, время, энергию, труд и прочие вещи, создавшие ее. Ты со мной согласен?

Филька грыз леденец, положив голову на лапы. Пашка продолжал:

— Производство, Филя, возникло по конкретной причине: надо было сделать конфету, которую ты, как потребитель, слопал. Но что это за конфета, Филя? Удовлетворяет ли она твои растущие потребности? Согласуется ли ее сущность с твоим собачьим вкусом? Устраивает ли тебя ее вид, не говоря о содержании? То есть, короче говоря, выдерживает ли она современные требования?

Филька снова устроился на моей ступне. Проблема заинтересовала его.

— Так вот, Филя, должен тебя поставить в известность: когда производство главенствует над продуктом — оно превращается в самоцель. Оно гонит этот продукт, не заботясь о его сущности.

Филька посмотрел на меня вопросительно.

— Не гляди на него, Филя, не гляди,— сказал Петухов.— Лучше слушай. Продукт должен диктовать производству, каким быть. Он должен постоянно подгонять производство под себя, менять технологию, сырье, время, труд, он должен подчинить себе психологию продуцента! Ты знаешь, что такое продуцент? Не знаешь. Странно... Продуцент — это парень, который делает то, что тебе необходимо. Понимаешь, Филя, если этот парень делает не то, что тебе нужно, а то, что ему хочется, он не продуцент, а сачок.

Петухов посмотрел на собаку с ласковой печалью и потрепал Филькину голову.

— Взять, например, такой продукт, как автомобиль, Филя. У него есть колеса, и он катится. Но для того, чтобы колесо катилось, надо его смазывать. А смазка — это тоже производство. Потому что качение колеса есть не что иное, как продукт!



Петухов бросил на меня строгий и придирчивый взгляд, как на не-расторопного ассистента.

— Как зовут твоего любимого слесаря?

— Гена,— с завидной поспешностью ответил я.

— Хм... Гена... Так вот, Филечка, пока мы с тобой кушаем конфеты и занимаемся политекономией, слесарь Гена самостоятельно организует производство качения колеса. Ему трудно, потому что у него нет ни рабочих площадей, ни материального обеспечения. Он организует его при помощи подспудного тайного перераспределения запчастей, которые твой идеалист-хозяин не может купить в магазине, потому что производитель их выпускает в минимальном количестве. У Гены нет ничего, кроме энтузиазма взять свой гонорар. Потому что он производит услугу, сервис, ремонт, то есть новый продукт, который учитывается не производством автомобилей, а самим автомобилем, то есть самим основным продуктом.

Пес печально опускает голову, раздумывая над этими словами. Он размышляет.

— Филька!

Он вздергивает голову.

— Теперь ты понимаешь, что продукт должен диктовать производству, каким быть, а не наоборот? Он должен вызвать к жизни новые производства и направлять их сущность!

Вообще-то люди делятся на нужных и ненужных. Это не значит, что деление сие абсолютно. Человек, который не нужен вам в данный момент, может быть до зарезу нужен кому-нибудь другому.

Скажем, взять финансового инспектора. Лично мне он ни к чему. Он мне понадобится только тогда, когда я устрою у себя на кухне сталелитейное производство, забыв его зарегистрировать. Тогда он мне понадобится срочно как сотрапезник или как лицо, способное меня оштрафовать. Тут уж я должен решить, в каком качестве он мне понадобится, и поступать в соответствии со своим решением.

Есть люди, с которыми можно вязаться, и люди, с которыми вязаться никак не следует. Это бросилось мне в глаза, едва я начал осваиваться в гараже.

Мой автомобиль стоял у стенки, дожидаясь своей участи и не смея просить о снисхождении. Яма была занята который день, и освободить ее не представляло никакой возможности. На яме стояла машина брендмейстера, и согнать ее не могла никакая сила. Более того, эта машина сама согнала с ямы местный грузовик, который въехал было на профилактику.

Генка сказал мне доверительно, что люди делятся на две категории. На тех, кто штрафует, и на тех, кого штрафуют. Моя принадлежность ко второй категории не оставляла сомнений. Так же точно, как принадлежность брендмейстера к первой.

Он приходил в гараж, поглядывая в углы весьма выразительно, отмечая опытным глазом места возможного возникновения пожара. Сухонький завгар ходил за ним по пятам как будущий погорелец и раскаивался в своей грядущей уголовной небрежности. У погорельца стояли где надо бочки с песком, висели багры-топоры на красных досках и были отмечены надписями «Не курить» все точки скрещения координат.

И чем дольше всматривался в них брендмейстер, тем явственнее клубился дым под его испепеляющим глазом. Брендмейстер молча обходил подворье, молча нагонял страху и молча уходил.

Завгар понимал, что если к завтрашнему вечеру поганую брендмейстерскую «Победу» не сгонят с ямы готовенькую, терпение брендмейстера лопнет и произойдет то, что может произойти с каждым легкомысленным завгаром, который слишком долго чухается.

— Делайте ему скорее его лайбу, нехай он перекинется до срока,— умолял слесарей завгар,— делайте ему, он уже протокол за пазухой носит!

Слесаря отчаянно вертели ключами, выражая понимание.

— Он в любую минуту законный штраф наложит...

— У него, у падлы, печать в кармане.

— Ставь ему подшипник, заколись он в доску...

— Видал бы я его с подшипником...

Они знали, что работа делится на левую и правую. «Победа» была левой, поскольку к гаражу не принадлежала. Но ничего им за эту левую работу не светило. Одна радость, что делали ее в рабочее время, оставив свои грузовики.

Присев на корточки над ямой и нетерпеливо вглядываясь в их лица, я понимал, что ни противопожарный штраф, который способен наложить на ихнюю контору выведенный из терпения брендмейстер, ни даже сам пожар гаража не убавили бы их оптимизма и жизнелюбия. Их жизнелюбие неприятно тушевалось под давлением напрасно потерянного времени, которое не возместится никаким эквивалентом. Они крутили проклятую «Победу» как дополнительную напасть, свалившуюся на их сводободлюбивые головы.

Я сидел на корточках, разглядывал свежезаваренный порожек и чувствовал, как мое сердце сливается с их сердцами в едином порыве столкнуть поскорее эту тяжесть с нашего пути.

— Кто будет красить брендмейстеру? — спросил я нетерпеливо.

— Красить будет Тимофей,— сказали из ямы, стуча ключами.

Тимофей — это штатный гаражный маляр. И по тому, как было произнесено его имя, можно было догадаться, что это далеко не Герасимыч...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Карпухин, узнав, что дама, которую он защищал, находится в разводе, пожелал с ней познакомиться поближе или хотя бы посмотреть на нее.

— Ты мне портишь всю комедию,— упрекал его Крот.— Все должно быть по системе Станиславского. Она тебя не видела, ты сидел в машине. Не клейся к ней. Это сексуальный разбой на большой дороге.

— Рома! — прижимал руку к горлу Карпухин так, что захватывал и бородку.— Пойми меня правильно. Я свободный художник.

— Ты эгоист,— возражал Крот,— если спектакль провалится, сам знаешь, что будет. Мы и так слишком далеко зашли. Подожди немножко, познакомишься с ней на суде... И потом, Сережка Сименюк светел и доверчив. Он ничего не знает, кроме формул. Это некрасиво.

— Но они же в разводе! Какое ему дело?

Крот подумал и сказал трагически:

— Несчастье сблизило их.

Карпухин сделал вид, что отступает, но образ Анютки разогревал его воображение, тем более что он не имел о ней никакого понятия.

Яковлев был не рад, что ввязался в эту историю, он хотел было отступить, но Карпухин вовремя бросил его в жаркие объятия Крота, и Яковлев смекнул, что бывают на свете люди, которые могут пригодиться. Точечные глаза за толстыми очками скрывали тайну, которая могла быть полезной и могла быть вредной.

Иван Ефимович познакомился с Кротом достойно и, поговорив минут пятнадцать обиняками, заявил, что ему нужен армянский туф.

Крот выслушал нужду сию с пониманием и сказал, что туф раздобудет. Яковлев не спрашивал, какая надобность Кроту выручать эту женщину. Он был человек деловой. Надо — значит, надо. Но если бы

и спросил, Крот, пожалуй, сказал бы, что выполняет приказание начальства, находящегося в данный момент в заграничной командировке. Он сказал бы, что приказ начальника есть закон для подчиненного. Но не сказал бы Крот никому, что, будучи заместителем Николая Павловича Петухова — молодого перспективного ученого, — Крот обволакивал его паутиной своих услуг, как куколку, качал его в колыбельке, нянчил на руках, смачивал запекшиеся губы влажной марлевой тряпочкой, ибо был врожденным заместителем, который остается истинным хозяином дела при любом начальнике. Если жизнь такова, что начальники приходят и уходят, так надо в ней быть твердым заместителем, чтобы оставаться на месте...

Яковлев должен был сказать, что подошел к Анютке, дал карандашик и назвал свой адрес. За гидравлический подъемник и, может быть, еще кое за что — это было недорого.

И вот он сидел у Крота в кабинете, рассматривая схему происшествия, и видел, что новый его знакомый — ловкач, заслуживающий доверия.

Анютку Крот показал ему мельком, из окна своего кабинета, заставив ее прогуливаться на улице. Важно, чтобы Яковлев узнал ее, а если она сразу и не узнает Яковлева, будет даже лучше: в том состоянии, в каком она получила от него карандашик, ей могло быть не до того...

Но разбойник Карпухин тоже не зевал. Он увидел возле петуховского учреждения яковлевский «козлик», увидел небольшую дамочку, прогуливающуюся под Ромкиными окнами, и сообразил, что надо действовать.

И, вздохнув, приступил к переходу через проезжую часть.

#### От автора

Мой старый, бывалый автомобиль светился как новенький. Герасимыч ревниво стирал с него пылинки замшевой тряпочкой.

— Это какая же сволочь, — восклицал он высоким голосом, — держалась за ручку? Такими лапами морду свою мацай, а не работу! Ах, уголовники! Ах, арестанты!

Он имел право возмущаться...

Четыре дня Генкины легионеры колотились под автомобилем, вздергивали его на таях, забирались в его потроха, отворачивали гайки и меняли сносившиеся автомобильные печенки. Четыре дня автомобиль висел в гараже, как в травматологической больнице на распорках, в струбцинках и на домкратах.

Все у них было, у этих чертей, — и прокладки, и вкладыши, и пальцы, и наконечники, и колодки. Все у них было в их ящичках за семью замками.

Разрешение Николая Петровича развязало их вымазанные автомобильной гарью трудовые руки, и руки эти залезли в тайники. Гудел токарный станок, снимал стружку с барабанов, ждали своей очереди казенные грузовики на подворье — легионеры отмахивались от них. Сухонький завгар похаживал вокруг, поглядывая весьма неодобрительно, и, не сдержавшись, натянул робу и полез в яму. Все-таки он был слесарем, несмотря на свой чин.

Радио гремело в гараже, не знавшее отдыха никогда. Оно учило слесарей воспитывать детей, бороться за мир, пеленать грудных младенцев, распознавать козны империалистов, понимать музыку, добывать уголь, ухаживать за больным, соблюдать этикет, говорить на иностранных языках, выбирать цветы, не терять бдительности и красиво ухаживать за дамами. Оно окружало их сверхчеловеческой музыкой Бетховена

и довольно человечными песнями Сигизмунда Каца. Радио ревело на все ноты, и автомобильные детали, совпадая с колебаниями динамика, отзывались печальными камертонами.

Стена вокруг динамика была украшена плакатами, призывающими стать донорами, хранить деньги в сберегательной кассе, заниматься гимнастикой для девушек, переходить улицу исключительно на зеленый свет, а также репродукциями картин Рембрандта, Дейнеки и Герасимова. На почетном месте висел небольшой пейзажик маслом, робкий подлинник, изображающий лес, речку, избу и корову. Под пейзажиком значилось карандашом по стене: «Деревня Духово, родина Кузьмича».

Легионеры мягко клацали своим оружием, и маслянистый этот звук будто даже превозмогал мощь динамика.

Они слушали работу налаженного мотора, как работу сердца, — прищипчиво и страстно, отведя невидящие глаза и превратившись в слух.

— Выруби его к стреляной матери, елкин корень! — заорал Борис.

Выключателя не было. Борис дернул провод кусачками, и в мире наступила первобытная тишина без музыки и поучений. Тишина, как на родине Кузьмича, в деревне Духово.

Сердце мотора билось мягко и ровно. Генка расплылся во всю кирпичную рожу.

— Лады, — сказал завгар. — Работает.

— Работает, — сказал Борис лениво, — куда ему деваться...

И стал вытирать руки концами.

Они выкатили автомобиль на подворье и завалили его на бок, подложив старые покрывки самосвалов. Наступил черед Кузьмича.

Завгар снял робу, принимая нормальный вид. Сказал Борису:

— Соедини провода...

— А ну его...

— Соедини, соедини, — дружелюбно повторял завгар, — веселее будет... Политмассовая работа.

Электрик Костя безропотно полез к динамику, и притихший было мир огласился победным маршем.

— Веселее будет, будет веселее, — пробормотал Кузьмич, налаживая горелку.

И тогда появился Герасимыч.

Он появился в синем бывалом плаще, крупнолицый, костлявый старик с железными пальцами, протянул руку Кузьмичу и, ни на кого не глядя, стал осматривать лежащий на боку автомобиль. Он рассматривал его, засунув руки в карманы и не говоря ни слова.

Генкины легионеры стояли на почтительном расстоянии, но Герасимыч пуганул их голосом, неожиданно тонким для такой своей жилистой и ширококостной комплекции:

— Вам что — дела нет?!

Легионеры рассмеялись в голос и пошли делать постылые грузовики.

Прошло еще два дня. Кузьмич лазил по днищу с горелкой, худые места оплывали синим металлом.

И наконец легионеры легко, как выздоравливающего больного, поставили автомобиль на ноги.

Герасимыч переоделся, раскрыл чемоданчик и достал технику. Не наждачные бумажки, коими елозь до утомления, сдирая старую краску, не шкурки, коими чисть, высунав язык, а веселую небольшую машинку, культурную машинку собственного изготовления, как малый утюжок, чтоб работа была приятной, как мечтал в свое время Максим Горький. Герасимыч подключил утюжок и пошел отглаживать до металла — быстро и хорошо, без пота, без одышки, с высоким качеством.

- Техника! — уважительно галдели Генкины легионеры.
- А кто вам мешает технику завести? — отвечал Герасимыч.
- Вот на пенсию выйду — заведу, — веселился Генка.
- Ни хрена ты не заведешь... Нет у тебя к себе уважения...

Он отдраил машину догола, долго и вдумчиво шпаклевал ее, будто писал картину Рембрандта, и наконец стал ладить красильный пистолет. Маляр Тимофей смотрел на его работу, как на фокус.

И вот автомобиль загорелся, как с конвейера.

Кузьмич, чистенький, в вылинявшей спецовочке и в новом картузе, сладко пригорюнясь, стоял перед машиной, сложив руки на животе. Генкины легионеры, вытирая руки ветошью, ходили вокруг, ласково матерясь.

- Хоть целуйся с ней, елкин корень! — сказал Борис.
- Теперь первое дело — не тушеваться, — добавил Генка.

И я понял, что надо доставать кошелек. И я достал его и роздал имение свое, которое нажил тем, что заблаговременно заложил душу в одном издательстве. Душа была оценена невысоко, денег не хватило бы и на закуску, несмотря на то, что в таких случаях закуска бывает скромнее даже, чем на дружеском рауте в посольстве, куда лучше всего приходить немедленно после плотного обеда.

Я роздал имение свое под дружное одобрение ближних своих, стараясь думать главным образом о том, что все суета сует и всяческая суета, как говорил царь Соломон Давыдович, а также о том, что деньги — дело наживное, как мог бы сказать другой Соломон Давыдович, заведующий магазином номер двести три. Я раздавал имение свое, шепча бессмертные стихи знаменитого мудреца из Рустави:

То, что спрятал — то пропало.  
То, что отдал — то твое...

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Карпухин подошел к Анютке и, увидав перед собою довольно миленькую голубоглазую особу, снял кепку:

— Извините... Как вас зовут?

— Я не знакомлюсь на улице, — нервно перебила Анютка.

— Хорошо, — отступил Карпухин, — я подожду. Мы познакомимся в кафе.

Анютка засмеялась:

— В каком еще кафе?

— Если угодно, в кафе «Лира». Это здесь рядом... Хотите, я вам скажу, зачем вы здесь?

— Ну зачем?

— Сейчас вас показывают из окна одному человеку. Вашему свидетелю.

Анютка насторожилась:

— Какому еще свидетелю? Не знаю, о чем вы говорите...

— Не бойтесь меня, — сказал Карпухин.

— А я вас не боюсь. Чего мне вас бояться? Не знаю, о чем вы говорите.

— Вас зовут Анна Ивановна Сименюк?

— А вам зачем?

— Видите ли, — сказал Карпухин, — вы мне понравились еще тогда, когда я вас впервые увидел во время аварии. Помните? Вы стояли такая растерянная, когда мой товарищ принес вам свою визитную карточку...

И этот несчастный старик, которого увезли на «скорой помощи»... Ужасная встреча...

Анютка облизнула губы. Она попала в весьма затруднительное положение. Может быть, этот бородатый нахал подослан следователем. Как быть?

— Как вас называют друзья? — не унимался Карпухин. — Нюра? Аннет? Анечка?

— Анюта, — ответила она, оттягивая время.

— Вы меня боитесь, — просительно сказал он, — а я вас не могу забыть с того момента...

«С какого момента, — подумала Анютка, — никакого момента не было, чего он привязался?»

— Никакого момента не помню, — сказала она осторожно.

— Это естественно, — взбодрился Карпухин, — вы были в таком состоянии!.. Моя фамилия Карпухин... Вы, пожалуйста, будьте совершенно спокойны. Я готов под присягой доказывать, что вы не были виноваты. Я все видел!

«Неужели видел? — засомневалась Анютка. — Что же это — сон какой-то?»

— Пойдемте отсюда, — сказал Карпухин, беря ее под руку, — я думаю, на вас уже посмотрели. Я сам скажу Роману Романовичу, что увел вас...

Анютка попыталась отвести локоть:

— Какому еще Роману Романовичу?

— Роману Романовичу Кроту, — ответил Карпухин, не отпуская ее.

— Вы опасный человек, — сказала Анютка, вспомнив слова, вычитанные в какой-то книге. и охорашиваясь.

— Не так уж я опасен, — защитился Карпухин, чувствуя, что дело на мази, — с тех пор, как я вас увидел, я потерял покой.

Карпухин понравился Анютке не сразу.

Отведя ее от конторы, в которой Крот беседовал с Яковлевым, Иннокентий Викторович продолжал развивать мысль о чувстве, которое способно вспыхнуть с первого взгляда, имея дальнейшую задачу не погаснуть никогда. Анютка слушала его и приятно дивилась: вот заливает!

— Весь ужас в том, — говорил Карпухин, — что перед лицом закона мы должны будем сделать вид, что не знали друг друга никогда... Не знаю, как вам, а мне это будет ужасно трудно.

Анютка испугалась.

— Как так — трудно? Что же вы — расколется на самом суде?

— О нет, — сказал Иннокентий Викторович. — Даже на дыбе я буду утверждать, что вы невиновны. — И, наклонившись к ней, добавил загадочно: — Тем более теперь это в моих интересах.

Он упирал на слово «теперь».

Анютка вспыхнула — до того хорошо он сказал. А вспыхнув, успокоилась.

— Куда же мы пойдем? — спросила она беспечно.

— Почему пойдем?! — переспросил Иннокентий Викторович. — Мы поедем! Мы поедем за город, в луга и заберемся в лесные чащи, где сумрак деревьев скроет нашу тайну от нескромных взоров...

— Чудной вы, — застенчиво вставила Анютка и даже слегка прижала локотком карпухинскую длань.

С этого момента он и начал ей нравиться...

**От автора**

О наступлении страшного суда я был извещен заранее. В извещении указывалось, что явиться нужно со своей сковородой, имея при себе список грехов в четырех экземплярах.

Я явился к чистилищу и увидел, что оно до отказа набито грешниками. Ангелы-общественники прогуливались в партикулярных кепочках, спрятав до поры крылья под мятыми пиджачками. Ангелы приняли с утра успокоительного зелья, ибо предстоял горячий день.

Главный судья писал за темным столом судьбу человеческую, и было ясно, что есть время грешить, но нет времени каяться. И еще было ясно, что никакое раскаянье не превысит греха, ибо автомобилист рожден в грехе, в грехе же и погибнет, а раскаянье — это одни разговоры.

Взыскующие очищения гудели наивным гулом, как пчелы, перепугавшие улей. Иные щупали душу — на месте ли — и, если не находили, отправлялись искать ее в окрестные земли.

Нет, не однороден род человеческий, ибо люди делятся на два табора — на тех, у кого новые автомобили, и на тех, у кого старые. Береги честь смолоду, а машину — снову, сказано в скрижалях завета. И если предстанешь перед выбором, что беречь в первую очередь, прилепись к машине, ибо честь — дело наживное. Машина же невозвратна.

Те, у кого новые, ходили, поцокивая каблучками, суетно мотая ключиками, полные гордыни. Ах, гордыня, лютое наказание неразумных! Не из новых ли машин происходят старые и не был ли старец вьюношей? Время кормится легкомыслием, и не было дня, чтоб ему не хватило пропитания...

Те же, у кого старые, смотрели на недавнее прошлое свое с завистливым удовлетворением, ибо знали, что все проходит.

Машины вытянулись вдоль тротуара, лоснясь румяным марафетом, густым гримом перезрелых девиц, не оставляющих надежды. Этот грим, наведенный во дворах и подворотнях, в случайных гаражах и редких косметических заведениях, был недолговечен и обманчив. Богиня Показуха, наскоро подведя ресницы, цокотала свои громогласные глупости, витая над колонной.

Грешники переговаривались вполголоса:

— У тебя мотор дымит?

— Дымит...

— Слей масло, чудило...

— Как же без масла?

— Слей, чтоб не горело! Пройдешь осмотр — дольешь...

— А без масла не дымит?

— С чего же ему дымить!

— А мотор не поплывится?

— За пять минут не поплывится. Пока смотреть будут. Я всегда так делаю.

— А сейчас?

— Сейчас я мотор перебрал. У меня не дымит.

— Где ты мотор перебрал?

— Где перебрал — там перебрал! Слей масло.

Откуда он свалился, оригинал? Не решается сливать масло!

— Слушай, а можно так, чтобы он не смотрел? Что ему смотреть? Что он, машин не видал?

— Договорись...

Грешник средних лет с печальной иронией, застывшей навсегда на его бледном обличье, неприкаянно толкался меж кучек народа, выискивая собеседника. Ему нужна была родственная душа, и поэтому он безошибочно выбрал меня.

— Это смешно, — горько произнес он, отыскав меня среди всего человечества, — это смешно.

— Да, — учтиво согласился я, — никогда еще мне не случалось так весело смеяться.

Он приблизился ко мне вплотную и заговорил совершенно конфиденциально:

— Поймите, это нелепо... Ведь на машине езжу я... Следовательно, я буду содержать ее в исправном состоянии... Иначе я разобьюсь... Я сам, лично, поймите меня. Следовательно, забота об исправности есть мое личное дело... Мое, а не чье-нибудь... Почему же мне не доверяют? Кому еще так нужна исправная машина, как не тому, кто на ней ездит?

От него хорошо пахло — тонкой смесью бензина, лаванды и логики. Я проникся к нему уважением.

— Видите ли, есть еще отдельные люди, которые этого не понимают. Они принципиально содержат свои машины в аварийном состоянии. Они любят чинить, разбиваться на них и переворачиваться.

Он испуганно округлил глаза:

— Вы шутите!

К нам подбирались соратники по греху. Ничто так не привлекает внимания, как конфиденциальный разговор.

— Что? — испуганно спросил долговязый соратник, вытянув голову с заметными ушами. — Вы тоже слышали?

Мой собеседник встрепенулся:

— Что именно?

— Говорят, будут проверять чехлы. А у меня нет чехлов.

Мой собеседник вздохнул облегченно. Он вздохнул так, как может вздохнуть только человек, имеющий чехлы.

Белозубый красавец втерся утюгом:

— Кто смотрит — общественники или чины?

— Все смотрят... Какая разница, — махнул длиннющей рукой отчаявшийся бесчехольный соратник.

Красавец улыбнулся:

— Разница, мой маленький, в том, что я хочу иметь дело с законом, а не с самодеятельностью.

— Не все ли равно, кто осудит на страшном суде?..

— Я хочу, чтобы меня распяли по закону, а не по простоте душевной...

Но ему не везет. Его новенькую машину уже осматривает энтузиаст. Молчаливый, суровый, неразговорчивый энтузиаст-общественник. Он осматривает машину, потом владельца, велит завести мотор, включить фары.

Белозубый красавец садится за руль послушно, вроде не он только что философствовал. Ангелу-общественнику машина нравится, он не отстает. Грешники тяжело вздыхают: если к этой новенькой машине такие придирки, что будет с нами?

Жены терпеливо сидят в автомобилях и нетерпеливо выходят размяться. Мужья, посветлев очами, толкуются стайками возле общественников, рожденных что-нибудь запретить. Налог уплачен, марафет наведен, номера шасси и моторов соответствуют действительности. Что же еще? Но еще есть сердце, трепетное сердце, которое трепещет неведомо отчего...

Я толкаюсь среди людей, люди окружают милиционеров и общественников, как муравьи своих маток. Милиционеры и общественники вершат суд. Я вглядываюсь в их лица — где же мой судья? Кому из них не понравится тормозная система, зажигание, электрооборудование, окраска или что-нибудь еще в моем замечательном автомобиле? Лица непроницаемы. Кто ведает пути судей человеческих? Кто может сказать, когда, как и в какую сторону выстрелит пятилетний пацан, в ручках которого имеется праща царя Давида?

Неисповедимы пути ни чинов, ни общественников. Я сажусь в автомобиль, откидываюсь на спинку сиденья и жду.



Да, да, двух напастей боюсь, а третьей ужасаюсь. Вероятно, главное в этой жизни — не тушеваться.

В открытом окне машины появляется кирпичная светлоокая ухмыляющаяся физиономия моего ангела-хранителя.

— Гена! Как ты здесь?

— Давайте документы,— говорит он, прибавляя свою мудрую формулу.

Он берет у меня документы и уходит. Я закурываю папиросу. Мне некуда идти.

Я смотрю, как суровый общественник мучает белозубого красавца. Стайка удрученных муравьев растет. Я уже не вижу подробностей. Я вижу, как Генка расталкивает толпу. Я вижу, как он идет назад по проходу, который не успел сомкнуться. А вслед за Генкой, отколовшись от массы, ползут нерешительные муравьи, и лица их обретают надежду. Нет, нет, я им уже не соратник. Это уже совсем другие муравьи, из совсем другого муравейника, мне не чета. Нам уже не о чем разговаривать до следующего года. Они останутся тут со своими сковородками и списками грехов ждать страшного суда. А я укачу свободный и счастливый.

— Парень,— тихо заикается кто-то, обращаясь к Генке.

Генка не слышит. Генкино кирпичное лицо исполнено непроницаемости. Это лицо общественника, строгого и принципиального, как истина.

— Порядок,— говорит он мне, не обращая ни на кого внимания.— Подписал. Это наш бывший электрик. Сейчас на пенсии.

Я принимаю листочек, на котором написано свежим карандашиком: «Исправна». Теперь я могу позволить себе подумать и о других:

— Гена! А чего он мучает эту машину? Она же новая!

— Интересная машина,— объясняет Генка.— Это полярный летчик. У него там новая система электронного зажигания.

— Когда же он его отпустит?

— Насмотрится и отпустит! Главное — не тушеваться... Идите ставьте печать, поедем домой...

А как же страшный суд? Как же сковородка? Как же список грехов в четырех экземплярах? Как же трепетное сердце? Мне даже стало обидно. Для очищения совести.

Случай мой, хлопая белыми ресницами, вывел меня за руку из пучины неизбежности.

Пришло и для меня время, когда человек чувствует себя как вольный ветер, которому везет на каждом перекрестке.

— Дядя,— сказал отрок Федор,— Филька выходит на балкон и плачет! Как маленький, честное слово!

— Вероятно, он плачет от одиночества, Федор. Но он очень скромный и ничего мне не говорит.

— Наверно,— согласился Федор.— Наверно, ему скучно. Отдайте его мне.

— Как — тебе? Разве можно отдавать своего лучшего друга?

— А вы мне его дайте не навсегда. Мы уезжаем к бабушке и возьмем его с собой... В деревню!

— Ты хочешь, чтобы я одолжил тебе своего лучшего друга?

Возможность отдавать своих друзей взаимно чем-то понравилась мне. Тем более Павел Петухов возвращал меня прокатиться проведать Катерину, которая на этот раз обреталась сравнительно недалеко. Филька стеснял бы нас в дороге.

— А что скажут родители, Федор?

— А что они скажут? Я им закончил без переэкзаменовки, пере-

шел, и все... Вы не бойтесь, мама любит животных — она и с чижом разговаривает... Мы возьмем чижа и там выпустим. А Фильку привезем. Не бойтесь!

Нет, отрока Федора мне, конечно, послала судьба. Я не думаю, чтобы он появился по своей воле. Скорее всего его снарядили родители, которые могли меня помнить.

Во всяком случае, отца его я знал. Когда-то я помог ему написать небольшую брошюру о его опыте, опыте токаря-передовика. По тому времени он выполнил свой личный план на несколько лет вперед.

Он был славный молчаливый парень, крупный, несуетливый, и славу, которая на него навалилась, воспринимал как некую дополнительную работу, вроде сверхурочной. В то время он только что женился и был счастлив по всем пунктам. Мы сочинили прекрасную брошюру, где были цифры, пейзажи и лирические отступления. Там были неоспоримые выводы: если каждый перевыполнит свой личный план, всем нам будет очень хорошо...

Сфинкс говорит, что история интересна главным образом тем, что у нее, как в длинной пьесе, в конце концов сходятся концы с концами. Если взять небольшой отрезок длиной лет в триста, можно в этом убедиться. Сначала идет начало действия, потом занимательная неразбериха, чтобы держать зрителя в напряжении, потом развязка, где наконец справедливость торжествует. На более коротких отрезках получается то же самое.

Я думаю, моя история с этим человеком не избежала всеобщих законов детерминизма.

Для начала он поселился в нашем доме. Я полагал, что он меня не помнит, поскольку слава его была одно время велика, а слава не останавливает внимания на отдельных лицах.

Но я, как всегда, ошибался.

Отрок Федор, посланный ко мне в качестве небесной манны, был его сыном. Деяния отрока сего были поистине велики, ибо он в самый отчаянный момент принес мои ботинки, вернув тем самым способность передвигаться. Этот молодой чудотворец кормил меня пять дней одним батоном, и я не ощущал голода.

Чиж, живой залог признательности моей, щебетал в клетке.

Теперь семейство грузилось в дорогу. Сам Тимофей Степанович, возмужавший за тринадцать лет, раздавшийся и тронутый сединой, увязывал в кузове добро. Белобрысый отрок Федор кричал, что будет сидеть с Филькой на узле, однако Тимофей Степанович до узла собаку не допускал, говоря, что пес перебьется и на дне. Тем более на узле стояла уже клетка с чижом, привлекавшая повышенное Филькино внимание.

Тимофей Степанович посмотрел на меня дружески и спросил:

— Чего же не заходите?

Я смутился:

— А вы разве помните меня, Тимофей Степанович?

— Почему я не помню?! Это вы меня позабыли... Видать, много у вас было таких, как я...

Я еще больше смутился:

— Виноват... Спасибо... Извините меня за Фильку, Тимофей Степанович... Право, мне неловко...

— Почему ж неловко? Он у вас тут сдохнет. Животное требует содержания... Мы с ним на барсуков ходить будем... А может, и медведя задерем, если пофартит. А уж на рыбалку — точно!

Отрок смотрел на нас с восторгом. Филька косился на меня загадочно. Он делал вид, что не понимает ситуации.

— Буду ждать, — сказал я.

Тимофей Степанович улыбнулся, выпрямившись и держа в руках конец веревки.

— Может, что-нибудь еще с вами напишем?

— Обязательно! — обрадовался я.

Вышла жена его Маша с дочкой, не глядя на меня, усадила ее в кабину. Подошел угрюмый шофер, влез на свое место, не говоря ни слова. Маша захлопнула за собою дверь, высунулась и смущенно сказала:

— Счастливо оставаться...

Тимофей Степанович закрутил веревку, сел рядом с сыном и стукнул ладонью по кабине.

— Дядя! — закричал отрок Федор. — Не бойтесь! Он будет бегать и выздоровеет! А чижа мы выпустим, можно?

— Конечно, парень!

Автомобиль ждал меня терпеливо всю ночь и вздохнул, дождавшись. Я взялся за ручку. В ней торчала записка. Наконец-то кто-то вспомнил и обо мне. Кто-то нашел способ напомнить о себе ненавязчиво и смущенно. Я трепетно развернул листок оберточной бумаги, на котором значились слова, способные, возможно, кое-что изменить в моей судьбе, и прочел: «Еще раз поставишь так машину — будешь ходить пешком. Учти».

Да, Сфинкс прав. Дворник меня не любит...

Мы с Петуховым выехали из утреннего города и довольно быстро добрались до шоссе. Пашка, невыспавшийся и злой, молчал. Он сонно молчал километров тридцать и вдруг сказал:

— Давай на проселок свернем за той посадкой.

— Зачем?

— К Ивану заедем. Надо ему визит отдать.

— А если не проедем?

— Почему не проедем? Сейчас сухо.

Красивый дорожный знак известил нас о приближающемся перекрестке. Ехать надо было налево. С шоссе спускались в сторону, в поля, два асфальтовых обрубка, густо намазанных рыжей землей.

Автомобиль, осторожно щупая почву, слез с обрубка и попал на укатанную желтую дорогу. Из-под колес заструилась пыль.

Дорога мне нравилась. Она легко бежала среди полей, дождик прибил ее слегка, пыль клубилась аккуратно. На дороге стояли знаки, как на настоящей, — обгонять нельзя, превышать скорость нельзя, вообще ничего такого нельзя. Если бы под колесами был асфальт, может быть, шоферам по свойственной им недисциплинированности хотелось бы озорничать, игнорируя знаки. Но здесь мы оказались в сфере слияния правил с действительностью. Ни обгонять, ни превышать скорости здесь не было возможности. Умный человек поставил здесь эти знаки. Подлинный жрец природы, если считать, что природа — храм.

Впрочем, вскоре мы догнали грузовик, на котором сидели бабы в ватниках и косынках, прикрывающих лоб. Бабы громогласно пели, раскачиваясь на неровностях пути. Нас заволокло пылью. Когда пыль осела, мы увидели, что бабы кричат нам что-то обидное и машут руками, подбадривая.

— Догнать и перегнать! — приказал Пашка.

Я добавил газу.

Но бабы не дремали. Они загалдели, одна наклонилась к кабине, и грузовик стал вилять, поднимая пыль. Начиналась дорожная игра. Пришлось отстать.

— Стой, — сказал Пашка, — дай я.

Я остановился. Мы поменялись местами. Грузовик скрылся за лесом.

полосой. Пашка поехал, легко объезжая бугры. Он вертел руль левой рукой, а когда надо было переключать скорость, прижимал баранку коленом, освобождая руку. Это был, конечно, фокус, ибо рука его была вездесущей.

— У тебя слишком много рук,— проворчал Петухов,— они тебе мешают. Правая не знает, что делает левая.

Мы догнали грузовик. Бабы веселились, не подпуская. Грузовик пылил.

— Ну тебя к черту,— сказал я Пашке.

Он не ответил, замедлил ход, не выражая желаний обгонять. Ветер сдувал пыль с проселка. Пашка плелся за грузовиком, приучая настырно поющих дам к мысли, что мы смирились с судьбой. Ветер отделил пыль. На заднем борту грузовика значилось: «Обгон справа запрещен». Петухов сказал:

— Правильно. Обгонять нужно только слева. Это тебе подтвердит любой радикал и прогрессист... Все они передовые, когда начинают обгонять... А потом тормозят, и ты вмазываешься в ихний бронированный зад...

Бабы успокоились, понимая, что обгона не будет. Но когда они снова запели, Петухов неожиданно выскочил налево и легко обогнал грузовик, оставляя за собой громогласное разочарование.

— Нужно,— сказал он,— усыпить бдительность. Чтобы публика пела песни...

То, что он не знал дорогу, выяснилось часа через два. Мы елозили по проселкам, и мне показалось, что дважды попадали туда, откуда выехали. Грузовик давно пропал, мы мотались по чистому полю, пыля впустую и сжигая бензин. Спросить дорогу было не у кого. Большая лужа преградила нам путь, но Пашка смело въехал в нее и легко преодолел. Нас ждало еще несколько луж — видимо, дождь прошел здесь недавно. В очередной луже автомобиль забарахтался, как муха во щаж, и заглох.

— Все,— сказал Петухов.

— Паша,— спросил я,— как же будет с дальнейшим развитием автомобилизма? Неужели мы здесь умрем?

— Я думаю, да,— сказал он.

— В таком случае нам следует написать что-нибудь предсмертное,— сказал я, вспомнив Сфинкса.

Мне показалось, что бываю такие случаи в жизни, когда совершенно необходимо, чтобы пришел пророк с огненным взором и сначала для порядка проклял сбившегося с пути, затем грозно указал бы ему дорожку истине и наконец, отматыгав, потащил бы из лужи заблуждений.

— Нам нужен пророк,— сказал я Пашке.— Причем с тросом. Потому что у меня троса нет.

Петухов открыл дверцу и, выглянув, констатировал:

— Полколеса... Я подозреваю, что эту дорогу проложили специально для нас...

*(Окончание следует)*



---

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

## ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ\*

*Воспоминания*

VIII

**В**ыше я написала, что научиться чтению труднее, чем научиться болтать. Это сказано слабо. Научить человека читать очень трудно. Еще и потому трудно, что сделать это никто не может, кроме самого человека, а задача педагога в том, чтоб научить ученика умению учить самого себя читать. Предвижу голос читателя: ну и завралась! Ну и выдумывает. Но другой восьмидесятилетний старик сказал ведь: «Добрые люди не знают, сколько времени и усилий стоило иному, чтоб научиться читать. Я потратил на это восемьдесят лет и еще сейчас не могу сказать, что достиг цели»<sup>1</sup>. Этот старик был Гёте. Слова были им сказаны Эккерману незадолго до смерти, 25 января 1830 года. Что же подразумевает Гёте в «умении читать»? Что значит, по Гёте, учиться умению читать, не достигнутому им и за восемьдесят лет жизни?

Еще один наводящий пример. Когда я поступала в первый класс гимназии Ржевской, в Петербурге начал выходить (чтоб быть точной, с июля 1897 года) один из интереснейших журналов царского времени. Он был, правда, реакционный, несколько барского типа. Но редактор его, Ф. И. Булгаков, сумел сделать его своеобразным «окном в Европу». Этот «Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки», иллюстрированное ежемесячное издание, поставил себе задачей «в тщательно исполненных переводах, в извлечениях и литературно изложенных статьях своевременно воспроизводить все, что на иностранных языках печатается нового, наилучшего, особенно выдающегося, оригинального, художественного, занимательного и типического в области литературы, искусств и знаний, обильно иллюстрируя статьи и переводы»... Задача для того времени исполинская, не похожая на идеологические и политические журналы тогдашней русской интеллигенции, и она была им за вычетом сентиментальных статей о коронованных особах и порочной позиции, занятой его редактором в «деле Дрейфуса», выполнена неплохо. Журнал этот, просуществовавший несколько лет, отцом выписывался, книжки его лежали на круглом столе для пациентов, и мы с сестрой в ранние наши школьные годы любили забираться в «дожидальню» и смотреть его иллюстрации.

Так вот, в первом номере этого журнала, как бы раскрывавшем перед читателями свое общественное лицо, редактор напечатал статью

\* Окончание части второй. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

<sup>1</sup> „Gespräche mit Goethe“ I. P. Eckermann, S. 194. Dritter Theil «Die guten Leuten wissen nicht, was es einem für Zeit und Mühe gekostet um lesen zu lernen. Ich habe achtzig Jahre dazu gebraucht und kann noch jetzt nicht sagen, daß ich am Ziele wäre». Подчеркнуто самим Эккерманом.

«О современном чтении». Оказывается, проблема чтения занимала человеческие умы в конце прошлого века. Она ставилась, дискутировалась, решалась практически. Какой-то англичанин (Фредерик Гаррисон) решил, что миллионы изданных книг все затуманивают голову и совсем не нужны людям. Из всей Британской библиотеки он отобрал всего тридцать томов, годных для чтения. Тотчас нашелся издатель, предложивший или испросивший право на монопольное издание этих тридцати томов. Но лорд Бальфур выступил против Гаррисона, назвав его список (составленный сплошь из беллетристики) скудоумной диетой.

Другие страны вступили в спор. Каким образом из беспредельной массы полезного выбрать то, что знать наиболее нужно? Как узнать важное и отличить от незначительного? Время на жизнь дано в обрез. Потенциалы энергии слуховой, зрительной, мозговой даются человеку отнюдь не безгранично. К старости люди слепнут, глохнут, впадают в слабоумие. А ведь чтоб выбрать, надо все перечитать, но миллионы книг перечитать невозможно. Заколдованный круг, нечто вроде знаменитой квадратуры круга. Дискуссия ширилась... Редакторская передовица не предложила ответа. В наш век спросили бы: как вместить в мозг всю нужную информацию?

Отец как-то после обеда прочел эту статью вслух. Он читал для себя и для матери, а потом заметил:

— Дело не в том, сколько прочесть, а потом из уже прочитанного выбирать. Дело в том, как читать. Умный может извлечь полезное из самой глупой книги. Дурак не извлечет ничего из самого мудрого мудреца.

Слова эти, да и вся статья об уменье читать, запомнились мне и хранились в памяти до шестого класса. В шестом классе я почему-то вдруг их вспомнила. Был вечер после ужина и перед «вечерней молитвой», которую мы по очереди скороговоркой проборматовали в рекреационном зале, после чего расходились по дортуарам — спать. Это время, целых два часа, было нашим любимейшим. Девочки ходили по парам, охватив друг друга за талию. и разговаривали, не очень громко, чтоб не мешать тем, кто еще зудил урок, локтями упершись в стол и заткнув уши. От начальницы в гости к нам иногда просовывал голову Фрам и ложился где-нибудь поблизости от меня. Это был озлобленный и всегда недовольный пес с больными, гноившимися глазами и хмурой мордой. В пансионе я одна была с ним дружна, и он слушался меня, поэтому Любовь Федоровна выпускала его за дверь из своих покоев очень редко и только под мою ответственность. Фрам мог укунить и кусал вдруг, ни с того ни с сего, как в нервном припадке.

У нас в пансионе были две гречанки, сестры Корди, Талья и Люся. Младшая, Люся, вышла впоследствии замуж за Виктора Шкловского. Люся имела в себе нечто от греческого героя гомеровских времен — сильная, светловолосая, с серо-голубым стальным взглядом, ничего не боявшаяся, любившая действовать наперекор, — я с ней сдружилась, когда она, сидя в полутемном классе, перед очередной сдачей документов при переходе из класса в класс, аккуратно переписывала для копии желтоватый пергамент своего дворянского происхождения. На этом пергаменте старинным шрифтом было выведено о том, что «в год такой-то (не помню какой) два мужа Корди прибыли на Русь...». Сразу угадывался в ее упрямой самостоятельности этот древний греческий «муж Корди».

Так вот Люся, не слушая моих предостережений и отбросив мою схватившую ее за фартук руку, однажды смело двинулась к Фраму, нагнулась погладить его, — и тут Фрам ее цапнул около локтя. Цапнул здорово, я с трудом оттащила его за ошейник от стойко-неподвижной Люси, не издавшей ни звука. После этого доступ Фрама к нам был кате-

горически воспрещен, а Люсин шрам, вопреки пословице, не заживил своего следа и до свадьбы. В тот вечер, о котором я пишу, событие это еще не произошло. Фрам растянулся возле меня. Из музыкальной комнаты доносились до нас симпатичные, восходящие в своем спиральном следовании, бесконечные арпеджио. Пахло в воздухе слабым ароматом вечернего чая из нижней столовой. А я стояла с мадемуазель Муше возле открытого библиотечного шкафа и советовалась с ней, что вы брать почитать для практики французского языка.

— Возьми повесть Вольтера, ну хоть «Кандида», это читается легко,— сказала мадемуазель Муше.

Я сунула руку в книги Вольтера и не глядя вытащила очень объемистую, тяжелую, вызвав энергичный протест моей советчицы:

— Не прочтешь, тяжело, скучно, а главное, начав — надо непременно кончить. Неконченные книги, как недоеденные куски на тарелке, портят людям характер...

Что-то упрямое встало во мне, я объявила:

— Раз взяла, значит, кончу, вот увидите, кончу!

Это был «Siècle de Louis Quatorze» Вольтера, огромный том — о царствовании блестящего «короля-солнца». И это была первая книга в моей жизни (после няниного Евангелия), прочитанная «от доски до доски». Тогда-то, видя, как скептически улыбается мадемуазель Муше, поводя своими плечами, я и вспомнила статью о чтении, прочитанную отцом вслух после обеда. Наверное, одним из уроков «умения читать» было дочитывать взятую книгу до конца.

Мы тогда были в периоде «воспитанья характера». Мы ни за что не хотели быть похожими на Рудина, Обломова, Лаврецкого. Рахметов еще и не снился нам, он не был прочитан. Печорина мы не уважали. Воспитывать характер хотелось на свой образец, на тот образец, кого мы тихонько, никому не признаваясь, обожали в героях немецкой писательницы Марлитт, грубо и неосновательно опороченной и забытой в последующие десятилетия. О Марлитт, впрочем, особый разговор в особом месте. Характер, который хотелось воспитать в себе, должен был быть стойким, правдивым, верным данному слову, жертвующим собой для ближнего, идущим на смерть за истину — иначе сказать, он носил черты жертвенности. И жертвуя свободным временем, стойко держась сказанного слова, я начала изо дня в день читать свой объемистый томище, читать, не предвидя никакой радости, назло себе, почти с отчаянием, и первые страницы прошли для меня как наказание божье.

Словарь французских слов, знакомых мне, был еще беден для чтения такой книги, как «Век Людовика Четырнадцатого»; эпоха была мне почти незнакома, остроумие, намеки, наигрыванья Вольтера, то, что немцы называют «Anspielungen», проходили незамеченными, терялись в чтении. Я то и дело заглядывала в нумерацию страниц, чтоб узнать, сколько еще осталось,— и передо мной уходил вдаль бесконечный, неисчислимый путь, растянутый, как вся жизнь этого ненавистного Луи Каторза. А чувство долга вмешивалось, а воспитание характера требовало: читай дальше! Держись! Назвалась груздем — полезай в кузов. Мне казалось, я глупею с каждой страницей.

Мадемуазель Муше заметила несчастное выражение моей физиономии по вечерам. Слово за слово — я ей призналась, что просто сил не хватает дойти до конца. Многое непонятно, в диксьёнерах искать — времени не хватает, возможно, я своего долга не выполняю. Швейцарка посмотрела на меня, что-то в уме прикинула и вдруг ухватила за слова «дойти до конца», *venir au bout*.

— Но ты, милая моя, из дому еще не вышла, а говоришь «дойти до конца». Ты совершенно еще и не начала читать книгу. Говоришь, двадцать семь страниц? А ну, расскажи их.

Рассказать я ничего не смогла. Были разные фразы, имена, глаголы, был переход со страницы на страницу... И вдруг в памяти возник толстенький регент из пансиона Констан. Он грозил палочкой. Я считала такты, а надо было слушать музыку, музыку слушать. Я считала страницы, бормотала французские фразы, напечатанные на них, но это не были слова, это были такты, такты. Мадемуазель! Я начну читать книгу! Обещаю! Завтра же! И двадцать семь «прочитанных» страниц стали перелистываться назад, к началу книги, к самой первой странице. На следующий день я действительно начала читать книгу. Я помню ее до сегодняшнего дня.

Гёте так и не открыл Эккерману, каким способом учился он читать книгу восемьдесят лет. Но у меня возник свой способ, и я о нем расскажу. Обычно когда советуют прочесть хорошую книгу, говорят: «Она тебе много даст!» Когда располагаются вечером к чтению, лежа на постели, при настольной лампочке, посасывая при этом конфетку, пассивно ждут, как бы растворив все свои двери, именно принятия, чем сейчас будет одаривать вас хорошая книга. Но это не чтение. Это как набирать дождик в сито. Я снова, с первой страницы, начала своего Вольтера, сказав себе: буду теперь всерьез! Для меня «всерьез» означало (хоть я тогда и не разбиралась в этом) приложить от себя работу, а не просто хлопать и моргать глазами по страницам. В старых школах у нас ставили отметки за прилежание и внимание (для них была даже особая графа!),— и приложить работу к чтению книги выразилось у меня в терпеливом (прилежном) вникании (внимании) в читаемое. Оказывается, чтоб книга вам дала, вы ей сами должны дать,— do ut des, отдача-получение, вечная великая двойца процесса жизни! Как только я отдала первым страницам Вольтера свои прилежание и внимание, мне в ответ книга протянула смысл. Это был еще очень слабенький и бледный смысл, как отражение отворяющейся двери в зеркале,— все в прочитанной странице сдвинулось. Я так обрадовалась первому успеху, что решила не торопиться. Пусть совсем немного, да хорошо!

Но у смысла есть одна особенность. Ноль на ноль—это еще не смысл. Один на один—еще не смысл. А вот один на два, два на три—тут уже есть начатки с м ы с л а,— слова, которое при разложении может быть понято, как «с мыслью», нечто, связанное с мыслью, о чем можно подумать. Но ваша дума, которую вы начинаете отдавать книге, это ведь тоже отдача, ваша отдача книге, а не книги—вам. Впрочем, тут смешано то и другое, как бы дороба туда и обратно. И даже больше от книги вам, чем от вас—книге, потому что вместе со смыслом она вам передает связь. Фраза с фразой, от абзаца к абзацу, от страницы к странице—смысл не просто выкатывается на вас шарообразным комом, а разворачивается связью следования. И если вы не окончательный чурбан, в вас вспыхивает интерес к продолжению. Обычно думают, что «интерес к продолженью» рождается от сюжетной, фабульной книги; и что именно такую книгой—с приключениями, страшными действиями, неожиданными положениями, любовью, фантастикой—только и можно приучить школьников к чтению: приучатся читать такие книги—перейдут к чтению и серьезных. Но это неверно. Чтение таких книг скорее разучивает читать, чем приучивает. Оно разучивает вкладывать в книгу от себя и приучивает пассивно раскрывать свое восприятие, чтоб получать, получать и еще получать. Иначе говоря, оно отучает от работы чтения и приучает к безработному, бездельному чтению, чтению на даровщину, той самой миске с похлебкой, которую филантропы раздают безработным в Америке. Думаю, что кончать таким чтением свой напряженный рабочий день человеку умственного труда—чтоб приглушить или выключить возбуждение усталого мозга,—полезно и нужно. А начинать с него в молодости,



усыпляя и как бы обморочивая свой незрелый, еще не разбуженный мозг,— вредно и нельзя.

Книга «Siècle de Louis Quatorze» — не совсем обычная для Вольтера книга. Она задумана как историческая, без присущих Вольтеру экивоков и скептицизма,— для полного отражения самой блистательной из страниц французского «бурбонства». Ведется она не рассказом по нити времени, а живописным показом всего экрана эпохи, как художники делают панораму, растягивая ее длинным кругообразным полотном вокруг зрителя. Тут вот — весь двор, с сиянием короля-солнца посередине, с его фрейлинами, фаворитками, театром, актрисами; тут — генералитет его времени, таланты военных действий, оставившие по себе имя и славу; тут — ученые в шапочках академиков, с большими, эпохальными, прославившими Францию открытиями; знаменитейшие драматурги; министры,— большая доля страниц посвящена министрам и особенно финансов, потому что изыскивать финансы для поддержки безумного блеска двора Людовика Четырнадцатого, его военных и штатских предприятий, было почти невероятным делом, требовавшим гения,— все в этой панораме, расставленное как бы в пространстве, кусками, пятнами, жанрами отдельных сцен и картин, расцветенное силой острого таланта, связанное в целую живописную систему, захватывает в чтении нарастающим интересом. А что такое «интерес»? Это ведь тоже не так просто. И совсем не односторонне! Попробуйте представить себе свой интерес как нечто абсолютно ничем не возбужденное со стороны внешнего мира или хотя бы собственного воображения! Нет такого интереса, как нет ребенка без зачатия. Для рожденья интереса тоже требуются двое или два: нечто от вас к книге и нечто от книги к вам.

Вот так, очень медленно, рождался во мне при многомесячном (читала всю зиму!) прочтывании «Века Людовика Четырнадцатого» процесс учения читать как особой формы взаимодействия с книгой. Это был первый урок чтения, первое понимание того, о чем говорится в четверостишии Низами Гянджеви:

Пыль быстро взлетит и быстрее падет,  
А прочного дома нигде не найдет.  
Но медленно встала на место гора —  
Зато и у гор долговечна пора!

Осмысление этого процесса пришло ко мне, разумеется, гораздо позже, но одно к концу чтенья все же я заметила: мне показалось — я стала гораздо умней. На самом же деле происходит вот что: по мере углубления в книгу вы начинаете давать ей все больше и больше, увеличивая свою отдачу за счет получения, как сыплющийся песочек в песочных часах. Но все увеличивающаяся отдача, то есть все более умное и глубокое ваше проникновение в книгу,— примысливание ваше к положеньям книги, суд над ней, оценочное восприятие красот ее языка, стиля, образов, афоризмов,— как внезапно перевернутая склянка песочных часов, где от поворота весь как бы высыпавшийся от вас песок в книгу оказывается снова наверху, у вас у самого, над книгой,— превращается в получение,— отдача становится получением. Опять вечный и бессмертный закон диалектики, наблюдаемый в органическом и неорганическом мире, у лириков и у физиков, в психологии и в физиологии,— только сумей различить его, сумей обратить его на пользу в великом деле воспитания человечества!

Будет неверно, если читатель представит себе меня за книжкой только вот такой пай-девочкой, тринадцати—четырнадцати лет поглощающей огромный том Вольтера. Подобно всем на свете подросткам нашего возраста, мы обожали читать и читали тайком и совсем другие книжки, где в избытке имелись «разговор», «он» и «она» и сладкое чувство

между ними, любовь. Я уже забыла про графа Суконцева и баронессу, не дочитанных на чердачке дедушкиного дома. Наступала пора не конфузно-любопытного, а сладко-романтического представления о душевных переживаниях человека.

Наша фрейлейн Борман — краснолицая, голубоглазая и с губами сердечком — была в пансионе «для маленьких» и свою огороженную кабинку, имевшую пышное название собственной комнаты, имела в дортуаре приготовительного и первого класса. Но вечером население пансиона смешивается, вечерняя молитва читается для всех сразу, и фрейлейн Борман нет-нет да и сообщится с нами, особенно на предмет чтения. У нее под мышкой всегда был томик, прижатый локотком, который она раскрывала в свободные минуты, чтоб время от времени вскинуться от него своим голубиным говорком просто без адреса, профилактически: «Киндер, вас ист ден дас? Штиль, штиль!»<sup>2</sup> Даже когда «киндер» были совсем не под боком у нее, а скатывались, визжа, где-то по гладким перилам длинной лестницы из дортуаров в прихожую. В этот сокровенный томик мы, бывало, заглядывали мельком; и увидели, что он занимательно иллюстрирован разными сценами из жизни домашней, красавицами в длинных белокурых косах и фартучках на платьях старинного, для нашего времени, фасона, мужчинами с грустным взглядом и бородой, собачками, пейзажами городов с готикой церковью, деревень с крылатой мельницей, — словом, мы как-то принялись шутить над нашей Борманихой, что она читает детские книжки.

— Это не детские книги, но для юношества! — ответила Борман серьезно и даже благоговейно. — Вы бы выучились хорошему немецкому духу, если б тоже читали эти книжки. И даже наша обэрэ (высшая, старшая) ничего не будет иметь дагегэн (против).

Так оно, в конце концов, и получилось, что один из этих томиков попал нам в руки, обернутый, чтоб уберечь его от пятен, в большой полотняный немецкий носовой платок с вышитой буквой В (В) и рядом маленькой цифрой — для обозначения, какой номер занимает он в серии. Книга эта на желтоватой глянцевиной бумаге, напечатанная не латинским, а готическим шрифтом (мы тогда писали и читали готическими немецкими буквами), называлась «Вторая жена». Автором ее была знаменитая в то время писательница Евгения Марлитт, заклеенная впоследствии — хотя и совсем по-другому и другим совершенно клеймом, — как французский писатель Поль де Кок, который, по словам Поля Лафарга, нравился Марксу. Подобно тому, как Поль де Кок вошел в литературу с репутацией безнравственного и порнографического, хотя на самом деле это был остроумнейший певец французского провинциализма, блестящий описатель нравов мелкой буржуазии своего времени, при этом сугубо морализующий, как это было в духе описанного им социального строя, — подобно этому вошла бедная Евгения Марлитт в историю немецкой литературы (нет, даже на задворки этой литературы) как писательница сентиментальная, невыносимо слащавая в своей немецко-мещанской сугубой добродетели. О Марлитт спустя десяток лет после ее немецкой прославленности (да и то в узком кругу того слоя, какой у нас обзывался филистерски-мещанским) стали говорить как о чем-то просто смешном и постыдном для упоминания, как у нас, например, вспоминают о Чарской.

Когда я вспомнила недавно про Марлитт и наше чтение ее подростками в обществе женщин ГДР — боже мой, какое недоумение, какое «шокинг» мелькнуло на их хороших и честных, дружеских лицах, словно я беспрдельно дурной вкус обнаружила. И тут же мне захотелось проявить мужество мысли. Опровергнуть эту частую безнаказанную

<sup>2</sup> Дети, что же это такое? Тихо, тихо! (Нем.)

фальшь в истории человечества, какая зовется «сложившейся репутацией». Берут один какой-нибудь хвостик из полной волос прически и тянут, тянут его, тянут до тех пор, пока он, единственный, не сложится в историческую репутацию большого и сложного явления. Сколько таких фальшивых «сложившихся репутаций» (в ту и в другую сторону) благополучно переходит к потомкам из книги в книгу, сколько их ходит и среди нас, живых, гипнотизируя нас тоже еще живыми, но уже мнимыми, уже фальшиво-сросшимися чертами памятника при жизни... Итак, выполняя данное себе слово...

«Вторую жену» я прочитала вчас, в одну ночь, дочитывая утром, когда натягивала одежду, за завтраком, держа ее под столом, чтоб очередная читательница не вытащила книгу у меня из-под носа. Маленькое немецкое княжество, где правит вдовствующая герцогиня, чернокудрая молодая красавица, мать двух маленьких наследников престола. Лет десять назад она безумно любила барона Рауля из не очень знатной баронской семьи, была им любима ответно, была с ним помолвлена, но к ней посватался сам герцог, пожилой, глава всей страны. И тщеславие победило. «Страдая», «принося жертву», красавица сделалась герцогиней, а отвергнутый барон отправился путешествовать, женился мимоходом на своей кузине, тоже стал отцом маленького своенравного Лео, похоронил жену и наконец вдовцом вернулся на родину, где его с волнением ожидала вдовствующая герцогиня. Наконец-то они могут соединиться! Такова притча, экспозиция романа, — сказка еще и не началась, сказка будет впереди. При дворе — праздник, посадка дерева по старой традиции наследником герцогского престола, старшим мальчиком-принцем. Феерия в замке, в парке, на озере. Воздушное платье на герцогине того самого цвета, который когда-то... И должен приехать барон Рауль Майнау, тоже теперь вдовец. Весь двор в ожидании события. Все наизусть знают, какое событие произойдет сейчас. Нарру енд! Счастливого конца!

И барон Рауль Майнау появляется во всей своей демонической красоте, прямо из парка, где он встретил своего мальчугана, играющего с принцами. Она идет ему навстречу. Он просит извинить его за неприличное опоздание, он только что из длительного путешествия, из имения одного обедневшего графского семейства, отдаленных родственников... Не мог прибыть раньше, произошла его помолвка с далекой, чужой всему двору девушкой Юлианой Трахтенберг, дочерью этого семейства.

Читатель присутствует при невысказанном, но зловонном внутреннем торжестве человека, который был перед ним представлен во всем его демоническом обличье. Барон Рауль дождался своего часа — сладчайшего самоудовлетворенья оскорбленного тщеславия. Написано все это великолепно, хотя до последней степени старообразно, как сейчас, если даже очень захотят, если возьмутся пародию сделать, не смогут. Просто не смогут хотя бы потому, что смешной старомодный стиль Марлитт пронизан удивительным, настоящим чувством.

А как неведомая Юлиана Трахтенберг? Она еще ничего не знает о браках, но там есть маленький мальчик, оставшийся без матери, — и, полная жалости к нему, она видит в браке благородную задачу. А барон, кроме наслажденья от мести, имеет тоже практическую цель. У него в доме не все гладко. В доме царствует самодур тесть, отец его первой пустынной жены; исповедник-католик, державший когда-то в своих иезуитских лапах эту пустынную жену; в доме от покойного романтика дяди доживает свой век в отдаленном садовом павильоне больная индуска, которую он вывез когда-то из Индии, и сын ее, мальчик, рабски покорный маленькому Лео, растет в доме как невольник... При всех обстоятельствах умный барон Майнау понимает, что это плохая обстановка для воспитания его сына. И женитьба его на девушке,

выросшей, по слухам, в страхе божием, без всяких этаких претензий, создаст отличный выход из положенья. Она займет место экономки и воспитательницы, внесет разрядку в неприятную атмосферу, а он сможет наконец отдаться любимой своей страсти: путешествию, приключениям, встречам, флирту...

Отсюда, с первых часов брака, и начинается, собственно, роман, где развитие двух характеров и взаимоотношения их прослежены медленно, шаг за шагом, точно, интересно, увлекательно и правдиво, хотя «романтично». Чудесный немецкий женский характер Лианы, черты которого выращены на почве всего, что было светлого и чистого в старонемецком представлении об «идеале». Медленно преобразовывает женский характер среду вокруг себя, вступая с ней в мужественный конфликт. Медленно действует очарование этого характера, сразу покорившего мальчика Лео, на его отца. По закону романтического нагнетания чувства ни тот, ни другая еще сами себя не понимают, еще борется что-то в натуре обоих против наступления любви, пока эта любовь не становится сильнее их, сильнее даже самого автора романа, выпускающего свой сдерживающий тормоз из рук.

Но Евгения Марлитт, немецкая романистка, пропагандист родной своей Тюрингии, не немка. По происхождению она англичанка, ее фамилия Джонс. От своих английских предков она получила в дар — гений сюжета, гений построения острых положений, загадочных тайн, умения сцеплять их и неожиданно развязывать. Поэтому психологическое развитие взаимосвязи двух характеров, Майнау и его второй жены, происходит на фоне самых удивительных сюжетных линий, переплетающихся драматически: линии индуски и ее сына; линии старого барона и теще-славной матери Лианы; линии католического исповедника; линии... да еще много этих сюжетных линий, создающих при чтении так называемый захватывающий интерес. И еще одно унаследовала Марлитт, быть может от своих английских предков: трезвость, ясное суждение о социальной правде и неправде, любовь и уважение к трудящемуся народу, ненависть к иезуитизму, жесткий протестантизм в вопросах морали и даже самые общие социалистические принципы, заставляющие ее резко и остро критиковать не только разлагающую фальшь старых политических систем, варварскую эксплуатацию рабочего люда, но и такие расистские явления, как антисемитизм.

Казалось бы — передовая писательница с правильной идеологией, хотя и не революционной в нашем смысле; полезная; интересно пишущая; нужная для молодежи, — чего больше? Откуда же это пренебрежение к ней, эти обидные клички, эта не скрытая издевка критики? Ведь не за ее «хорошесть»? Не за то, что стремится она учить добру?

Евгения Марлитт, немецкая писательница, англичанка по рождению, была человеком очень тяжелой судьбы. Молодая, остроумная, с прекрасным голосом, принятая при кукольно-маленьких дворах раздробленной Германии, отлично изучившая все их мелочные стороны, все их «скелеты в шкафах», она заболевает (по-видимому, полиомиелитом) и на всю жизнь оказывается прикованной неподвижно к креслу. Все сразу отнято, и главная боль — отняты любовь, возможность иметь семью. Чтоб заработать, она пишет первую повесть. Ее принимает редактор семейного журнала для женщин «Гартенлаубе» («Садовая беседа») — и в этой «Беседке» один за другим начинают появляться ее романы, среди них, кроме «Второй жены», такие нашумевшие, как «Гизела», «Секрет старой мамзели», «Степная принцессочка». Вся половина прошлого века — в маленьких немецких городках в Тюрингии среди женской половины населения — полна образами и речами Марлитт, ее мирно-протестантским социализмом, ее проповедью уваженья к «малым сим», к человеческому труду, к добродетели среднего и рабочего сословия.

По Марлитт влюбляются девушки, по Марлитт воспитывает дочерей мать семейства... пока не началось подтрунивание над ней — конфуз за ее «сентиментальность», пренебрежение к «возвышенности» ее тона и нравоучительности монологов-проповедей, произносимых ее героинями.

Вот это «падение» Марлитт, переход вкуса к ней в издевку над ней и заставило меня, много позднее прочитанного у фрейлейн Борман томика, призадуматься — для самой себя — над «проблемой Марлитт». Почему — даже и сейчас убежденная, что лучшие ее романы, если слегка подчистить их от излишней назидательности и облегчить от «демонических» эпитетов, могли бы составить полезное и приятное чтение для подростков, — почему я даже и тогда, зачитываясь в слезах умиления «Второю женой», понимала, что это все-таки не искусство, не литература, которую можно изучать в классе и писать на ее темы? Потому ли, что это все нереально, не соответствует своими благополучными концами тому, что творится в настоящей жизни? Потому ли, что таких людей, как сплошь черные или сплошь белые, не существует на свете? Ответ пришел не сразу, — и ответ лег в мою собственную «эстетику», собственную теорию, которую не провозглашаю для других, но сама ею пользуюсь постоянно.

Творческий акт — не просто воспроизведение наших жизненных наблюдений и чувств. Он даже и не только одна переплавка их из пережитого в написанное. Он прежде всего и главнее всего — преодоление личного материала жизни в нечто абсолютно надличное, общечеловеческое. Модное слово «сублимация» передает только половину творческого акта, психофизиологическую, подобно тому, как дрожжи, вмешиваемые в тесто, не создают хлеб, а лишь помогают тесту взойти. Покаяние себе свои личные эмоции, вводя их тонкой щепоткой, подобно дрожжам, в материал романа, вы помогаете сплаву пережитого «взойти», обрести эмоциональную высоту. Но произведение творчества, создание искусства родится, когда все это личное, взошедшее в сплаве, будет преодолено вами, преодолено без остатка. Грубый пример такого преодоления: вы потеряли дорогого человека, вы вкладываете всю силу своего отчаянья в создаваемую вами эпиталию, где разум ваш, вернее, те критико-выборочные щупальца разума, которыми ищете ваше вдохновение между тысячами слов нужный эпитет, между тысячи синтаксических оборотов — один-единственный, и когда, сплавленное с вашим отчаяньем, стихотворное целое эпитаилы родится под вашими пальцами как форма, куда — в этот миг, может быть, на один только миг — девалось ваше отчаянье? Где оно? В душе у вас царствует высокое благостное чувство удовлетворенья. Так чувствовал, должно быть, библейский бог, в конце каждого дня говоря о созданной им части жизни: это хорошо. Пусть завтра вас опять скрючит боль, пусть будете вы, от невыносимости горя, кусать зубами подушку, — сейчас, в эту минуту, вы теург, создатель миров, вы преодолели личное в надличное, в общечеловеческое. И если вы этого в своей работе не испытывали никогда, вы не творец, не создатель.

Евгения Марлитт, лишенная возможности любви, на всю жизнь прикованная к креслу, нашла в творчестве способ не творческой, а личной компенсации своей обездоленности. Она стала лично жить в своем писанье, длить и множить личные эмоции вместе с героями своих романов, испытывать за них, наслаждаться их нежностью, услаждать собственную гамму отпущенных ее душе психологических состояний. Ей было приятно, радостно писать, — наслажденные писать, не доводимое до сублимации, далекое от преодоления. Наоборот, по романам ее вы можете заметить, как эмоциональная гамма меняла у нее с возрастом свои оттенки: нежность постепенно сгустилась в страстность, потом, в двух последних романах, стала блекнуть и тускнеть, ничего

уже не передавая читателю; зато расцвела эмоция материнства, и действительно живые, хорошо написанные страницы этих романов посвящены детям и материнской любви. Вместо творческого преодоления — смена возрастных потребностей сердца. Личное не перешло в надличное. Нет искусства.

Когда я вижу у настоящего поэта, у настоящего актера, у настоящего музыканта вдруг некое замирание в стихе, в коротенькой сценке, в музыке на личном, сентиментальном, сугубо душевно обнаженном, не преодоленном в форму, а потому съехавшим, как очки на кончик носа, в банальность своего ощущения — а это случается иной раз и у больших талантов, — я говорю про себя: «Марлитт».

Был, кроме Марлитт, и еще один эпизод в гимназии Ржевской, связанный с чтением неподходящих книг, и он тоже оказался для меня спустя много лет проблемным, а кроме того, чуть не окончился трагически. Кажется, это случилось в седьмом классе. На одной парте со мной сидела уже не Валя Морозкина, а совсем другого склада девочка — Юлия Всеволожская. Отец (или дядя ее, не помню) был директором императорских театров; родом Всеволожские, хоть и не носили титула, были аристократы. Меня, пансионерку, подруги очень часто приглашали на каникулы к себе домой, и в двух случаях это привело к тесной дружбе, длящейся до сих пор, — об этом расскажу позднее. Всеволожская приглашала меня не на каникулы, а по воскресеньям, когда у них в доме устраивались вечера. Это был большой барский дом. За обедом прислуживал вышколенный лакей в белых перчатках, после сладкого подававший обычно красивые фарфоровые чашки, наполненные мятной водой, с глубокими блюдцами. Из чашек надо было два-три раза, больше из уваженья к обычаю («для проформы»), чем из надобности, набирать в рот воду и деликатно, не очень булькая, полоскать ею зубы, а потом сплевывать в блюдце. Салфеткой надлежало вытереть губы. Семья Всеволожских проделывала эту малоэстетичную процедуру в силу многолетней привычки необыкновенно грациозно, словно «было — и не было», — эфемерное втягиванье глотка, эфемерный плевок, легкое проведение по губам уже сложенной салфеткой. Я же, как неопытный новичок, приступала к своей чашке серьезно и неловко, разбрызгивалась и утиралась плебейски и переживала процедуру мучительно.

Особняк, где жило семейство, был на английский лад поделен между этажами: внизу обедали и был большой приемный зал для гостей, а наверху спальни и комнаты для одеванья со шкафами, зеркалами, туалетным столиком. К вечеру, когда должны были съехаться гости, мы вставали после отдыха, мылись, причесывались с помощью няни, жившей у Всеволожских чуть ли не от крепостных «дворовых», бабушки и дедушки. Няня была фанатиком семейства, считала Юлю красавицей, сравнивала ее с нами и любила говорить:

— Нынешние не знают, что такое поволока, спрашивают меня: нянечка, скажи! А я отвечаю — посмотрите на Юлечкины глазки, вот она, поволока, — бровь соболиная, око с поволокой.

Кроме няни, помогала нам тетушка, жившая у Всеволожских в качестве бедной родственницы. Что она бедная, мы догадывались по ее действиям. После обеденного десерта, когда каждый из нас вонзал зубы в яблоко, за столом заботливо говорили: дети, не выбрасывайте яблочных семечек! Оказывается, их надо было аккуратно собирать, стараться не разгрызть в еде и передавать их тетушке. В яблочных семенах имелся какой-то ингредиент, входивший в капли для сердечников. И тетушка сдавала за небольшую мзду яблочные семечки в аптеку.

Наступал вечер. Приезжал — забыла, как его зовут, кажется, Данзан или Данзас, — первый гость, толстый мальчик с круглым, как луна,

лицом, в мундире лицеиста, монгольский князь, которого у Всеволожских, видимо, давно и хорошо знали. Он прекрасно говорил по-русски, был отлично воспитан, танцевал все наши тогдашние танцы — вальс, польку, падекатр, падеспань, мазурку, кадрили — с кошачьей грацией молодого тигра, кланялся и шаркал ногой. В «Лицее цесаревича Николая» — Катковском, как его еще звали, — учились многие из моих богатых кузенов, и у них были товарищи разных национальностей, только происходили они от родителей, которых сбросила нынче со сцены история, если это были подданные Российской империи, Октябрьская революция. Дети баев, ханов, панов, князей, баронов из Прибалтики, шляхтичей из Польши, шведо-финских промышленников из Гельсингфорса и Свеаборга.

Были и дети знатных родителей из чужих стран. На наши детские «балы» в гимназии Ржевской, происходившие ежегодно, мы с сестрой приглашали, например, двух братьев-персов, Гидаят-хана и Аллаяр-хана, двух хорошеньких черноглазых мальчиков, товарищей самого младшего нашего кузена. Один из них, кажется Аллаяр, был впоследствии иранским министром. Так вот, кроме танцев, у Всеволожских постоянно разыгрывались шарады с переодеванием, которыми руководила Юлина мать, очень одаренная театралка. Юля, имевшая возможность получать интересные книги отовсюду, особенно из Театральной библиотеки, охотно снабжала ими одноклассниц. Интересно, что и она тоже, как Валя, сыграла в моей школьной жизни роль невольной «провокаторши», выйдя, как и Валя, «сухой из воды».

Однажды утром она принесла в класс несколько затрепанных библиотечных томиков, деликатно вынула их из ранца «лицом вниз» и боком сунула поглубже в парту. После обычной в таких случаях «преамбулы», где ученицы попроще густым шепотом требовали: «Перекрестись, что ни единой душе!» — а благовоспитанная Юля только предупредила: «С одним условием, чтоб...» — мне были вручены эти томики на прочтение, опять же «лицом вниз». На «лице» стояло:

### Понсон дю Террайль

#### Рокамболь

#### Том I

Всех томов «Рокамболя» было что-то около сотни. В ту пору, пятый год нового века, он был переведен с французского чуть ли не на все языки мира, наводнял библиотеки, но достать его было, как сейчас хороший детектив, почти невозможно. Мало кто в наше время имеет понятие о «Рокамболе». Между тем Понсон дю Террайль, приключенец своего литературного времени, напал, изобретя его, на золотую жилу. Представьте себе балкон высоко над городом, — по тому масштабу на третьем этаже дома. Балкон, открытый в звездную ночь, овейный запахом цветущих лип. Наверху — звезды; внизу (в сиянии газовых фонарей, красноватых окошек — там жгли парафин или керосин, — усеянных огоньками мостов над черной лентой реки, движущихся фонариков на уличных фиакрах) — город. Какой город! — первый, по убеждению его горожан и его писателей, в целом мире — Париж.

И вот на балкон выходят два брата. Они только что получили — каждый свою половину — многомиллионное наследство. Один, глядя вниз, на сияющий под ними город, говорит: «Сколько тут копошится жалких людишек, карабкающихся на стены за куском хлеба, сколько пришедших из деревень красоток, старых развратников, шулеров, убийц, которые еще не знают, как и кого убить, воров, садистов, шпионов, ждущих, чтоб их купили! Как будет адски весело вмешаться в их судьбы, помогать насилию, убийству, грабежу, похищению, предательству, за-

хватить власть с помощью моих миллионов, моей дьявольской воли!» Другой, глядя вниз и отвернувшись от брата, отвечает ему глубоким, приятным баритоном: «А я буду тратить мои миллионы, чтоб парализовать твои действия, буду избавлять от насилий, спасать невинных, карать злодеев, помогать голодающим, выводить на дорогу заблудших, оберегать чистоту и невинность юных! Я буду на каждом шагу скрещивать свои пути с твоими, вышибать оружие из твоих рук, переделывать зло в добро!»

Братья расстаются, ненавидя друг друга. И каждый приступает к своему делу, один к черному, другой к белому,— «дьявол» и «ангел». Таков пролог к длиннейшей серии романов, где, как лодка на бурных волнах, качаются судьбы людей то в одну, то в другую сторону килевой качкой, почти погибая в одном томе от происков злобного брата и чудом спасаясь в другом томе с помощью доброго. Конечно, я привожу их речи, уже не помня дословно, а только передавая смысл. Но трудно передать захватывающий интерес для подростка от перипетий этого нескончаемого романа.

«С одним условием» я, разумеется, свято выполняла, никому ничего не говоря и не показывая, но каждую свободную минуту окуналась в борьбу со злом, опуская голову ниже верхней крышки парты, читая чуть ли не в темноте, безбожно портя себе глаза. Но вот на одной из перемен чья-то жилистая рука вытащила у меня из-под самого носа волшебный томик, я вскочила с места — и очутилась лицом к лицу с начальницей, Любовью Федоровной. Тут же стояла смущенная Юлия Всеволожская, опустив глаза с поволокой вниз и не разжимая рта. Любовь Федоровна полистала книгу, спрятала ее под мышку и начала допрос. Юлия вела себя отменно. Признав, что это она принесла «Рокамболя» в класс, она тихо, но достойно попросила прощения, прибавив сакраментальное «не знала» и «больше не будет». А я пришла, не сразу, а постепенно разгораясь, в свой опасный «раж». Повышенным тоном я заявляла, что книжки прекрасные, ничего такого особенного в них нет, наоборот — умные, добрые, от них только учишься ненавидеть зло и любить добро, и что «читала и буду читать! Все равно буду читать! Кто бы что ни говорил — буду! Несправедливо, неправильно отнимать хорошую книгу!».

Со стороны, вероятно, я выглядела красной, взлохмаченной, весьма непрезентабельной и, может быть (даже наверное!), топала в эту минуту ногами, поскольку привычку топтать, воображая себя лошадью, я воспитала с детства. Отец, наверное, приказал бы мне: пойди, хорошенько собери слюну и плюнь! А Любовь Федоровна была шокирована. По лицу ее пошли пятна — признак очень серьезного раздраженья. Повернувшись в сторону (тут только я заметила учительницу рисования и с десятков девочек, почтительно наблюдавших сцену), Любовь Федоровна сказала, обращаясь к «зрителям»:

— Вот вам две ученицы. Одна ведет себя спокойно, воспитанно, сознавая вину. Всеволожская, ты останешься на час после уроков. Книгу я сама передам твоим родителям. А другая — полюбуйтесь, пожалуйста! Совершенно бешеная, себя не помнит, забылась так, что я вынуждена доложить о ней на попечительском совете. Вынуждена меры принять... И в каком виде! Что за волосы, что за тон! Куда ты фартук оттянула! Слушай, что тебе гово...

Но я ровно ничего уже не слышала, я стрелой мчалась по лестнице в дортуар. Мне было все равно, все равно, все равно, в мире все фальшиво, держится на видимости. Чем Понсон дю Террайль плох — она его даже не нюхала, а взялась судить... На свете нет справедливости, чести, Юлька сдрейфила, как пятиклассница... и все слушали, не зная, в чем дело, думая бог весть что...



Меня так переполняло сознание своей правоты, каменной несправедливости, невозможности защититься, так оскорбляло присутствие при этом учительницы рисования и девочек, которые ничего не знают и могут бог весть что подумать, так вообще было мне плохо и росло, росло комом к горлу: «Назло! Всем назло! Умру!» — что я и впрямь хотела в ту минуту умереть, хотела и вот что сделала: заперлась в нашей верхней душной маленькой уборной, имевшей только одно запыленное оконце на площадку черной лестницы. Домá в то время имели обязательный «черный ход» из кухонь или комнат прислуги. Задвижка на двери была солидная. Намочив из кувшина длинное полотенце, я обмотала им горло, сделала узел. Повеситься было негде. Но закрыв крышкой деревянное сиденье, я уселась и стала отчаянно тянуть оба конца полотенца, натянула узел так, что уже не смогла бы развязать его ослабевшими пальцами.

Прошел час. Прошло два часа. Измерять время мне было нечем, но по звукам снизу я смутно соображала — уроки кончились, приходящие разошлись. Вот живущие идут в столовую, пьют молоко. Вот они топаят в передней, одеваются, будут теперь гулять два часа. Начальница ляжет спать. Никто обо мне не вспомнит — пусть, пусть, пусть! Пусть узнают, как делать несправедливости! У меня пухли глаза в орбитах, я видела ими только вниз; позднее мне сказали, что глаза почти вывалились из орбит. Очень опух язык. болело и шумело в голове, а вообще я почти уже ничего не сознавала. И мне казалось (а это было в действительности), что милый, знакомый, тихий голос моей сестры шепчет из-за дверей: «Мариэтта, Мариэтта» — сколько раз потом этот голос будил меня от смерти — после операций, в минуты душевных мук... И назойливо било что-то не то в дверь, не то в висок: тук, тук, тук, все громче, громче.

Начальница не пошла к себе, и меня хватились раньше, чем я думала. Приставили времянку с площадки черной лестницы к окошку, заглянули в него. Пришел муж Любови Федоровны, Владимира Алексеевича, взломал дверь уборной, я увидела как в тумане большую полную фигуру начальницы, стоявшей у самой двери. Когда вынесли меня на руках, эта фигура свалилась набок, на землю, — упала в обморок. Владимир Алексеевич положил меня в дортуаре на мою кровать, а потом, нагнувшись, стал ножницами резать полотенце, стянувшее мне шею, резал, и руки у него тряслись, ножницы хватали воздух, а рядом тихо стояла Лина и все тем же ровным, спокойным голосом говорила: «Дайте мне...» Все это я создала, хотя очень смутно. Начитавшись «Рокамболя», я, как и весь мой класс, очень мало представляла себе времена, в которые жили мы и жила Россия.

А времена были удивительные, наступал пятый год нового века, — и реакция начальства на «покушение на самоубийство в частной гимназии» была нешуточной, потому что нешуточными могли быть последствия. Слух о событии в гимназии Ржевской, которое я представляла себе очередной дурацкой выходкой дурацкой моей особы и на другой же день, как спала опухоль с горла и языка, а глаза водворились в орбиты и даже врача не понадобилось, стала конфузливо обволакивать забвеньем, — оказывается, не прошел бесследно. Он докатился до гимназии Калайдович, где были какие-то волнения среди учениц, а оттуда до реального училища Фидлера.

В реальном училище Фидлера в это время творились события серьезные: там произошли выборы делегатов в Московский комитет учащихся. Два выбранных делегата, два высоких и худощавых реалиста в очках, с темными полосками над губами, возвещавшими будущие усы, позвонили у наших входных дверей. Они были впущены, назвали себя делегатами Комитета и заявили, что посланы расследовать дело

о «доведении ученицы седьмого класса недопустимой травлей до покушения на лишение себя жизни». Любовь Федоровна к делегатам не вышла. Дело взяла в свои опытные руки ее помощница, Елена Францевна. Приглашенная и в новом фартуке, я была выведена ею как вещественное доказательство за руку в кабинет попечительского совета, где свободно сидели, разглядывая сквозь очки литературу на стенах, два могучих моих защитника, фидлеровцы.

Мы сразу же обменялись взглядом, с моей стороны любопытно-вопросительным, с их стороны деловым и «политическим», как определила после их ухода Елена Францевна.

— Какая же травля? — сказала она голосом, в котором, к величайшему моему изумлению, был оттенок заискиванья. — Вот она сама перед вами, спрашивайте ее. Простая взбалмошность, а вообще — выведенного яйца не стоит. Из-за чего? Из-за пошлой книжки, которую вы, молодые люди, наверно, сами осуждаете. Пошлая книжка, перевод с французского, не брошюра какая-нибудь.

Я собралась было вспыхнуть, но что-то сдержало меня. Сдержали глаза одного из делегатов, взглянувшие на меня серьезно и многозначительно.

— Дело не в книжке, товарищ, — сказал он, глядя на Елену Францевну сверху вниз, ободочками очков. — Дело в уважении к человеку. Гимназистка седьмого класса, будущая учительница — не рабыня ваша, она гражданин. Вы должны видеть в ней гражданина. Если девушка надела петлю на шею, значит, была доведена до этого. Вот в чем, собственно говоря, главный вопрос.

— Полотенце! — пробормотала Елена Францевна. — Это разница. Полотенце, не петля. Вам каждый адвокат скажет, что разница.

Делегаты встали. Высокий все так же многозначительно посмотрел на меня и кивнул. Я кивнула в ответ. Я была потрясена тем, что Елену Францевну, уверявшую, что предки ее — голландцы, громко назвали словом «товарищ» и в ответ она не разразилась: «Какой я тебе, молоко-сос, товарищ?» Мы еще не знали нового звучания этого слова, не знали, как обежит оно всю планету, объединяя людей. Это было простое слово гимназического лексикона, имевшее хождение у мальчишек.

— Мы вас предупредили, — сказал делегат, поднимая на лоб фуражку, — в остальном дело ваше. Может попасть в прессу, всколыхнуть общественность, перейти в суд. А на суде посмотрим, что именно скажут адвокаты.

Когда они ушли, Елена Францевна явно присмирела и пала духом.

— Что тебе сказали? Какие они на вид? — приставали весь вечер пансионерки.

Мне почему-то не хотелось ничего рассказывать, я была (как в старых романах писали) во власти совсем новых, удивительных ощущений, — мне казалось, я постигаю себя и свое бытие со стороны, в новом свете или в новом (как нынче пишут) аспекте. Я чувствовала на себе, на щеках и волосах, даже в рукавах, прохладное веянье, похожее на ветер, и это мое соприкосанье с ним открывалось мне временем, временем с большой буквы. За стенами нашего пансиона, в котором время катилось изо дня в день, из года в год очень похожее, будто одно и то же, как вода в ручейке, — за стенами этого времени-ручейка происходили большие и разные, не схожие друг с другом события. До нас они долетали: забастовки рабочих, демонстрации на улицах, пожары в провинциях и деревнях, запрещенья газет. Но долетали приглушенно, не как наши собственные события. Наши собственные события были медленные, даже стоячие, — продолжив пример с ручейком, можно сказать: они были подобны камушкам на дне ручейка. И так как мы смотрели на камушки, а камушки были одни и те же, они сдвигались дви-

женьем воды даже не на пядь какую-нибудь, а почти незримо, — то и воду мы ощущали стоячей, одной и той же. А вода в ручейке двигалась.

Мы повторяли из года в год начало ученья, каникулы, экзамены, днем — уроки в классах, вечером — приготовление уроков, и все это с течением лет оставалось почти неизменным. А время менялось, вода в ручейке бежала. Врачи говорят, что давление в наших сосудах, состояние физического организма связаны со сменой давления воздуха, с переменной погоды, и вы их чувствуете, хотя бы вы были не на улице, не на воздухе, а сидели взаперти, в четырех стенах комнаты. Но и весь духовный склад человека, его душевно-духовное состояние, его характер не остаются без взаимодействия с внешним миром, с общественными, политическими, культурными событиями за стенами, хотя бы вы годы сидели в замкнутой сфере пансиона.

То странное, прохладное, влажное веянье, вдруг как бы обдавшее меня и мною названное Временем, встретило ответную волну в душе, подготовленную незримиными впечатлениями, обрывками газет (они попадали в руки очень редко!), обрывками разговоров, чтением, — чтением и тех книг в серых обложках, которыми снабжал нас Иван Никанорович, а главное — всем, что происходило в обществе.

Фидлеровец назвал меня «гражданином». Даже не гражданкой, что в те годы не имело звучания ни на улицах, ни в книгах, ни в учреждениях. А именно «гражданином» — *citoyen*, как говорили в «Истории французской революции». Дело вовсе не в книжке, сказал фидлеровец. В самом деле, разве дело для меня было в книжке? Если б в книжке, почему я заметила и взбесилась, что Юля сдрейфила? И какое мне было дело, что учительница рисования и девочки подумают «бог весть что»? Ну а «бог весть» — что? Что именно? Тогда, может быть, только очень смутно, а сейчас очень явственно, знаю, что мой гнев, мое бешенство, моя глупая попытка с полотенцем произошли вовсе не из-за «Рокамболя». Воздух в стране, в Москве, за окнами был полон электричества. Надвигалась московская Красная Пресня. В Москве — не в Париже — предчувствовались, зарождались баррикады, было преддверие первой русской революции, — и все во мне, как во многих других, подобно горящему от спички, вспыхнуло ответным пламенем на грозное электричество в воздухе. Гражданин — не имя; это слово требует падежа, оно несет в себе связь, оно не может быть само по себе, как «мужчина» или «женщина». Гражданин — чего? Я ответила себе мысленно, с восторгом открытия: «гражданин общества!» Фидлеровцы, делегаты, выбранные в Комитет учащихся средних школ, приобщили меня, девочку-семиклассницу, к о б щ е с т в у.

## IX

Политические новости, даже самые общие — о войне, о мире, о переворотях в разных государствах, — до пансионеров доходили случайными путями. Газет пансионерки не читали. Даже в учительской, где во время перемен собирались учителя, газет не было, верней — я их попросту не помню, не обращала на них вниманья, если и были они. Новости мы узнавали частью от проходящих. В восьмом классе проходящие, уже взрослые девушки, смотрели на нас, пансионеров, свысока. Из этого добавочного, «методического», необязательного для всех класса кое-кто из живущих отсаялся, унося с собой диплом «на право домашней учительницы». Зато прибавилось очень много новеньких проходящих, придавших классу чужую, незнакомую атмосферу. Среди этих проходящих были очень развитые политически, были дочери революционно настроенных родителей, и наоборот. Помню, поступила к нам в класс высокая, плотная, старообразная лицом, решительно ото всего приходившая в недоумение новенькая. Фамилия у нее была почетная, литературная — Бартенева.

Из рода того самого Бартенева, которого уважают и цитируют. Она в первый же день отвела меня в сторону и спросила:

— Скажи, пожалуйста, ты дворянка? Скажи, пожалуйста, тут как будто очень мало дворянок. С кем же я буду дружить?

Скоро она перевелась от нас в какое-то другое учебное заведение. Но большинство приходящих было настроено революционно, и «с воли» на нас веяло свежим политическим ветром времени.

Уж не помню, в седьмом или восьмом классе, приходящие принесли нам знаменитый «циркуляр Кассо» о средних школах. Кассо был типичным реакционером, продолжателем в министерстве народного просвещения традиций Дмитрия Толстого, Деянова; как правило, почти без исключений самыми отсталыми и самыми яркими «гасителями просвещения» были при царизме как раз министры народного просвещения. Циркуляр Кассо наделал в свое время шуму. Посылались протесты, к студентам примкнули школьники, протесты расследовались начальством, принимались меры. И у нас в классе решили написать «протест». После истории с фидлеровцами я выдвинулась на «передний фронт военных действий», и класс хором закричал: «Ты, Шагинян, ты пиши, ты умеешь!» А когда мое сочинение (уж не помню, что я там настряпала) было нам прочитано негодующим председателем педагогического совета, кому оно было переслано свыше, тот же хор голосов в классе с тем же энтузиазмом выдал меня в ответ на допытыванье, «кто сочинитель».

Я частенько попадала в такие «козлы отпущения» и помню — не обижалась и не огорчалась, неся очередное наказание. Думаю, что ни я, ни класс не понимали в то время нравственного значенья ни «протестов», ни «выдачи виновного», — то и другое проделывалось из какого-то источника нарастающего удалства. Не совсем обычным путем дошла до нас и очередная новость с фронта войны. Мы знали, что воюем с Японией, и были безразличны к этому. Когда говорили об этом меж собой старшие, мы не прислушивались. Как-то, на одном из ростовских концертов, моя мать, жившая в то время рядом с Ростовом у дедушки в Нахичевани-на-Дону, познакомилась с певцом Большого театра, армянином Амирджаном, и попросила его по приезду в Москву навестить ее девочек, скукающих в закрытом пансионе.

«Сестры Шагинян, в приемную!» — позвала нас дежурная немка в воскресный день, и было это полной неожиданностью, мы никого не ждали. В приемной стоял большой толстый мужчина с мясистым лицом, густыми черными бровями, элегантный, с гвоздичкой в петлице; волосы у него были напомажены, губы, полные, как у негра, улыбались. Он пришел взять нас в Большой театр на оперу, извозчик ждет у дверей, опера очень интересная, и мы будем сидеть в директорской ложе... В пять минут одетые, перечедав наново косы, мы с сестрой ехали с ним в театр. Мы были уже почти взрослые, а этот большой толстый мужчина говорил с нами почему-то как с маленькими и собирался удивить Большим театром. Мы рассказали ему по дороге, что «наизусть» знаем императорские театры!».

Мы их и впрямь «знали наизусть», как и все учащиеся закрытых учебных заведений в Москве. Дело в том, что царская фамилия состояла из многих лиц. Кроме «их величеств», «государя императора» и «государыни императрицы», имелись еще многочисленные «их высочества», имелись «августейшие особы» разного пола, имелись «цесаревны» (во множественном числе), и у всех них в разное время, преимущественно в зимние месяцы, к величайшему удовольствию школьников, происходили дни рождения и дни именин — Тезоименитства, с большой буквы, как писалось в газетах. Слово это я не уверена, что пишу грамотно, я забыла, как оно пишется. Но, во всяком случае, оно было для нас словом приятным, во-первых, потому, что сочеталось с п р а з д н и к о м: так называемые

«царские дни» были праздниками, закрывались магазины, не работали учреждения, в школах не учились. Но это еще не все. В такие царские дни императорские театры бесплатно рассылали ложки во все закрытые учебные заведения, мужские и женские, а кондитерские Абрикосова, Эйнем, Кадэ, Жорж Борман и роскошные Елисеевы (или Охотный ряд), торговавшие фруктами, создавали для учащихся «рай на земле».

В фойе «императорских театров» на каждом их этаже и в главном буфете бесплатно выстраивались на столах торты, пирожные, ромовые бабы с фруктовыми напитками и белым душистым оршадом, питьем из миндала. А в каждую ложку калось по коробке шоколадных конфет и по корзинке с фруктами. Делалось это так часто и так постоянно, что мы привыкли. Мы надевали в эти дни белые фартуки, чинно раздевались у дружелюбных вешальщиков, чинно рассаживались в ложах и без всяких склок делились конфетами. По парам, как на прогулке, с классной дамой во главе мы шли в антракте в буфет, поедали свою порцию торта, запили оршадом, встречались глазами с соседними девочками из гимназии Калайдович, с алферовками (из гимназии Алферовой), с лицеистами, старыми знакомыми, но не разговаривали. Разговаривать было не принято.

И вот что я хорошо помню: с первого дня, с первого «тезоименитства» очередной «августейшей особы», у нас, не избалованных сладостями, почему-то не возникало никакого чувства благодарности августейшим особам. Мало того: память хранит мне странное пренебрежение и даже как будто обидность, невзлюбленность к даровому угощению. Иной раз даже торт не шел в рот и казался жирным, — и не было желанья получить побольше, взять вторую порцию. Я приписываю это, особенно в первые дни таких праздников, впечатлению от особого поведения наших классных дам. С нами ходили в театр или фрейлейн Метцлер, или мадемуазель Муше. Обе — каждая на свой лад — были крайне независимыми и начитанными, имевшими свои убеждения — правда, в скрытом виде, не выражаемые в речах, — о царизме. Балтийская немка Метцлер, интеллигентная и с чувством собственного достоинства, питала насчет царизма оппозиционные «балтийские» взгляды. Вторая — милая, жизнерадостная республиканка — считала «царские дни» открытой самодержавной пропагандой, подкупом детской души. Ни та, ни другая этого не говорили. Но в том, как относились они к конфетам и тортам, в том, как не требовали от нас «благодарности» за царскую любовь и не выражали ее за нас сами, мы, дети, чувствовали их позицию и сами тоже привыкали к некоторой независимости: «Ну и что тут особенного? Купцы угождают царю, а театры все равно царские, им ничего не стоит. Это все и м нужно, а вовсе не нам». Так примерно выкристаллизовывалась психология; и этой настроенностью обменивались мы с гимназистками других школ во взглядах, когда встречались с ними глазами.

Так, дружно приводя детали, мы на извозчике рассказывали Амирджану о нашем знании наизусть императорских театров. Конечно, не все девочки попадали на каждый спектакль, мы ходили по очереди. Но все равно часто. Амирджан — кажется, взятый в Большой театр из провинции за свой хороший голос — музыкально свистел и посвистывал в ответ. Когда нас посадили, на один стул обеих, в первом ряду директорской ложки, Амирджан принес нам коробку шоколада и сказал:

— Ну я, конечно, не августейшая особа, сколько могу, — приятного аппетита, барышни мои.

Началась опера. Это были «Искатели жемчуга» Бизе, роковая опера в моей жизни. Я ни разу не смогла досмотреть ее до конца и вообще посмотреть... Вдруг к концу первого действия что-то дрогнуло на сцене, трепет, как волна, пробежал по зрителям в партере. За нами и рядом с нами сидящие встали и тихонько вышли. Амирджан, сидевший боком к сцене на какой-то приставочке, прикрыл ладонью глаза, потом посмотрел на нас

замутнелым, как оконное стекло от влаги, взглядом своих больших, карих, по-собачьи добрых глаз и силло проговорил:

— Девочки, если можете, доберитесь домой одни. Вот вам мелочь на извозчика, они стоят у театра. Я не могу... Большое несчастье. Погиб наш адмирал... Японцы потопили наш флот!

Крылатое известие о гибели любимого народом адмирала Макарова и нашей эскадры облетело в одно мгновение весь театр. Занавес был опущен. Многие зрители, теснясь, как на пожаре, стали уходить совсем, не дожидаясь окончания оперы. Мы с Линой тоже поспешили одеться и на извозчике поехать домой. Мы еще не знали, что для кое-кого из зрителей, уходивших тогда из театра, наше поражение в войне с Японией означало — удар по их безмятежному бытию. Начало «смуты» (как называли они назревавшую революцию). Неустойчивость русских банков. Беспорядки в армии. В университетах... Вообще — «Спаси и помилуй!». А прослезившимися патриотами, дрогнувшими от гибели замечательного адмирала, кроме доброго Амирджана, были старики вешальщики, дрожащими руками подававшие одежду.

«Искателей жемчуга» Бизе я назвала «роковой» оперой, потому что в один из царских дней она косвенно послужила поводом к огромному событию в моей жизни, которым очень, очень немногие из моего поколения, кто дожил до сегодня, могут похвастаться. Как обычно, в одно из «тезоименитств» нас взяли в Большой театр. Мы вошли в ложу, принялись раздеваться, но тут капельдинер, обведя нас глазами, сказал классной даме, что одна из девиц числом лишняя. В ложах строго соблюдалось определенное количество зрителей. Никому и никогда не дозволялось, кроме одной директорской и, разумеется, царской ложи, нарушить это правило. Классной дамой с нами в этот вечер была мадемуазель Муше. Она попробовала разжалобить капельдинера, но ничто не помогло, хочешь не хочешь, одпой из нас следовало отправиться восвояси. А внизу, в партере, уже заполнились места. А в оркестре начинался настрой инструментом, такой манящий в своей разноголосице, такой обещающий музыку! А на одном из кресел лежали корзинка с фруктами и длинная шоколадная коробка.

Никто не хотел уходить, и я не хотела уходить, я любила Бизе по «Кармен», и мне было интересно, какой он в «Искателях жемчуга»... А глаза всех девочек жалостно обратились именно ко мне. Вечно я козел отпущенья! Но мадемуазель Муше сказала:

— Ты уступи подругам, следующий раз пойдешь без очереди.

Я оделась и пошла назад, в пансион. Случай этот так бы и забылся на следующий день. Пока я шла домой, одна по вечерним улицам, что само по себе было редким удовольствием, моя хмурость душевная — вечно выносить эту апелляцию к твоему благородству, хотя ты вовсе не желаешь быть хроническим рыцарем благородства, не желаешь и не желаешь! — эта моя хмурость душевная постепенно вытаптывалась в то самое знакомое с малых лет, матерью воспитанное беззаботное чувство перехода отдачи в получение, — и дошла я в самом чудесном настроении до гимназии. Только мадемуазель Муше не забыла и рассказала об этом Любове Федоровне.

Вдруг, через много дней, принесших много новых дел и происшествий, меня вызывают в директорскую к начальнице. Вечером надо надеть новую форму и фартук. Любовь Федоровна — сама Любовь Федоровна берет меня с собой в театр на «Демона», где будет петь Демона Шаляпин. Хоть рубинштейновский «Демон» и написан для баритона, но Шаляпин захотел его спеть. Это редкий случай — услышать его в такой партии. Он бас, но баритональный бас, — вот почему он решился взяться и спеть эту партию... Ты благодари свою судьбу!

По природе и при всем отчаянном буянстве, я стеснялась малознакомых людей и была просто страдальчески застенчива, поэтому ехать с

начальницей и ее мужем и еще какими-то незнакомцами было для меня пыткой. Если б можно, я с наслаждением уступила бы свое место кому угодно. Дыханье у меня сперло, оно стало короткое и застревало во рту, как при задышке, руки покрылись холодным потом, кончик носа стал похож на деревянный, и я все время в ложе, пока усаживались, наступала кому-нибудь то на платье, то на ноги. Словом, ничего приятного не предвиделось мне от этой необыкновенной награды за мнимый рыцарский поступок. Посадили меня в первый ряд, но почти все, и племянницы Любови Федоровны и двое мужчин, тоже втиснулись в первый ряд, так что я вдруг почувствовала биение своего собственного сердца где-то отдельно от меня, не то в чужом стуле, не то в чужом локте. В мыслях было: «Хоть бы поскорей, хоть бы поскорей» — чтоб поскорей все кончилось. И вот медленно поднялся дирижер за пульт, поднял палочку. Раздвинулся занавес.

Рубинштейн — композитор не первого ранга. А опера «Демон» не входит в число лучших опер. Наша ложа, стоявшая бог знает как дорого и доставшаяся Любови Федоровне с великим трудом, была почти у самой галерки, на четвертом или пятом ярусе. Слух мой, хоть я и должна была в классе пересест с задней скамьи (скамьи лежбоек и философов) на переднюю парту, еще мало отличался от нормального, музыку я слышала хорошо и даже речь в драматических театрах достигала меня. И зрение мое, очень юное и «абсолютно точное», как говорили глазные врачи, не нуждалось в очках, — близорукость и глухота пришли постепенно, приучая меня к себе медленно и незаметно. Поэтому вечер, один из самых потрясающих из пережитого мной, запомнился мне на всю жизнь.

Красно-золотой лилейный цветок Большого театра, увиденный в сиянье его люстр сверху, — как гигантская раскрытая чаша. Черная фигурка дирижера, вроде одинокого пестика, и льющаяся вверх, из низин оркестра, музыка, похожая на аромат, — все это захватило сразу, успокоило глупые толчки сердца, успокоило нервы, потому что красота отодвинула мысль о себе самой, а значит, сняла и застенчивость. Это пришло как подготовка к главному чуду. Главным чудом был Демон — Шаляпин.

Все пансионерки знали Шаляпина по фотографиям. Он нам казался грубым мужиком по внешности, лицо — блином, большое, маслянистое, мясистое, глаза маленькие, ресницы белесые, как у кролика, волосы какие-то приказчицы, — все что хотите, пусть будет гениальный певец, но влюбиться в такого, найти в нем нечто романтическое — невозможно себе представить. Наш класс был в этом единокорен. У каждой пансионерки был свой герой, были даже рыжие (шотландцы!), были покрытые веснушками, курносые (явно взятые из жизни), были бледные, умирающие от чахотки, — но такого ни у кого. И такой — вдруг предстал на сцене в необыкновенной, магической выразительности.

Был, конечно, грим, и очень тонкий, умный грим; был этот сверхчеловечески прекрасный голос со всеми его оттенками; была культура — ее чувствовали даже неопытные, несмышленные люди — в удивительной мере, в соразмерности огромного актерского бытия с его окружением, в умении держать и сохранять эту соразмерность, как гениальную графическую черту, проведенную тушью Рембрандта. Но кроме всего этого, было главное, что придало игре Шаляпина такую власть, такую бесспорность, какие объяснить одним обаянием нельзя было. Странно, что я, семиклассница, поняла ее, хотя и не разумом. Я поняла ее так, что спустя семьдесят лет (для точности — шестьдесят семь лет) могу ее разумно объяснить себе самой и читателю. Сперва — как и чем я ее поняла тогда. Беспредельной, разрывающей сердце ж а л о с т ь ю. Жалостью, которая может заставить жизнь отдать, душу отдать, но что ни отдавай — все равно ничем не поможешь. Потому что нет надежды, спасти — нельзя!

Так подействовал образ, созданный Шаляпиным.

Я имела огромное счастье увидеть и услышать его в той партии, которую он исполнял так редко.

Что же произошло в этот вечер? И прежде всего — почему Шаляпин так сильно захотел петь в роли, трудной и опасной для его голосовых связок, для его драгоценного голоса, который он всегда заботливо берег? Чем покорила его эта партия? Мне кажется, Шаляпин был привлечен не оперой, не музыкой Рубинштейна, а тем, что он по-своему прочитал у Лермонтова. Он захотел дать демона, подлинную страшную фигуру Люцифера, прекрасную, одаренную всем, что только может быть дано человеку, но — захотевшую стать еще большим. Не богом, а выше бога. Потому что быть, как бог, значит быть вдвоем. Но демон не хотел делиться, он хотел полного, абсолютного, неделимого обладания властью, хотел стать одним-единственным — и пал. И так всегда с тем, кто захочет стать одним во вселенной, единственным. — кто все раздробленное бытие человеческого единства, составленное из миллионов людей, людских индивидуальностей, людских судеб, это бесконечное единство неисчислимых частиц бытия, захочет соединить в себе одном, представить собой Вселенную... «Сумасшедшее фортепиано», возмнившее, «что оно есть единственное существующее на свете фортепиано и что вся гармония вселенной происходит в нем». По Дидро. И — по Ленину!<sup>3</sup>

Как понял и чем передал Шаляпин такой образ демона? Несмотря на все страстные слова о любви в поэме, у лермонтовского демона, «духа сомнения», нет любви. «Смертельный яд его лобзанья» не животворит — он убивает. Из всего богатства поэмы Шаляпин как будто выбрал мотив одиночества. Он вложил в созданный им образ огромную работу ума, спев невозможность для его сердца — любви. Он показал гениальной игрой, что демону, вольному сыну эфира, воображающему, что он может дать любые мирские сокровища, сделать Тамару царицей мира, нет надежды, нет выхода, нет спасенья, ибо Люцифер — единственный в мире, «одиц, как прежде, во вселенной», — не может любить. Любовь для демона — в трактовке Шаляпина — безнадежная мука не потому, что ее не разделяет Тамара, а потому, что сам демон не любит, не может делиться, не может познать чужое «ты».

Когда Шаляпин пел это знаменитое «И будешь ты царицей мира, подруга первая моя», исполняемое другими певцами с необыкновенным пафосом, торжествующе, триумфально, его дивный голос звучал смертным отчаяньем, — нет подруги, не может быть, не ее, земную Тамару, обыкновенную красивую грузиночку, желает сверхбог, а желает раздвоиться, почувствовать прелесть и надобность чужого, другого бытия — и не дано ему, не дано изведать простое счастье этого «ты», доступное каждому жучку, каждой тычинке в цветке, всему многоликому земному. Именно это отчаяние и передалось натянутой антенне полудетского восприятия, и в ответ ему обожгла сердце жалость. Помню, как мы вернулись домой и Любовь Федоровна повела меня к себе наверх ужинать, — а я ровно ничего не могла съесть и ответить на вопрос, как мне понравилось. То было первое настоящее соприкосновенье всех моих чувств с гением искусства.

Вообще, когда я смотрю назад в прошлое (по привычке: назад, как вперед), я вижу многое, что было воспринято, но еще в то время не осознано. Казалось бы, жить в пансионе, в закрытых от внешнего мира четырех стенах, в течение чуть ли не пяти-шести лет — убийственно для человеческого развития, так мало может оно, это развитие, получить пищи извне. А между тем, если дать себе волю (чего не позволяет чувство меры), можно было бы не десятки, а сотни печатных листов исписать анализами полученных тогда впечатлений. Мне ясно сейчас, что жизнь чело-

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 31.



века — это ступенчатая, длительная психологическая подготовка к тому, что впоследствии, с конечной, предсмертной точки огляда ее, — представит перед ним как его судьба. Моею судьбой — в этой длинной ступенчатой психологической подготовке характера — было приятие Октябрьской революции, перевернувшей страницу в истории человечества, абсолютное приятие — от сердца к разуму.

## Х

Я уже сказала, что зарабатывать начала с четырнадцати лет, но печататься в газете, получив первый реальный заработок за печатные строки, начала с пятнадцати; поэтому все мои «юбилеи литературной работы» считаются с 1903 года.

Случилось это так. Лето 1903 года мы проводили у одной из тетей, самой младшей маминой сестры, в Геленджике, где у нее была дача. Жгучей темой летнего сезона было самоуправство трех братьев, греческих купцов, устроивших лесной склад без всякого права и спроса прямо на морском пляже. Геленджик расположен не на открытом море, а на берегу большой бухты. Вид на эту спокойную синюю бухту, каменистый пляж, вдоль которого стоят купальни и лодки, тихо покачивающиеся на мелкой зыби возле недалекого причала, был в то время лучшим «аттракционом» этого маленького дешевого курорта. И вдруг — на всем пляже выросли штабеля дров. Они закрыли «вид». Они загородили весь пляж. Смотреть не на что, купаться неоткуда, — а пойдти уйми этих черномазых, имевших где-то «руку». Суд вынес решение: убрать дрова. Но греки не обратили на суд никакого вниманья. Единственный полицейский чин Геленджика ходил вокруг штабелей, не зная, как к ним приступить.

А нам на дачу носил новороссийскую газету старый почтальон, навивавшийся, как он говорил, на своем веку всякого. Он носил очки, обмотанные на переносице ваткой. Устремив на меня сквозь эти очки пристальный взгляд, он как-то сказал:

— Ты вот стихи пишешь. Продерни их стихами. Я съезжу по делу в Новороссийск, свезу твои стихи в редакцию. Ну как, сумеешь?

Я написала фельетон «Геленджикские мотивы». Были перечислены в нем разные местные недотяпства. И между прочим в нем вырос, где не положено, склад «господ Левитисов для дров».

Но берег нужен для купанья...  
 Но бревна портят всякий вид...  
 Мой друг, напрасны причитанья!  
 Здесь всякий видит и — молчит.

Не бог весть какое негодование, не бог весть какое остроумие, но фельетон пятнадцатилетней девочки был напечатан в газете «Черноморское побережье», и случилось чудо: остроумие и злость придали детским стишкам сами читатели. Геленджикские мальчишки, дамы, кавалеры дам, служащие пристани, даже рыбаки, сами из греков, зазубрили стихи и задразнили бедных Левитисов. На разный лад, разными акцентами, даже не очень правильно по-русски, на греков обрушивались, где бы они ни появились, «прычитанья», «бэрэг», «усякий», — я с упоением внимала собственным стихам, пошедшим в массу, и сама декламировала их с «народным» акцентом, напирая на «усякого» и «прычитанья». Нежданно-негаданно греки свезли дрова с берега на далекую окраину. Открылся «вид». Очистился пляж!

Через несколько дней перед нашей калиткой появились три красивых молодых человека, одетых по тогдашней «последней моде». Это были греки, хозяева дровяного склада. Старший из них, Нестор, ниже рос-

том и полнее, снял шляпу, поцеловал у тети ручку и объявил, что они пришли познакомиться с молодой поэтессой. Младший из братьев, Орест, завел речь о том, что молодому таланту негоже погрязать в гражданской тематике. Талант — это дар небес. И нужно вскинуть глаза на небо, посмотреть, сколько вокруг красоты, вечной красоты природы, — воспеть все это долг таланта! При этом нельзя было не заметить, что сам Орест очень красив и усики его поднимались над губой самого пленительного разреза. Он также очень хорошо танцевал, исправно посещая наши геленджикские танцульки, шаркал ногой, когда подходил пригласить вас, делал какие-то необыкновенные повороты своих партнерш вокруг себя на вальсах и мазурках — словом, я стала ходить за ним, высунув язык, как собачка. Недели не прошло, — старик почтальон повез в редакцию «Геленджикские мотивы» № 2, где были звезды, отражение их в море, запах роз и — соловей в кустах. На беду, соловья я присочинила, его никогда никто в Геленджике не слышал, и было даже такое местное мнение, что растительность для него неподходяща. Пакет был мне возвращен с надписью редактора: «Рахат-лукум».

Образ Ореста с его усиками испарился у меня из памяти еще задолго до того, как мы уехали из Геленджика. Но вот я сижу и пишу сейчас, отчетливо видя перед собой энергичный почерк редактора «Черноморского побережья» и его резюме «рахат-лукум». Это был двойной урок, на всю жизнь. Острое ощущение власти газетного слова, подобного мышке из сказки: дед бил-бил — не разбил; баба била-била — не разбила; мышка пробежала, хвостиком махнула — и дровяной склад, не шелохнувшийся от решения суда, не дрогнувший от полицейского, убрался прочь во мгновение ока. Это было волшебное «оперативное действие» газетного слова. Но когда это же слово не точно, когда оно врет, выдумывает, чего нет, получается рахат-лукум, вязкое и чересчур сладкое восточное лакомство.

Согрешила я еще один раз и получила еще один урок. Множество побед в своей жизни можно забыть и даже отмахиваться от них, когда напоминают. А вот поражение и урок от него — запоминаешь навеки. Мало того — держишь их в памяти, повторяешь потомству с удовольствием, потому что полученный и принесший свою пользу урок всегда, по крайней мере мне, доставляет удовольствие. Много раз раздумывая над таким парадоксом, я пришла к практическому выводу: есть такая вредная поговорка, отражающая вредное положение вещей, — «победителей не судят», — по которой отсутствие «суда» над победой, то есть обсуждения и урока от нее, делают, в сущности, бесполезной для вас эту победу и даже отчасти вредной, поскольку она — ну ничего, ничего не принесит для вас, кроме удовлетворенного тщеславия. А вот поражение — всегда урок. А вот урок — всегда прибыль. А прибыль приносит явную пользу и остается в памяти.

Со вторым уроком дело было так: уже в полной славе опытного корреспондента я была послана «Правдой» в 1935 году в Ленинград реферировать Пятнадцатый международный физиологический конгресс. За шестнадцать дней «Правда» напечатала семнадцать моих статей, ухитрившись в один день провести две, одну за подписью М. Шагинян, другую с полным именем и фамилией, — случай, как говорят практики, в нашей центральной печати единственный. И благодарную выписку из протокола вручили, где работа моя оценена была очень высоко. Однако же ни редакция, ни близкие друзья не знают о моем крупном поражении в этой расхваленной работе и о полученном мною уроке. На весах внутреннего чувства это поражение и этот урок сильно перевешивают для меня хвалебную выписку из протокола.

Мне было, до начала конгресса, поручено съездить в Колтуши, знаменитую «собачью» резиденцию академика И. П. Павлова, где велись

опыты с условным рефлексом. Я поехала, внимательно осмотрела, вдумалась, написала. Проверила у близких учеников Павлова, крупных профессоров. Получила визу: «Блестяще! Все правильно». Статья была отпущена, принята, напечатана, встречена комплиментами.

— Вот, Иван Петрович! — сказал один из учеников академику Павлову. — Вы ругаете корреспондентов. А посмотрите, как Шагинян хорошо написала!

Иван Петрович придвинул очки к переносице, взял газету, прочитал мой очерк и сказал:

— Набрехала!<sup>4</sup>

Ученик возмущился:

— Где, в чем? Все верно! Все правильно!

Павлов указал пальцем на одну строчку в первой колонке. Там было описание дороги на Колтуши. И увы, увы! Там было сказано о цветах, росших по обочинам дороги... А по обочинам дороги, приподнятым земляной насыпью, был зеленый травяной дренаж, чистая однообразная зеленая трава — и без единого цветка, без намека на цветок и, главное, без всякой надобности и возможности на зеленом дренаже иметь цветы. Это не было «ошибкой» с моей стороны, это был именно «брех», никчемный перелет разыгравшегося воображенья. Какой урок! Я пережила его почти с восторгом, потому что это был заслуженный мною урок, данный великим ученым, гением от науки. С тех пор я знаю: люди, не бойтесь ошибок, честных ошибок в своем творчестве, мы все не боги, мы живем долгую жизнь и не можем не ошибаться на трудной дороге жизни. Но люди! Бойтесь б р е х а! Потому что б р е х — это не ошибка, это проступок против себя самого и против правды, перелет через цель, своего рода лихачество мысли,— и в бреже, в допущении брежа человек допускает нечестность.

Как уже выше рассказано, до посещения фидлеровцев после моего «самоубийства» мы мало имели в гимназии дела с газетой, и даже годом раньше, в Геленджике, купив пять ее штук с собственным произведением, я потом в нее не заглядывала и новости узнавала из разговора за чайным столом. Однако сейчас, идя памятью своей в прошлое, как в будущее, помню один случай и явственно вижу начальный лист газеты,— одно имя на ней, из далекого детства, перескочившее в 1922 год, в мой Месс-Менд.

Готовясь ко второй книге воспоминаний в милом сердцу городе Ленина, я проводила рабочие свои дни в читальном зале Публичной библиотеки за столом с дощечкой «Для докторов наук». И однажды, покинув свое теплое докторское место, пошла в путь по Невскому, а на Невском свернула налево, на Фонтанку, чтоб там подняться в читальный зал для старых дореволюционных газетных комплектов. Заказала — и мне сразу подали «Русские ведомости», комплект за 1897 год, тот именно знаменательный год, когда я поступила в гимназию Ржевской после двух лет у Констан-Дюмушель. Мне захотелось полностью воскресить праздничный день первого января, газетный лист в руках у моего отца, повернутый к нему лицом, негромкое чтение чего-то вслух, вызвавшее реплику матери, а в ответ на нее отцовские слова, прочно засевшие в памяти. Сам по себе день этот был памятный: первого января мы праздновали день рождения Лины, и установился обычай делать на дни рожденья подарки сразу нам обеим, потому что та, кто в этот день «родилась», неистово требовала, чтоб одаривали вместе с ней и «не родившуюся», угрожая «бросить» свой подарок, если сестра тоже не получит подарка. Вели мы себя до того агрессивно (словно рабочие на стачках), что родители именно в этот

<sup>4</sup> Весь эпизод рассказан мне со слов на нем присутствовавшего.

день решили провести эксперимент и не подарить никому ничего. Об этом, переведя день по годовому счету годика на три-четыре назад, я начала в 1918 году свою детскую повесть о волшебной стране Мэрсе...

Не в повести, а в жизни день этот был проще. Мороз кружевом залепил окна. Солнце разлагало в ледяном узоре кусочки своей радуги. Все было спокойно и отдохновенно за столом; встали по-праздничному поздно, отец сидел в накинутах на подтяжки старом пиджаке, еще небритый, углубившись в «Русские ведомости»; мать подогревала на крышке свистевшего самовара чудные, поджаренные московские калачи. Так оно все началось первого января 1897 года, в день Лениного семилетия. А весной 1971 года, когда мне уже стукнуло восемьдесят три, я получила в руки огромный, хрупкий и пропыленный временем, с прохудившимися, ломкими страницами фолиант, переплетенный в жесткий картон. Обложку нельзя было согнуть. Положив комплект на подставку, нельзя было сесть. Чтоб увидеть верхние строки, надо было всякий раз вставать и ложиться на фолиант грудью, а чтоб переписать или законспектировать нужный текст, снова сесть и уткнуть нос в тетрадку. Так я перочинным ножиком сгибалась и разгибалась несколько часов подряд, но зато шла все вперед и вперед в прошлое...

Газета «Русские ведомости» имела свой заслуженный титул, ее звали профессорской. Предполагалось, что в ней достойным тоном, без крайностей в ту или другую сторону, но зато и без вранья дается некоторая сдержанная объективность. И даже внешностью своей — однообразием шрифта, отсутствием всяких броских заглавий, почти полным отсутствием подписей под статьями, полным изгнанием опечаток и невежества — она похожа была на своего редактора, В. Соболевского, как иные фасады домов похожи на своих домовладельцев. Но на этот раз, отдавая дань празднику, первая страница «Русских ведомостей» допустила небольшую фривольность.

Среди обычных объявлений — о журнале «Вокруг света» с бесплатным приложением двенадцати томов Жюль Верна и «двух роскошных видов Крыма и Киева» или о женском учебном заведении Е. Н. Дюлу с пансионом и упором на иностранные языки — в том самом доме на углу Поварской и Мерзляковского переулка, где помещались в мое девичье время Высшие женские курсы Герье, заменявшие нам, девушкам, университет, — среди этих и подобных им объявлений, как «домовитая ключница» у Гомера, втиснулось:

«От магазина мебели Смирнова поздравляют многоуважаемых гг. покупателей с Новым годом Николай и Федор Смирновы».

И от табачного торговца И. Эгиза в стихах:

Позволь, читатель дорогой,  
Тебя поздравить с Новым годом,  
Пусть он пошлет конец невзгодам,  
Пусть он пошлет тебе покой!..  
Желаю я (я не подлиза),  
Чтоб ты и летом, и зимой  
Курил табак от И. Эгиза,  
Что проживает на Тверской...

Но главное, что сразу бросилось мне в глаза, да так, что даже карандаш в руке вскинулся, — было имя... Зубоврачебный кабинет врача Б и с к. Странная, необычная, ни на какую другую фамилию не похожая фамилия Биск. Когда я писала «Месс-Менд» и у меня появился вдруг шотландец Биск, который должен был по ходу романа погибнуть, покойный «серапионовец», Л. Лунц, слушавший это место в чтении, сказал мне: «Биск — не шотландская фамилия!» А сестра Лина, тоже слушавшая чтение «Месс-Менда» от выпуска к выпуску, слезно взмолилась: не губи

ты Биска, спаси его. И я не переменяла фамилию и спасла Биска от смерти. Вот оно, оказывается, это имя Биск, странное, не шотландское и неизвестно какое, — и если оно подвернулось у меня под перо с тех незапамятных времен, то не задержалось ли оно и в Лининой памяти, заставив ее вступить за Биска?

По хорошему обычаю тех времен, новогодний газетный номер давал обозрение всему тому, что унес с собой ушедший старый год. Некто, подпавшийся Буква (чуть ли не единственная подпись в целом номере), дал такое обозрение, целый большой подвал. Началось оно совсем невинно, строго экономически. Какую огромную экономию сделали бы мы, если б не потратились на тысячи перчаток, тысячи извозчиков, тысячи визитных карточек, тысячи и тысячи двугривенных на чай тем, кто открывает на звонок дверь, если б не приступили в первое же число нового года к обязательным «визитам» с оставлением карточек, убив к тому же на разговоры по городу первые, недоспанные часы утра после пьяной новогодней встречи. Буква с гражданским негодованием (и не без «политики») высчитал все траты на нелепости этого обычая, начинавшегося, как водится, с канцелярий губернатора, городских сановников, потом разных видных чинов, потом первогильдейцев, имевших вес и значение, потом знакомых и родственников. Дальше начались примечательности истекшего года, касавшиеся, главным образом, той рубашки, которая была газете всего ближе к телу, то есть печати:

— Нижегородская дума лишила местную газету права печатанья в ней городских публикаций за непочтительное отношение этой газеты к речам ораторов.

— В Мелитопольской думе член управы, некий Рубцов, предложил представителю газеты особый стул с продырявленным дном.

— В Таганроге член городской управы публично обратился в газету «Приазовский край» со словами: «Ежели ваш корреспондент еще писать будет, я ему морду набью».

— В Саратовском губернском дворянском собрании некто Павлов поднимает вопрос о том, чтоб исключить газетных корреспондентов из состава присутствующей на заседаниях публики.

— Одесская дума и биржа, устроив банкет в честь министра финансов С. Ю. Витте, предложила предоставить местной печати отобедать после банкета остатками после этого обеда...

За длинным перечнем «невзгод», конца которым пожелал табачный торговец И. Эгиз, следовали более серьезные примечательности ушедшего года: полицмейстер того же Таганрога (города, где член управы грозит «набить морду») — уже не только грозит. Он «упорядочивает молящихся в храме», действуя «на кого словом, на кого протоколом, на кого убеждениями солдатских рук». Интересно, что же беспорядочное происходило в храме? Томский губернатор Ломачевский издал в «Губернских ведомостях» циркуляр народным учителям против употребления «мудреных слов» в преподавании. Цитата из циркуляра: «Употребление каких-либо иностранных слов в деле обучения я воспрещаю, и неисполнение этого требования повлечет за собою неминуемое оставление должности сельским учителем». А как быть с самим словом «циркуляр»? В той же Нижегородской думе гласные «умоляют городского голову, барона Дельвига, сообщить им хотя бы приблизительно, каких размеров, наконец, достигла задолженность города». И барон Дельвиг («О, Дельвиг, Дельвиг!» — несомненный родственник пушкинского Дельвига) отвечает: «Бухгалтеру нужны две недели, чтобы сосчитать общую сумму городских долгов». И напоследок обзора: «В сенате — дело бывшего начальника Могилевского округа путей сообщения Авринского. Оно дает грандиозную картину кругового взяточничества и казнокрадства целого края».

Наверное, мой отец читал матери вслух именно этот фельетон Буквы, потому что мать как-то вопросительно сказала отцу:

— А ведь смело, Сережа?

Отец свернул газету и ответил:

— Хороша смелость — сборник анекдотов под сурдинку! Даже не верится, что Салтыков-Щедрин умер семь лет назад.

Январь 1897 года. Салтыков-Щедрин, писатель, любимый Лениным, уже семь лет как замолчал. Уже полтора года, как Ленин создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Он сидит в тюрьме. И в феврале 1897 года начинает свой ссыльный путь в село Шушенское... А Буква в профессорской газете дает свой обзор, похожий на сборник смешных анекдотов, — после страшного, как грозовой гром промчавшегося над Россией обличительного голоса Щедрина. Как многоэтажно разыгрывается и по-разному видится разными слоями людей историческая симфония Времени!

Щедрин никогда не захватывал меня так, как другие русские классики. Я начинала его читать и — как-то откладывала в сторону. Только недавно я раскрыла том Щедрина и погрузилась в него. Страшный мир чудовищных рож, гнусного гнилья, бесильного барахтанья, искаженных обликов человеческих обступил меня, и это был образ эпохи, Руси, в которой я родилась и жила, Руси с ее весенними полотнами Саврасова, беспомощно милыми интеллигентами Чехова, мечтательной музыки Чайковского, снегом, метелью, медленностью движенья, всей прелестью старого уюта, скрипящих половиц, церковного перезвона, морозных утр, — но этот страшный непохожий, бесчеловечный мир Щедрина был тоже реальным, действительным русским миром, таким же реальным, как «Тройка» Чайковского. Я почувствовала себя захваченной Щедриным. Но несравненно сильнее всех книг Щедрина подействовал на меня его портрет.

Это — один из его портретов, приложенных к многотомному собранию. Из-под густых бровей и тяжелых надбровий прямо в глаза вам смотрит отчаянный, почти безумный в своей горечи, какой-то вопрошающий вас взгляд, — взгляд великого русского писателя. И в этих глазах — весь путь, все наследие, вся школа мысли и чувства тех, кто любил свою родину «сквозь слезы», кто боролся за все прекрасное в ней, выйдя один на один, как богатырь в поле, на схватку с безобразными масками, искажавшими это прекрасное.

И — прерывая свои воспоминания — я почувствовала, как мало мы, писатели, счастливые граждане нового мира, думаем об этой школе, доставшейся нам в наследство, школе великой русской литературы, создававшейся не скрипом пера, не стуком машинки, а священной кровью сердца и всей отданной ей жертвенной жизнью русского писателя.

Август—сентябрь 1971, Дубулты.

*Конец второй части*



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

## СТИХИ, НАЙДЕННЫЕ В РАЗВАЛИНАХ...

*Стихи переведены с польского Марком Максимовым,  
вступление и комментарий — Владимира Беляева*

**В**скоре после освобождения Львова от гитлеровцев войсками Советской Армии, в августе 1944 года, мне довелось работать в Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию фашистских зверств, совершенных на территории Западной Украины. Вместе с членами комиссии мы выезжали и в Польшу и, как мне кажется, первыми обнаружили страшный лагерь смерти — Белзец, где гитлеровцы умертвили и сожгли несколько миллионов человек.

Песок, по которому мы ходили, был перемешан с женскими волосами, гребенками, страшным серебристым пеплом от сгоревших человеческих костей.

Мой очерк «Вечные огни Белзца» печатали газеты Киева и Львова, и его публикация помогла найти нескольких свидетелей того, что происходило в Белзце. Им посчастливилось чудом вырваться из этой фабрики смерти.

Мы обнаружили тщательно скрываемые гитлеровцами факты массового уничтожения на украинской земле французских и итальянских военнопленных. Это происходило в окрестностях древнего Львова и в лагере города Рава-Русская. В тихом пограничном городке итальянских солдат и офицеров, не пожелавших вторично присягнуть Гитлеру и Муссолини после капитуляции маршала Бадольо, гитлеровцы расстреливали под оркестр, который играл модное танго «Илона»...

Участие в комиссии, увиденные воочию следы и доказательства фашистских преступлений требовали от меня, как от литератора, возможно быстрой отдачи. Я напряженно работал, собирая, в частности, материал для документальной повести «Свет во мраке». В свободное время я часами бродил по разрушенным гитлеровцами северным кварталам Львова.

...И вот однажды в подвале дома на Замарстиновской среди стреляных гильз, окровавленных фотографий и гусиного пуха от растерзанных подушек я нашел тоненькую книжечку в желтом переплете «С п е в в о й н ы» — «П е с н ь в о й н ы».

То была изданная в антифашистской типографии антология подпольной поэзии. Все авторы стихов были засекречены. Ни одной фамилии! Было лишь сказано на обратной стороне обложки, что книжка эта отпечатана «гномами» в тайной типографии.

В кратком предисловии к стихам неизвестный автор писал:

«Наше оружие — поэтическое слово. С ним через тайные, законспирированные типографии идем к вам безымянной лавой, как воинское подразделение. Как и вас, так и нас постигает смерть. И на нашем посту уже двое погибли смертью солдата: один в Освенциме, другой в тюрьме...»

...Когда-нибудь, когда все мы отдохнем в тени победных знамен, сможем сказать себе, что пригодились эти стихи, эта наша Песнь Войны, прозвучавшая во время ратного, солдатского труда...»

Кто же были авторы стихотворений? Кто написал мужественное предисловие, в котором справедливо приравнивалось поэтическое слово к пулям, поражающим фашистов? Наконец, кто были два поэта, уже погибшие к моменту издания антологии, к 1944 году?

Никак я не мог предположить тогда, читая предисловие, что один из погибших авторов — мой знакомый.

...Память восстанавливает первые встречи со Львовом зимой 1939 и летом 1940 года.

Тогда во Львов под защиту Красной Армии из центральных районов Польши бежало много польских, еврейских и даже венгерских писателей, которым был ненавистен немецкий фашизм. Особенно тяжело переживали потерю своей родины польские литераторы.

Среди них были писатели не только разных литературных направлений, от эссеистов до последователей Джойса, но и по-разному политически мыслящие люди.

Встречались такие, которые не сумели критически оценить политику правительства буржуазной Польши, облегчившего Гитлеру захват страны, и такие, которые, не умея мыслить «советскими категориями», подходили к вопросу односторонне, думали всерьез о примирении «фашизма с коммунизмом».

Летом 1940 года во Львов из Москвы на торжества Адама Мицкевича прибыла делегация советских писателей в составе Льва Никулина, Павла Антокольского и Дмитрия Благого. Лев Никулин закончил свое приветствие словами: «В бессмертии Мицкевича — бессмертие польского народа!» — и переполненный театр оперы и балета древнего города громко зааплодировал. Не надо забывать, что слова эти известного советского литератора были произнесены на украинской земле в шестидесяти километрах от Сана, за которым уже стояли, готовясь к прыжку на восток, фашистские танки.

В той сложной политической обстановке предгрозя Советская власть во Львове передала в распоряжение организационного комитета Союза советских писателей для его клуба особняк польского графа Бельского по улице Коперника.

Первое время на верхнем этаже еще жил граф Бельский, приютивший у себя нескольких отпрысков аристократических фамилий буржуазной Польши. Ниже этажом уже кипела жизнь — начал работать Литфонд, был открыт буфет, обслуживавший изголодавшихся литераторов, организовался профсоюз. И еще до окончательного оформления Львовского отделения Союза писателей в стенах графского особняка можно было наблюдать трогательные сцены общения беженцев из Польши с советскими писателями, прибывшими с востока.

Александр Корнейчук, Алексей Толстой, Петро Панч, Евгений Петров, Петр Павленко, Лев Никулин, Юрий Шовкопляс, Борис Лавренев, Петр Капица, Александр Дымшиц, Вениамин Каверин, Микола Бажан, Олекса Десняк и другие советские писатели подолгу жили во Львове, устанавливали личные контакты с украинскими и польскими литераторами, приобщали их к большому опыту советской литературы, помогали разобраться в противоречивой обстановке тех дней, налаживали быт людей, оставшихся без крова. Под сводами графского особняка царил обстановка подлинного пролетарского интернационализма.

Ее очень хорошо запечатлел во многих ускользнувших от внимания историков литературы подробностях недавно умерший старейший пролетарский писатель Польши Ян Бжоза в книге «Мои литературные приключения».

Во Львов из концентрационного лагеря Береза Каргузская, созданного пилсудчиками для подавления революционного движения, освобожденный войсками Красной Армии, пришел неоднократно узник тюрем буржуазной Польши, украинский писатель-революционер, друг Ярослава Галана и Петра Козланюка Александр Гаврилюк. Его путь лежал из Западной Белоруссии на юго-запад.

С запада же на восток из Кракова, спасаясь от фашистов, пробрался во Львов известный польский академик Тадеуш Бой-Желенский.

Тадеуш Бой-Желенский — автор свыше 900 опубликованных работ, он перевел на польский язык Бальзака, Рабле и многих других французских классиков. Принимая участие еще в «Молодой музе», он был хорошим знакомым Станислава Выспянского, Люциана Рылля, Леопольда Стаффа и нередко шел наперекор официальному мнению буржуазной и католической Польши, создавая свои едкие «фрашки» и такие антиклерикальные произведения, как «Консистерские девицы», бичуя в них тогдашних польских тартюфов.

И ему оказал приют клуб писателей, и он подал заявление о приеме в члены профсоюза.



На собрании, где принимали в профсоюз академика Тадеуша Боя-Желенского, председательствовал недавний узник Березы, украинский писатель Александр Гаврилюк. И как было заведено, когда стали зачитывать заявление Боя-Желенского, покинутой литератор встал.

Тогда, прерывая коллегу, зачитывающего заявление, украинец, над которым многие годы зверски издевались тюремщики Польши Пилсудского, Александр Гаврилюк сказал:

— Сидите, профессор. Это мы должны встать в вашем присутствии...

В его словах прозвучало великое уважение к одному из создателей культуры польского народа, и отнюдь не случайно зал ответил на слова Гаврилюка громкими аплодисментами.

...А через несколько месяцев академик Тадеуш Бой-Желенский был принят и в члены Союза советских писателей Украины, стал активно работать в созданном во Львове журнале «Новые горизонты», который редактировала Ванда Василевская. Но судьба двух представителей соседних братских литератур сложилась трагически.

В первое утро войны, 22 июня 1941 года, Александр Гаврилюк, выйдя из клуба писателей, был убит одной из первых фашистских бомб, сброшенных на Львов. Вместе с ним погибли от разрыва бомбы его друг известный антиклерикальный украинский писатель, автор романа «День отца Сойки» Степан Тудор и польские литераторы Францишек Парецкий и София Харшевская.

Все четверо были подлинными пролетарскими интернационалистами и ненавидели фашизм.

...Спустя две недели после гитлеровского вторжения во Львов эсэсовская машина подъехала к дому профессора хирургии Яна Грека, где жил академик Тадеуш Бой-Желенский. Вместе с хозяевами эсэсовцы выволокли из дому и его и ночью 3 июля 1941 года отвезли в «Бурсу Абрагамовичей».

Фашисты свершили свой суд очень быстро. На рассвете 4 июля Тадеуш Бой-Желенский был расстрелян эсэсовцами и националистами из батальона «Нахтигаль» вместе с большой группой ученых Львова самых разнообразных специальностей, представляющих многие области науки.

Но гитлеровцам не удалось уничтожить всю интеллигенцию Львова, подавить ее, поставить на колени, отучить мыслить и заставить не думать о завтрашнем светлом дне освобождения.

Доказательством этого был найденный мною в развалинах Львова сборник «Песнь войны».

...Вскоре после Дня Победы у меня во Львове несколько дней гостил известный советский писатель, драматург Борис Андреевич Лавренев. Как-то вечером, когда усталый от прогулок по городу Лавренев отдыхал, я показал ему свою находку, сборник «Спес войны», и Борис Андреевич попросил меня перевести ему стихи.

Одно за другим, еще тогда очень приблизительно, я пересказал все стихотворения. Лавренев взял у меня книжку и синим карандашом пометил те из стихотворений, которые ему больше всего понравились.

Возвращая книжечку, он попросил:

— Володя! Сделайте подстрочные переводы вот этих стихотворений и пришлите в Москву. В молодости я писал стихи и теперь попытаюсь перевести для будущего этих непокоренных поэтов.

...Напряженная обстановка тех послевоенных лет помешала мне быстро выполнить просьбу Бориса Лавренева. Я переводил на досуге одно за другим полюбившиеся ему стихотворения, а два из них использовал в повести «Свет во мраке».

Из стихотворения «Безвременье» я привел только одну строку: «Львов — город, открытый вечности и закрываемый в девять», то есть с наступлением немецкого полицейского часа. Другое же — «Львовская коляда 1943 года» — было переведено полностью, но скорее это был просто обычный подстрочник, я не поэт и даже не пытался сделать настоящий поэтический перевод. Со временем, в 1954 году, строфа из «Безвременья» была приведена также в книге «Под чужими знаменами», написанной мною вместе с профессором Михаилом Рудницким. Но и он, отлично знающий лите-

ратурную среду Львова, не мог определить, кому принадлежат эти строки. Законспирированные авторы все еще как бы оставались в подполье.

Шли годы. Преждевременная смерть Бориса Лавренева помешала ему осуществить свой замысел. Тетрадка подстрочных переводов пролежала несколько лет нетронутой на моей книжной полке.

...В июне 1968 года вместе с белорусским писателем Янкой Брылем мы приехали на съезд писателей западных и северных областей Польши в город Катовице. Я выступал на этом съезде с приветствием от советских литераторов.

В перерыве ко мне подошел высокий седой человек, который оказался польским писателем Александром Баумгардтеном. Он сказал:

— Спасибо, что вы привели в вашей книге строки из моего «Безвременья»!

Эта неожиданная встреча была первой нитью к разгадке антологии подпольной поэзии!

Теперь, когда поэтический перевод книги «Песнь войны» осуществлен поэтом Марком Максимовым, советский читатель имеет возможность не только познакомиться с содержанием, но и оценить эмоциональную силу стихотворения «Безвременье».

Вот оно.

## БЕЗВРЕМЬЕ

Высокий замок все тот же — лишь в сердце жажда и голод,—  
борется город молча, но грозно подняться готов,  
годы веками тянутся, а гордый и древний город,  
город, открытый вечности,— запирается в девять часов.

Но время сдержать невозможно, веки закрыв над глазами,  
штыками, стволами, штыками время проходит у глаз.  
У тех, кто вернется с победой, брусчатка вздохнет под ногами,  
пока же цветы над кровью всходят в который раз.

А юность, как кровь, уходит — за временем не угнаться.  
За ночью, истерзанной залпами, кровавый идет рассвет,  
повешены снова заложники, повышены в чине наци,  
и новый приказ на стенах, как свежий кровавый след.

Когда же? Мы жждем бури, заждались весеннего шквала!  
Когда же — от Волги до Буга — за Сан перейдет трубач,  
чтоб нам подхватить атаку, сорваться с весною шало  
и эхом трубить под стягом тревогу, покрывши плач!

Когда? По ручьям на улицах пули шипят, как угли.  
Год сорок четвертый ныне, — а в почках опять весна.  
У Букингема — карета. Над королем — хоругви.  
А весна солона от крови, от ненависти тесна.

Александр Баумгардтен здесь же на съезде сообщил мне некоторые фамилии и адреса ныне здравствующих поэтов — по его предположению, авторов подпольной книги.

Среди первых откликнулся на мое письмо поэт Мирослав Жулавский, не только писатель, но и дипломат Народной Польши. Вот его письмо от 11 октября 1968 года:

«Давние это времена, и не все сейчас хорошо припоминаю. Во Львове тогда было очень тяжело — то было время самого страшного гитлеровского террора. Работал в подпольной организации. Мы подумали, что людям нужна поэзия, поэзия сражающаяся и помогающая людям питать надежды и перенести все. Мы собрали стихи от неизвестных часто поэтов — надо было придерживаться строгой конспирации — и напечатали в подпольной типографии.

Успех огромный!

Это было оружие для боя, наша поэзия. Она подтверждала, что Польша борется, живет, что она не погибла и действует. Уже одно печатное польское слово само по себе было большим достижением. Я тоже имею один экземпляр. Знаю, что люди хранят эти антологии как самые драгоценные памятки.

Не смог бы точно сказать Вам, кто был автором отдельных стихотворений. Редактором всей антологии была Стефания Скварчинская, сегодня профессор литературы Лодзинского университета.

«Невозвращение» написал Станислав Роговский. Погиб в Освенциме.

«Траурный марш», посвященный памяти Тадеуша Голлендера, расстрелянного гестаповцами в тюрьме Павиак в Варшаве, написал я.

«Реквием» написал поэт Ежи Гордынский. Жив.

«Эллада говорит Германии» написал Тадеуш Голлендер. «На Крите» — также...

Сердечно приветствую».

## МИРОСЛАВ ЖУЛАВСКИЙ

### ТРАУРНЫЙ МАРШ

Теням авторов стихотворений «Невозвращение» и «Остров Крит».

Боже, живущий в небе, в польский сентябрь одетый,  
вот он, мой траурный марш — песня на смерть поэта.  
Петь не умею, плача, сладко ныть не умею,  
строфами я измучен, рифмами я немею.

Музыка марша плачет на похоронах ста тысяч.  
Бледные руки из клавиш стараются слезы высечь.  
Белым галопом клавиш в голых ветвях в укор нам  
ветер шумит над Польшей — Шопен серебристо-черный.

А надо бы здесь не так — надо бы здесь, поверьте,  
не плакать, а гимн сложить, достойный славы бессмертья,  
бросить безумный клич — вызов луне и звездам,  
так, чтобы ребра рвал криком набрякший воздух.

Траурный марш играть, как свадебный гимн мятежный,  
плясать и в два кулака по клавишам бить с восхода.  
И зазвучит на смерть пылко тогда и нежно  
ода поэту — ода!..

Я перечел несколько раз этот «Траурный марш» Мирослава Жулавского, посвященный Тадеушу Голлендеру, и память в мельчайших подробностях восстановила единственную встречу с этим замечательным поэтом, подлинным пролетарским интернационалистом.

Меня познакомил с Тадеушем Голлендером поэт и артист Эммануил Шлехтер, автор известной песенки «Только во Львове». Мы бродили втроем по улицам города.

Прекрасен был Львов в то июньское лето 1940 года! Мирно цвели каштаны, окружавшие гору Вроновских, на которой возвышалась построенная по приказу австрийского императора в середине прошлого века мрачная Цитадель. Отовсюду доносилось благоухание цветов, посаженных даже на трамвайных столбах в круглых цинковых коробках, напоминающих гнезда аистов. И трудно было предположить в ту ночь, что через год сюда ворвутся гитлеровцы и в этой самой Цитадели, в самом центре большого европейского города, организуют концентрационный лагерь для военнопленных разных национальностей «Сталаг 325», в котором будет уничтожено до момента вторичного освобождения Львова почти 200 000 человек!

Недавние события гитлеровского вторжения в Польшу, так называемой «сентябрьской катастрофы» 1939 года, были еще живы в памяти людей, особенно в сознании большого количества беженцев с запада, из центральных районов Польши, которые наводнили Львов и затем застряли в нем на все время оккупации, до нового прихода Советской Армии в июле 1944 года.

Вполне естественно, что взоры многих мысленно все время оборачивались на запад, туда, где в каких-нибудь шестидесяти километрах от Львова стояли над Саноном немецкие танки, а по его правому берегу ходили немецкие «греницшутце» — пограничники. Тадеуш Голлендер тоже был беженец с запада.

Мы медленно брели втроем в гору по улице Коперника, и Тадеуш с нескрываемой тоской рассказывал, что в осажденной немцами, пылающей Варшаве в сентябре прошлого года погиб его труд многих лет — большая антология переводов украинской поэзии «По обе стороны Збруча». Он включил туда стихи пятидесяти поэтов Западной и Советской Украины, таких, как Максим Рыльский, Павло Тычина, Владимир Сосюра, Савва Головановский, Леонид Первомайский и другие.

Сам по себе уже замысел составления такой антологии был очень дерзким и являлся вызовом санации, лагерю пилсудчиков, утверждавших, что нет никакой «Западной Украины и ее культуры», а есть только «Мало Польска»... Тем не менее Тадеуш Голлендер такую антологию из своих переводов составил и сдал рукопись ее в издательство «Рой» в августе, накануне войны, где она и сгорела.

Я чувствовал дрожь в голосе поэта, когда он рассказывал нам эту грустную историю. Внезапно он оборвал ее словами:

— Да, ну баста! Не будем говорить об этом! Давайте я лучше почитаю вам стихи!..

Почти напротив особняка графа Бельского, в котором, как я уже говорил, в то лето помещалось Львовское отделение Союза писателей Украины, под бывшим монастырем святого Лазаря, и поныне вкрапленный в скат горы Вроновских, стоит маленький старинный каменный фонтанчик, если память не изменяет — с барельефом льва.

Тадеуш Голлендер вскочил на барьер, окаймляющий фонтанчик, и стал читать стихи — свои и Владислава Броневского, Леопольда Стаффа и Юлиана Тувима.

А еще он вдохновенно прочел светловскую «Гренаду» в блестящем переводе Тувима.

Разве мог я предполагать в ту прекрасную, романтическую ночь, озаренную светом луны, что одного из стоящих около этого фонтанчика, моего нового друга Эммануила Шлехтера гитлеровцы через два года вывезут в лагерь Белзец и там сожгут, а поэт, которого мы слушаем, придет по неосмотрительности в 1943 году из Варшавы во Львов на свадьбу сестры, будет здесь опознан, потащит из Львова «хвост». А затем, по возвращении в Варшаву, его схватят в квартире.

Сперва его закуют в «кайданки», затем бросят в страшную варшавскую тюрьму Павиак, откуда он гордо и мужественно, подбадривая друзей, оставшихся в камере смертников, проследует к месту расстрела.

Дадим же слово прекрасным стихам Тадеуша Голлендера...

### ЭЛЛАДА ГОВОРIT ГЕРМАНИИ

Добрых гостей привечала всегда я, Эллада,  
ветром изрыта и морем прозрачным омыта.  
Муз первородство, красу, что веками добыта,  
я никогда не таяла от чистого взгляда.

Гибкой смуглянкой стою среди вечного сада,  
юной своей стариною добра и сердца.  
Мной, как пример равновесия, были открыты  
мудрость афинян и мужество Спарты когда-то.

Варвар-пришелец, ты вновь меня топчешь победно,  
в море и вечность плюют солдафоны, наглея.  
Где тебе знать то, что я так уверенно знаю:

и не такие, как ты, исчезали бесследно,  
 дикость твою я бессмертьем своим одолею,  
 рухнешь на землю, свой собственный прах проклиная.

### ОСТРОВ КРИТ

*(Лирическое интермеццо)*

А на Крите будет спокойно,  
 а на Крите будет без бойни,  
 только будет моря кипенье,  
 в сонных кронах — птицы, их пенье,  
 мягко примет меня песочек,  
 поколышут волны часочек,  
 девушка черпнет из восхода  
 чашу меда. Воды. Природа.  
 Солнце в море вспыхнет, видали?  
 Ну, а дале? Волны и дали.  
 Ну, а дале? Дале — и нету.  
 Просто остров дали поэту.  
 Пусть моя девчонка напьется,  
 разольется все, расплывется...  
 Остров Крит, ты есть еще, нет ли?  
 ...Сволочь смерть, пришла, так не медли!

### НЕКРОЛОГ

Покуда носит воду жбан,  
 Торчат у жбана уши...  
 Итак — жил-был в Берлине пан,  
 а что за пан — послушай.

Не день, не два — года подряд,  
 свои очки протерши,  
 он брал «Berliner Tageblatt»  
 у старой киоскерши.

Он брал?.. Он только в руки брал  
 и возвращал газету,  
 и двадцать пфеннигов швырял  
 он бабушке за это.

И уходил, косясь едва  
 на заголовок глазом,  
 и так всегда — не день, не два,  
 и снова — раз за разом.

Сносила бабка эту блажь,  
 мирилась с паном странным  
 и все ж однажды впала в раж:  
 — Да что такое с паном?

Платить в своем ли он уме?  
 Берет и не листает.  
 Ни то ни се, ни бе ни ме —  
 кто платит — тот читает!

Но пан качает головой:  
— Не огорчайтесь все,  
Меня, бабуся, ничего  
здесь не интересует.

Я не политик, не учен  
и не стратег, ей-богу.  
Одним я делом увлечен —  
читаю некрологи.

За это вам я и плачу —  
за увлечение это.—  
И с шиком пан отбросил чуб  
и вытащил монету.

Старушка пальцем:— Но, но, но!  
Так, пане, не годится.  
Ведь некрологи — вот оно,  
последняя страница.

А вы на первую едва  
прищуритесь и — дёру,  
и так уже не день, не два —  
четыре года скоро.

Но пан ответил:— Видит бог,  
он должен появиться,  
тот долгожданный некролог  
взамен передовицы.

Швырнул монету ей в ларец  
и, чтоб пресечь сомненья,  
сказал «хайль Гитлер» под конец  
и скрылся в отдаленьи.

### СМЕЙСЯ, ВАРШАВА!

Мученик гордый — город Варшава.  
Вот уже тысячу дней и ночей  
солнце кроваво, звезды кровавы,  
налиты кровью глаза палачей.

Но не сдаётся ночи крошечной  
город, измученный тысячей бед.  
Смотрит Варшава с дерзкой усмешкой  
с траурных рамок подпольных газет.

Кровью за шутку соратники платят,  
но все равно, рассветает едва,  
польская надпись на швабском плакате  
в голос кричит, что Варшава жива.

То на простенке под самую крышу  
фюрер взлетает — коленкой под зад! —  
то «нур фюр дойче»<sup>1</sup> кто-то напишет  
на фонарях у кладбищенских врат.

---

<sup>1</sup> Только для немцев.

Наперекор подчинившей державе,  
вражеской силе, штыку и петле  
на пепелищах смейся, Варшава,  
смех твой цветами взойдет на золе!

Знаю, что тот победит, кто смеется,  
знаю, отчаянье — слабость и грех.  
Смех твой надеждой в сердцах отдается,  
смейся, Варшава, — грозен твой смех!

Ночь — нур фюр дойче, утро — полякам.  
Завтра свобода войдет величаво  
и карманьола грянет над мраком.  
Смейся, Варшава, смейся, Варшава!

Ответ на мое письмо, посланное в Лодзь профессору Стефании Скварчинской, задержался по вполне естественной причине: то было время летних отпусков, когда люди покидают города, уезжают на польское побережье Балтики, в Сопот и другие курортные места. Тем не менее наступила осень 1968 года, и она порадовала меня целой серией писем от составителя и редактора подпольной антологии, милой женщины-патриотки и друга Советской страны.

Стараясь избежать повторений, я привожу отдельные фрагменты из писем польского профессора, доктора наук Стефании Скварчинской, совершившей подвиг в годы оккупации, когда за одно только составление антологии «Песнь войны» и предисловие к ней грозила смерть...

«...Польша. Лодзь.

...Прежде всего хотела бы Вас горячо поблагодарить за внимание к «Песне войны» — этого конспиративного сборника, редактором которого я была. Я взволнована прекрасными переводами и Вашим замыслом опубликования их...

Вы просили меня сообщить, кто были авторы антологии?

Некоторые фамилии стерлись в моей памяти (их нельзя было записывать во время оккупации), но в подлинности остальных я убеждена, и — о диво! — не всегда то, что знаю, совпадает с тем, что сказал Вам Александр Баумгартен.

Беру в руки «Песнь войны», предполагая, что у Вас в руках тоже есть экземпляр антологии. (Что за удивительное Ваше приключение — война, развалины Львова, найденные в них стихи! Надо быть поэтом, чтобы приключилось с человеком такое!..)

Так вот:

1. Мирослав Жулавский. К польским солдатам в эмиграции. Траурный марш. Пятый сочельник.

2. Ежи Гордынский. К поэзии. Молчаливый день. Реквием. 1944. Музам во время войны.

3. Станислав Роговский. Невозвращение.

4. Тадеуш Голлендер. Эллада говорит Германии. На Крите.

5. Ядвига Гамска-Лемпицкая. Заметка со времен 1943 года. Львовская коляда 1943 года. Рапсодия о Львовском Подбейпяте.

6. Александр Баумгартен. Безвременье.

7. Крыштоф Бачинский. С ветром.

8. Ядвига Чаховская. Стихи из тюрьмы гестапо.

9. Стефания Скварчинская. Вступление (проза).

Авторов некоторых стихов не знала лично. Получала их рукописи от других участников Спротивления. Автора стихотворения «Отгоняя ворона» забыла...»

...Вскоре после того, как я получил это первое письмо, в издательстве «Детская литература» вышла моя документальная повесть «Кто тебя предал?», целиком построенная на материале оккупационных лет. Во Львове во время оккупации его гитлеровцами я не был: во время войны до марта 1942 года находился в осажденном Ленинграде, затем до июня 1944 года работал военным корреспондентом на Крайнем Севере, в треугольнике Мурманск — Новая Земля — Архангельск, включая районы

Баренцева моря, и только 1 августа 1944 года прилетел во Львов. Повесть была написана по материалам архивов, по рассказам очевидцев, и, вполне естественно, я с большой тревогой послал книгу «Кто тебя предал?» Стефании Скварчинской. Были еще дополнительные опасения — я не знал, как отнесется доктор Скварчинская к атеистической направленности повести...

«...Польша. Лодзь.

Уважаемый и дорогой пан!

Прошу прощения за этот «дорогой» в начале письма, но это слово так и вырвалось попросту у меня из сердца. Не знаю, как благодарить Вас за книжку и милый сердцу автограф (дедыкацию). Прочитала книгу залпом, одним дыханием.

Львов тех времен возник как живой перед глазами. Вы сумели провести читателя его улицами, показать памятники и здания. А прежде всего воскресить те времена.

...А сейчас несколько слов о тех людях, адреса которых Вы просили:

Ядвига Гамска-Лемпицкая — умерла трагически уже свыше пятнадцати лет тому назад. Не имела детей, муж ее тоже умер. Не осталось никого, к кому бы Вы могли обратиться. В связи с этим я чувствую себя ответственной за передачу Вам ее литературного наследства.

Доктор Ядвига Чаховская — автор стихотворения «Из тюрьмы гестапо». Не знаю ее домашнего адреса, но мне известно, что она является сотрудником института литературных исследований нашей Академии наук. Можете найти ее по адресу: Варшава, институт литературных исследований ПАН, Новы Свят, 72. Дворец Сташица...

Крыштоф Бачинский — выдающийся молодой поэт, погиб во время Варшавского восстания. Его творчество замкнуто по времени периодом гитлеровской оккупации. Это в связи с его личностью возникла у нас известная поговорка о нашем национальном характере, что мы, поляки, стреляем по врагам из пушек — бриллиантами. Знаю, что оставил молоденькую в то время жену. Не знаю, где она сейчас; если это Вам нужно, могу расспросить...»

Несколько позже мне рассказал о Крыштофе Бачинском приехавший в Москву из Польши участник Сопротивления, автор многих подпольных антифашистских изданий Станислав Рышард Добровольский. Оказывается, когда известный польский литератор Казимеж Выка узнал о желании поэта Крыштофа Бачинского пойти в партизаны, он хотел остановить его и рассказал об этом профессору Станиславу Пигоню. Тот ответил: «Мы принадлежим народу, которому уготована судьба стрелять по врагам из пушек — бриллиантами».

### КРЫШТОФ БАЧИНСКИЙ

Родился в 1921 году. Будучи командиром отделения, погиб во время Варшавского восстания в 1944 году.

### С ВЕТРОМ

Все осень. Чуть звезда проглянет  
и — снова небо занесло.  
Желтеют лани на поляне,  
и сердца шмель звенит в стекло.

Не плачь, любимая, над адом,  
в ресницах спрячь зеленый свет,  
деревья-птицы листопадом  
устелют путь грядущих лет.

Листва опала. Ветви жалки.  
Но возвратится и листва,  
и в гор молитвенные арки  
ворвется трепет торжества.



Представь себе: шумят дубравы,  
и ветер дышит с ними в лад,  
и у озерной переправы  
возня беспечных медвежат.

Не плачь же, милая. Как птица  
спи на ладони горьких бед.  
Весна по рекам возвратится,  
по русьям лет.

Утихнут громы в поднебесье,  
большой грозе придет конец,  
и Время нам, поющим песни,  
подарит чистоту сердец.

Пусть, словно ангел, ветер снова  
мечту качает в звучной мгле.  
Ты слышишь поступь дня иного  
в венце из неба на челе.

Пусть, словно ангел, ветер снова  
качает на ладонях сна  
пружинящее, как сосна,  
свободное, как ветер, слово.

«28 декабря 1969 года. Лодзь...»

...Желаю Вам в Новом году всяческих радостей, а прежде всего многих радостей в творческом труде, той радости, которую приносит сознание, что Ваш личный творческий труд ожидают люди, которым он необходим как воздух. А взаимно пожелаем друг другу, чтобы год 1970 был для всего человечества годом мира и прогресса: пусть погаснет зло войны, да и не будет в мире человека голодного и унижаемого.

Прекрасен замысел Ваш и поэта Марка Максимова: приблизить с помощью военной поэзии, полной веры в победу и справедливость, те времена. Молодым эти дела иной раз становятся безразличны.

Меня взволновало Ваше сообщение, что Вы представите те огни, которые светили нам в темноте, с помощью Московского телевидения. К сожалению, доступные мне аппараты не берут Москву. Но мысленно буду с Вами...»

В начале 1970 года Московское телевидение в рубрике «Москва, страны, континенты» передало в эфир аудицию «Стихи, найденные в развалинах». Сорок миллионов советских телезрителей увидели обложку антологии «Песнь войны», услышали цикл стихов из нее в переводе Марка Максимова, увидели фотографию ее редактора — доктора Стефании Скварчинской. В этой передаче, которая длилась час, выступал поэт Александр Николаев, которого под Гданьском, тяжело раненного, спасла польская девушка Хелена Космаля, дав ему свою кровь; наши друзья из Варшавы прислали видеозапись интервью с писателем Станиславом Рышардом Добровольским, рассказавшим, как героически вел себя перед смертью поэт Тадеуш Голлендер. Стихи Голлендера «Эллада говорит Германии» прочел на греческом языке греческий писатель-эмигрант Костас Кодзиас, покинувший родину из-за преследований клики «черных полковников».

Герой Советского Союза командир партизанского соединения, действовавшего в Польше, большой друг польского народа Николай Архипович Прокопюк рассказал о совместной борьбе советских людей и поляков с фашизмом. Во время передачи перед камерой выступили польский писатель, кавалер трех высоких орденов «Кшиж Валечных», один из консультантов фильма «Освобождение», полковник Збигнев Залуский и советник польского посольства в Москве доктор философии Чеслав Коваль.

Маленькая книжечка подпольной поэзии, найденная в развалинах Львова, выйдя в эфир с помощью телевидения, уже в наши, мирные дни стала большим событием, о котором узнали миллионы людей.

«Лодзь. 28 сентября 1970 года.

Глубоко тронута новым Вашим подарком — книгой «Формула яда»<sup>2</sup>.

Что же — Вы оперируете справедливыми доказательствами, а я только сентиментальными воспоминаниями о Львове, где кончила университет, и мой отец также. К сожалению, правдой является то, что наше хозяйствование на тех землях в предвоенном двадцатилетии было фатальным. Радуюсь тому, что Вы продолжаете работу над антологией. Это будет большое и благородное дело мирового значения. Надо воздвигнуть такой памятник героям боев против фашизма, чтобы он звучал как предостережение повсюду против возрождения этого уродливого явления в истории — фашизма...»

«Лодзь. 30 октября 1970 года.

...Получила Ваши воспоминания о дружбе Михаила Светлова и Владислава Броневского «Струны памяти». Прочла залпом. А сейчас даю читать разным знакомым. Трогательная история: Броневский — Светлов — Тувим. Да, «Гренада» Светлова в переводе Юлиана Тувима не умирает и никогда не умрет у нас. Сплошь и рядом, когда собираются люди, любящие поэзию, они поют слова этого замечательного стихотворения...»

В письмах Стефании Скварчинской открытием для меня было то, что Мирослав Жулавский является автором трех стихотворений, помещенных в антологию, и я немедленно послал ему запрос в Варшаву и эти три стихотворения в переводе Марка Максимова.

Оба мы с волнением ждали ответа. Особенно волновался Максимов. Участник войны, партизан, чья первая книга «Наследство» (партизанские стихи), изданная «Молодой гвардией» в 1946 году, была целиком написана в немецком тылу, он с нетерпением ждал, как оценят польские поэты, участники Сопротивления, его переводы.

Получаю ответ, датированный 8 марта 1970 года:

«Уважаемый товарищ Беляев!

Получил Ваше письмо с переводами трех стихотворений. Считаю переводы очень хорошими, верными и прекрасными (что является всегда редкостью, потому что с переводами дело обстоит так, как с девушкой: либо верная и некрасивая, либо красивая и неверная).

Хочу только сразу уточнить: я не являюсь автором никаких других стихотворений, кроме того одного, «Траурного марша», о котором писал Вам. К сожалению, не могу Вам сказать, кто является автором «Пятого сочельника» и «Солдатам в эмиграции». Но не приписывайте мне авторства этих прекрасных стихотворений.

Сердечно жму руку, желаю успеха в трудной работе и благодарю за память.

Ваш Мирослав Жулавский».

Шлю письмо в Варшаву доктору Ядвиге Чаховской по адресу, указанному Стефанией Скварчинской.

Письмо доходит до адресата, и вот ответ:

«Уважаемый пан!

Ваше письмо было трогательно неожиданным. Трогательно по многим причинам. И потому, что сообщило о заинтересованности писателей в далекой Москве малоизвестным сборничком стихов, и о начатых стараниях, направленных к тому, чтобы показать советскому читателю этот литературный документ наших мыслей и желаний в тяжелое время войны, и потому, что оживило в памяти мои весьма личные переживания.

Вы спрашиваете меня о воспоминаниях, связанных с литературным творчеством. Серьезно я не занималась им никогда. Мое стихотворение надо отнести к «самобытному» творчеству, когда в минуты особенного напряжения стихотворение способно лучше всего выразить чувства. Я сидела тогда в гитлеровской тюрьме, в камере, переполненной истязаемыми девушками, участницами движения Сопротивления. Стихи

<sup>2</sup> «Формула яда» — сборник памфлетов и повестей, выпущенный издательством «Советский писатель». В книге разоблачаются пособники Гитлера — украинские националисты.



«...Что же касается Ваших вопросов о моем участии в антологии,— писал Ежи Гордынский,— могу сообщить следующее: стихи «Реквием» я посвятил отцу, который погиб в лагере Майданек 23 июля 1943 года. Его арестовали гестаповцы 13 ноября 1942 года в Кутах, на Гуцульщине. На протяжении трех дней, с 11 по 13 ноября, в местечке Куты была арестована вся местная польская интеллигенция. Припоминаю, что аресты этих лиц, намеченных гестапо для последующего уничтожения, были приурочены к традиционному предвоенному празднику 11 ноября, то есть к дню, когда в 1918 году Польша получила самостоятельность.

Аресты проводили немцы при содействии местной профашистской «украинской полиции». После кратких допросов узники были перевезены в Коломью, а затем — 1 февраля 1943 года в лагерь близ Львова. Там они побыли пару дней и были вывезены в Майданек, где все погибли (врачи, учителя, инженеры и т. д.). Весть о смерти отца получил «грипсом», то есть шифром. А до этого он прислал мне ужасающее письмо о своих муках. Под впечатлением всего я написал «Реквием» осенью 1943 года.

Впервые его прочел в декабре 1943 года на моем тайном авторском вечере известнейший польский актер, ставший в годы оккупации кельнером, Тадеуш Сурова...»

«Рим. 6 января 1970 года.

...Ваше письмо от 12 декабря 1969 года я получил и прочел с большим интересом и радостью.

Очень хорошо, что наши стихи войдут в московскую телепередачу. Посылаю Вам для нее мою последнюю фотографию и несколько слов для телезрителей. Я написал на польском языке, но думаю, что это лучше. Нет у меня больших способностей говорить по-русски. Я позабыл русский язык (нет практики!), простите.

С Новым годом! Желаю Вам успехов в жизни и хорошего здоровья. Я уже не помню всех моих стихов, помещенных в книжке «Песнь войны» (ее у меня нет),— часть из них я печатал в двух сборниках «Возвращение к свету» (Варшава, издательство «Читальник», 1951 год) и «Под знаком Воги» (Литературное издательство, Краков, 1959 год). Кроме того, в 1961 году вышел в Кракове, в том же издательстве, мой сборник «Беседы с Шопеном». Являюсь автором стихотворения «Музам во время войны». Очень рад тому, что мой «Реквием» прозвучит по-русски в исполнении советского актера...»

К этому письму, написанному по-русски, Ежи Гордынский прислал обращение к советским зрителям, которое и было зачитано во время телевизионной передачи «Стихи, найденные в развалинах». Вот оно.

«Спустя более четверти века польская военная поэзия является с открытым забралом перед друзьями в Советском Союзе, как бы по тревоге вызванная общими воспоминаниями и судьбами.

В свое время она была рождена любовью и ненавистью, желанием ответа и победы. Мы искали вдохновения там, где был солдат: на поле битвы.

Для нас, поэтов и писателей, этим полем битвы был конспиративный пункт, тайный университет, тайный театр, подпольная типография. Наше слово звучало на авторских потаенных вечерах, где подчас его надо было произносить шепотом, и в подпольных изданиях.

За каждое такое слово грозила смерть.

Мы шли на борьбу с гитлеризмом с гранатами наших стихов и верой в окончательный триумф. Наше слово было очень кстати, и поэтому мы были готовы в любую минуту пожертвовать жизнью, как и надлежало солдатам пера.

Спустя четверть века поэзия слез и крови уже перестала быть безымянной. Над строфами наших стихов появились фамилии их авторов, в том числе и погибших.

Сегодня мы уже пишем иначе, другие проблемы владеют нашим вдохновением. Тем не менее мы часто возвращаемся мыслью к той поэзии. Ведь и из нее также родился мир. Она и сегодня предостерегает нас от фашистского варварства.

Пусть же и для молодых она будет живой силой, а не только литературным документом времени...»

Но прежде чем познакомить читателя со стихами Ежи Гордынского, а также со стихами других поэтов, отобранных из маленькой антологии «Песнь войны», я хочу

напомнить, что книжечка, найденная в развалинах Львова, была только локальным литературным документом на территории, которую фашистский оккупант назвал Генеральное губернаторство. Львов и его окрестности, а также соседние области были включены в Генеральное губернаторство как дистрикт Галиция 1 августа 1941 года. На всей этой огромной территории, которой правил из резиденции польских королей в краковском замке Вавель гитлеровский наместник и палач Ганс Франк, существовало и работало 400 подпольных типографий. Действовало 1500 малых и больших подпольных издательств, одно из которых, руководимое Стефанией Скварчинской, выпустило сохранившуюся до наших дней маленькую книжечку в желтом переплете, скромно названную «Песнь войны». И эта книжечка тоже была гранатой, брошенной в кровавый гитлеровский режим...

### ЕЖИ ГОРДЫНСКИЙ

#### РЕКВИЕМ

Слушай...

Бомба ночи упала, темнотой обрастая.

И Лицо в темноте, словно мрамор в покое.

А там — высоко,

куда не достать рукою,

звезды путь указуют и кличут в дорогу.

Но куда я пойду этой ночью?

Двери неба закрыты для гостя такого  
запоздалого очень.

Слушай...

Вдребезги — сердце мое и я.

Осколки любви не подвластны.

Лишь будут их вешать всечасно  
на виселицах бытия.

Мертвых качают ночные виденья,  
под шатрами снов затая.

А война напомнит о ране болящей  
и рухнет, ослепнув от грома.

И я остаюсь на улице спящей  
собакой без дома.

У меня есть лишь память. Далась она страшной ценою,

с ней нельзя упасть на колени,

с ней идешь и идешь Ты предо мною  
без шагов

и без тени.

Мой отец!

Больше слов мне твоих не услышать,  
разве только во сне,

в тишине беспокойства ночного

одеяло поправишь,

шепнешь мне отцовское слово,

как в младенчестве.

Снова.

Ты тогда наклонялся так близко, наверно,

губ моих,

безъязыких еще,

ты дыханьем касался.

Тень твоей головы  
стала тяжелой безмерно  
с той поры, как я с детством расстался.

У тебя даже нет и могилы...  
Пламя, что обожгло твои губы немые,  
до меня не дошло,  
трудно все мне постигнуть спроста,  
как Фоме, чье неверье рассеять впервые  
удалось только ранам Христа.

Нет, не верю я в смерть, что уста  
обожгла тебе пламенем рваным,  
нет, не верю, что сгнула та,  
кто тебе исцеляла раны.  
Ночь — мои губы заперты мраком,  
уши не слышат сквозь грохот тоски.  
А глаза? Как ни странно, но зорче, однако,  
я стал видеть сквозь слезы,  
что толкуются, как в фонаре мотыльки.

Говорят, что от горести можно запить,  
забуянить в ночи, что забыла надежду и веру.  
Но вина никакой не хватило бы меры  
мне, чтоб страшную жажду свою утолить.  
Разве Млечным Ковшом зачерпнуть —  
тоже мало.  
Может, девушку звать, чтоб утешила,  
все чтоб пошло трин-травой?  
Нет. Все сгнуло, как не бывало.  
Даже глупое чувство вины —  
что живой.

Был твоим сыном.  
Как много и мало.  
Ночь над Люблином,  
словно в сутане потертой  
ксендз,  
молча реквием пела тебе до конца,  
когда шел ты, я знаю, слишком гордый,  
чтоб быть похожим на мертвеца.

Звезды столиц свечами пылали  
над плахой вашей в ночной печали.  
И небо дрожало.  
А вы стояли  
на плахе, как слава на пьедестале.

Ищу, как славу, средь черной ночки  
царапины пуль на груди стены.  
Ночь на стеблях мысли рождает почки,  
а цветы из них так черны!

Нет, никогда не понять разлуки —  
ладьи, в которой уплыл Харон.  
Бьют в барабаны часы,  
как руки  
новых времен.

Ночи и дни сплетаются вместе  
из году в год.  
Все непонятно. Только Возмездье  
ждет.

### 1944

Ночь, в которой повисли в звездах жала моторов,  
свастикою паучьей проползает, слепа,  
а внизу затаились в черных сетках заборов  
городов черепа.

Поезда провожает опущенный факел,  
и машины от дрожи, словно кровь, горячи.  
На огне и на голоде, столах и мраке  
зло ликует в ночи.

Возвратившихся с битвы встречает тревога,  
дом забытый и письма далекой тоски,  
и опять тяжелы их шаги и пружинит дорога  
всем гаданиям вопреки.

Как мальчишечья память, снег, на ветках простертый.  
Где ты, смех, возле елки и песенок ангельский зов?  
Мысли в пенную реку роняет сорок четвертый,  
и пахнут свежими елями кресты на веках гробов.

Автор неизвестен

### К ПОЭЗИИ

Лютня твоя воспела луну и закат из меди,  
земля под ногой твоею не раз превращалась в небо.  
Хватит! Ты сладко пела, теперь помогай победе,  
глазам нашим вражеской крови подай, как голодным хлеба!

Ты слез пролила немало на розы и на кораллы,  
на струны ветвей, поющих над тихой озерной синью.  
Хватит! Спеклись все мысли, как от дыханья шквала.  
И пламень сердца —

камень,

и руки —

молний клинья.

Обрушьте, слова, ударом страшней, чем любая кара.  
Пусть месть сотрясает землю, как праведный гнев вулкана.  
Пускай в нас возникнет мститель, суровый, как ночь Балтазара,  
изваянный из щебенки, из трупов, огня, тумана.

А после самой собою поэзия станет снова  
и в душах зажгутся звезды, к цветам возвратятся люди,  
и будут сердца влюбленных греметь, и молчать орудья,  
и говорить мы будем песенным тихим словом.

Автор неизвестен

### ФИНАЛ

Кличут трубы среди развалин,  
воют бомбы, и пули им вторят:  
мир качнулся, мир пал, мир свален.  
— Горе!.. — Горе!.. — Горе!..

В мегафонах, подвешенных к стенам,  
в море дыма, в кровавом море,  
красноротые стонут сирены:  
— Горе, горе!

Плещет пламя, из ночи изыдя,  
под ногами разверзлась планета.  
Спасите! Спасите! Спасите!  
Конец света!

Вон по трупам, по белым дорогам,  
кровью залиты, мчатся сквозь стоны  
люди-дьяволы, люди-драконы,  
люди-молоты, бич от бога.

В мегафонах, подвешенных к стенам,  
в море дыма, в кровавом море,  
сна не зная, воют сирены:  
— Горе! Горе!

То ли солнце на землю упало,  
то ли звезды сплавилась в лаву,  
мир изжил себя, мира не стало —  
захлебнулся в потоке кровавом.

Так бывало. Столетиями мерьте  
процветание цивилизаций,  
но приходит пора распасться —  
то закон отрицанья и смерти.

Оттолкнув умирающих руки,  
в море пламени, в стонущем море,  
в ночь сирены вопят о разлуке:  
— Горе!.. Горе!..

То ли Троя обрушится вскоре,  
то ли входит Аттила в селенья?  
Горе, горе, горе  
тем, кто встал средь камней на колени.

Автор неизвестен

### ВОЙНА

Дьявол — штыком в небо. Кровью облилось небо.  
Ангел на мостовую пал, и крыло помято.  
Кто-то швыряет грязью. Чье-то лицо слепо.  
Кто-то хохочет. Кто-то — кровью: «Проклятье аду!»  
Дьявол — из пушки в солнце, чтобы оно остыло.



Миру кричат сирены: время смертей настало.  
 Птицы ввинтили в сумрак смерти стальные жала —  
 лица поблекли в окнах, словно на них белила.  
 Море грохота разом плотины Вселенной смыло,  
 и рухнул огонь на Землю!

И темнота застыла,  
 но город развалин молча грозит уже ордам вражьи.  
 Молитву прервал в костеле ксендз в тишине грозной,  
 не сумели привычно вымолвить губы ксендза:  
 «Яко и мы отпускаем долги должникам нашим».

**СТАНИСЛАВ РОГОВСКИЙ<sup>3</sup>**

### **НЕВОЗВРАЩЕНИЕ**

В долах сыро —  
 от пули можно кубарем ухнуть по склону,  
 и возьмут тебя глина и травы.  
 А в саду голубая обедня  
 под акацией.

Вечереют таинственно пятна:  
 крест, и купол, и колокольня.  
 Привиденья лукавы.  
 Да, в саду синим тайнам привольно  
 под акацией.

Марширует там песня:  
 о, мой розмарине,  
 распустись ты букетом весенним  
 нашей деве и нашей девчине,  
 дням вчерашним и завтрашним теням...

А вблизи — раздается по долу:  
 — Вольно-смирно-налево-направо!  
 А вблизи — не стихает подолгу:  
 чвяк да чвяк — шаг да шаг — по уставу.

Как шагают они по низине,  
 где болота — пустые глазницы,  
 не поют они о розмарине,  
 а о фляге, коне да девице.

Как пройдут они по сенокосам,  
 запоют о награде военной,  
 повстречает их в травах и росах  
 указатель у края вселенной.

Там цветы обгарятся кроваво.  
 В камыши, где болото хлопочет,  
 упадут они с песней и славой  
 и замесятся в глину среди ночи.

<sup>3</sup> Погиб в Освенциме.

Взбухнет глина их вздохом последним...  
 А в саду голубая обедня,  
 под акацией  
 песня:  
     о, мой розмарине,  
         нашей девчонке  
             в милой сторонке.

Автор неизвестен

### ПОЛЬСКИМ СОЛДАТАМ В ЭМИГРАЦИИ

Братья в мундирах!  
 Мир вам на целую Польшу стал шире,  
 однако не шире тюремного плаца,—  
 польский наш дуб вам шумит и в Алжире,  
 в Тобруке ловят кошубы, их сети искрятся,  
 в зелень платаны из Кракова  
 стриты Нью-Йорка одели,  
 пахнут брусчаткой Варшавы  
 площади всех эмиграций,  
 фордевинд в тросах бортов буковым гулом гудит,  
 с календаря «Made in England»  
 срываете дни и недели,  
 и именно потому вы...  
 (это как сердце в груди)  
 ...нам письма и песни шлете,  
 иные диктует смерть.  
 Тогда-то с последним взглядом ширится небо в полете  
 и стих динамиту равен,  
 тревожить его — не смей!  
 Читаете надпись «Старжиска»,  
 увидев чужие вокзалы,  
 и все это прямо в сердце  
 вгрызается, вас одолев,  
 и жарче звучит, чем поэма, чем песня в устах запевалы,  
 короткое ваше: п с я к р е в!

Братья в мундирах!  
 Нельзя нам — на землю коленями.  
 Не верьте легендам о нас: не мученики, не тени мы.  
 Нет, не расстреляны мы, нас не убили.  
 Нас сапогами в лица не били.  
 В камерах мы, как в окопах, были.  
 Каждый труп — мина,  
 мезтью живет живое.

И если вас спросят ныне:  
 вести какие из Польши,  
 умеем ли гибнуть стоя? —  
 дайте ответ короткий  
 (ни слова не надо больше):  
 «Мы получаем сводки,  
     идуцине с поля боя».

ЯДВИГА ГАМСКА-ЛЕМПИЦКАЯ

### ЛЬВОВСКАЯ КОЛЯДА 1943 ГОДА

Тише, тише, тише!  
 Львов — в крови по крыши.  
 Рождество Христово. Время коляд.  
 Над Христом гестапо  
 простирает лапы,  
 колядует в двери кованый приклад.

Гей, с новым порядком!  
 Штык по всем кроваткам  
 ищет новорожденных сынов.  
 Ирод поможет!  
 Где же ты, боже?  
 Город Львов — город Львов — город Львов...

Петли, пули, газы,  
 новые приказы  
 скалятся по стенам, озверев.  
 В тишине кровавой залп ночной расправы.  
 О, Езус!—  
 — Stiehl stehen! <sup>4</sup>  
 — Пся крев!

Кто-то, дерзкий самый,  
 подбежит к той яме,  
 к детской колыбели, выброшенной в ров.  
 Смерть ее колышет —  
 тише, тише, тише!  
 Плачет Львов — плачет Львов — плачет Львов.

Ангелы в смятении:  
 рождество смертельно!  
 Тридцать теплых трупов в тишине ночной  
 принимает снова  
 рождество Христово,  
 а за Марьяцкой площадью — залп очередной.

Люли, люли, люли!  
 Пули, пули, пули!  
 Все ли там уснули — спать, спать, спать!  
 Виселицы-петли!  
 В них родные, нет ли?  
 Стой! Ведь те, в зеленом, не дадут их снять.

Львов — в крови по крыши.  
 И Христос не дышит —  
 в звезды Вифлеема смотрит труп,  
 звезды — как иголки,  
 не волхвы, а волки  
 рождество справляют. Кровь из губ.

Спи, младенец божий,  
 чем ты нам поможешь —  
 лишь замочишь ноженьки — всюду кровь и кровь.

<sup>4</sup> Смирно! (Нем.)

Ночь. Но и в могилах  
враг сломить не в силах  
нашу веру в утро, что наступит вновь...

А пока в гестапо  
елка в колких лапах  
поднимает свечи, зажигает не спеша,  
и поют в их свете  
палачевы дети:

— Heilige Nacht!

Ночка хороша!

Львов — в крови по крыши,  
рождество не дышит.  
День придет с востока, но когда?  
Рождество смертельно.  
Бьют приклады в стены.  
Коляда, гей, ко-ля-да!

## МОЛОКО

*(Заметки из 1943 года)*

Последний день осенний чуть теплится...  
В последний раз (матерьяла не было больше)  
пять тысяч евреев с Яновской на Лисеницы,  
пять тысяч смертников, привезли  
боши.

То началось еще перед рассветом,  
в полтретьего, когда уже звезды слепы.  
Ими набили машины до самых бортов,  
как скотиной,  
но люди стояли как люди,  
хмуρο уставясь в небо...

Детей уже не было там.  
и матери ни единой,  
не было сцен трагических —  
лишь смертники да карабины.

Была тишина, был порядок,  
и — ничего, что нельзя ночами везти по городу.  
Ехали одни молодые, одни рабочие,  
одни здоровые и гордые.  
Позже они пытались бежать  
и падали, пулями стертые.

Но не о том речь, о, не о том слово,  
что их так же, как всех, —

залпом —

снова —

в землю... "

Пятый год вот так вокруг  
трупы падают скопом...  
Пятый год немецких рук  
на горле Европы...

И я — не о том.

Но ведь не было так,  
так показалось только,  
будто и те, одетые в мрак,  
стволы опустив,

после  
увидели снова, как солнце взошло,  
и не ослепли даже,  
и будут, как мы, на небо смотреть,  
на солнце смотреть и звезды,  
эти зелено-черные, цвета змеи и сажни.  
Эти, убившие снова

пять тысяч  
тел (ведь душ не исчислить сколько),  
будут, как мы, на солнце глядеть,  
рассветы встречать долго?

Нет!

Эти должны, как в проказе, гнить,  
эти должны от бешенства выть,  
собаки сторожевые.  
Эти? Глаза должны у них быть  
невидящие, кривые,  
и мозг неживой, и сердца неживые.

Эти, несущие в лапах своих  
смерть без суда и права,  
как скорпионы, себя самих  
должны убивать отравой,  
с пеной у рта в прахе дорог  
барахтаться им в кювете  
без человеческих лиц и тревог,  
чувств, голосов!..

...Но эти,  
зябнущие, как люди,  
как мы, голодные, эти  
здесь же,  
у свежих могил,  
сонные на рассвете,  
стучали в двери людей,  
в окна, спящие в страхе,  
и требовали для себя  
не виселицы, не плахи,  
а теплого (мол, нелегка  
служба и дом далече),  
теплого молока —  
такого, как кровь человечья.

Автор неизвестен

## ПЯТЫЙ СОЧЕЛЬНИК

Взметнулись сегодня какие-то песни  
из всех закоулков, со всех уголков,  
печальной мелодией в праздник воскресли  
от полюса и до пустынных песков.

Тем песням повсюду бродяги внимали,  
 оборваны, биты, сыны неудачи:  
 — Знакомо! Те самые ноты печали,  
 те самые вздохи судьбины бродячей.

В домишке лапландца по имени Мали  
 коптели тюленей, и в свисте метели  
 услышали песню и забормотали,  
 что это полярные боги запели.

А черные парни, наги, белозубы,  
 тяжелый свой груз положили у пальмы  
 и тихо шептались: «Мол, это к чему бы?  
 Поют что-то белые — ой как печально!»

Qui chante là-bas? — вопрошали французы.  
 Ва, кто здесь пайот так? — воскликнул грузин.  
 Who is singing? — молвил холодный британец.  
 Wer singt hier? — присвистнувши, немец спросил.  
 Vous le savez? — Les Polonais!  
 Nie znaiete kto taki? — Poliak!  
 Don't you know? — The Poles!  
 Polonais? Poliak?? Poles??  
 Oui! Да!! Yes!!! Ja!!!!

Все они — черные, желтые, белые,  
 все пилигримы, скитальцы, бродяги,  
 — Кто здесь поет? — вопрошали несмело.  
 И отвечали себе же:— Поляки.

И каждый — француз ли, индус, англичанин ли,  
 китаец ли в джонке, канадец ли конный,  
 и полинезиец в своей Океании,  
 и черный пигмей, заглядевшийся в Конго, —

каждый  
 молил всех богов, всех богинь и пророков,  
 Будду, Аллаха, Христа, Магомета и Майю и Кали,  
 чтобы поляки не мучили их так жестоко,  
 чтоб они так печально петь  
 перестали.

Автор неизвестен

## О СОЛДАТЕ-СКИТАЛЬЦЕ

Враки, враки, если кто сердито  
 говорит, что ты ушел из брани,  
 из-под Кутно парень-непоседа,  
 Мажино и Тобрука защита,  
 ты лишь только перевел дыханье,  
 рыцарь нашей завтрашней победы.

Кровь твоя во Фландрии равнинной,  
 на песке ливнийском, прежде белом,  
 вкус ее святой все земли знают.

В бой! В атаку! Немцы дрогнут в страхе,  
 молнию в руке твоей увидев,  
 и на танке задрожит паук.

Враки, что с тобой,  
 мол, тачка только,  
 или молот, или крик отчаянья,  
 муравью подобный — тут и там — в укрытьи  
 несгибаем ты и верен долгу —  
 штык в руке, блеск в глазах, а на устах молчанье.

### ЕЖИ ГОРДЫНСКИЙ

#### МУЗАМ В ГОДИНУ ВОЙНЫ

Так далеки вы, что, может, и звать вас не стоит,  
 но протяну я к вам думы свои, как ладони, —  
 с черного неба, которое воет и стонет,  
 вновь вас приносят ко мне белокрылые кони.

Улиц скелеты тоскуют в ночи по прохожим.  
 Пойте хоть смертникам — ими все тюрьмы набиты.  
 Я вас молю: «Оставайтесь!» — и слышу: «Не можем!»  
 Я вопрошаю: «Куда вы?» — и слышу: «На битвы!»

И остаюсь я опять, словно раненый воин,  
 брошенный в поле, где столам и пламени тесно.  
 Музы, когда я хоть вашего вздоха достоин,  
 вы хоть вздохните и в губы вдохните мне песню.

Знаю, вы в город вернетесь с цветами, с венцами.  
 Грозно, как слава, как память о нас и расплате,  
 в полном безмолвьи над нашими всеми сердцами  
 встанете бронзой — и цоколей в мире не хватит!



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

★

## ОТ ХОРВАТИИ ДО СЛОВЕНИИ

23 сентября 1970

**В** Белграде я был в полдень московского времени. Тихий сентябрьский день томился желтым и синим за высокими стеклянными стенами аэропорта. Это чудо современной строительной техники вызвало у меня странные ассоциации: казалось, в аквариуме поменялись местами «внутри» и «снаружи». Гигантские рыбы проплывали — почти беззвучно отсюда — за стенами, а я смотрел на них изнутри. Их плавное скольжение входило в ритуал иллюзии так же бесспорно, как синие козырьки пластика в верхней части стен, где дробились и стихали солнечные лучи, как монотонный шум фонтана за моей спиной (фонтан отражался в зеркале, и я видел дрожащий от холодных струй цветной пол из бело-голубой мозаики). Я сидел на кожаном диванчике красного цвета рядом с немцем, который внимательно читал «бедекер». Время от времени раздавался удивительно мелодичный и покойный звонок — знак внимания, и голос невидимой женщины, такой же покойный и с легкой хрипотцой, еще более усиливающей впечатление, что она только что пробудилась ото сна и еще не вполне пришла в дневное состояние, произносил сначала по-сербски, потом по-немецки, потом по-французски сведения об очередном рейсе.

Меня клонило в сон. Встал я рано, устал от полета, одет был теплее, чем следовало (в Москве было холодно), и разница температуры, перепад в давлении, нервное состояние (самолет на Загреб опаздывал, говорили, надолго) — все это как-то притупило чувство радости нового, которое обычно испытываешь в путешествиях, мучительно хотелось лечь и закрыть глаза. Иногда я забывался, убаюкиваемый ровным и приглушенным шумом голосов, шарканьем ног по блестящему мрамору пола. И тихой музыкой. Она ненавязчиво звучала откуда-то сверху и стихала, обрываясь за секунду до того, как дрогнет сигнал колокольчика, и снова начинала свой вкрадчивый интимный монолог. Когда я открывал глаза, я видел, как черные негры с ярко-желтыми чемоданами говорили о чем-то с толстым человечком в шортах, который по-прежнему размахивал руками перед своим лицом, будто сигнализировал азбукой морзе проплывающим за стеной самолетам, видел, как прогуливалась высокая молодая женщина в розовом шелковом костюме, с пепельно-серым пуделем на руках, видел, как менялись буквы на световом табло с цифрами рейсов и начальными буквами авиакомпаний.

Сначала я боялся пропустить свой рейс и то и дело подходил к девушке за пластиковой стойкой с надписью «Information», но потом, присмотревшись к пассажирам, заметил, что ближайšie три рейса можно различить по цветным авиакарточкам, посадочным талонам, которые здесь носят в нагрудном карманчике. Зеленые, «наши», на рейс Анкара — Белград — Франкфурт, торчали на груди у многих. У моего соседа по диванчику была красная. Теперь он изучал какую-то карту, делая на ней пометки. Я вытащил из кармана зеленую блестящую картонку и сунул ее в кармашек. Немец, в это мгновение оторвав свой взгляд от карты, улыбнулся мне и подмигнул, как бы говоря этим, что он и не сомневался в моем рейсе и нечего, мол, было играть в прятки — с ним это не



проходит... Мне стало неприятно, я сделал вид, что не заметил амикошонства, и, придав выражению лица сосредоточенную строгость, принялся рассматривать проходящие мимо меня розовые брючки-клевш.

— Вы говорите по-английски? — спросил немец.

Я посмотрел на него не сразу, давая понять, что вопрос был не подготовлен нашими отношениями, и поднял брови. Потом с достоинством ответил по-немецки:

— Вы обращаетесь ко мне?

Пауза моя была, честно говоря, продиктована не только соображениями гордости, я мысленно составлял фразу. Мое знание немецкого далеко не идеально. Но немец не собирался, как видно, тратить дорогое время на условности. Он обрадованно залопотал что-то, из чего я понял только следующее: «Почему же я сразу не спросил господина по-немецки? Ах, это гораздо проще... Английский я знаю достаточно, но так, разумеется, проще... Я видел, как господин читал «Правду». В прошлом году я наконец был в Москве. Огромное впечатление. Хотите курить? Нет? Да, это плохие сигареты, честно говоря. Дома я курю лучше. Но здесь...» Он отогнал в сторону дым, как будто тот мешал видеть меня, и продолжал, твердо выговаривая слова, как диктуя:

— В России по-прежнему говорят о войне. Прошло столько лет, но когда речь заходит о Германии — я живу во Франкфурте, — почему-то говорят только о фашизме и Гитлере. Меня это удивляет. Если бы мы, немцы, были в плену памяти — о, конечно, кошмарно все, что было в то время! — разве бы мы достигли того, что имеем?

— А что вы имеете? — спросил я все еще хмуро.

— Я имею в виду стандарт. Стандарт. До войны я не жил так хорошо, как сейчас. И мы, немцы, вообще не жили так хорошо.

Он посмотрел на меня выжидающе, с интересом. Лицо у него круглое, не немецкое, виски седоватые, зубы хорошие, загар преотличный. Одет прилично, но как-то странно было видеть на новом твидовом пиджаке кожаные налокотники и кожаную обшивку на бортах. В голубых глазах немца мелькала смешинка и сразу пропадала, как только он изготавливался слушать.

— Вы воевали? — спросил я.

— Да. Конечно. Как все. — Немец сморщил нос и потер лысину. — Я был в Дубровнике сейчас. В войну наша часть стояла в Идрии, Словения. Но туда я не поехал. Я хотел, очень хотел, но не поехал.

— Почему?

Вопрос мой, видимо, удивил немца. Во всяком случае, такое выражение появилось на его широком лице. Немец потер лысину и сказал тихо:

— Я думаю... Я полагаю, что это неморально.

Я внимательно посмотрел в его глаза. Смешинки исчезли. Мелькнуло что-то растерянное. Только теперь я понял, почему немец казался моложе своих лет: веснушки! По обе стороны носа разбегались светлые по загару веснушки. Я спросил:

— Неморально потому, что жителям Идрии есть что о вас вспомнить?

Сказал и почувствовал грубость, ощутимую и в немецком. Попытался улыбнуться, но мышцы лица не слушались: то ли не прошла еще настороженная неприязнь, то ли просто давала знать усталость.

— Неморально, — упрямо повторил немец и вздохнул.

Мелодично прозвенел колокольчик, и женский голос с прежней зевотцей пригласил на рейс Анкара—Белград—Франкфурт через Загреб. Я встал и откланялся. Немец тоже встал и порывался еще что-то сказать, но я его не понял и, кивнув еще раз, быстро направился к выходу на перрон. В стеклянном кубике холла блестящие турникеты разделили нас с обладателями красных карт, среди которых я заметил и «моего» немца.

Самолет, на котором мы летим, кажется, «дуглас». Я помню такие с войны. Ну, не совсем такие, похожие. Теперь все не такое. «Стандарт» не тот, как сказал бы «мой» немец. Подымались по трапу мы со стороны хвоста, сильно пригибаясь в дверях. Кабина полупустая. Опускаюсь в желтое кресло у окна. Кресла

цветные: обивка оранжевая, желтая, красная чередуется по ряду. Через проход — две старушки в очках, суетливые, все что-то снимают с себя, опять надевают, лопочут. Осматриваюсь: обивка стен из пенопласта кремово-белого цвета, окошки более частые по борту, вертикально-продолговатой формы, с чуть закругленными углами. Тронулись мягко. Взлетная дорожка очень далеко. Взлет незаметный, в течение секунды, крутой, но уши не заложило. Через три минуты — горизонтальный полет. Стюардесса с непроницаемо-красивым лицом, таким красивым и таким непроницаемым, что кажется неживой, стоит с ярко-желтой маской — кислородная. Постояла, ушла, задернув шторку. Почему они так тщательно задергивают ее? На всех уважающих себя авиалиниях принято так вот аккуратно задергивать шторку. Звук мотора похож на шум ветра по ветровому стеклу автомашины. Хорошо. Почти неподвижен мой столик из белого пластика на прочной металлической поддержке. Через проход слышна воркотня старушек. Теперь они выгребают мелочь из карманчиков своих туристских курточек и складывают из нее горку на свободном сиденье красного цвета. За мной — розовые брючки и коротышка в шортах. Видимо, муж и жена. Или что-то в этом роде. Может быть, начальник какого-нибудь департамента или отдела и секретарша. Откуда мне знать? Но коротышка ревнует. К кому — можно только догадаться: там, в Дубровнике, на курорте, что-то было не так. Он так и шипит длинноногой спутнице: «Не так, не так, как надо... Нехорошо!» Они препираются из-за какого-то «адресе». Ну, ясно. Розовые брючки в обтяжку взяли какой-то адресок. Я пытаюсь подремать, но сон не идет, тем более что до Загреба близко. А тут еще новость: отодвигается шторка и появляется лучшая улыбка моего лица... «моего» немца. Вот те и раз. Он машет мне рукой и просит разрешения присесть. Пожалуйста. Все объясняется просто: он летит первым классом, а я туристским. Красный лакированный талон в его нагрудном карманчике означал тот же рейс, но более привилегированное положение. В чем оно заключается, я так и не узнал. Но теперь догадался прочесть надпись на передней стенке нашего салона: «Prednja kabina je za putnike prve klasse». «Мой» немец представляет: Петер Майер. От него разит дорогими духами. Он предлагает что-нибудь выпить и довольно наглядно рисует пальцами, густо усеянными веснушками, форму фляги и даже дозу предполагаемого разврата. Доза, даже нарисованная, не выходит за границы здравого смысла. Фантазия у Петера небогатая, решаю я и, отказавшись от более тесного контакта, спрашиваю:

— Итак, мы остановились на Словении, Истрия, одна тысяча девятьсот сорок?.. — Тут я сделал вопросительную паузу.

— ...четвертый год. Только четвертый. Вообще там были не мы, — итальянцы. Нас, немцев, было мало. После измены Италии — я имею в виду выход из коалиции, — поправился Майер, — наша часть заняла район Истрии... О, это Швейцария! Богатый, культурный край. Люди вполне разумные. Но в лесах накопились партизаны. Их много, и воевать трудно. — Он отдергивает рукав пиджака и показывает след раны. — Мне приходилось ходить по деревьям патрулем. Все-таки я принесу...

Немец вскочил и шмыгнул за занавеску. Старушки насыпали довольно высокую горку из монет и теперь сортировали их и пересчитывали. Над их головами в сетках для багажа лежало много пакетов, пакетиков, коробок и коробочек. Почему-то старушки стояли за предельную интеграцию своего багажа. Сзади послышалось учащенное дыхание и сопение. Поправляя ремень, я покосился на коротышку: он плакал. Плакал самым настоящим образом, уткнувшись в носовой платок. Розовых брючек рядом с ним не было.

Майер появился с плоской бутылочкой коньяка и двумя мини-стопочками из серебра. Пиджак он снял и был в белой рубашке с засученными рукавами и полуспущенным галстуком.

— Не будете? Никак? — Он вздохнул и выпил сам. — Мне не в чем винить себя. Я исполнял приказ. И когда мог — не стрелял. Или стрелял не прицельно. Когда они, партизаны, не могли причинить нам зла. Но, согласитесь, бой есть бой. И тогда думаешь о себе...

Майер сосредоточенно тер лысину. Лицо его выражало крайнюю степень усталости и нежелания вспоминать прошлое. Прошла женщина в розовом, прижимая собачку к щеке. Лицо задумчиво, пальцы машинально щекочут пуделиную шейку. Сопение сзади прекратилось. Майер на минуту задержал рюмку в руке, пока женщина прошла мимо нас, и выпил.

— Вы купили картину? — спросил я, вспомнив, как он в аэропорту бережно нес нечто большое и плоское в синей оберточной бумаге.

— О, это не то слово. Я коллекционер. У меня особая коллекция. С годами ей не будет цены.

— Модерн?

— Секрет фирмы!

Майер засмеялся. Он уже пьянел, но в отличие от большинства людей, которых мне приходилось наблюдать в подпитии, он — как бы это сказать — становился не лучше, не раскрытее... Он явно хитрил, петлял, губы его складывались в неприятную линию, а в желтоватых зрачках появилось что-то злое.

— Танцуют! — подмигнул он мне, указывая на бордюр вдоль борта салона под самыми сетками: розовое перо художника изобразило длинную цепочку танцующих коло — югославский народный танец. — Они живут в долг. И не думают о том, что придет время и надо будет платить. Платить! — Майер многозначительно посмотрел на меня. — И американцам и нам...

Вышла стюардесса с подносом. И конфеты на нем были разноцветные — красные и зеленые облатки. Майер взял красную.

— Приближаемся к Загребу.

Лаконичное объявление стюардессы привело в действие Майера. Он подтянул галстук, встал и церемонно попрощался со мной.

— Очень был рад, господин журналист.

...В Загребе я еще раз увидел Майера. Он покупал журналы пачками, что-то тут же искал на их страницах. Я удивился, что он вынес картину и передал ее какому-то типу в дождевике. В Загребе шел монотонный осенний дождь. Тип говорил с Майером недовольно. Проходя, я услышал только:

— Машиной, машиной, так вернее.

— Но машины тоже проверяют, — ворчал тип.

— Тебе не в первый раз. — Майер хлопнул его по плечу.

Я понял, что Майер боится таможенного досмотра. Видно, ценная вещь. Я прошел к стойке для взвешивания багажа и опустил чемодан. Здесь меня должны были ждать. Людей у стойки да и вообще в зале немного, видимо, все рейсы уже прошли. Майер стоял ко мне спиной. Женщина с пуделем стряхивала зонт. Коротышка говорил ей что-то быстро и торопливо. Она не отвечала. И тут я увидел картину, обернутую плотной синей бумагой. В таких обертках в детстве моем продавали сахар в головках, а потом я видел такую бумагу на пачках финской бумаги «верже». Картина стояла рядом с вещами встречавшего Майера типа, рюкзаком, баулом, другой картиной или чем-то такого же рода — плоским, соответственных размеров и завернутым в такую же синюю бумагу. Переменят, подумал я...

В это время дверь бесшумно раздвинулась, и в зал вбежала девушка в черном лакированном плаще, стриженная под мальчика. Голова ее блестела от дождя, макси-плащ распахнут, под ним вельветовые брюки, длинный свитер перетянут широким ремнем ниже талии.

— Здравствуйте, вы Огнев, я знаю, я опоздала, извиняйте, это очень хорошо, пойдете, вы первый раз? Меня зовут Смилька. — И крепкое рукопожатие. Поток слов без паузы, неверные ударения в русском произношении, веселое радушие и размашистые жесты. — Я могу помогать? Что вы! Хорошо, очень хорошо! Есть машина? Да, да, нет, нет... Такси. Здесь. Нет, там. Очень хорошо!

Мы, смеясь, бежим под дождем к такси, шофер предусмотрительно открывает дверь:

— Здравствуйте, товарищ. (По-русски.)

Мы сидим на заднем сиденье «мерседеса». Дождь припустил вовсю. Шофер

оглядывается по сторонам. Оказывается, кто-то поставил свой «пежо» так, что мы не можем развернуться, чтобы выехать из ряда машин. Надо подождать. Смилька хохочет и легонько толкает меня в бок:

— Нет проблема!

Я смотрю по направлению ее пальца. «Тип» тащит картину, накрыв ее плащом и изогнувшись. Майера с ним нет. Оказывается, «тип» и загородил нам путь. Он торопливо отпирает дверцу, пытается втащить картину, торопится, запутывается... О ужас! Бумага цепляется за ручку нашей дверцы и с треском разрезается. Я потрясен: то, что я вижу, ошарашило меня. «Тип» заталкивает наконец картину.

— Извините, — говорю я Смильке растерянно.

Она что-то говорила.

Мы несемся по скользкому шоссе. Смилька щебечет, но я отвечаю невпопад.

— Вы устали? — наконец останавливается она.

## 24 сентября

Тяжелая ночь. Видно, поднялось давление. Какие-то кошмары. Проснулся среди ночи. Я на пятом этаже отеля «Интернационал». Бледное море огней до самого горизонта — автомобильная трасса. Машины идут и ночью. Гул сливается в сплошную ровную нитку звука. Я лежу и смотрю в белый потолок. В номере серый полумрак, как будто светает. В сотый раз вспоминаю то, что я увидел сквозь разорванную упаковку. Это страшно. По кремовому фону — черная, китайской тушью, рука скелета, ослабившийся череп, чуть обтянутый кожей. Труп лежит в гробу, но не один, голова, слегка вывернутая, приходится на колени другого трупа, — бесстыдная оголенность смерти. Концлагерь. Номера на руке и груди.

Наверное, у Майера много этих листов, а рамка только предохраняет углы и края. Бумага тонкая, пожелтела. «У меня особая коллекция. С годами ей не будет цены...»

Я вспоминаю свой сценарий о немце, следователе гестапо. Он у меня читал Гердера. А молодой литовский режиссер А. Араминас сказал: «Мы нашли другое решение, он будет собирать, знаете что? Плачи...» В фильме «Ночи без ночлега» теперь есть сцена: крутится диск патефона, заело... Вводят героя на допрос. Он смотрит на пустой круг, слышит скрип иглы. Следователь выходит из задней двери, улыбается, блестя очки, здоровается, поправляет иглу. И мы слышим запись литовского народного плача. Это была хорошая «находка»... Тогда я не думал, как она близка прусскому духу коллекционирования. И духу порядка. Рисунки, сделанные в концлагере, нужно пронумеровать, собрать, классифицировать. Им «с годами не будет цены...». Из плачей и рисунков смерти рождается искусство каталога, наука холодного изучения слез и горя.

И еще я думал о том, что уже на белградском аэродроме началась эта странная фантазмагория «антимира»... Рыбы-самолеты плавали снаружи, облака, и ветер, и акации, чуть тронутые желтизной, и девушка-стюардесса, подставившая солнцу лицо, и локон, треплемый на ветру, и рокот моторов, и самолеты, пахнувшие расстояниями, — все это снаружи огромного стеклянного куба, в котором звенели сказочные колокольцы, и все ненастоящее, игрушечное, играющее в какую-то игру, разбуженное ото сна и готовое снова уйти в сон — с пепельной собачкой и длинноногой розовой женщиной с улыбкой Джиоконды, маскарадные негры с ярко-оранжевыми чемоданами, воркующий немец с веснушками, вальс из знакомого фильма...

И еще раз «антимир»: красные лакированные карточки, «prve klasse», демонстрирующие «стандарт» Петера Майера («До войны я не жил так хорошо, как сейчас. И мы, немцы, вообще не жили так хорошо»).

И в третий раз «антимир»: югославы живут «в долг» и когда-нибудь «придет время и надо будет платить. Платить!». Американцам и... опять-таки ему, Петеру Майеру, который считает «неморальным» лишь посещение Словении, район Идрии, партизанский край, где не все люди оказались «благоразумными»...

Или правда мы живем в мире абсурда?

**24 сентября (вечер)**

Вчера по прибытии в отель, Смилька:

— Ну вот, все хорошо. Комната на пятом этаже, ванны нет, номер хороший, без особых удобств, отдохайте, вечером придут Михалич и профессор Флакер, потом будет программа, деньги у меня нет, хорошо, проблема нет, отдохайте, спокойная ночь! — И махнула мне ручкой, повернулась на каблуках тяжелых модных туфель, в которых, наверное, было бы удобно ходить на Луне.

Вечером я спустился в холл и увидел Михалича и Флакера. Славко Михалич, темпераментный, жестикулирующий широко, как итальянец, худой, с большим носом, в роговых очках. Хороший поэт. С недавнего времени — генеральный секретарь Союза писателей Югославии. Это его удручает. Должность обременительная и никак не дающая преимуществ общественного, а тем более материального порядка. Никакого аппарата. Сам, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Он, да помощница, секретарь другарка Ана, да эта девочка Смилька, которая учится в университете и подрабатывает. Она вроде как иностранная комиссия. Знает худо-бедно три языка: английский, французский, русский. Сейчас у Славко румыны, немец-переводчик да я. Это все равно как выходные дни. Бывает же три-четыре делегации, хоть ложись да умирай. Зато, говорит он, никаких жилищных, издательских дел, тем более заседаний, решений, резолюций. Заходят писатели в Союз, он же клуб, на чашечку кофе, рюмочку виньяку.

— Говорим только о творчестве. Других тем у нас нет.

Александр Флакер — типичный профессор. Очки на середине короткого носа, усы, рассеянная улыбка. Умница необычайный. Лучший в Югославии знаток славянских литератур, в первую очередь русской советской литературы. Флакер молод, но мне долго не давалось предложенное им «ты».

Как-никак — европейская знаменитость. Сколько он сделал для пропаганды нашей литературы, трудно даже перечислить. Только за последние несколько лет им подготовлены и изданы четыре объемистых тома: «Двадцатые годы. Критика и манифесты», «Три тома русского рассказа», куда вошли действительно лучшие произведения этого жанра 20-х, 30-х и 40-х годов. Он познакомил читателя-югославянина с прозой Тендрякова, Айтматова, Нагибина, Аксенова и других авторов, ставших потом популярными здесь. Флакер не только комментатор, составитель и редактор, он переводит и сам. В Загребском университете Флакер ведет кафедру русистики. В приложении к журналу «Книжевна смотра» («Книжное обозрение»), который он издает совместно со своим учеником, под названием «Уметност речи» («Искусство слова») помещена в 1969 году работа А. Флакера «О реализме». Мне приходилось читать доклады Флакера о Горьком и Шолохове, исследования о стиле, композиции и жанре современной прозы, о советской литературе и ее истории. С громадной любовью и пиететом говорит профессор Флакер о русском искусстве вообще, о его вкладе в мировую литературу.

И вот я говорю с Флакером и Михаличем в холле гостиницы «Интернационал», и мы составляем «программу». Все республики охватить невозможно. Цель: изучение поэзии, связь ее традиций с эпохой Сопrotивления фашизму. В Боснии и Герцеговине я был в прошлом году. Их мы пропускаем. Адриатику, хотя ее сильный плеск я слышу в крови, увы, тоже. Нет времени. Поездка по местам боев одной партизанской бригады? Очень интересно. Но как это осуществить? Союз писателей не обладает транспортом. Что-нибудь придумаем. В конце концов, у вас много друзей, каждый имеет машину. Что-нибудь придумаем. Славко тянет джин с тоником через соломинку, как работает насосом. На дне жалкий кружок лимона и нерастаявший лед. Славко — настоящий поэт. Говорить предпочитает за столик и бокалом. Он предлагает не терять времени, так как с «протоколом», слава богу, покончено. Флакер улыбается в усы, опустив веки, и сопит трубкой. У нас еще недопито, но Славко машет руками и торопит.

Прекрасный вечер. Зажглись первые огни. Мы переходим оживленную улицу с милиционером в белых нарукавниках и светящимся жезлом. Он долго и азартно махал руками, пока мы наконец перебежали на противоположную сторону.

— Сколько же у вас машин?

Флакер пожимает плечами. Славко говорит:

— В Загребе каждый шестой имеет. В Любляне — каждый четвертый. Будете там, убедитесь — бедствие, негде поставить машину.

Ну, это еще не бедствие, думаю я.

Маленький сквер, старинные дома.

— Ну, не такие старинные, — уточняет Флакер, — девятнадцатый век. Старинные наверху.

Он машет рукой вперед и вверх. Но там темное небо. Старый город только угадывается. По узкой улочке с массой магазинчиков доходим до перекрестка.

— Запомните это место, лучший книжный магазин, — говорит мне Флакер.

— Лучший ресторан, — весело перебивает Славко. — Рыбный.

Мы входим в неярко освещенный маленький залчик. Тесно стоят столики, вид не очень презентабельный. Нас проводят в дальнюю комнату. Садимся у стены, и сразу гаснет свет. Все смеются.

— Это бывает, — смущен Славко.

Некоторое время мы говорим в темноте. Потом приносят свечи. И рестораник сразу же принимает уютный вид и даже некоторую таинственность.

— Будем есть устрицы. Правильно? — Славко потирает руки и откидывается в кресле. — Вино, которое нам нужно, есть. — Он закрылся огромной карточкой меню и говорит теперь сам с собой.

— Это особое вино, с острова... — поясняет Флакер.

— Ура! Сегодня есть...

Славко называет какие-то блюда, закуски, он явно поглощен содержанием карты. Флакер, снисходительно улыбаясь, переводит мне:

— Это вроде шпината, далматинский специалитет, только в Далмации, вроде такой травки... Это он говорит про рыбу, не знаю, как перевести... Такая...

Официант торжественно несет большой продолговато-овальный поднос. Устрицы горячие, каменные блюдечки с дрожащей студенистой капелькой.

— Брызги моря, — говорю я.

Устрицы надо счищать умело, чтобы добро не пропало, но добро цепляется за раковину. Постепенно это можно освоить. Вино холодное. Некоторое время слышно только сопение и стук каменных блюдечек. Стопочки раковин растут быстро.

Появляется дымящаяся громадина, просто кит на блюде. Официант гордо подносит рыбину к нашим носам, дает полюбоваться и... уносит. Мои спутники спокойно реагируют на этот фокус, смиряюсь и я, но беспокойство остается. Устрицы — вещь призрачная, еда аристократов. А «траварица далматинска», попросту водка, настоящая на травах, с которой мы начали трапезу, сделала свое коварное дело. Аппетит мой взыграл не на шутку. Я с трудом поддерживаю интеллектуальную беседу, тем более что за соседним столиком идет настоящий молодежный лукуллов пир — огромная ложка носится вдоль и поперек стола, куски рыбы с полбуханки ситного плюхаются в подставляемые тарелки. Флакеру кажется, что сейчас самое время высказать мое отношение к структурализму, Лотману, статье Шкловского против Якобсона, просодии чешского стиха и «верхней границе реализма — «Бедным людям» Достоевского...» Все это крайне интересно, я отвечаю почти механически, стыжусь самого себя, но думаю о другом: почему он унес рыбину? Или эти несчастные эстеты ее забраковали невидимым мне жестом? Славко ведет себя более понятно: пьет вино. Узнав, что мой отец был коммерческим директором винкомбината, он явно оживился и потребовал, чтобы я дегустировал местные вина. Принесли бутылок пять. Открыли. Но пока Флакер сел на своего конька и не слезал с него до тех пор, пока, как мне показалось, бока его покрылись пеной, Славко сосредоточенно дегустировал вино сам. Вероятно, он хотел потом сопоставить свои и мои выводы.

— Классическим для русского, а в известной степени и для хорватского реализма является фабула о «лишнем человеке», — говорил Флакер, перегнувшись

ко мне и поправляя сползавшие очки указательным пальцем. — А полюбил Б, Б любит А, но А не хватает сил, чтобы принять любовь Б...

У меня тоже не хватало сил поймать нить рассуждений профессора. За соседним столиком молодежь уже разделилась на пары, руки лежали на плечах соседей, смех взрывался петардой, пламя свечей испуганно металось.

Официант появился как «бог в машине», откуда-то сверху, накрыв своей мефистофельской тенью полстола. Рыбина была та же, но разделанная. Он ловко рассовал ее по тарелкам, добавил гарнира в виде зеленых спагетти, чем-то полил, посыпал перцем, сделал еще какие-то пассы над тарелкой и исчез под дружное наше «хвала, хвала, хвала лепо...». Теперь все пошло как надо. Слово взял и долго не отдавал его Славко. Он сыпал остротами, рассказывал смешные случаи, декламировал стихи и с помощью Флакера переводил их на русский. Сопоставить свои выводы по дегустации с моими Славко не удалось до тех пор, пока батареею бутылок не заменили новой, боееспособной. Старая, пока мы с Флакером хватились, стреляла уже холостыми...

Нить рассуждений Флакера была распутана, обострившееся чутье к чужим языкам творило чудеса — мы понимали друг друга теперь с полуслова. Стало тепло, хорошо, дружно. Славко рассказывал о том, как отец уходил в партизаны, как остался маленький томик на столе, как Славко взял его после ухода отца. Это был Пушкин. Он открыл его:

— О, няня, няня...

— О, Таня, Таня, — подсказал Флакер...

— О, Таня, Таня, в ваши лета мы разве знали про любовь?.. И мы в наши лета не знали... Уходили в горы в пятнадцать, шестнадцать лет...

Я спросил про Ковачича. Поэма «Яма» потрясла меня. Ее перевел Владимир Корнилов. Переводился и Славко, только мало. А знаю ли я Цесарца? Нет? Он тоже погиб молодым. После смерти нашли его автограф на стене тюрьмы. Он писал о советском народе, о разных народах, населяющих СССР.

Да, в общем-то, мы мало знаем друг друга. А это странно. Кому же, как не нам и дружить литературами! Югославия — это гордая, красивая страна, добывавшая себе свободу в неравной борьбе с сильным и коварным врагом, покорившим Европу. Южный оплот славянства, она издревле славилась свободолюбием.

— Это вино с острова Хвар, — говорит Славко...

Хвар, Хвар... А, вот что я вспоминаю: первое упоминание в летописи Диодора Сицилийского. «В это время параны основали колонию на Хваре... Местные уроженцы, обитавшие на острове, и недовольные присутствием греков, и призвавшие на помощь иллирийцев, населяющих противоположный берег на суше, перебрались на многих маленьких лодках на Фарос — а было их больше десяти тысяч...» И была битва, и пять тысяч иллирийцев пали в бою за родину. Если считать, что начало истории народа — первые письменные источники, то уже на первой странице истории южных славян мы находим освободительную войну...

Иллирийцы не раз разбивали и хваленые легионы Цезаря.

— Эта травка с острова Корчула...

Славная это травка! Она помнит, как Октавиан, будущий Август, вырезал все население Корчулы. Но, оказалось, не все... Некий иллириец проник в спальню деспота и был схвачен с ножом в руке лишь в последний момент. «Неизвестно, сошел ли он с ума или только притворялся, так как во время допроса из него нельзя было ничего выжать», — записал римский писатель Гай Светоний Транквилл, современник Тацита.

А восстание Бато? Светоний говорит, что война с иллирийцами при Тиберии и Германике была «самой трудной из всех внешних войн после пунических». 16 января 12 года н. э. Тиберий праздновал свой панноно-далматинский триумф в Риме. Перед колесницей шел с опущенной головой, закованный в цепи Бато, вождь восставших... В память триумфа была сделана одна из самых известных гемм — «Гемма Августа», на которой изображены Август, Тиберий и Германик среди богов, а на другой рельефной группе — пленные. Мы видим, как римский солдат тащит за волосы иллирийскую женщину... Последний акт исторической

трагедии совершился в одной из боснийских крепостей, где ни одна женщина не отдалась в плен — они бросались в огонь с детьми! Вот почему гемма запечатлела женщину-иллирийку... Искусство завоевателей не может не лгать. Но потом остается память об искусстве и забывается повод. И кто знает, может быть, и мастер-римлянин запечатлел в этом гордом повороте головы непокорность древней иллирийки, непокорность, которой он сочувствовал сам?.. Достоин удивления, что Бато не был казнен, как это было принято во время триумфов, а был сослан и умер в Равенне. Его упоминает Овидий.

— ...А в Бакре, — говорит Флакер, — в Бакре эта рыба ценится особенно, редкая рыба...

...Бакра. Каждое название говорит здесь историческим голосом. И я улыбаюсь собственным мыслям: надо же, такое совпадение — будто нарочно от древнейших времен до наших дней протянулась эта ниточка связи героической преемственности Свободы... Бакра... 1927 год. Летний вечер. Кричат чайки. Рыбаки уходят в море. Группы гуляющих на набережной. И вдруг в предзакатном воздухе раздается звон цепей. Из местной тюрьмы ведут скованных одной цепью коммунистов. Их семь. Седьмой — коренастый молодой человек. Его имя — Иосип Броз Тито... Загребская газета «Новости» писала потом: «Вчера продолжался коммунистический процесс... После окончательного допроса обвиняемого Новоселича в зал привели Иосипа Броза, безусловно самую интересную личность в этом процессе...» На допросе Тито сказал, между прочим: «Я считаю, что естественные законы выше тех, которые один класс создает, чтобы угнетать другой. За свои идеалы я готов пожертвовать жизнью». Среди других документов найден протокол от 30 ноября 1931 года (правление Мариборской тюрьмы). Там есть такое место: «Из камеры приведен заключенный № 483 Броз Иосип, и на вопрос, почему он не просит условного освобождения, он заявляет: «По моему мнению, предписания об условном освобождении вообще не могут применяться к политическим заключенным, так как это бы означало, что они должны отказаться от своих политических убеждений... Я же не могу отказаться от своих политических убеждений, и поэтому я и не прошу об условном освобождении».

— Это южнее Караванки, — говорит Славко...

И снова название это приводит на память то место возвания ЦК КПЮ: «...Вчера солдаты Гитлера растоптали свободу австрийского народа, сегодня она уже готовит удар против Чехословакии, а завтра ее части через Караванки ворвутся в Югославию...»

Хвар... Корчула... Бакра... Караванки... В этих названиях живет история, как в старых сербских названиях Прахово, Деспотово, Враново говорит история турецких нашествий...

Но кроме этих старых общеславянских воспоминаний, кроме истории общей героической борьбы с фашизмом, разве и сегодня не общее дело делаем мы в мире?

Нет, не только литературные интересы сблизили нас за этим щедрым столом!

И как бы отвечая моим мыслям, доносится голос Саши Флакера:

— Масштабы, милый, масштабы!.. Живели! Живели!

...Возвращались поздно. Остановили такси. Водитель «мерседеса» — частник — оборудовал машину стереовоспроизведением звука. Славко в восторге. Оказалось, он владелец крупнейшей в Загребе фонотеки классической и современной музыки. Мы давно уже стояли у подъезда «Интернационала», и швейцар трижды пытался открыть дверцу, но убежал, ежась от ветра, — Славко и шофер свистели друг другу мелодии и радостно хлопали в ладоши, если оказывалось, что у обоих есть в коллекции «этот экземпляр». Они умудрились «свистеть» даже Баха и Хиндемита. Наконец я шутя обратил внимание на счетчик. Шофер машинально выключил счетчик и продолжал:

— Та-а-ап-тап... Синкопа!

— Синкопа! — радостно закричал Славко.



— А потом это: ти-рилири-пара, п'ямб, п'ямб...

— Выходи,— тихо сказал мне Флакер,— теперь он его не отпустит скоро.—

И открыл дверку.

Славко пожал протянутую руку, продолжая дирижировать и не оборачиваясь. Мы поцеловались с Флакером.

Подымаясь в лифте, я поймал себя на том, что вполголоса напевал: ти-рилири-пара, п'ямб, п'ямб...

## 25 сентября

Мы едем в Вараждин. Вараждин — это древняя столица хорватов. А мы — это брызжущий здоровьем толстяк и весельчак Бранко Хечимович, режиссер Звонимир Байсич и я. Байсич — типичный Грегори Пек, лучше не определишь. Сдержан, сухощав, мускулист, прищуренные глаза, умная ироничность и доброта. Он за рулем какой-то сумасшедшей машины, какого-то загребского экземпляра «ягуара», этот зверь даже не перебирает лапами, а просто летит, не касаясь земли. Эта дикая кошка, эта пантера — предмет особой любви Звонко. Он написал не один телевизионный сценарий, чтобы купить эту полоумную тигрицу, а сценарии телевидения — дело наиболее доходное в Югославии. Не могу даже представить цену. И не хочу представлять. Только бы не разжать пальцы, судорожно вцепившиеся в кожаные кольца на потолке. Скрежет, визг, рев, мир слит в одно зелено-желто-голубо-белое месиво. Когда мы наконец останавливаемся у корчмы, чтобы Бранко, у которого все время почему-то сегодня пересыхает в горле, мог пропустить стопку ракии, а Звонко — выпить чашечку кофе, мимо корчмы, гудя каким-то замысловатым сигналом наподобие крика петуха, которым пугают черта в опере Гуно «Фауст», проносится машина вараждинского режиссера... Звонко бледнеет. На столик швыряется бумажка, мы выбегаем к машине, дикая пантера гонится за мышонком. Конечно, мы их догоняем, конечно, они виляют и тщедушно гудят своим петушиным гудочком, чтобы загородить нам дорогу, но все это заканчивается как всегда: я зажмуриваюсь, Звонко вжимается в сиденье и резко выворачивает баранку, мы куда-то летим, кажется на сосны, но потом опускаемся на три точки далеко впереди вараждинского режиссера и его компании. Бранко хохочет, включает музыку, я немного разжимаю потные пальцы...

Мир заключается где-то в сумерках, не доезжая километров десяти до Вараждина. Мы все сидим в корчме и поем народные песни. Две дамы — жена и дочь вараждинца — то и дело поглядывают на часы, но мы спокойны: режиссер с нами, представление все равно не начнется, пока мы не приедем.

Вараждин подобен средневековому замку, из которого на время выгнали рыцарей. На выложенной плитами площади у городской ратуши, похожей по размерам на коммунальную кухню в старой московской квартире, стоит сотня велосипедов, слабо подсвеченных железным фонарем с цветными стеклышками. Матово мерцают спицы. Возшла луна, мы бродим по старому городу, по кривым и узким улочкам притихшие, очарованные. Театр окружен машинами, светятся рожки фонарей, колонны, уходя вверх, теряются во тьме.

В театре сыро, холодно, как и подобает быть в старом рыцарском замке. Сегодня премьера, открытие сезона, и много загребской публики. Мои друзья не успевают кланяться. Бранко тихо представляет мне каждого и каждую. Я улыбаюсь: это похоже на то, как только что мне представляли дома Вараждина: «Десятый век, а это позднее средневековье, обрати внимание на линию портала... Здесь жил бургомистр... Видишь эту виноградную ветвь, это...» Я таращил глаза, но все сливалось в темноте. Я старался угадывать, мобилизовал фантазию, вспоминал прочитанное... Теперь Бранко хочет, чтобы я понял разницу между Здравко Длинным, ну, тем, что написал рецензию на второе издание монографии о Мештровиче, и Здравко Толстым («Да не этот, с баками который...»), от которого ушла жена при таинственных обстоятельствах... Я смеюсь и зажимаю уши. Он хлопает меня по спине и тоже хохочет. Бранко тащит меня в артистическую, распахивает

крашенную синим дверцу, там кто-то визжит. Он захлопывает синюю и распахивает желтую. На шею ему бросается какая-то дама в средневековом одеянии:

— Бранко!

Я толкаюсь в узком коридорчике среди пажей, крестьян, мещан, мимо меня проходит женщина в такой широкой шляпе, что она вынуждена положить головку на плечо, и так, будто ее перекинуло от паралича, она и проходит, не забывая даже из этого крайне неудобного положения скосить нарисованные глаза — о, любопытство! Кроме меня, тут, видимо, все знают друг друга, и я на минуту представляю себе, что было бы, если б Бранко не привез меня, кому бы они впервые играли...

По дороге в ложу мы наталкиваемся на Звонко. Он прижал к стене какого-то старика в одежде дворянина, со шпагой и в парике и клянчит у него запасные части к автомобилю.

— И у вас это проблема? — спрашиваю я уже в ложе шепотом.

Звонко отвечает уклончиво, делая жест правой рукой, как дирижер, который собирался дирижировать «на три четверти», но потом раздумал.

Занавес подымается.

— Тут несколько профессионалов, остальные... любовники, — шепчет мне по-русски Бранко.

— Любители, — шепчу я, — любовники — это другое.

— Другое, — послушно вздыхает Бранко. — Я стал забывать. Мало практики.

После спектакля — импровизированный банкет, цели которого я как-то не понял: все быстро съедали бутерброды с икрой и колбасой, выпивали пару рюмок виньяка, бокал-другой вина и спешили в соседнюю залу. Она была вся в виньетках и амурах и нагоняла какой-то виньеточно-амурный дух на гостей. Посреди зала сидели три бородача (саксофон, гитара с электроприводом и контрабас). Одна из бород пела в микрофон, а две другие издавали звуки, напоминавшие хлопанье пробок. Все три бороды, конечно, невероятно дергали ногами, сучили разнообразных расцветок носками, корчились в судорогах и при этом имели на лицах выражение полной индифферентности к окружающему. Когда долго смотришь на современный джаз, почему-то вспоминается Будда и самоуглубление в форме внутреннего экстаза философии «дзен» или «чань», для которой характерно отрицание иерархии таланта и бездарности, серьезных дел и пустяков, здравого смысла и абсурда... Одна из актрис, хорошенькая, со вздернутым носком и длинными ногами, едва стерев грим и переоблачившись в вязаное мини, двигала худенькими руками и волнообразно перемалывала бедрами невидимое зерно. Этот жернов работал хорошо и не подводил. Публика, в основном молодежь, делала вид, что не смотрит на ее ухищрения, — так велит неписанный закон модерна, тот, кто танцует, в свою очередь, должен делать вид, что он на необитаемом острове. Потом вторая актриса, небрежно сбросив туфельки и потянувшись с видом сомнамбулы, вошла... в воду. Такие жесты сопровождали ее движения: она попробовала носочком плитки пола (старинная мозаика превратилась в озеро), зябко свела плечи, обхватив голые локти гибкими кистями, потом потерла коленкой коленку, опускаясь все ниже... Контрабас гудел неустойчивой дрожью, а женщина начала хватать себя растопыренными пальцами за бедра, сильно подбрасывая локти назад. Закричал саксофон обиженно и призывно.

— Едем в Чаковец, — сказал Бранко, увлекая меня.

...Ночной туман сделал дорогу невидимой. Звонимир трубил, как архангел, и не сбавлял скорости. Я почему-то перестал волноваться, видимо, оступел. За нами вихлялся мышонок вараждинца. Он то отставал, то нагонял нас, когда мы стояли у шлагбаума или просто поджидали его. У второго шлагбаума из приемника раздался звук югославского гимна. Звонко вышел, выпростал антенну повыше и стоял по стойке «смирно». Вышли и мы с Бранко, и хотя они явно дурачились, изображая ритуал, мне показалось, что лица их стали немного сентиментальными. Дослушали гимн мы вполне серьезно.

Чаковец — маленький городок, который я не видел. Была глубокая ночь, а по ритуалу вараждинцев премьера «обмывается» в ночном ресторане Чаковца.

Все тут было, как бывает в ночном ресторане. Люди с синими кругами под глазами усиленно выполняли программу по веселью, хотя у каждого читалось в глазах одно и то же: «И какого черта я ломаю комедию перед ними, а они передо мной: ничего так не хочу, как завалиться спать...» Был седой маститый режиссер в бабочке (мне шепнули на ухо, что он бездарь, но умеет устраиваться и держаться на поверхности), была избалованная примадонна со следами былой красоты и капризами, свойственными возрасту (она играла роковую страсть к молодому актеру, который, конечно, не замечал), был, наконец, милый «русский Коля», вихрастый и наивный малый (он играл в спектакле одного из слуг), который допытывался у меня, есть ли такой город Романовск в России, он его никак не может найти на карте. Его осовелые дружки сопели, готовые вот-вот расплакаться от сочувствия: Коля — сирота, кто-то кого-то бросил, не то мать Колю, не то отец Колину мать. Коля мне понравился. Он все расспрашивал меня про Украину. Фамилия его отца Божко, а материнская девичья — Шевченко. Больше он ничего не помнил. Родители уехали за границу до его рождения. Типичная военная история. Отец попал в окружение, бежал из лагеря военнопленных, воевал в партизанах, но вернуться на родину побоялся, говорили, что всех окруженцев либо расстреливают, либо ссылают в Сибирь. Он женился на украинке, которую угнали в Германию, но которой удалось бежать от хозяина. Она выступала в цирке, пела цыганские романсы, ездила с партизанским ансамблем по лесам и горам и там познакомилась с Божко. Он ее увез с собою ночью, подсадив на лошадь, навьюченную листовками и газетами, которые Божко вез в штаб бригады из партизанского центра. Лошадь знала горные тропки. Божко шагал сади, держась за ее хвост. Так они шли две ночи и два дня. Циркачка иногда всхлипывала — жалела оставленную трупку, — а Божко скрипел зубами от ревности. Потом они мирились где-нибудь на лужайке, слушали шум горного ручья и пение птиц. На последнем перегоне их обстрелял немецкий патрульный самолет. Божко пристрелил смертельно раненную лошадь. Потом они шли молча, таща на себе тяжелые вьюки с пропагандистскими материалами. Впоследствии циркачка говорила, что решение оставить Божко созрело у нее еще тогда, на горном перевале, когда он целился в голову лошади... Правда, от замысла до воплощения прошло года четыре и за давностью лет женщина могла и что-то забыть. «Русский Коля» почти не помнил ни отца, ни матери. Я обещал написать ему, есть ли такой город Романовск на карте СССР, если, конечно, его не переименовали.

Из других впечатлений чаковецкой ночи запомнился носатый барабанщик-виртуоз с густыми бровями и прямой спиной. Руки его выделялись чудеса, но лицо оставалось надменно-презрительным. Мои друзья уважительно шепотом поведали мне, что человек этот едва ли не главная достопримечательность Чаковца: он последний в роду аристократов. Фамилия его такая древняя и такая знаменитая, что мне ее даже не осмелились произнести, только покачали головами. Я нет-нет да и поглядывал на аристократа, который подбрасывал палочки и ловил их с видом молчаливого упрека эпохе войн и революций.

## **27 сентября**

Пишу уже в Любляне. Вчера встал в восемь, а лег в пять часов. Пантера Байсича пронесла нас через ночь, утренние сумерки и розоватый рассвет. Эта ночь добила даже Бранко. Его крупная стриженная голова принимала самые причудливые позы: сползала по плечу, выпрямлялась, скатывалась, как спелый плод, снова, чтобы уже вместе с туловищем начать заваливаться на баранку. Байсич невозмутимо отваливал локтем брненное тело Бранко, и оно на некоторое время принимало удивительно вертикальное положение.

Хорошо еще, что мы успели к утру в Загреб. Бранко обуревала идея ехать в Будапешт, чтобы выпить хорошего кофе.

Мы находились километрах в двадцати с чем-то от границы с Венгрией.

Я побрился, собрал вещи, позавтракал, а Смилки с билетами на поезд Загреб — Любляна все не было. Я спустился в вестибюль. Пока я глазел на яркую

рекламу Дубровника и Сплита и ежился от холода — здесь вдруг похолодало, — ворвалась Смилька:

— Здравствуйте! Хорошо спали, а я танцевала, можем опоздать на поезд, хорошо, нет проблем, вполне можно опоздать... Такси, минут десять, первый класс, два часа — и Любляна, нет проблем...

Мы втащили чемодан в такси и с ходу понеслись, шофер понял свой маневр. На вокзале страшная толчея. Я, запарясь, бегал за Смилькой, которая бодро пропустила меня не думать, что есть какие-то проблемы, но почему-то бегала по замкнутому кругу. Оказалось, что, во-первых, нашего поезда еще нет, во-вторых, что наш поезд есть, но на другом пути, в-третьих, что вагон первого класса находится в голове, а не в хвосте поезда, в-четвертых, что в голове состава нашего вагона нет, а он и есть тот самый, который прицеплен в хвосте... В довершение всего в нем столько народу, что я не мог и мечтать пробиться с чемоданом сквозь тамбур. Смилька, махнув мне ручкой и улыбаясь, побежала вдоль поезда, а я, вздохнув поглубже, кинулся головой вперед вверх по лесенке, ведущей внутрь. Мне удалось пробраться в толпе и застрять где-то на уровне третьего купе. Здесь я успокоился. За стеклянными дверцами сидели счастливыцы, отирая разгоряченные лица. Красивые авиационные мягкие кресла, вроде старинных вольтеровских. Виды Сплита и Дубровника в аккуратных рамочках. Я отвернулся, чтоб не расстраиваться. За минуту до отправления ко мне ввинтилась сияющая Смилька:

— Прощайте, вернее, до свидания, все хорошо, мест нет, будете стоять, все вагоны — то же самое. Даже хорошо — красивые виды, мне приятно!

— Мне тоже, — вежливо сказал я.

Смилька вывинтилась в тамбур, поезд тронулся. Пошли красивые виды, которые мне обещала Смилька.

Понемногу я стал прислушиваться к тихой, по-европейски, беседе крестьян, от которых вкусно пахло копченостями. Они стояли за моей спиной — два старика и старуха, — жевали и беседовали. Речь шла о цене на сливы и о том, как их лучше хранить — в песке или без.

Продвигаясь боком, приближался контролер с большой рыжей кожаной сумкой. Я заметил, что билеты у всех бумажные, а у меня картонные и зачем-то целых три. Контролер посмотрел на меня, на билеты, пробил их и отодвинул дверцу купе. Там что-то долго возились, потом контролер сердито говорил, показывая на меня. Пожилая женщина тоже показала на меня и потом на свою дочь, которая встала, густо покраснев, и отодвинула дверь купе. Контролер строго сказал:

— Непорядок, гражданин с билетом первого класса стоит в коридоре, а вы не хотите доплатить за второй класс! Садитесь, пройдите, уступите место, безобразие.

Я отказывался, но все в купе стали хором просить меня, и пришлось войти и сесть. Я понял, что в связи с этим поступком одновременно отпадает вопрос и о доплате. Некоторое время я порывался уступить место стоящей передо мною как немой упрек девице, но та гордо отказывалась, продолжая пламенеть. Постепенно меня перестали разглядывать исподтишка, и начал разглядывать остальных я. Это были две семьи. У тех и других — невероятное количество вещей. Из разговоров выяснилось, что едут они во Франкфурт-на-Майне, а другие так вообще в Аргентину. В Аргентину ехала мать или тетка с двумя девицами. Та, которая уступила место, и другая, постарше, с заплаканными глазами. Они шептались о чем-то, и потом заплаканная сказала:

— Говори по-испански.

Они стали громко и быстро чесать по-испански, и тут я уже совсем ничего не мог понять. Этим они мне отомстили, видимо, за вторжение.

Зато старики и молодая женщина, возбужденная и то и дело проверявшая свои клунки, как будто они могли исчезнуть путем черной магии, говорили по-хорватско-сербски, так что я мог понять кое-что об экономической эмиграции. Во-первых, я понял, чем обязан такому столпотворению пассажиров. Я угодил на рейс, которым обычно для внутренних сообщений люди не пользуются. Возвращались отпускники, работавшие в ФРГ по договору. В это время все вагоны переполнены

и различие в классах относительное. Работа ведется по сезонам, граница открыта, люди ездят в Западную Германию и обратно иногда целыми семьями, но чаще кто-то остается на хозяйстве. Эта женщина, например, что пересчитывает узлы, рассказывала:

— Я говорю Васко: что ты наработаешь, гвоздь забить не можешь, все валится, кашляет, чуть что — полежу маленько. Я говорю, оставайся с детьми — их двое было, — отправляй в школу, готовит старшая — ей девять, она все умеет, в меня, — а ты так смотри, чтоб порядок. Ну, и через день — он шофер — поезди туда-сюда, не надорвешься... Я, гляди, скоро вернусь... — она хитро засмеялась, — так по-моему и вышло. Надула я немца. Ох надула! Я уже на шестом месяце была. Получила сполна и вот еду опять... Не ехать нельзя. — Она вздохнула.

— Понравилось, поди, — восхищенно смеется беззубая старуха, а ее старик что-то, наклонясь, шепчет молодой на ухо. Та прыскает и делает вид, что смущена, совсем по-русски закрывая лицо краем платка. Но глаза остаются серьезными.

Потом рассказывает старик:

— Да, он, немец, умный. Порядок знает. Опять же работу понимает. Справедливый. А глядишь, дурак дураком в некотором роде. Вот, к примеру. Купил я немцу-хозяину ящик пива, бутылок двадцать, и попросил, чтоб вместо двух три недели отпуска дал, мне, говорю, по хозяйству надо поделать, а потом приеду, как же, «гут». А чего, казалось бы, «гут»? Взятку не берет, а за пиво пустил, а пиво это гроши стоит...

Старик хлопает себя по коленям ладонями и беззвучно сотрясается — приятно вспомнить, как и он надул немца.

— Как вы только решились в Аргентину, даль-то какая... — начинает говорливая молодуха.

— И не говорите. — Мать или тетка девиц, щебечущих по-испански, только горестно разводит руками. И не прибавляет ничего.

— Я вот все думаю, — продолжает старик, — что немец за человек? Я, к примеру, заработаю на дом, гну спину, чтоб купить автомашину, потом стиральная машина, ну, там, телевизор с хорошим экраном... Что еще? — Он обвел глазами присутствующих, подождал ответа...

— Ну, садик, — сказала молодая. — Я садик хочу для детей.

— Ну, садик, — снисходительно согласился старик. — Так что, я спрашиваю, ему не сидится, когда у него и дом, и садик этот, и машины две — две! — и сарай, и механика разная! А он все чертоломит да еще надо мной, бедняга, не спит — наблюдает. «Гут, гут». Что за люди... А нам приходится ехать... Зарабатывать на жизнь... Что поделаешь...

Вспоминается Майер, тот уверен, что придет время «платить» по круглому счету. Пока же мои случайные попутчики платят по частным, личным. Сложная бухгалтерия... «Не ехать нельзя» — остается в итоге...

Прервал запись. Приехали писатели-словенцы, повезли на озеро Блед. Допысываю глубокой ночью.

Отель «Турист» поразил обилием комфорта. Номер средний по цене. В Любляне с ним не сравнишь фешенебельного «Льва», скажем, где останавливаются американцы, но и здесь мне хватило поводов для удивления умелым, добротным, современным оборудованием, отделкой, целесообразностью всех деталей. Признаюсь, я очень люблю современное начало в быту: скрытые светильники, встроенные шкафы, все эти кнопки, светящиеся табло, блестящие краны в виде красно-синих маховичков, которые нужно вертеть по часовой стрелке, и по горизонтали, и по вертикали — три разные функции при лаконичной форме. Лежа дотягиваешься до всех нужных и ненужных тебе кнопок. Кресла подогнаны как будто специально для тебя, сел — отдыхаешь. И ничего не хрюкает в трубе, не сипит в ванне, не течет, не подтекает, не облезает, не дует под дверь, не закрывается так, что потом не откроешь, и не открывается само, хотя должно, по мысли и идее строителя, как раз закрываться накрепко... О, строительный гений словенцев! Качество здесь поистине на высоте. Это не Белград, даже не Загреб.

Так мне и говорили, впрочем, и сербы и даже хорваты. Нехотя, правда, но признавали: Словения в этом вне конкуренции.

Итак, насладившись комфортом, перещупав кнопки и рассмотрев отличные письменные принадлежности (кому бы написать письмо на этой бумаге с гербами?), прихожу к выводу, что наигрался в игрушки. Ложусь и чувствую нарастающую тоску. Это у меня всегда наплывает неожиданно, сразу. Стоит уехать из дому надолго. Нужно все время нагнетать новое, захлебываться информацией, не иметь времени для сна и отдыха — тогда ничего. Даже интересно. Без дела находиться за границей не могу. Ностальгия? Честно говоря, нет. Я в это чувство как-то не верю. Не приходилось испытывать, может, потому, что по-настоящему долго не был за границей, и интересно всегда новое, разве человеку может надоесть познание мира? И потом, куда от тебя денется родина? Она всегда с тобой. И ты — с ней. В наш век особенно не проходит кокетство с ностальгией. А что же тогда моя тоска?... Мне иногда кажется, что я почти постигаю ее сущность, но потом теряю нить... Наверное, она оттого, что я немолод и чужое, чуждое, хоть и интересное, словно отделяет меня от того, что есть «я» и уже мне не успеть быть одновременно и этим, и тем, и еще другим... Конечность времени понятней за границей. Свойственное каждому человеку чувство, непостижимое и сладостное, почти детски-наивное, — это пока я — я, а потом я еще стану им, проживу новую жизнь, где будет еще что-то, узнаю то, чего не знал, воплощусь в нечто новое, проживу иную жизнь... Не так, конечно, и подсознательно, неотчетливо, не так категорично, но ведь чувствуем мы нечто подобное! И потом, прежде чем приехать в Югославию или Финляндию, человек что-то да знает о них, читал, видел в кино или на картинках. И вот происходит чудо узнавания, разочарования, а потом нового глубокого узнавания, почти мистического (вот здесь поворот, потом будет дом, окруженный садом, трещина на плите и журчанье фонтанчика... И они есть за углом — и дом, и сад, и трещина на плите, и фонтанчик!)... Вспоминаю один рассказ: человеку снился один и тот же сон — дом, увитый растениями, портал, двор в плитах. В старости он приехал в Италию и нашел этот дом. Все бы ничего, но старый монах, сторож, сказал ему, что сразу узнал его, он видел человека по ночам, он ходил здесь! Страшный рассказ. Мне всегда казалось, что я уже был и жил здесь, в Загребе и Любляне, Сплите и Будапеште, в Турку и в Варшаве... И когда-то это радостно возбуждало меня, а теперь нагоняет тоску. Как-то я говорил с другом, писателем Сергеем Зальгиным. Он рассказывал замысел фантастического романа. Там человек встречается с феноменом своей памяти. И слышит признание очень важное: знание убивает память. Наш век, продолжал Зальгин, перенасыщает нас информацией, сумма знаний при желании индивидуума может стать практически бесконечной, правда это мертвая сумма, но не в этом суть, она замещает что-то, вытесняет, — это главное. Иногда они, знания, вытесняют память. Я могу знать, что было со мною в таком-то и таком-то году, но я не в силах прочувствовать тот год, то состояние, воплотиться в себя прошлого. Рвется какая-то нить, думал тогда я, расставшись с Сергеем, взволнованный мыслью, в сущности, и мне знакомой. Когда осознаешь грустную закономерность конечности всего живого, а это бывает в зрелости, хочется закрепиться в одном, каком-то более привычном тебе, родном состоянии: в нем видится залог прочного существования здесь, в этом мире. Все это не твое, временное твое, а жить осталось не так уж много, надо перестать гнаться за новизною, надо перестать обманывать себя: ты не будешь жить иной жизнью, не станешь им, им и еще этим, ты останешься самим собой, со своим уготованным тебе миром...

Я расфилософовался, когда раздался звонок и веселый, я бы даже сказал, кокетливый голос спросил:

— Товарищ Огнев? Здесь Якопин и Доллар, писатели, мы немножко поговорим по-русски. Если вы спуститесь в холл, мы поедем путешествовать немножко и немножко ужинать потом.

Якопин оказалась милая женщина с веселым характером, ямочками на щеках, остроумием и обаянием. Достаточно было одного из этих качеств, чтобы под-

нять мое настроение, а тут — целых три. Яро Доллар, седой господин с белыми манжетами, ослепительной улыбкой превосходных по его годам зубов, дополнял компанию великосветским обхождением, не позволявшим нам далеко уклоняться в сторону легкого зубоскальства, — он поминутно возвращал нас с Гитицей (так звали Якопин) на почву полезных сведений краеведческо-исторического характера. Вел машину юноша, сын Гитицы, молчаливый, но саркастически улыбающийся молодой человек, очень современный во всех смыслах. По-русски он почти не говорил, а его мать перевела «Анну Каренину», а его отец даже преподавал советскую литературу в Люблянском университете.

Меня посадили рядом с водителем и заставили опутаться ремнями и распутаться самому.

— Если вы упадете в озеро, надо уметь расстегнуться, — успокоили меня.

Век живи, век учись. Я усвоил и эту науку и мгновенно расстегивался, когда вылезал из машины, чтобы полюбоваться видами.

А виды здесь умопомрачительные. Смилка права: весь путь от Загреба до Любляны сказочно красив — горы, поросшие осенним лесом, гулко отдавали эхо паровозного гудка; они надвигались с двух сторон, сужались наверху, становилось темно, из открытых окон обдавало запахом густо настоящей хвои, потом расступались, изгибаясь плавно, открывая вид на церковь, стройную готическую игрушку; красные черепицы аккуратных домиков слепило солнцем, отраженное от высокого креста, как будто на глазах плавилось золото; голубела чистейшая река, вилась рядом с составом, на поворотах круто и внезапно вспыхивала рябью. На зеленых лужайках пасся ухоженный скот. На низких луговинах сушилось сено в особых, только здесь их строят, сооружениях, напоминающих двухметровые бухгалтерские счета, поставленные ребром и покрытые двускатной крышей. Сено защищено от дождя и одновременно просушивается ветром.

Виды в окрестностях Любляны, у озера Блед, напоминают Швейцарию, какую я видел на картинках, — голубые озера среди темно-зеленых гор, за которыми громоздятся другие снежновершинные ярусы. Машину оставили на стоянке среди иностранных машин, главным образом итальянских, но были и немецкие и даже американская одна. Поднялись по крутой каменной лесенке в гору на территорию замка, в котором теперь музей. С головокружительной высоты смотровой площадки зачарованно смотрел на озеро, островок с церковью, медленную лодочку с крохотным человечком. Она казалась неподвижной, и только капельные брызги под веслами показывали движение. Потом бегом спустились вниз. Замерзли: над горами навис вечерний туман, стало промозгло и неуютно. Ехали вдоль озера по узкой, но хорошей дороге, островок с церковкой временами приближался, потом снова удалялся: озеро имеет неправильную форму. Проехали мимо дачи Тито. Сейчас на ней никого не было. Ворота, часть забора заросли желтым вьюнком. Тихо, покойно, в сыром воздухе слышался только шорох шин да редкие приглушенные гудки клаксонов на параллельной аллее, дальней от озера. Справа стали нависать скалы, красноватые, увенчанные соснами, пропало вскоре и озеро слева, мы выехали на широкую автостраду и окунулись в волны тепло воздуха, иной микроклимат встречал нас в местечке Блед, на площади, ярко освещенной (уже стемнело). С трудом нашли место для стоянки. Блестящие корпуса машин различных марок тускло отливали красноватым отражением цветных фонариков прозрачного стеклянного куба кафе. Внутри чисто и приятно, вел ветерок подогретого воздуха. За мраморными столиками с белыми стульчиками в духе ампира съели какие-то эфирные сладости, выпили кофе и поехали дальше. Свернули на проселок и через некоторое время въехали в лесную деревеньку с домиками, похожими на украинские мазанки. Только маленькие оконца здесь в железных решеточках, а сквозь них буйно вьются красные мальвы и еще какие-то жестковатые красные цветы. Они стоят в железных баночках, в горшках. На фоне белеющих стен это очень красиво. По улочкам деревни, словно вымершей (ложатся с петухами), таились тени дубов. Деревня называется Врба, что по-русски Верба. Здесь жил знаменитый Франце Прешерн. Словенский народный поэт. У его домика выключаем мотор и выходим. Сразу окунаемся в запахи,

волнующие с детства, — трава, земля, прелый лист, навоз, дымок, чистые земные запахи покоя... Обходим продолговатый, очень низкий домик Прешерна, стучим железной кованой щеколдой о дверной дубовый косяк. Все здесь сделано крепко, прочно, увесисто. Открывает со свечой старик смотритель. Говорит, что нет света, перегорели пробки, видно. Крестится, зевает и, ничуть не интересуясь, кто мы, уходит к себе, просит позвать, когда понадобится. Свеча вырывает из мрака белую стену с факсимиле Прешерна. Читаю по-словенски отчетливый бегущий почерк. По-русски стихи можно перевести так:

Из века в век, из рода в род  
Струится кровь, дух ищет путь.

Эти строки стали крылатыми. Это понятно. Новое никогда не приходило без борьбы, без крови. Увы, и русский поэт был прав, когда писал, что «дело прочно, когда под ним струится кровь»...

Мы прошли в другую комнату с такими же низкими потолками, тоже побеленными, но скрепленными балками, увесистыми, желтыми, с бегущими трещинами, как черные молнии, застывшие навсегда. В углу маленькие черные иконки, как мы бы, атеисты, сказали, сельский примитив, плод усилий местного богомаза, сочетание наивности и веры. Посидели за крепким дубовым столом на дубовых лавках, теплых и гладких. У большой печи стояли черные ухваты, кочерга, совок. На низких подоконниках книги в темных переплетах, матерчатых и кожаных. На столике чернильница с медным колпачком, ручка без особых примет, раскрытая книга. Со свечи капало, я подставил ладонь, чтобы не повредить книгу, и обжегся. Воск застывал, стягивая кожу, хотел вытереть его о край подсвечника, и в это мгновенье одновременно с вскриком Гитицы комната осветилась вспышкой магния — современный сын Гитицы снимал нас. Нас, иконки, вышитое полотно из полотна, лавки и меня с подсвечником.

— Люкс! — воскликнул он, ворвавшись в мой сон неожиданно и разрушив какой-то тайный ход мыслей.

Все как-то сразу засуетились, потирая руки и намекая на холод, голод, и шумно потянулись к выходу. Вышел смотритель, постоял со свечой в высоко поднятой руке в проеме дверей. Полушубок сползал с плеча. Мы сели в машину и поехали под дубами и вербами, через тени стволов и веток. На дороге, которая казалась посыпанной мукой, светила луна.

Остановились на окраине Врбы у придорожной корчмы под романтически-двусмысленным названием «Ночь Амалии». Название оказалось недвусмысленным. Ночь — фамилия хозяйки, а сама Амалия совсем не похожа на царицу Тамару или Клеопатру Египетскую. Здоровенная усталая женщина не первой молодости, с засученными рукавами кофты, в белом переднике, вышитом по краям крестиком, с красными большими руками и обветренным лицом. Она и повар, и кассир, и официантка, и просто добрая собеседница проезжающих. В одной комнате стояло три дубовых струганых стола. На одном из них, у окон, выходящих на дорогу и занавешенных вышитыми крестиком белыми занавесками, лежала такая же вышитая деревенская скатерть из грубого полотна. За столом сидела компания австрийцев. Два других были свободны, мы сели в угол, я осмотрелся. По стенам развешаны громадные олени рога, патронташи, на полочке в углу — чучела белок и зайцев. Стены беленые, потолок в балках, но потоньше прешерновских, новые, с резьбой. Резные и наличники на окнах. Над занавеской в окне висела долька луны. Свет падал ненавязчиво из рожков на стенах. У австрийцев, кроме того, горели две свечи в деревянных резных подсвечниках. Австрийцы пили вино из кружинов и хохотали. Это были пожилые люди, румяные, здоровые, видимо, среднего достатка, но большие любители пожить в свое удовольствие. От них так и веяло радушием и благожелательностью. Дамы седые, завитые на один манер, в кофтах и шейных платках, мужчины в цветных рубашках и безрукавках. Один почему-то сидел в шляпе с перышком, и его время от времени хлопали по шляпе, а он, смеясь, поправлял ее и придерживал за поля, чтобы не сняли.



Яро Доллар сказал мне, что они приехали на денек провести «уикенд в Словении», что говорят они разную чепуху неинтересную, что тот, что в шляпе, — их попутчик, наверное, присоединившийся случайно. И еще он понял, что шляпу он не хочет снимать из принципа.

— У немцев принцип — главное, — сказал Яро.

Я заметил, что это австрийцы.

— Все равно, — ответил Яро.

Хозяйка принесла свежую скатерть, заглаженную по сгибам и накрахмаленную, расстилая. Что-то спросила про меня, я догадался, что они все знают Амалию и не в первый раз тут. Амалия ласково посмотрела на меня: русскому надо приготовить «наши специалитеты, если он, конечно, того желает». Я пожелал. Амалия принесла деревенского вина, немного водки, оранжаду для водителя, который вздохнул. Мать потрепала его по щеке. Следом за вином Амалия бегом притащила два подноса с разными перцами, подобием галушек в большом чугунке, блюдо со свиной, миски с капустой, кашей, куриными потрошками. Пока мы пировали, сын Гитицы не раз слепил нас магнием. Австрийцы нам не мешали, мы — им, но вдруг все мое внимание устремилось туда, за их стол. Там стало тихо, непривычно, как-то сразу оборвался гвалт и смех. Я увидел, что австриец, до того сидевший в шляпе, застыл в странной позе, не донеся рук до головы, а шляпа его оказалась в руках у соседа. Все смотрели на голову этого человека — она была страшно обезображена шрамами, напоминала маску. Сосед в молчании вернул шляпу и встал, извиняясь. Человек с обезображенным черепом отодвинул стул и вышел. Все молчали сначала, а затем заговорили, жестикулируя и, видимо, требуя от соседа, снявшего шляпу с их спутника, чтобы тот догнал, вернул несчастного. Яро и Гитица сидели спиной к компании, все произошло мгновенно, и Гитица спрашивала:

— Что? Что там?

— Ничего не произошло, — почему-то соврал я.

До сих пор не знаю, почему я так сказал. Австрийцы поспешно расплачивались, Амалия провожала их, а Гитица продолжала свой рассказ о чем-то легком, веселом и беззаботном, как вино... Я спросил безо всякой связи:

— А что вы делали в войну?

Гитица удивленно посмотрела на меня и ответила серьезно:

— О, это печальные воспоминания. Меня прятали от немцев. Мне было девятнадцать лет. Понимаете? Коса, румянец...

Я понимал. Мне тоже было столько же лет тогда. Я жил на юге, в Анапе. Когда мы с другом моим Сашей Сторчевым пришли из военкомата, мама рассказывала, что видела одну нашу соученицу: она шла из парикмахерской и плакала. Мама спросила ее, что с ней, она ответила, что постриглась, чтоб легче было на фронте. Она записалась в санитарки. «Чего же ты плачешь?» — спросила ее мама. «Косу жалко», — отвечала та. Гитица спросила, чему я улыбаюсь. Мне снова не захотелось говорить о своем давнем. Я сказал:

— Улыбаюсь печальным воспоминаниям...

## **28 сентября**

Утро. Завтракая в отеле, поднял голову. Надо мной стоял человек в плаще с поднятым воротником, аскетическим желтовато-серым лицом, с сигаретой в руке. Он назвал меня по фамилии. Я кивнул, пригласил сесть. Он представился:

— Я Р. Зовут меня Дане. Из комитета ветеранов. Слышал, что вас интересует партизанское движение в годы войны. Хочу помочь. Пришел. У меня машина. Хотите, поедем. Я покажу вам одно место. Партизанскую больницу.

Говорил он сухо, даже вяло, но в словах чувствовалась твердость и непонятная мне жестокость. Удивительный тип, подумал тогда я. Кто его прислал? Он сам. Услышал разговор в Союзе писателей. Подумал, что может быть полезен. А потом, всегда найдутся люди, которые уведут в сторону, покажут не то, мно-

гие уже забыли прошлое. Хотят жить сначала. А жить сначала нельзя. Дане сжал костистый твердый кулак. Безо всяких церемоний он сыпал пепел в тарелку с маслом, которое я только начал мазать на хлеб. Я наскоро допил кофе и спросил:

— Мы можем ехать сейчас?

Меня захватила эта идея, Дане показался вдруг понятным и простым, с ним я могу расслабиться, думать свое, он какой.

— Давайте просто вести себя, — как бы читая мысли на расстоянии, сказал Дане. — Мне интересно только дело. Если вас действительно волнует то, что было, если вы хотите что-то понять, я к вашим услугам. Нет — и мне делать с вами нечего.

— Ясно. Чего там, — сказал я и пошел вперед.

— Переоденьте туфли. Чего-нибудь попроще. Надо полазать по горам. Если нет другой обуви, терпите.

— Ладно, — сказал я. — Поехали.

Машина маленькая, скромная, светло-серая. Какой-то не новой модели «фиат».

Мы долго выбирались из города. Утро серое. Дороги забиты. Дане ворчал:

— Чертов стандарт. Буржуа. Каждый норовит отхватить машину. Забили город воню и стоянками. Проще сделать дешевым такси.

— Но и вы отхватили? — говорю я, усвоив тон Дане.

— Конечно. Глупость заразительна.

Некоторое время едем молча. Дане очень худ. В профиль он похож на Данте Алигьери. Костистые руки, цепкие злые пальцы, даже баранку он ненавидит, подумалось мне. Курю ли я? Нет. Он будет курить? Пожалуйста. Бросал много раз. Но нервы. Когда куришь, не так распускаешься. Опять молчим. Проехали километров десять — ни слова. Дане пыхтит сигаретой, крутит резко на поворотах, старенькая машина подрагивает и поскрипывает.

— Красиво у вас строят, — комментирую я новенький отель среди скал и сосен на повороте.

— Выставка, — цедит Дане. — Это у нас умеют.

— Выставка дает валюту.

— Коммунизм на валюту не построишь. У вас есть дети?

— Да.

— Кто воспитывает? Мать, бабушка?

— И мать, бывает, и бабушка. А что?

Дане некоторое время внимательно изучал дорогу, потом сказал как бы в раздумье:

— Я не уверен, далеко не уверен, что детей мы воспитываем как надо.

Дорога забирала вверх широкими кругами. Красные листья лежали горками по краям дороги, как будто их специально сметали в кювет. Леса подступали все ближе и наконец нависли слева довольно круто. Справа обозначалась долина, на повороте она совсем распахнулась, отбросив желто-красное свое одеяло. Стало далеко видно.

— Вот Церкно, — сказал Дане.

В долине дымилась трубы деревеньки. Она вытянулась в одну сторону, кажется по руслу какой-то речушки. Мы остановились, вышли. Вид красивый. Звучи, как всегда в горах, разносились из долины отчетливо. Пастушок играл на дудке, нечто пасторальное было в этой картине стада, в шелканье бича, лае собаки, незатейливой мелодии. Вдали белела одинокая вершина. Кажется, это Церклянский верх.

Дальше пошло вниз и вниз, километров через пять началась зеленая дорога уже вдоль реки, в долине. Мы приехали в местечко под названием Лог. Собственно местечко, о котором говорил Дане, я не видел, кругом лес, а на берегу речки Церкницы, у подошвы горы, круто начинавшейся сразу же службами, стоял каменный дом.

Мы окликнули хозяина. Никто не отозвался. Мы вошли. В чистой простор-

ной прихожей на вешалке висели куртки и комбинезоны, почти новые. Слева открытая дверь вела в просторную столовую с длинным столом и городской мебелью — низкий сервант, хорошие стулья с соломенными сиденьями. Из столовой также открытая дверь вела в кухню, в которой стояла большая печь с шестью конфорками, на стенах висело много крупной металлической, до блеска начищенной посуды. Мы еще раз окликнули хозяев. Тишина. В открытое окно донеслось мычанье коровы, да ветер шевелил ветки сосны, и они шушали вверх друг о друга, деревья росли здесь уже на склоне, довольно густые их заросли зеленой тенью легли на беленые стены кухни. Наконец послышалось шарканье ног — сверху по лестнице кто-то спускался в прихожую. Мы поспешили обратно. Щурясь от света, бывшего в открытую входную дверь, смотрел на дорогу высокий плечистый малый, лохматый, в расстегнутой черной рубашке. Странной казалась его поза. Руки в карманы, стоит, не обращая на нас внимания, и смотрит мимо нас. Дане кашлянул, парень спокойно перевел взгляд на нас. Глаза задумчивые, с поволокой. Он не сразу разглядел нас, стоял как бы вспоминая что-то, потом медленная улыбка, виноватая, извиняющаяся, растянула его лицо. На вид я бы дал ему лет двадцать.

— Здравствуйте. Нам нужно Млакара Метода, — сказал Дане.

Парень, не отвечая ему, протянул мне руку и засмеялся. Я смутился. Рукопожатие очень сильное — у меня заныли пальцы. Кто-то шел со стороны дороги. Парень вздрогнул и приложил палец к губам. Потом он быстро побежал наверх, перепрыгивая через три ступеньки.

— Паец. — Я пожал плечами.

Дане казался невозмутимым.

Вошла женщина, по-деревенски повязанная платком, но одетая по-городскому. Седые волосы, густая сеть морщин на лбу и под глазами не очень соответствовали молодому взгляду приветливых глаз.

— Добро пожаловать, — сказала она певуче. — Я тут отлучилась ненадолго. Муж? Он скоро придет, работает наверху. — Она показала на гору.

Дане объяснил, кто я, и сказал, что мне будет интересно побеседовать со стариком. Он так и сказал: не с мужем, а со стариком. По всему видно было, что Дане тут не первый раз. Они говорили теперь об общих знакомых из Любляны.

Хозяйка предложила нам пообедать, Дане согласился.

— У вас есть постояльцы? — спросил Дане, когда мы сидели за столом с хозяйкой.

— Так, один-два в это время года. Проездом.

Я хотел спросить про парня. Даже поднял глаза к потолку, будто указывая направление своего вопроса, но передумал спрашивать. Хозяйка разливала домашнее вино по керамическим низким и широким чашкам наподобие наших среднеазиатских пиал. Вино светлое, но в чашках казалось темным. Хозяйка, рассказывая, водила пальцем по скатерти, как будто рисовала круги. Лицо у нее доброе, спокойное, руки рабочие, но аккуратные.

— Это вроде гостиницы для проезжающих, ну, мотель, что ли, — пояснил мне Дане. — Млакар построил дом давно, до войны. Он был вроде старосты, старший в Логе. В войну тут немцы появлялись эпизодически, их пугали лес, ущелье. Но в Церкно, а тем более в Идрии, стояли посты. Сначала итальянцы, а после капитуляции Италии — немцы. Воевала в этом районе наша бригада, а всего бригад в крае было семь и входили они в Девятый корпус партизанской армии. Борьба по-настоящему началась в декабре сорок третьего года в местечке Пасице. Нас было около десяти тысяч бойцов. Первые раненые появились в том же декабре. И вот старик Млакар...

— А вот и он, — сказала хозяйка, — я слышу его шаги.

Мы ничего не слышали, но она встала, смахнула невидимые крошки со скатерти, оправила передник. Строгий старик, подумал я, наблюдая перемену, происшедшую в хозяйке. Нет, она не суежилась, просто подтянулась, как солдат, когда ему шепнут: «Ротный идет!» Старик действительно вошел через некоторое время.

— Ну и слух у вас, — улыбнулся Дане.

Хозяйка ответила просто:

— Да я уж его шаг знаю.

Млакар оказался маленьким сухим старичком с узким лысоватым черепом, запавшими щеками. Одет он был в поддевку, на ней оставались следы опилок. Он поздоровался спокойно, с достоинством, нахмурил кустистые седые брови, когда Дане попросил его рассказать мне о какой-то Фране. Дане быстро и горячо заговорил по-итальянски. Старик все чаще поглядывал на меня и, как мне показалось, постепенно теплел. Он тоже быстро отвечал по-итальянски. Тут недалеко до Триеста. Словенцы — многие, особенно, разумеется, старшего поколения — хорошо, свободно говорят по-итальянски, это их второй родной язык.

Млакар закивал головой, встал и пошел мыть руки. Хозяйка и ему поставила прибор, но он, возвратившись из кухни, молча показал ей, что есть не будет, когда же она протянула руку, чтобы убрать чашку, он закрыл чашку ладонью и продолжал говорить, теперь уже по-словенски.

— С чего все началось? — Он смотрел теперь только на меня. — Началось с того, что пришел доктор Волчак и сказал: «Млакар, у меня в лесу раненые. Думай скорее». Он не сказал, что я должен думать, но я и сам знал.

Хозяйка стала разливать вино, пододвинул чашку и Млакар.

— Ваше здоровье... Я сказал доктору, что возьму шапку, и мы пошли. Пока я искал шапку — знаете, она всегда теряется, когда о ней не думаешь, — я решил, что делать. Мы пошли с доктором вверх, — старик показал рукой за спину, в сторону горы, — я привел его в каньон, где с вершины, с ледников течет ручей по ступенькам из камня, и сказал: «Там можно построить больницу и лечить партизан». Доктор сначала рассердился: он увидел...

— Мы сами пойдем туда, он увидит, — гордо как-то сказал Дане, кивая в мою сторону.

Я подтвердил.

— ...Ну, а потом спросил, как будем доставлять раненых. По ручью, конечно, не по воздуху же, объяснил я. Доктор покачал головой. Ничего не сказал. А что он мог предложить? Через час-другой начнут обходить лес патрули, найдут его раненых в лесу — и крышка. Я предложил перенести на ночь раненых ко мне — у меня никто искать не будет, мне верили, я был главным сборщиком продуктов питания... Это так придумали: крестьяне наши все заодно, у нас ни одного предателя... нет, правда, один нашелся...

— А Теренций? — зло закричал вдруг Дане.

— Да, Теренций еще, два. — Млакар загнул один палец, потом другой и поднес мне прямо к носу. — Всё. Два только. Давайте пейте, вино домашнее, от него голова не болит. Прозит!

Выпили. Млакар вытер губы тыльной стороной смуглой своей морщинистой руки.

— А ты? — вдруг обернулся он к старухе.

Та стояла за его стулом, сложив руки под передником. Улыбнулась, покачала головой: не будет. Млакар продолжал:

— Крестьяне собирали мясо, картофель, пекли хлеб, большую часть тут же приносили мне, а я через явочные пункты снабжал партизан. Немцам доставалось повозки две, они и то рады были...

— А все-таки кормили их, кормили, сволочи! — Дане взрывался как-то внезапно, и краснела шея, надувались жилы...

— Я не стану рассказывать, — обиженно сказал Млакар, — ты всегда так.

Они засопели. Дане хлебал суп. Я положил руку на локоть Дане и сказал старику:

— Ну, прошу вас.

— Он же сам знает: не дай мы немцам хлеба, они вырвали бы у нас из рук заготовки, тогда партизанам пришлось бы худо... Знает, а кричит. (Дане ел сосредоточенно, будто не о нем шла речь.) В общем, ночью я перенес с Волчаком раненых в сарай, на задах там, марганцовкой промыли раны, перевязали. Она вот тоже помогала. — Старик обернулся к хозяйке, посмотрел на нее строго, буд-

то впервые осмыслил ее значение в своем рассказе, провел рукой по воздуху и махнул в сторону. — Все это «Гостилна в Логу» (гостиница в лесу), сзади три сарая. Теперь один. Сожгли потом. Вот оттуда на носилках я, она, Волчак и еще два крестьянина целую ночь осторожно носили доски... Гвозди, скамьи, хлеб — до пасаки, а там — по ручью. Ох и холодная вода сначала была.

— А потом нагрелась! — захохотал Дане.

— Потом мы нагрелись, привыкли. — Млакар вспоминал, прищутив глаза, смотрел куда-то поверх моей головы, будто рассматривал побелку в углу, вздохнул. — Камни скользкие, а надо по воде: не дай бог овчарки нападут на запах крови... Раненых мы тоже несли, на себе, на себе, на себе... — Млакар согнулся до края стола и показал, как тяжесть оттягивала плечи. — Сначала ручей идет не очень круто, по ступенькам...

— Он увидит, увидит! — опять зло закричал Дане, будто это я и был виноват в том, что путь такой трудный.

Млакар не обращал больше на Дане внимания.

— Потом почти водопад, местами можно сбоку пробить ступеньки, но сразу же пришлось маскировать. Сверху каньон уже, получается пазуха, — он закруглил руки в локтях, — вершина над этим местом заросла деревьями, сверху мы свалили несколько больших сосен, пни замаскировали тоже, сосны легли поперек — закрыли сверху пазуху эту, дно каньона стало темнее, зато получилось хитро: свет проникает, а с горы даже в бинокль ничего не видно. Только трудно туда пройти, ох трудно. А там подрубили ниши, выбили в породе пещеры, укрепили стволы поперек ручья, над ним и строили бараки — где на породе, а где на сваях. Постепенно понатаскали всего — утвари разной, хозяйства, даже динамо-машину, даже рентген у нас был! Его по частям переносили, потом монтировали.

Хозяйка принесла второе, я ел, не замечая, что ем, запивал вином, слушал, боясь, что старик устанет вдруг рассказывать или Дане его разозлит своими взрывными репликами. Но Дане слушал, подперев голову рукой, внимательно, словно в первый раз.

— ...Тут, знаете, действовало боевое охранение Девятой бригады, отходя под натиском немцев. Те нагнали танков, минировали окружающий каньон лес. Никто не думал, что это нам пригодится. Патрули боялись ходить. Один раз там, где пасека, прошли как-то двенадцать человек. Они шли цепочкой, я сразу понял: знают про мины, — иначе зачем идти цепочкой, правда? Они дошли до кладбища, видели?

— Он увидит, — нетерпеливо перебил Дане, — рассказывай пока.

— ...Я следил, шел параллельно, еле дышал, вот-вот рванет на mine... Но боялся, думаю: если нападут на след, обнаружат, отвлеку на себя... И топал прямо по минному полю. Кто же знал, где точно они натыканы? Ну, не напоролся, потом говорили саперы — прошел рядом... Вижу, крутятся, повернули, и я повернул домой. А там, как назло, связные из бригады. Я им -- про немцев. Один быстро на велосипед и куда-то дернул. Оказывается, на горе еще боевое охранение подтянулось. Ну, короче, они немцев перестреляли до одного. И ушли. Я думаю: все, теперь точка. Придут же их искать. Пришли. Точно. Только подорвались на минах. Три взрыва. Повернули назад, вижу из окна — несут на руках одного, а других просто не собрали... Я тут стоял, — Млакар резко поднялся, подбежал к окну, потом отпрянул к серванту, — смотрел через ставень в сердечко, смотрю, автоматы наводят, отскочил еле-еле. Они дали две очереди длинных. Вот следы.. (Да, как я их раньше не заметил? На противоположной стене, забеленные не раз с тех пор, а проступают темные следы пуль, и на потолке строчка.) Вот сюда... — Млакар закатал рукав, подошел ко мне и показал раны от локтя до плеча. — Прямо через ставень... Ворота были на крепком запоре, потолкались, а во двор не зашли, боялись засады. А Демшера убили.

— Предатели! — Дане ударил кулаком по столу.

— Верно, предатели убили... Демшер родом из Шкофелока Хороший человек. Он этот рентген перетаскивал в Лог Два дня у меня жил. А потом работу кончил, смонтировал, пошел с пленкой. Ее проявляли в Триесте. Доктор Чикарел-

ли такой проявлял нам. Ночью окружили дом, где Демшер остановился, это не здесь, по дороге около Желина, он отстреливался, только его прямо сюда, — Млакар показал скрюченным пальцем на мне область сердца, — прямо в сердце.

Дане решительно встал.

— Пошли. Пойдешь или устал? А, Млакар? А то я дорогу найду.

Старик молча встал, взял с гвоздя поддевку, отряхнул опилки, надел, застегнул пуговицы.

В это время наверху послышались странные звуки, будто кто-то выл тоскливо. Звук продолжался недолго, но все его услышали. Хозяйка, метнув быстрый взгляд на Млакара, вышла из комнаты. Дане закашлялся. Млакар нахмурился и круто повернулся к выходу.

Мы быстро шли по тропинке, которая становилась все круче. Лес пламенел всеми красками осени. Пахло сеном. На поляне, расположенной террасами, показалась сеносушилка под навесом. Сено уже побурело, издавая резкий, пряный, долгий запах. Справа шумел ручей. Он временами переходил в сильные каскады, камень под струями казался цветным от травы, которая змеилась, как водоросли под течением. Пахло резко, обдавало холодом. У мостика не выдержал, наклонился, опустил кисть руки и едва не отдернул: ледяная. Не отдернул только потому, что показалось стыдно: за мной следил старик. Дане ушел вперед.

— Да, вода холодная, — просто сказал Млакар, — круглый год. У меня ревматизм, кости кричат зимой.

Он так и сказал — кричат кости. Я понял.

— Один раз она, — старик повернулся лицом к дому, — она упала — чуть не убил ее. Лекарства нельзя мочить. И бинты несла. У самой «Франи», надо же.

Я поверил, что он мог ударить жену.

— А Франия, что это?

— А... Девушка одна, звали ее так. С января сорок четвертого она сменила Волчака. Доктор. Франия Бойц-Бидовец. Бидовец — это потом по мужу. Ее именем стали звать партизанскую больницу.

Тропинка перешла в лес незаметно, мы шли теперь по траве, карабкались — сказать точнее. Это был левый берег ручья. Здесь он ревел вовсю. Прошли мимо развалин старой каменной мельницы. Дане остановился и снял берет. Я стал различать между деревьями какую-то таблицу, которая оказалась плитой, по низу заросшей травой. На ней выбиты имена погибших. Млакар сказал тихо, останавливаясь около меня и тяжело дыша:

— Покопалище.

Это слово в его старославянском корне несло информацию достаточно понятную. Здесь копали могилы, чтобы хоронить умерших от ран. Сколько их? Я читаю имена под тремя колонками. На первой нарисованы две буквы OF — Освободительный фронт. Это все, кто боролся с фашизмом, кроме коммунистов. Вторая колонка увенчана знаком пятиконечной звезды. Это коммунисты. Третья начинается с изображения креста. Беспартийные. Прочие. Три колонки, почти равные. Лечились в больнице «Франия» за все месяцы существования ее 522 человека. Умер от ран 61. Значит, 461 человек остался жить и бороться благодаря таким людям, как Млакар, Волчак, Бойц, Демшер и другие, кого я еще не знаю...

Тихо идем дальше. Теперь тропинка пробита в скале, а дальше карабкаемся по доскам, подвешанным вдоль стены каньона, они скрипят, качаются. За моим плечом — одышка Млакара. Дане молчит что-то долго. Я спрашиваю старика, давно ли он знает Дане. Млакар останавливается перевести дух, и вдруг лицо его освещает хорошая улыбка.

— Дане — старый партизан. Это человек-камень. От него зажигались люди. Он скромный. Ничего не рассказывает о себе. И не советую спрашивать — сумасшедший. Может сделать что угодно: уедет, слова от него не добьетесь. Вы о чем спросите в Идрии такого Павлина. Это комиссар бригады. У Дане жизнь плохая была: жена умерла. Партизанка. Он долго жил один. Женился на художнице. Родился сын. Стал известным скульптором. А отец его выгнал из дому...

Они разные. Дети — это... тяжело. Я говорю Дане: моли бога, что здоров, хуже, когда...

- Что вы там копаетесь! — Дане явно почуял неладное.
- Идем, идем! — заторопился Млакар.
- А художница с сыном видится? — тихо спросил я Млакара.
- Умерла от рака. В прошлом году.

Справа в боковой расселине скалы над нами навис железный рельс. Я спросил, что это. Млакар объяснил, что здесь навешен был временный мост («Движни, двійжни мост!» — закричал Дане, он поджидал нас). Я понял так, что «подвижный», «съемный», в этом роде. Оказывается, на ночь его на всякий случай убрали. Последний раз пересекаем ручей по доске на высоте около четырех метров.

— Слева, видите, бункер для метания гранат. На случай, если бы немцы проникли сюда, здесь за поворотом скалы их всегда могли встретить метальщики.

В темном каменном мешке каньона я увидел ряд барачков, покрашенных с учетом маскировки в желто-зеленый цвет. Мы вошли в первый. Нары, выцветшая газета на стене.

— Печаталась возле Огальце, километров двадцать, если по прямой, но дорога тут петляет. Это ближе к Идри. Там была тискарня.

Отмечаю про себя «тискарню» — типография, оттиски; тискать — печатать, у нас говорят: «Тисни экземпляр для метранпажа».

Вырезанные из газет сводки с фронта. Серп и молот красными чернилами прямо на стене. Бараки похожи один на другой, но у каждого была своя судьба, свое назначение. В этом просто умирали. Переносили из «операционной» или «палаты тяжелораненых» (особый барак) и клали на эти низкие широкие нары в один лишь ярус, покрытые шинельным сукном с рыжими разводами. У стены прислонены носилки. Одно небольшое оконце — как последняя надежда, как прощание... Что они видели отсюда? Кусок скалы, немного света, упорный корень какого-то дерева. Он прорастал сквозь породу, оголенный, перекрученный выходил наружу... Под полом барака для смертников бежала вода. Они слышали ее вечный шум, и это, вероятно, проникало в душу, умиротворяло, заставляло думать, что вода так же будет шуметь всегда — и там... Вода внушала философское спокойствие. И заглушала хрипы агонии.

Вода шумела и под полом другого барака — для выздоравливающих. Здесь она пела открыто, бесхитростно — то ли пол потоньше, то ли он из других, более певучих досок, но музыка воды играла здесь на деке пола совсем иначе... Тут стоял стол, на нем самодельные шашки, пожелтевшая подшивка газет того времени: Тито в куртке, застенутой до ворота, в пилотке. Квадратное волевое лицо. Призывы. Сообщение о первых успехах советских войск. Какой же это год? Ах вот что: рассказ очевидца, участника боев под Москвой. Партизан Володя. Кто он? Так и написано: «Рассказ партизана Володи». Какова его дальнейшая судьба? Выписываю название газеты, примерный месяц, нумерация шла подряд. А вот волнующее свидетельство политкомиссара Ивана Турчич-Изтока. Правильнее перевести, вероятно, Турчич-Восточный. Мне чудится в этой фамилии определенный псевдоним, еще больше укрепляюсь в мысли, читая его донесение штабу Приморской оперативной зоны: «В день объявления войны СССР я с патрулем из 30 человек и двумя пулеметами атаковал автомобиль квестуры (далее что-то было выжжено упавшим угольком или пеплом самокрутки)... Акция была закончена в четыре минуты. 17 квестуринов (жандармов) убито, один бежал. Трофеи: 3 автомата, 15 винтовок, 17 пистолетов, 30 гранат, 800 патронов винтовочных, около 300 автоматных (опять разрыв в бумаге)... 5 шинелей, 10 телогреек, носки и разное другое добро (вещи)».

Да, с акции под Разорами началась партизанская война в Словенском Приморье. Из групп сопротивления возникла потом знаменитая Григорчичева бригада, о которой мне уже говорили раньше. А первый батальон, оказывается, сформирован на базе именно той группы, о которой рассказал Иван Турчич-Восток.

Мы вышли из барака. Солнце проглядывало так высоко, что мы казались замурованными в глубоком колодце. Лучи проникали сюда сквозь зеленый веер

крон — деревья на верху горы почти смыкались. Я смотрел вверх, стараясь представить ежедневное самочувствие людей, загнанных в каменный этот мешок, окруженных плотными минными полями, лишенных даже солнца...

— А если... бомба с самолета, — спросил я, — неужели немцы не пробовали?

— Сначала надо было найти. Немцы ходили под боком и не могли догадаться, — ответил Дане. — Но что-то они почувствовали. Стал кружить самолет. Наверное, дым заметили. Топили больше опилками — они меньше дают дыма, только в кухне топили углем. Потом вообще стали мясо варить внизу и вносить готовое. Это после того случая с самолетом, да?

— Бросили зажигалку, — кивнул Млакар, — зажгли лес, хотели выкурить... Франя рассказывала: думали, задохнемся. Понимаете, в каньон втянуло ветром дым, искры. Мог начаться пожар, а главное, люди задыхались. Как раз была операция... Сажа летела на раны. Дым ел глаза. Казалось — конец... Я смотрел с пачки и молил бога, чтоб ветер переменялся... Дым шел из каньона как из трубы, я думал, все сгорело, ничего не осталось... Жена плакала и молилась. Потом дым пошел сильнее и в сторону. Я проверил: что за чудо? Дым шел в одну сторону, ветер — в другую... Ночью полез по ручью вверх. Обмазался жиром, как всегда. У поста, помните, где ниша для гранатометчиков, закричала птица: знак такой был. Я тоже закричал. Значит, есть кто-то живой. Пришел: все живые, только черное все и люди как негры, смеются. Перехитрили немца. Что бы вы думали: они приспособили динамо, которое я им принес, а один крестьянин дал турбину. Тут вода падает сильно, они сделали свой движок. Придумали такой ветродуй — каньон узкий, силу тяги создать легко внизу, а дальше получилась подушка дымовая. Над самой водой тянуло воздухом. Одиннадцать киловатт динамо... — Млакар смеялся, смахивал слезы, будто и ему глаза разъело дымом. — Как мы радовались тогда! Франя мне давала всегда спирту немножко на обратную дорогу...

— Внутрь, — засмеялся Дане. Он, я заметил, тоже переживал рассказ. Смотрел то на меня, то на старика и переживал все заново. — Внутрь... Жир снаружи не помогал в ручье!

— Тогда мы все выпили... Ничего они не могли с нами сделать. — гордо продолжал Млакар и стал серьезным и подтянутым, прямо на глазах переменялся. — Пробовали отравить воду в ручье — они уже догадывались, что в каньоне что-то есть опасное для них, что — не знали, бросили по верховью какую-то гадость, но она действовала недолго, мы пробу брали.

### **30 сентября. Ночь**

События последних трех дней переполняют меня. Писать было некогда. Тогда, 29-го, я приехал в отель в третьем часу и до пяти писал дневник, боялся забыть. Вчера записывал пунктирно, только вехи, и сейчас переписываю. Кажется, моя поездка оправдывает себя. Я нашел для себя многое, может быть больше, чем искал...

Итак, вернувшись из больницы «Франя», мы с Дане и Млакаром Методом сидели в той же столовой и пили чай.

— Вот здесь, за этим столом, праздновали партизанскую свадьбу. Франя Бойц женилась, выходила замуж то есть. Мужем ее стал Бидовец, врач-окулист, тоже партизан, конечно. Мы спустились вниз, пользуясь легким затишьем. Дело в том, что немцы, как я говорил, несли патрульную службу...

— Постойте, постойте! — Неожиданная мысль осенила меня. — А вы не слышали среди офицеров, ну, случайно, среди немцев-офицеров такую фамилию: Петер Майер?

Нет, конечно, я сказал глупость. Кто из словенцев водил знакомство с фашистами? Правда, может быть, попадали какие-то документы, ну, мало ли что бывает... Нет, ничего такого про моего попутчика они не знали, не могли знать.

— Так вот, немцы временами снимали патрулирование и уходили в Идрию. Франя предложила сделать свадьбу у меня. Собралось человек десять. На всякий случай мы замаскировались получше, пели даже вполголоса, чем черт не шутит.



— Предателей боялись, так и скажи,— закричал Дане,— ведь были они, были?

— Ну, человек!— Млакар обратился ко мне за поддержкой.— Два, говорю, всего два.— Снова крючковатый палец возник перед моим носом.— Теренций и тот, из Войско.

— А что это за Теренций? — спросил я.

— Понимаете, организация шла в Ясеницу. И в Крайну. Там жил провизор, он делал лекарство. Перевозили его на муле. Человек один. Вот идет он за мулом, поет, как всегда. Постов тогда на дорогах не было. Лениво проверяли. А тут вдруг его останавливает патруль, «хенде хох». Он понял, что деваться некуда, хотел бежать, его убили. И бросили на дороге. Когда крестьяне нашли его, он еще живой был, сказал, что Теренция подозревает. Взяли люди Теренция. Отпирался, но под действием улик сознался. Позвали Теренция в большой дом, закрыли ставни, позвали много народу. Устроили народный суд. При свечах — дело шло к вечеру — провели дознание. Все надо по закону. Прочитали приговор. Он стоял на коленях, просил помиловать, я там был, зубы у него стучат, так противно, а жалко все же. На коленях ко мне подвигается. Меня еще при уходе итальянцев народ выбрал начальником государственной комиссии. Шефом,— Млакар повернулся к Дане,— вот, и мне, было время, власть верила...

— Теперь тоже верит, — почему-то пряча глаза, сказал Дане.

— Было время — не верила. И ты знаешь, — упрямо подчеркнул Млакар.— Ну, вот. Подполз ко мне Теренций, в глаза смотрит. Ничего не говорит, в глаза смотрит. Я отвернулся, а он говорит: «Что, Млакар, забыл, как твоя баба под карабинами стояла? А ты вспомни, вспомни и про меня подумай. Все человеку можно сделать, он и сам со страху может гадом стать, но потом поймет, себя проклянет, навсегда очистится. А под карабин... заставить в дула смотреть черные — кто может? Кто вам дал право от имени бога судить?» Выходит, он, предатель, меня судит, а не я его? А люди говорят: мы, мол, тебя не будем под карабин ставить, мы тебя повесим, чтоб другим неповадно было. А он говорит спокойно так и встал с колен: «Вешайте. Я теперь все понял. Я лучше вас, все равно лучше. Только раз на минуту я испугался, а вы всю жизнь боялись и теперь себя самих бонтесть, вот и рады судить другого». И повели мы его, и повесили. Не я. А все равно как вспомню про эти слова, все думаю: что он хотел?

— А чего тут думать,— закричал Дане сердито,— чего думать! Он вас разжалобить хотел, и все.

— Нет, Дане,— как-то мягко, как ребенка, поправил старик.

Вздохнул, сделал какие-то движения в воздухе рукой, но тут раздался тихий, но отчетливый звук сверху. Вой не вой, плач не плач... Рука Млакара так и застыла. Он встал, извинился, вышел. Плач продолжался, потом стало тихо. Теперь я услышал, как пробил большие часы с мелодичным боем в соседней комнате. Я спросил, не пора ли нам. Дане отрицательно покачал головой, продолжал прислушиваться, нахмурившись. Пришел Млакар. Как ни в чем не бывало сел, налил себе еще чаю. Я снова, как тогда, когда в первый раз раздался этот странный звук, поднял голову к потолку, но Млакар явно не хотел отвечать на немой вопрос.

— Немцы в конце концов решили разделаться с «Франей». Бросили бомбу, другую, сожгли несколько барачков, раненых мы эвакуировали в щели, бункеры. (Я видел эти слепые норы с запасом воды и пищи.) Начался пожар. Тогда Франя приказала жечь солому, мы свалили все в большой костер и устроили хорошую провокацию. Немцы должны были думать, что все у нас кончено. Дым валил вверх: тяга, как в трубе печной, вверх шла... Больше того, Франя велела пустить по ручью остатки пищи, тряпье, кровавые бинты, мусор, вещи даже, чего мы никогда раньше, конечно, не делали... Внизу, у Лога, наготове стояла рота автоматчиков. Идти дальше боялись, но несколько человек со щупами уже очищали лес от мин. Демонстрация, видно, удалась, немцы повернули, сняли осаду, ушли на Идрию. Мы спешно начали эвакуацию, знали: теперь слежка за нами будет пристальной. А тут еще и явка моя раскрылась. Немцы нашли окровавленную

гимнастерку одного русского. У нас ведь были русские, вы знаете? Подробнее? Нет, о них вам лучше расскажет Франя, она живет в Любляне, или тот же Павлин... Вы в Идрию поедете?

Дане кивнул, не спрашивая меня. Млакар Метод продолжал:

— Жена моя спрятала меня в стоге, когда увидела, что немцы не просто идут во двор, а окружают дом с автоматами наперевес. Они взяли ее, спрашивали, где я. Она молчала. Тогда они привязали ее к столбу, где сено сушится. Представляете, я рядом, в копне сваленного сена, а они щелкают чем-то, разговаривают. Я понял, что они ее убьют, начал сбрасывать с себя сено и вдруг слышу команду: «Так и оставьте ее. Он сбежал, а ее бросил. Нет, не развязывай! Пусть так и постоит. Может, сама сдохнет, не дождется». Другие стали что-то говорить офицеру и смеялись. А офицер сказал: «Что ты, Курт, она старая... Ну, ладно, быстро проверить горючее, если мало в баках, тут, я знаю, у старика есть. И строиться. Петер? Петер может и со старой?» Я вздрогнул и весь напрягся. «Нет, милый, некогда... Шнель, шнель! Ах ты негодник!» Раздался смех, потом заработали моторы — кажется, бронетранспортер или что-то вроде этого, — и уехали. Я вылез из сена и подошел к жене. Она стояла спокойно и, когда я развязывал ее, сказала: «Осторожнее, что ты дергаешь, можно подумать, что тебе на работу. Ужинать еще рано», — ворчливо так, как всегда. И тут только я увидел, что она седа.

Вошла хозяйка, спросила, не надо ли чего еще.

— Не надо, — резко сказал Млакар, не оборачиваясь, — иди, иди.

Я посмотрел на него. Он часто моргал, глаза красные. Хозяйка вышла, Млакар тихо продолжал рассказ:

— Эвакуировали в лес. Оттуда на подводах до тайных аэродромов. В Бари, это уже в Италии, летали английские и ваши, русские, самолеты. Тяжелые лежали в Бари. Легкораненых оставляли на базах в лесу. Их потом распределили по домам крестьян. Долечивали. Мы, в общем, держались до пятого мая сорок пятого.

Он встал, давая понять, что беседа окончена. Да она и нервно и физически утомила его. Я видел это. Вышли провожать с женой. Я хотел сфотографировать их, когда послышался шум на лестнице и сбежал детина в черной рубаше, лохматый, с блуждающей улыбкой. Млакар крикнул:

— Уходи сейчас же! — На его лице отпечталось выражение крайнего гнева и ужаса почти. — Ты его открыла?

— Успокойся, — мягко сказала жена, — успокойся. Он хочет сфотографироваться с нами, да?

Парень радостно мычал и кивал головой. Он хотел пожать мне руку, но я, пятясь, наводил фокус. Не знаю, получилось ли что-нибудь, так как парень все порывался вперед, а Млакар крепко держал его и не отпускал.

— Стой, сынок, — сказала хозяйка, и парень замер.

Я щелкнул, мы еще раз попрощались, я пожал руку и парню, который что-то мычал и тряс мне руку. На Дане он не обращал внимания.

— Вы ему понравились, — благодарно сказала мать.

Мы развернулись между деревьями и понеслись. Я оглянулся. Они все так и стояли, как фотографировались: отец, мать и сын, сумасшедший сын...

*(Окончание следует)*



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ К. А. ФЕДИНА

Исполнилось восемьдесят лет Константину Александровичу Федину, замечательному русскому писателю, одному из основоположников советской литературы, руководителю Союза писателей нашей страны.

Книги, написанные Фединым, вошли в сокровищницу советской культуры. По своей популярности и глубине воздействия на целые поколения читателей это поистине книги народные — «Города и годы», «Братья», «Первые радости» и «Необыкновенное лето», «Костер». Мемуары «Горький среди нас» явились ценным вкладом в теорию социалистического реализма.

В творчестве К. А. Федина ярко отразилось его неугасимое стремление «найти образ времени», потому оно и стало своеобразной художественной летописью истории советского общества, советской интеллигенции. Как художник, публицист и теоретик литературы, Константин Александрович исключительно много сделал для разработки кардинальных проблем социалистического гуманизма, связи искусства с жизнью народа; с присущей ему правдивостью и бескомпромиссностью показал бесплодность и историческую обреченность буржуазного индивидуализма. «Вы — крупная культурная сила, талантливый человек», — писал в свое время Федину А. М. Горький, с которым юбиляра связывала долгая и трогательная дружба.

К. А. Федин был среди тех, кто стоял у колыбели журнала «Новый мир», участвовал в его работе с первых же номеров. Многие произведения писателя публиковались на страницах нашего журнала — от повести «Пастух» [1926] до недавних новых глав из второй книги романа «Костер». Более тридцати лет К. А. Федин является бессменным старейшиной редакционной коллегии «Нового мира».

Поздравляя Константина Александровича Федина с восьмидесятилетием, редакция журнала пользуется случаем передать ему сердечные приветы от многочисленных читателей «Нового мира», сказать, что его участие в работе журнала необычайно нам дорого, что его творческая и общественная деятельность всегда будет ярчайшим примером для всех нас — писателей, критиков, публицистов, просто читателей, тех, кто любит родную литературу, стремится относиться к ней «по-федински».

На долгие годы оставайтесь все таким же полным творческих сил, дорогой Константин Александрович! Здоровья и счастья Вам, новых добрых свершений!

*Редакционная коллегия  
«Нового мира».*



## ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

**И**здавна, еще с 20-х годов, Константина Федина связывает самая душевная дружба с лучшими мастерами культуры Запада. Его друзьями были Стефан Цвейг, Леонгард Франк, Иоганнес Бехер, Мартин Андерсен-Нексе и многие другие.

Но самое родное, дорогое ему имя — имя Ромена Роллана. «Если говорить о писательском типе, — пишет Федин, — то призвание Роллана звучало в ключе Герцена и Чернышевского, Льва Толстого и Горького. Из западных европейцев он один так близок русской традиции писателей — учителей, проповедников, революционеров».

С Роменом Ролланом познакомил Федина Горький, который попросил Роллана пригласить к себе Федина в Вильнёв (Федин тогда, в 1932 году, лечился от туберкулеза в соседнем швейцарском городке Давосе). Горький написал Федину, что эта встреча будет обоюдно приятной и полезной потому, что во внутреннем облике Роллана и Федина есть много сходных черт.

Когда Федин по приглашению Ромена Роллана приехал в Вильнёв, ему передали письмо Стефана Цвейга, перед этим гостившего у Роллана. «Я так рад за Вас: эти дни Вы будете глядеть в самое ясное и одновременно самое доброе око Европы», — пишет Стефан Цвейг Федину.

И в самом деле: Роллан был судьей и певцом не только передовых людей Запада, но и всего мира — они проверяли себя на нем и шли за его голосом.

В литературном портрете Ромена Роллана Федин отмечает редкое сочетание нежности и суровости в облике писателя. «Когда он говорил, — пишет Федин, — мысль тотчас пластически отражалась его необычайно подвижными чертами, а его взор то ласково согревал, то вдруг обдавал холодом наблюдателя, стремящегося безошибочно оценить видимое. Он как будто все время сменял лиру на меч, испытывая собеседника как поэт и как воин».

О своей встрече с Роменом Ролланом Федин по возвращении на родину в 1932 году написал в газету «Известия». Статья вызвала поток низкой и грязной клеветы в буржуазно-реакционной прессе. Мария Павловна, жена Ромена Роллана, со слов Ромена Роллана писала Федину своим крупным, энергичным почерком: «...Он просил Вас не расстраиваться из-за всей этой истории. Вы правы, что ведь дело не в статье Вашей, а просто в желании «вбить клин» между ним и Советским Союзом. Но характер у него, слава богу, такой, что вбивание клиньев действует на него обратным образом...»

История со статьей Федина имела свое продолжение: когда весной 1933 года Федин снова по предписанию врачей должен был поехать в Давос, ему отказали в визе на въезд под предлогом, что в мае 1932 года он без соответствующего разрешения предпринял поездку из одного швейцарского кантона в другой, из Давоса в Вильнёв.

Не помогло и заступничество Ромена Роллана. Мария Роллан писала Федину в 1933 году:

«О Вас недели три назад (если не четыре) нам звонил врач из Давоса, о том, что Вам отказано в визе сюда на том основании, что Вы без разрешения из Давоса поехали в Вильнёв (не имея права быть в другом кантоне, чем в том, где Давос!). Р. сейчас же написал высшим властям, что поехали Вы в Вильнёв по его приглашению, что Вы, конечно, не знали, что запрет ехать в другие кантоны так серьезен, и сделали это без злого умысла, и что он просит разрешить Вам въезд, так как Вы очень больны. Но ответ пришел отрицательный, и впечатление, что за официальной причиной отказа есть другая — Ваша статья! И если Вы больны, говорится, то есть другие страны, где можете лечиться. Мы оба очень жалеем, что такой ответ! Но, по-видимому, его не изменишь... Во всяком случае — не по просьбе Роллана! — который в связи со статьей может только вредить Вам теперь...»

Этот эпизод с визой, глубоко возмущивший Ромена Роллана, способствовал росту его симпатий к Советскому Союзу. Именно тогда окончательно созрело его желание посетить Страну Советов.

Ромен Роллан был «мастером жизни», и потому «вбить клин» между ним и Советским Союзом никогда и никому не удавалось. «Живи, чтобы бороться, — вот девиз, стоявший перед его глазами, — пишет Федин, — до той последней секунды, когда они закрылись навсегда». Об этих конкретных фактах дружбы Р. Роллана с К. Фединым я рассказала на международном симпозиуме «Ромен Роллан и Европа» (Болгария, май 1971 года). Это вызвало большой интерес аудитории.

Сходство внутреннего облика Ромена Роллана и Федина, о котором говорил Горький, как мне представляется, — прежде всего в гармоническом единстве народности и интеллигентности, в особом интересе обоих писателей, с одной стороны, к «первозданным» народным характерам, а с другой — к тончайшим художественным натурам с их сложными духовными конфликтами, их тревожной, неумолкающей совестью.

Эту особенность творчества Федина подметил Стефан Цвейг: «Я нахожу в ней (книге «Братья». — Б. Б.) искусство композиции возросшим еще сильнее, и потом — в ней у Вас есть то, что у русских художников так непонятно большинству (и чего, к моему огорчению, я совершенно лишен) — великолепная способность, с одной стороны, изображать народное, совсем первозданно человеческое, и одновременно создавать тончайшие художественные фигуры, показывать духовные конфликты во всех их сверхчувственных проявлениях»<sup>1</sup>.

Эти традиции «русских художников» идут от великой русской литературы XIX века, и прежде всего от Льва Толстого. Я не знаю никого из наших современных писателей, кто бы так много думал об этих традициях, как думает Федин и как теоретик искусства и как мастер слова.

«Очень, очень важно, чтобы Вы судили обо мне в историческом разрезе: развитие — единственно интересный процесс в нашем мире. Ни одна из моих сегодняшних строк не возникла бы без того, что я писал десять, двадцать и даже тридцать лет назад».

Этот отрывок из письма Федина ко мне относится к 1948 году (25 июля), когда я задумала писать монографию о Федине.

А вот второе письмо, написанное спустя несколько лет (15 марта 1952 года) после выхода монографии в свет: «...хочется, чтобы Вы сделали где-нибудь на полях Вашей работы заметку о статье Гоголя: «О движении журнальной литературы». Эту статью нельзя забывать при разговоре об историческом подходе нашей советской критики к вопросам развития современной русской прозы. Вы помните, конечно, что Гоголь жаловался на отсутствие в журнальной критике имен «окончивших поприще писателей наших»... Державина, Ломоносова, Батюшкова, Фонвизина... Там есть фраза (которую целиком можно отнести к нашей критике), где Гоголь говорит, что эти старые писатели «...даже не брались в сравнение с нынешней эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто история прошедшего для нас не существует»... Насчет такой отрубленности, насчет того, что у нас как будто вовсе нет начала, ежели почитать некоторых критиков, — надо, по-моему, сказать «в своем месте и в свое время».

...Мне пришла мысль сообщить Вам замечательную цитату, подсказывающую, каким интересным ходом можно развернуть тему о наследии, о влиянии, о единстве и целостности развития советской худож. прозы, о процессе этого развития, — на сравнительных примерах литературных индивидуальностей послеоктябрьского периода — индивидуальностей, не отрубленных от прошлого русской литературы».

С необычайной остротой ощущает Федин связь времен, вечно живую силу искусства своих предшественников. Недаром эпитафия к его книге «Писатель, ис-

<sup>1</sup> Письмо от 10 декабря 1928 года. Впервые было опубликовано мною в примечаниях к роману «Братья» (Конст. Федин. Собрание сочинений. М. 1960, том третий, стр. 513).

куство, время» взят им у того же Гоголя: «В литературном мире нет смерти, и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые».

Опираясь на великие русские традиции, Федин превращает эти традиции в новаторство.

И самое главное: в его творчестве национальное гармонически сочетается с интернациональным. Оттого его книги говорят новое, оригинальное всему миру.

На дискуссии о судьбах, проблемах романа, организованной сессией Европейского сообщества писателей (Ленинград, 5 августа 1963 года), Федин сказал, что основное качество искусства слова — «человечность нового мира». В этом сущность искусства, которое всегда обращено к душе — к человеку; здесь ключ к взаимопониманию, то общее, что объединяет в один цех писателей всех наций.

Все для человека, все во имя человека — именно за такое искусство и ведет Федин временами заостренную, открытую, временами подспудную борьбу, начиная с романа «Города и годы» и кончая трилогией.

Если писатель изменяет своему призванию, то есть идее человечности, то совесть рано или поздно призовет его к ответу, как она призвала во второй книге «Костра» драматурга Александра Пастухова, одного из основных героев трилогии.

Тема вечно неуспокоенной человеческой совести — это одновременно и тема верности писателя своему призванию.

«Искусству надо все, и ему ничего не нужно» — этот афоризм Федина по внутренней своей сущности близок Ромену Роллану. Ничего не нужно от равнодушных и успокоенных. И нужно все — вся многогранная, стремительная жизнь души от тех, кто отдает себя искусству, как боец отдает жизнь.



---

И. БОРИСОВА

★

## У ИСТОКОВ ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

**И**з протяжения семидесяти лет в нашей литературе появилось три романа, отразивших крупнейшие события русской истории (Отечественная война 1812 года, революция 1905 и 1917 годов, гражданская война 1918—1922 годов) в той универсальной форме, которая соответствовала их общенациональному масштабу и всенародному охвату. Это «Война и мир» Л. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького и «Тихий Дон» М. Шолохова.

В эпилоге «Войны и мира», завершая и подытоживая описание событий 1812 года, Толстой писал, что «движение народов начинает укладываться в свои берега», отхлынули «волны большого движения» и море затихает. Ассоциации эти естественны, поскольку эпическое повествование связано с изображением именно моря народной жизни. Его, это море, как огромное и целостное, необозримое и тем не менее замкнутое пространство, делает художник предметом своего изображения. Характерно, что каждый из трех писателей (Толстой, Горький, Шолохов) выбирал как раз тот момент, когда это море выходило из своих берегов, и тогда, в момент наибольшей его подвижности, обнаруживали себя те силы и те законы, которые управляли этим морем как единым организмом, но которые в обычное время скрыты и кажутся бездействующими. В статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой пишет о том, что в эпоху 1812 года его во многом привлекла именно эта обнаженность законов жизни, механизма ее существования. В сноске к статье он говорит: «Достоинно замечания, что почти все писатели, писавшие о 12-м годе, видели в этом событии что-то особенное и роковое». Через национальную исто-

рию Толстой хотел добраться до еще более общих законов человеческого существования.

Не подобные ли чувства руководили и древним эпическим поэтом? Разумеется, эти чувства выражали себя в других образах и в других представлениях об общем состоянии и системе мира, но необходимо было прежде всего, чтобы сама личность поэта стала готовой к тому, чтобы окатиться вместилищем этого огромного мира. Видимо, к поэту приходит своеобразная космическая зрелость. Не пестрые «картинки из жизни» того или иного сословия привлекают эпического писателя, а именно общая картина мира, где есть свой центр, свои стержневые и периферийные вращения. Всякий раз — сознательно или нет — это оказывается попыткой создать свою «общую теорию поля».

Гегель писал, что современный мир «по своей прозаической структуре» прямо противоположен «требованиям, которые мы считали неизбежными по отношению к подлинному эпосу; между тем перевороты, которыми были потрясены действительные устои государств и народов, слишком крепко сидят в памяти, как действительные переживания, чтобы подчиниться эпической художественной форме».

Труднее всего прогнозировать будущие формы искусства. Наверное, это так же трудно, как предсказывать будущую человеческую душу. Даже если когда-то будет создана эпическая поэма о нашем времени, она будет значительно отличаться от гомеровских поэм. Но так ли уж антиэпично наше время? Прозаическая структура современного мира не предполагает ли как раз существования ответного и, может

быть, очень интенсивного поэтического чувства, которое имеет свою структуру и по-своему укореняется в современной жизни, вырабатывая свой язык и свой стиль существования? «...перевороты, которыми были потрясены действительные устои государств и народов», и в самом деле «слишком крепко сидят в памяти», но, может быть, именно планетарный масштаб этих переворотов особенно настоятельно и ускоренно вырабатывает у человечества, а следовательно, и у его больших поэтов вкус и потребность в целостном осмыслении мира? Кризис индивидуализма не приводит ли одновременно к благородному и обогащающему расширению представлений о человеческой личности, о ее месте в мире и ее предназначении? Духовные процессы, происходящие в современном мире, по своей природе кажутся чрезвычайно близкими тем именно условиям, которые порождают стремление к эпическому осмыслению действительности. Поэтому, не делая из термина титула, не присваивая названия эпопеи любому большому (и часто очень аморфному, бесхребетному) повествованию, мы не должны закрывать глаза на это стремление.

Вероятно, современное эпическое повествование более, чем какой-либо другой жанр, предполагает вбирание и скрещение разных областей современного знания — философии, истории, социологии, экономики, биологии, — и все это не в эклектичной и претенциозной эрудиции, а в глубокой, полной и ровной освещенности высшим поэтическим чувством. Знания эти для художника оказываются предварительными.

Здесь, однако, особенно необходима бдительность вкуса, чтобы отличить живой и плодотворный опыт от его честолюбивых подделок, необходима бдительность сознания, чтобы отличить живую художественную универсальность от опустошающей тоталитарности, когда обо всем и обо всех вроде бы сказано, а центра нет или он выбран ложно.

Но обратимся к живому опыту.

Действительно, в отличие от древнего эпического поэта, создававшего свой эпический мир тогда, когда события, им восплаемые, давно миновали, когда время откристаллизовало их масштаб и смысл, современный романист, поднявшийся до эпического повествования, создает свой эпический мир едва ли не в горниле самих собы-

тий. Опаленный собственным опытом, не дожидаясь, когда время отложит между ним и событиями охлаждающую дистанцию, он делает дерзкую попытку воссоздать всю противоречивость народного бытия в эпоху общенационального движения (будь то война с иноземным захватчиком или война гражданская) с универсальной емкостью и объективностью. При этом всякий раз он имеет дело с миром, потерявшим свою устойчивость, когда закосневшие и привычные формы жизни смещаются и ломаются и еще не ясно, какие из новых форм выживут, окажутся жизнеспособными и станут стойкими реалиями истории, когда вместе с ломкой бытия подвергаются сомнению и привычные системы нравственного отсчета, происходит и духовная ломка.

Находясь в сердцевине этого мира и этого времени, испытывая на себе все его влияния и удары, современный эпический романист вынужден — энергией своего таланта и воображения — вырваться за пределы пространства и времени, в которых он существует, чтобы художественно осознать всемирно-исторический смысл происходящего. Художник становится непосредственным участником истории не столько тем, что в свое время командовал артиллерийской батареей, вливался в революционную демонстрацию или мчался в кавалерийскую атаку, сколько тем, что в первом приближении дает эпически целостное и эпически объективное знание об этих событиях и тем самым определяет их первые духовные итоги и результаты.

Когда М. Бахтин пишет о становлении жанра романа, он, по существу, говорит о том, как этот жанр «вырабатывался» в писательских судьбах нового времени: «Роман — единственный становящийся жанр, поэтому он более глубоко, существенно, чутко и быстро отражает становление самой действительности. Только становящийся сам может понять становление. Роман стал ведущим героем драмы литературного развития нового времени именно потому, что он лучше всего выражает тенденции становления нового мира, ведь это — единственный жанр, рожденный этим новым миром и во всем соприродный ему».

Романист, в исторических условиях последнего столетия взявшийся за эпическое повествование, совершает, по существу, художественный подвиг. Ведь ему предстоит воссоздать не только отдельные, частные,



пусть даже чрезвычайно существенные стороны происходящего, но, что самое сложное, определить узел их связей, единство их масштаба, механизм их соединения и взаимной зависимости, законы их совокупности. Он должен обнаружить цельность там, где все разваливается и пересоздается. В пределах своего произведения он должен сам энергией своего таланта, напряжением пронизательности и воображения эту цельность восстановить, свести все в единое художественное средоточие, где каждый герой был бы множеством нитей связан с другими персонажами и так же конкретно, зримо, доказуемо, то есть пластично, образно взаимодействовал бы с историей, которая совершается на его глазах.

Одним из моментов в современном эпическом повествовании, когда скрытое до того единство, втайне действующая цельность и всеобщность как бы проступают на поверхность, как бы овеществляются, являются моменты, когда на сцену выходит народная масса. Ни Л. Толстой, ни М. Горький, ни М. Шолохов, откровенно и порой даже полемически заостренно отстаивая ее ведущую роль в историческом процессе, не предоставляют ей при этом роли высшего и окончательного судьи. Наоборот, каждый из этих художников по-своему обнаруживает, как противоречиво эта ведущая роль осуществляется, как народ до нее дозревает, какой кровью дается ему его превращение из пассивного материала, из объекта истории в ее активную историческую силу, в ее субъект. Массовые народные сцены оказываются одним из конструктивных элементов эпического повествования, и эта их чисто художественная роль непосредственно связана с их реальной ролью в человеческом обществе. Недаром возникновение древней эпической поэмы Гегель относит к тому времени, когда «народ проснулся и перестал быть тупым, а дух настолько в себе окреп, чтобы создать свою собственную вселенную и чувствовать в ней себя, как дома». Утверждение это кажется справедливым и для нового времени.

Понадобились особые исторические условия, по-своему выигранные, чтобы русская литература в течение последнего столетия почувствовала необходимость именно в эпическом повествовании. Начиная со второй половины XIX века русская литература становится ближайшим свидетелем и даже участником крестьянской революции,

разворачивающейся в многомиллионной крестьянской стране. Пушкин, первым из художников ринувшийся в кромешную глубину крестьянского бунта (Пугачевщина), и здесь оставил нам образцы художественного постижения истории и пророчества относительно будущих тем и интересов русской литературы. Его непосредственным потомкам, писателям второй половины XIX века, уже не нужно было уходить в историю Пугачевского восстания, чтобы понять глубинные источники народной жизни и народного возмущения. Литература сама оказывается в эпицентре зреющего взрыва. Как сейсмограф, она улавливает толчки процессов, происходящих в глубине. Через несколько десятилетий лава вырвется на поверхность, но уже тогда, в XIX веке, литература предчувствовала, что на арену активного исторического действия выйдет не только отдельный герой массы, частное лицо — простой крестьянин или «маленький человек» в городе. Уже ощущалось, что сама масса — многотысячная, многоголосая, бурлящий человеческий поток зальет арену истории.

У этого потока будут свои законы движения и существования, свое меняющееся лицо. Он сможет обернуться случайной уличной толпой, или заранее созванной демонстрацией, или обученным войском, повернувшим оружие против своего командира. Разной длительности может быть время существования такого соединения, в разных формах оно может проявлять себя. Это могут быть соединения то более, то менее устойчивые, цели сбравшихся могут быть сформулированы в четких, осознанных и принятых лозунгах, а могут только еще созреть, рассыпаясь во множество случайных и беглых оттенков и настроений. Наконец, взаимодействие этой массы с каждой из своих частиц-участниц тоже крайне многообразно, сложно и нуждается в исследовании. Массовое выступление — это тот язык, на котором говорит общенародная революция, будь она по своему характеру крестьянской или пролетарской.

Русская литература XIX века, еще не зная, каков будет характер и какова поступь нового общественного движения, художественно уже предчувствует, что ей предстоит освоить нового героя, новую форму людского существования. Прозорливый Пушкин в «Капитанской дочке» первым нашел образ, дал пластическое выра-

жение стихийному крестьянскому движению, далекому предшественнику будущей русской революции. Вспомним, что тема эта тревожила Пушкина до последних его дней. Вспомним так потрясшие М. Цветаеву слова Пугачева, сказанные на допросе (слова эти Пушкин приводит в «Истории Пугачева»): «Я вороненок, а ворон-то еще летает».

Созревшая русская революция, как известно нашла свое отражение в творчестве Л. Толстого.

В своих статьях о Л. Н. Толстом В. И. Ленин настоятельно подчеркивает связь творчества Толстого с массой, именно с многомиллионной массой крестьянства. В статьях Ленина о Толстом есть свой, ленинский образ Толстого — образ титана, олицетворившего настроение, чаяния, дух человеческой массы, колоссальной по объему, очень древней по происхождению и потому чрезвычайно устойчивой в своих экономических и нравственных представлениях, массы, которая буржуазным XIX и приближающимся империалистическим XX веком была доведена до острейших и болезненных противоречий.

В статье «Л. Н. Толстой» Ленин пишет:

«В произведениях Толстого выразилась и сила и слабость, и мощь и ограниченность именно крестьянского массового движения... Его непреклонное отрицание частной поземельной собственности передает психологию крестьянской массы». В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха», говоря уже не о Толстом-художнике, а об учении Толстого, Ленин пишет, что это учение не было ни капризом, ни оригинальничаньем, а было идеологией «условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени».

Естественно, что в творчестве такого художника выразился не только дух многомиллионной массы, но был дан ее образ — ее плоть, ее гонимая, ее коллективное бытие. В творчестве Толстого человеческая масса полноправно вошла на арену именно художественного действия, вошла очень сложной по своему облику — то героической, то смиряющейся, то бунтующей, то отрешенной. Она перестала быть более или менее далеким историческим фоном повествования, а стала равноправным его геро-

ем со своим лицом и характером и со всей полнотой не только духовного, но даже чисто фабульного влияния на других действующих лиц, героем, которого нельзя изъять из повествования, не разрушив его художественной ткани.

Полтора века тому назад в своих «Лекциях по эстетике», завершая анализ эпической поэзии, Гегель писал о «Германе и Доротее» Гёте: он, Гёте, «мастерски отодвинул революцию совсем вдаль и вовлек в действие лишь те элементы революции, которые в своей простой человечности безусловно непринужденно примыкают к домашним и городским событиям и ситуациям, хотя он превосходно мог использовать революцию для расширения поэмы».

Мог, но не использовал — потому, вероятно, что еще не пришло время, что жизнь еще не сформировала эту необходимость. Гёте еще мог обойтись без этого героя, который над ним еще не навис с требованием предоставить ему в сюжете узловое место. Революция уже присутствовала в отношениях героев поэмы как элемент действительности, но не пересекла их жизненный путь как обязательность, вне которой им дальше невозможно ни двигаться, ни существовать. От наших современников и ближайших предшественников — от Л. Толстого, М. Горького, М. Шолохова — революция потребовала, чтобы ей предоставили сюжетный перекресток, узел, где сходятся и пересекаются линии разных направлений, где сталкиваются судьбы и ломаются биографии. Настало время очной ставки героя и всенародного движения.

Но ведь у Л. Толстого речь идет о 12-м годе и времени, ему предшествовавшем. При чем тут революция и революционная масса? Еще можно представить, что на воззрения Толстого, на его трактовку характера и роли народа в Отечественной войне и вообще в истории могла повлиять зреющая крестьянская революция, но на пластику, сюжет, композицию, психологизм?.. Вспомним, однако, что «Война и мир» писался в годы, когда была подписана крестьянская реформа, когда «все переверотилось». Мужика и мужицкую массу 12-го года писал художник, варящийся в котле крестьянских брожений 60-х годов, дерзко споривший попеременно и с западниками и со славянофилами, искавший истину о мужике то на севастиопольских бастионах, то в мирной яснополянской школе.

В исканиях Толстого ставился голос зреющей революции. В романе о 1812 годе он не только выражает дух и характер будущих потрясений, но предсказывает пластические формы, в которые будущее движение выльется. В событиях, от которых он был отделен полувековой давностью, Толстой сумел различить тот язык, на котором заговорит нация спустя еще полвека. Но уже после того, как его книга будет написана. Что ж, дело художника — прочитывать язык, угадывать шифр, на котором изъясняется жизнь. Наше читательское дело — уметь понимать язык художника, улавливающего и истолковывающего то знание, которое посылает нам действительность и которое обычное восприятие, средней тонкости слух, средней зоркости зрение не способны ни расшифровать, ни даже порой хотя бы уловить. Не случайно были современники событий 12-го года упрекавшие Толстого за неточность некоторых его описаний и трактовок. Их претензия была естественна, даже справедлива, но так же естественна узость этой справедливости: сжатые рамками своего времени, они не могли видеть в своей современности то, что очевидным становилось для большого художника, глядящего к тому же на эту эпоху из другого времени.

Константин Леонтьев в своей работе «О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние» упрекает Толстого в том, что тот, говоря нынешним языком, модернизировал людей, воззрения и события 12-го года, причем значительная часть упреков Леонтьева относится к тому именно, как Толстой изображает народ и отношение своих героев к народу.

«Для меня в высшей степени сомнительно, например, мог ли гр. Безухий в 12-м году поклоняться Каратаеву и вообще солдатам именно так, как он поклоняется им... Да это вовсе не гр. Безухий 12 года; это сам Л. Н. Толстой 50-х и 60-х годов. Это автор севастопольских и кавказских рассказов первого периода».

Сарказм Леонтьева смел и жесток, но, как это ни парадоксально, лестен для Толстого или, по крайней мере, не умаляет его художественных заслуг. Дело не в том, что в эпоху 12-го года Толстой механически и насильно перенес «стиль и веяние» 60-х годов, а в том, что в эпохе 12-го года он увидел те именно элементы, которые обретут зримость и рельефность к 60-м годам. Он обнаружил, из чего мы выросли, растем и

куда этот рост пойдет в будущем, спустя еще полвека. Интересно, что сам Леонтьев отмечает это с большой ясностью. Продолжая свою мысль, он пишет: «Во времена Кутузова и Аракчеева все было у нас с виду уже довольно пестро, но бледно; все было еще барельефно; ко времени Крымской войны — многое, почти все выступило рельефнее, статуйнее на общегосударственном фоне; в 60-х и 70-х годах все сорвалось с пьедестала, оторвалось от вековых стен прикрепления и помчалось куда-то, смешавшись в борьбе и смятении!»

Критикуя Толстого за то, что тот мужика 60-го года выдал за мужика 12-го года, Леонтьев упускает из виду то обстоятельство, что в мужике 12-го года, поднявшемся против иноземного нашествия, Толстой разглядел и угадал того мужика, который станет участником массовой крестьянской революции сто лет спустя. Толстой изображает не застывший психологический тип, не закосневшую систему тех или иных воззрений, а историческую судьбу, протяженную во времени настолько длительном, что 1812 год сможет отозваться и преломиться в 1905-м.

Как врач по своей первоначальной профессии, Леонтьев дает клиническую картину смещений, допущенных Толстым: «Основной рисунок верен; краски слишком густы и ярки. Остов похож; не совсем, я думаю, похожа плоть; сомнительны ритм и род кровообращения; ячейки и волокна микроскопические слишком многочисленны и разнообразны; они слишком крупны и зернисты, то слишком уж малы и нежны».

Организм тот и не тот, русское общество в изображении Л. Толстого то и не то — значит ли это, что нарушена правда или уязвлен реализм? Скорее другое — характеры не оставлены на плоскости только своего времени, они вдвинуты в очень объемную и далекую историческую перспективу. Может действительно показаться, что эта плоть не соответствует этому костяку, а эти краски — этой плоти, степень яркости не соответствует степени вялости, и вообще некоторые ткани представляются несовместимыми. Но, может быть, надо довериться тем смещениям, которые допускает художник, и поглядеть, что в этих смещениях открывается? Может быть, надо довериться той эстетике, которая рождена

таким большим художником, как Л. Толстой, чтобы понять те законы жизни, ту практику, которая отразилась в его творчестве?

«Эпический род мне становится один естественен», — записывает Л. Толстой в своем Дневнике за несколько месяцев до того, как начнет писать «Войну и мир».

Когда Л. Толстой начал приступать к «Войне и миру», то вряд ли он предполагал, что начинает работу не только свою, но что с ним и в нем русская литература осуществляет свой первый эпический опыт. История зарождения и возникновения «Войны и мира» — это история зарождения не только этой книги, но целого ряда других (в другие эпохи и других авторов), ибо рождались не только образы конкретных героев и ситуаций — рождалось ощущение и вкус масштаба, пределы, если их можно назвать пределами, а точнее, горизонты универсальности. Обдумывались не только Петя, Наташа, князь Андрей, Пьер, героическое Бородино или слепое убийство ложно обвиненного в поджоге Москвы Верещагина и не только созревало конкретное мировоззрение, связанное с отношением к патриархальному крестьянству, созревало мировоззрение художественное — ощущение пластики всеобщего, способность выйти за пределы частной судьбы к судьбе общенародной, а оттуда еще дальше — к судьбе общечеловеческой. Объять одновременно всех и каждого, вместить общее в частное, не порвав его индивидуальных пределов, обнаружить бескрайнюю вертикаль и ценность каждого частного существования и одновременно не заслонить этим частным море голов; и одновременно же не дать этому частному расплыться до безликости; увидеть неповторимое и своеобразное лицо именно общего настроения, но так, чтобы гул, не теряя своей гулкости и хорошего начала, позволял слушать и низкие и высокие голоса, и крик, и шепот, и вопль, и визг... Писатель, который одним из первых смело вывел в пределах своего произведения народ на площадь, который дал образцы массовых батальных и не только батальных сцен, видимо, саму историю воспринимал как огромное пространство, заполненное людьми, находящимися в бесконечном и беспрестанном перемещении. Образ пчелиного роя, столь частый в рассуждениях Толстого, это не умозрительная ме-

тафора, это присущее ему художественное ощущение перемещающейся, движущейся человеческой массы, законы жизни которой художнику предстоит исследовать. В этом ощущении нет ничего антиличностного, антииндивидуального, то есть античеловеческого. Наоборот, именно как художник, ищущий пластическое выражение духовному опыту человечества, Толстой пытается выразить единичную жизнь, единичное сознание в его соотношении с общенародной жизнью, которая даже самого замкнутого человека догоняет, по крайней мере, в виде его семьи, класса, нации, а наиболее духовно углубленный человек оказывается как раз наиболее приближенным к тому, что Толстой пробует назвать роевой жизнью, к ее глубине.

Через всю жизнь Толстого, еще до того, как он начал «Войну и мир», и во время ее написания, и спустя много десятилетий после этого, проходит желание «все свести к единству». Это желание составляет одно из его главных художественных мучений. В дневниках и письмах он говорит о «сцеплении мыслей», о «замке сводов».

Как в детстве он искал зеленую палочку, которая принесет всем счастье, так, став взрослым, он хочет художественно постичь общий закон человеческого существования, который «сцепляет» людей в человечество, частную человеческую судьбу включает во всеобщую историю. Он ищет «замок сводов». Чем более зрелым становится Толстой, тем это стремление делается более настойчивым и тем более широкий круг исторических и житейских явлений охватывается этим стремлением, вовлекая их в единый смерч. Познакомившись с Чичериным, он в январе 1858 года записывает в Дневнике: «Философия вся и его (Чичерина. — И. Б.) — враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, чем ложнее, тем слаще». А спустя всего два месяца тридцатилетний Толстой уже признается: «Много я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ишу его место в вечном и бесконечном, в истории».

Прочтя Рилля, он остается недоволен тем, что у того нет общей поэтической идеи. «Нужны более общие идеи, чем идеи организмов государства — идея поэзии, и ее не уловишь в Америке и в образующейся Европе» (август 1860 года).

В марте 1863 года Толстой записывает: «Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это». В годы работы над «Войной и миром» он записывает: «Знание предмета — есть знание совокупности законов всего предмета». «Где законы? — вопрошает он в своих Записных книжках в 1868 году, когда работа его идет к завершению. — Или мистическое движение вперед, или художественное воспроизведение воспоминаний».

...Вот одно поразительное признание в Записной книжке Толстого, но уже гораздо более позднее (28 октября 1879 года):

«Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу берутся. Есть из них сильные — Наполеоны пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицы в людях, но всё по земле. Есть люди, равномерно отрашивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскриленные, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся — хорошие идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. Помогите Бог».

Есть с небесными крыльями, нарочно из любви к людям спускающиеся на землю (сложив крылья), и учат людей летать. И когда не нужно больше — улетит. Христос».

Эта трезвая самохарактеристика сделана Толстым в пятидесятилетнем возрасте, когда он уже знает свои силы, возможности и крайности. Поэтому судит о себе уверенно, заинтересованно и в то же время самоотчужденно. Он видит себя в ряду других и ставит себе — в сравнении с ними — цену, не рыночную, конечно, а духовную. Точкой отсчета оказывается земля, толпа, человечество, «люди мира», те, кто «внизу берутся». Они всегда в центре его внимания, определяет ли он предмет истории как науки или нравственную цену каждого человека в отдельности, себя в том числе, или наедине с самим собой, в минуту дневниковой откровенности, раскрывает свою духовную судьбу.

Когда мы говорим о том, что Толстой является выразителем чаяний многомиллионной массы патриархального крестьянства, то мы конкретно-исторически определяем

социальное содержание и емкость творчества его и личности. Но одновременно это оказывается определением и оценкой нравственного содержания его жизни, потому что сам факт того, что писатель в вопросе о своем жизненном и творческом предназначении решает прежде всего в соотношении с тем, как живет «род человеческий», уже содержит высокую нравственную оценку писателя. Наконец, все это социальное и нравственное содержание, в свою очередь, отражается в поэтике Толстого тем, что для Толстого-художника высшей художественной задачей, как уже говорилось, становится задача «все свести к единству». Чем шире становился его кругозор, тем настоятельнее было желание найти ось того обзора, который ему открылся. Эпическое начало, поэтика эпоса выкристаллизовываются в Толстом как в художнике в нерасторжимом соотношении с социальным и нравственным содержанием его духовного мира. Понадобилось, чтобы в самой личности писателя, в его внутреннем духовном созревании наступил момент хотя бы относительной гармонии, хотя бы временного равновесия, чтобы он особо проясненным сознанием мог охватить единство той «собственной вселенной», которая в нем отстоялась. Такой период в жизни Толстого наступил, и позже он никогда не мог больше его восстановить, — это был период написания «Войны и мира».

Сам Толстой, закончив писание и публикацию «Войны и мира», странным образом почувствовал, что то равновесие между миром и собой, которое особенно необходимо эпическому писателю и которое он испытывал при создании «Войны и мира», больше в его жизни не повторится. В Записной книжке лета 1870 года он все время возвращается к мысли об этом равновесии, об этой гармонии. Он записывает: «Человек рождается, это значит, что он индивидуализируется — получает способность видеть все индивидуально. Он живет. Это значит — он больше и больше стирает свою индивидуальность и перестает быть один и сливается со всем [зачеркнуто: с массой]. Человек умирает (медленно иногда — старость), он перестает быть индивидуумом. Индивидуальность тяготит его».

Вторая запись: «...Умереть — значит избавиться от заблуждения, через которое все видишь индивидуально. Родиться — значит

из жизни общей перейти к заблуждению индивидуальности. Только на середине, во всей силе жизни, можно видеть и свое заблуждение индивидуальности и можно сознать истину всеобщей жизни. Только один момент на вершине горы видны оба ската ее».

И следующая запись — снова и дальше, продолжая, договаривая: «Человек сознает себя, как весь мир, неиндивидуально, и сознает себя, как человека индивидуума. Из этого строится все. Человек сознает больше или меньше, всё или я, смотря по возрасту. И только один возраст (40—50 л.), когда он может помирить оба сознания».

От этого нельзя быть философом всю жизнь, а только одно время. Сказать, как понял, и замолкнуть».

В высказываниях этих важны не столько те жесткие возрастные пределы, которые так сурово определяет Толстой для времени и срока, когда «можно помирить оба сознания», сколько само определение сущности этого равновесия. Только что его пережив, и пережив так плодотворно и счастливо, Толстой дает ему определение, перед тем как с ним расстаться, уже навсегда. И он чувствует, что навсегда. В ту пору быть философом означало для него быть художником-философом так же, как незадолго перед этим он противопоставлял историю-искусство истории-науке. Толстой занимался философией всю последующую жизнь, как всю жизнь оставался философом, но сейчас, говоря о возрасте, когда «можно помирить оба сознания», он говорит о том особом состоянии творческого духа, которое так необходимо было ему достичь и пережить, чтобы создать эпическое повествование подобной сложности. Чтобы уловить тайну соединения частной жизни и общей и раскрыть эту тайну художественно, пластически (задача, так мучившая Толстого), необходимо было прежде всего самому, в пределах собственной личности и духовного опыта, это единство пережить как самостоятельное состояние или событие — осознать «себя как весь мир» и одновременно как личность глубоко и неповторимо индивидуальную, и при этом в первом случае — не свести себя до безликости, во втором — не впасть в заблуждение, что все видишь только индивидуально, не истощить, не извести себя сознанием своей исключительности, своей надмассовости, надмирности, надисторичности. «Из этого строит-

ся все», — пишет Толстой и подчеркивает эти слова. Нужна была внутренняя духовная гармония, пусть преходящая, чтобы создать гармонию поэтическую, чтобы произведение, охватившее движение народа во множестве человеческих судеб, волю и произволов, поражало соразмерностью и равновесием всех своих частей потому именно, что в нем, при всем видимом повествовательном беспристрастии, господствовал единый и высокий авторский поэтический пафос, одной из ипостасей которого является то, что сам Толстой называл нравственным отношением к предмету.

Эти дневниковые записи необычайно ценны откровенностью художника, раскрывающего не секреты мастерства, а нечто еще более труднодостижимое — то особое состояние духа, при котором стало возможным написание «Войны и мира».

«Сказать, как понял, и замолкнуть». Как понял Толстой — это сказал он в «Войне и мире», говоря точнее, это стало «Войной и миром».

...Однако, завершая «Войну и мир», Толстой не был удовлетворен мерой понятого. Последнюю, философскую, часть книги после того, как все сюжетные узлы были распутаны и было сказано, что движение народов «вошло в свои берега» и одновременно и взаимосвязанно с этим вошла в свои счастливые и прочные берега жизнь главных героев романа, после того, как в гениальном художественном единстве были сведены все своды, герои обрели покой, а бесчисленные составляющие романа обрели художественное равновесие, — после всего этого Толстой открывает завершающую часть романа признанием почти отчаянным: «Предмет истории есть жизнь народов и человечества. Непосредственно уловить и обнять словом, — описать жизнь не только человечества, но одного народа, представляется невозможным».

Годом позже он записывает в Записной книжке (5 апреля 1870 года): «История хочет описать жизнь народа — миллионов людей. Но тот, кто не только сам описывал даже жизнь одного человека, но хотя бы понял период жизни не только народа, но человека, из описания, тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь. Кроме того, при величайшем искусстве

нужно много и много написать, чтобы вполне мы поняли одного человека. Как же в 400-х печатных листах (самое многотомное историческое сочинение) описать жизнь 20 миллионов людей в продолжение 1000 лет, т. е.  $20\,000\,000 \times 1000$ ? Не придется буквы на описание года жизни человека...

Что делать истории?

Быть добросовестной.

Браться описывать то, что она может описать, и то, что она знает — знает посредством искусства. Ибо история, должствующая говорить необъятное, есть высшее искусство.

Как всякое искусство, первым условием истории должна быть ясность, простота, утвердительность, а не предположительность. Но зато история-искусство не имеет той связанности и невыполнимой цели, которую имеет история-наука. История-искусство, как и всякое искусство, идет не в ширь, а в глубь, и предмет ее может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке.

Б. Эйхенбаум, первым обративший внимание на это важное высказывание Толстого, верно замечает, что принципиального различия между историческим и неисторическим сюжетом для Толстого нет. По Толстому, человек всегда участвует в истории независимо от того, просто ли он живет, занятый исключительно своими личными делами, или, как ему кажется, он «делает историю», определяет своей волей ее направление. В истории участвуют все, она — плод деятельности всех живущих.

Изучение художественной структуры «Войны и мира» как раз и обнаруживает, что Толстому «системой связей и переплетений» удалось показать то, как народ творит историю и как творит историю каждый существующий. Частная семейная жизнь героев «Войны и мира» имеет совершенно исторический характер не потому только, что на ней лежит отчетливая печать той эпохи, но потому, что мы видим, как в единое историческое русло (на наших глазах, в непосредственном сюжетном действии) сливаются частные побуждения, мотивы, поступки Ростовых, Безуховых, Курагиных, Друбецких. На наших глазах образуется та «одна равнодействующая — историческое событие», о которой говорит

Энгельс. В сценах Бородинского сражения Толстой показал не только то, что происходило на отдельных редутах и как выполнялись там приказы командования. Он обнаружил нечто еще более первоначальное — как из множества человеческих побуждений и характеров складывалась победа, решалась, в конечном счете, судьба России. Толстой как бы подстерегает момент свершения истории. Не то, как она отразится позже в головах людей — какое название люди дадут событиям и к каким именам их приурочат, — а то, как совершается само событие, как сбивается масло.

В «Войне и мире» Толстой писал: «Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно-малые элементы, которые руководят массами». И чуть выше: «Только допустив бесконечно-малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно-малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории».

Толстой и пытается художественно взять сумму этих бесконечно-малых. Биологи ищут, как из белка возникает жизнь. Толстой, будучи художником, ищет, как из рядовой, повседневной человеческой жизни возникает история, возникают события, по которым мы отмечаем движение жизни, но сама жизнь не сводится только к событиям, как не сводится она и к деятельности великих людей. События — это лишь веки, сама же она ткется постоянно. И вот это ткачество, когда из множества нитей возникает ткань, — эту неуловимую работу и хочет Толстой уловить, «обнять словом», добиться естественности подлинной жизни, не имитируя ее, а действительно воспроизводя. Он буквально мучается над тем, чтобы «в необъятной, неизмеримой скале явлений прошедшей жизни не останавливаться ни на чем, а от тех редких, на необъятном пространстве отстоящих друг от друга памятниках-веках» протянуть «воздушные, воображаемые линии, не прерывающиеся и на веках». Он бьется над тем, чтобы «между своими вымыслами» и «живыми памятниками» не было различий. Он боится, как бы «живость редких памятников» не была уничтожена «безличностью своих предположений». Словом, он хочет, чтобы у него само-

го из множества нитей получилась ткань. Хочет со-ткать, со-творить жизнь. Хочет восстановить или, точнее сказать, самостоятельно воспроизвести акт творения. И в этом его огромное художественное притяжение.

Яростная полемика Толстого с теми, кто видел в истории только «деятельность единичных людей, правящих народом, и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа», является прямым, непосредственным результатом его стремления «обнять словом», искусством, художественно, как жизнь творится множеством людей. Со стороны Толстого это было актом высокого доверия и к жизни, и к каждой человеческой личности, и к народу в целом как к творческой силе. Развенчание тех, кто сводил жизнь народов к деятельности их правителей было для Толстого задачей не столько даже философской и тем более не политической, сколько задачей художественной, потому что прежде всего живое художественное чувство не позволяло ему разнообразие множества, богатство конкретного сводить к деятельности одного лица, даже такого емкого, как Кутузов или Наполеон. Более того, он говорит о том, что даже к деятельности десятков лиц невозможно свести деятельность миллионов, и надо искать какие-то особые пути, чтобы выразить эту последнюю, поскольку «...деятельность миллионов людей, переселяющихся, сжигающих дома, бросающих земледельцев, истребляющих друг друга, никогда не выражается в описании деятельности десятка лиц, не сжигающих домов, не занимающихся земледелием, не убивающих себе подобных».

В полемической крайности Толстой доходит даже до утверждения, что надо писать историю «всех, без одного исключения в всех людей, принимающих участие в событиях». Правда, годом спустя Толстой скажет, что если описывать каждодневную жизнь каждого, то не хватит буквы на описание жизни одного человека, и тогда он заговорит об истории-искусстве, ибо только искусство способно через «описание месяца жизни одного мужика в XVI веке» «говорить необъятное». К тому же сам Толстой в «Войне и мире», при всей густонаселенности книги, делает жесткий отбор действующих лиц, не только главных и эпизодических, но и тех, кто хоть раз мелькнет в массовых сценах.

Его рассуждения о свободе и необходимости вызваны и продиктованы насущной потребностью художественно постичь общественную суть человека, богатство его связей со всеобщей жизнью. Полная свобода в понимании Толстого возможна лишь при полном отключении от мира, но тогда мы отрицаем жизнь, «ибо существо, не принимающее на себя влияния внешнего мира, находящееся вне времени и не зависящее от причин, уже не есть человек». Познать и выразить связи, сцепления, существующие между людьми, между человеком и народом, народом и человечеством, значит, по Толстому, познать законы зависимости. Мыслью о том, что человек сам не понимает, как он зависит, и что он должен эту зависимость осознать, и завершается «Война и мир».

Философские главы «Войны и мира» чрезвычайно много объясняют нам в Толстом как в эпическом писателе.

По существу, это не только исповедь Толстого как философско-исторического мыслителя, но больше, может быть, исповедь художника, взявшегося за эпическое повествование, пытающегося осмыслить те художественные задачи, которые поставила перед ним жизнь и сложность которых он в полной мере понял, лишь погрузившись в глубину своего труда. Эти сложности возникли под его руками и стали для автора предметом глубокого духовного переживания, в котором он нашел возможным признаться на страницах своей книги, может быть, почувствовав, что его нынешние художественные искания одноприродны духовным исканиям его героев.

Определяя свои отношения с миром, свое жизненное предназначение, Пьер Безухов уходит то в масонство, то в преклонение перед Платоном Каратаевым, Андрей Болконский — то в сельские преобразования, то в реформы Сперанского, то в полковые командировки. Для Толстого в пору написания «Войны и мира» того же рода поиски осуществлялись не в том, что он участвовал в Севастопольской обороне или обучал крестьянских детей в яснополянской школе, а в том, что он разгадывал законы зависимости частной и общей жизни, которые предстояло уловить и материализовать в книге о войне, всколыхнувшей многомиллионную страну. Самой книге в ее художественной законченности и цельности предстояло стать, говоря современным языком, моделью реальной человеческой истории.



Толстой этого добивался, претворяя свои духовные искания на этот раз в исканиях художественных. Может быть, острее, чем когда-либо до того, Толстой самого себя, вот сейчас создающего «Войну и мир», чувствовал включенным в движущуюся историю человечества, которую он искал, как выразить в совокупности воле всех участвующих и неповторимости каждого. Как бы глядя со стороны, с высоты, в той, «роевой жизни», которую он хотел «обнять словом», он различал еще одно частное существование — свое собственное, находил свое личное жизненное назначение в том, чтобы разгадать очень своеобразные художественные задачи, в нашем теперешнем представлении — задачи эпические. Поэтому то философские главы «Войны и мира» похожи больше не на теоретическое изыскание, а на авторский монолог, который соотносим скорее с лирическими отступлениями Гоголя в «Мертвых душах», нежели с академическим исследованием. В них безусловно есть своя художественная обязательность. Это не теоретические выводы из романа и не комментарий к нему. В том море народной жизни, каковым мы воспринимаем «Войну и мир», это особое философско-лирическое течение, которое оказывает совершенно определенное влияние на всю атмосферу романа. Думается, что чем дальше во времени мы будем уходить от «Войны и мира», чем более издалека будем на него смотреть, тем отчетливее будем различать контуры авторской фигуры, вписанной в общую композицию, то действующее лицо, которое по мере написания романа тоже пережило свою судьбу.

Сам же Толстой по поводу философских глав писал в 1870 году: «Я слышу критиков: «Катанье на святках, атака Багратиона, охота, обед, пляска — это хорошо; но его историческая теория, философия — плохо, ни вкуса, ни радости».

Один повар готовил обед. Нечистоты, кости, кровь он бросал и выливал на двор. Собаки стояли у дверей кухни и бросались на то, что бросал повар. Когда он убил курицу, тельца и выбросил кровь и кишки, когда он бросил кости, собаки были довольны и говорили: он хорошо готовил обед. Он хороший повар. Но когда повар стал чистить яйца, каштаны, артишоки и выбрасывать скорлупу на двор, собаки бросились, понюхали и отвернули носы и сказали: прежде он хорошо готовил обед, а

теперь испортился, он дурной повар. Но повар продолжал готовить обед, — и обед съели те, для которых он был приготовлен».

Как известно, художник познает по мере того, как он пишет. Художественное произведение — не плод предварительно завершеного познания, не изложение уже добытого результата, а само горнило познания, процесс его. Художник описывает хорошо известную ему жизнь, рассказывает то, что пережил он сам и что, может быть, никто не знает лучше него самого, — тем не менее он лишь тогда наиболее исчерпывающе познает пережитое, свой собственный жизненный опыт, осмысляет свое, казалось бы, уже устоявшееся знание жизни, когда переплавляет, перевоплощает его в свое произведение. Для художника его творчество есть высшая жизненная практика. В этом смысле и говорится о том маршруте восхождения, внутреннего становления, который Толстой прошел, прожил как эпический писатель по мере того, как он создавал «Войну и мир».

В эпилоге «Войны и мира», может быть, больше, чем в какой-либо другой части, ощутимо это дыхание восхождения. Художественное мышление Толстого обнаруживает здесь свой эпический пафос с тем большей очевидностью, что перед нашими глазами не разворачиваются сейчас площади и поля, заполненные бурлящим народом, возмущенным или сражающимся; народа вроде бы здесь нет или он и в самом деле безмолвствует, а тем не менее «всеобщая жизнь» остается основой всего происходящего. Впрочем, в финалах обычно подспудное проступает на поверхность. Поэтому воспользуемся этим моментом.

«Войну и мир» завершает маленький Николинька Болконский. Ему снится сон.

В сне Николиньки возникает образ связующих и двигающихся нитей и линий. Возникает образ огромного войска, впереди которого идут Пьер и Николинька и которое представляется мальчику в виде белых косых линий. В воображении ребенка (но еще обобщенно до туманности) зарождаются те же противоречия, которые так волновали его отца и Пьера, — драма связей с огромным человечеством, связей то естественных и радостных, то тяжелых и запутанных. Новое время будет в новых формах решать эту проблему, доказывая тем

самым, что она еще не разрешена и не исчерпана, что еще для многих поколений она будет оставаться коренной духовной проблемой. С. Бочаров справедливо пишет, что своей концовкой «Война и мир» — открытая книга.

Проблемы, вставшие перед героями «Войны и мира», были проблемами эпическими не потому, что «Война и мир» по своему литературному жанру ближе всего стоит к эпическому повествованию, а по существу самих этих проблем, которые и превратили семейный роман в народную эпопею. Эпос присутствует в жизни каждого, поскольку каждый человек тем способом существования, который он выбирает, волей-неволей решает вопрос о соотношении своей личной жизни с жизнью всеобщей. С этой точки зрения судьбы героев «Войны и мира» все решаются именно в эпической плоскости. Жизнь каждого персонажа взята в масштабе всенародной судьбы по меньшей мере. Поэтому «Война и мир», при всей своей законченности и гармоничности как художественного целого, действительно остается «открытой книгой», поскольку остаются открытыми и жизнью не завершенными те фундаментальные проблемы, на которых эта книга покоится. Равновесие, обретенное героями Толстого, очень зыбко, и эпилог книги обнаруживает эту неустойчивость как раз в момент наиболее полного и счастливого покоя и мира. Наше восприятие не подавлено сейчас заботой о том, что судьбы героев неустроены или неблагоприятны. Наоборот, все уладилось и окрепло в этом ладе, и поэтому мы вместе с автором способны воспринимать поступь «всеобщей жизни» в наиболее чистом виде, не искаженной частной неустроенностью, а эта поступь далеко не безмятежна.

В эпилоге гуляет ветер и запах другой эпохи, и не потому, что эпилог «Войны и мира» готовился стать кануном и прологом предполагавшегося романа о декабристах. Совсем не этими плоскими, утилитарными заботами о фабульной преемственности был занят Толстой; он завершал книгу и ставил точку без намека на то, что «продолжение следует». Открытость финала вызвана внутренним существом самого произведения.

В эпилоге, когда море народной жизни вошло в свои берега, сокровенная эпическая структура книги проступила наиболее ясно. Толстой кажется здесь наиболее открытым

и откровенным, но не в том смысле, что он до поры до времени скрывал замки сводов, а вот сейчас, когда дело сделано, открыл все замки. Как всякий истинный исследователь, Толстой рос вместе со своим исследованием. То, что он писал, до чего добирался, было для него открытием, может быть, не в меньшей мере, чем для его будущего читателя. Сцепления и своды, которыми частные судьбы его героев «вобранны» в общую жизнь, через которые общая жизнь реализует себя в каждой отдельной жизни, для самого Толстого прояснились по мере написания книги. Эпилог «Войны и мира» (даже в своей сюжетной, повествовательной части) — это не только рассказ о том, что случилось с Ростовыми, Безуховыми, Болконскими вскоре после окончания войны, а потом еще семь лет спустя, и не только итог жизни всех этих людей, это итог, результат его, толстовского, исследования их судеб и, следовательно, его, Толстого, жизни. Тональность, в какой рассказывает Толстой о своих героях в эпилоге, отличается от тональности основной части романа (имеются в виду все три с половиной тома его). В основной части романа Толстой разговаривает со своими героями, находясь как бы на одной плоскости с ними, он кажется живущим среди них. В эпилоге, несмотря на то, что быт написан здесь не менее густо и любовно, чем в основной части, несмотря на то даже, что описываемые Толстым счастливые первые годы супружества его героев имели очень близкий и реальный прототип в его собственной супружеской жизни, также и похоже счастливой в ее первые годы (как раз это и были годы написания «Войны и мира»), несмотря на все эти обстоятельства, Толстой в эпилоге кажется гораздо более отдаленным от своих героев, чем в предыдущих трех с половиной томах. Между ним и ими легла полоса — нет, не отчуждения, а полоса познанного. Тогда, в основной части, Толстой развертывал перед читателем и выяснял сам для себя, как в событиях 12-го года и предшествующих лет судьба его героев переплеталась с общенародной судьбой. Сейчас, в эпилоге, о тех же самых людях рассказывает человек, уже открывший для себя какие-то истины, убедившийся в них, и его рассказ этим знанием обогатился; постигнутое дало рассказу новую кровь, новую энергию, новую силу прозрения. Это не значит, разумеется, что эпилог написан лучше или хуже всей книги. Речь

идет о том, что он написан по-иному. В эпилоге в новом качестве выступают не только герои, но и сам автор. Собственно авторский голос стал напористее и стал больше претендовать на самостоятельную роль. В этом смысле эпилог кажется наиболее лирической частью «Войны и мира» не только в своей философской части, где Толстой говорит уже прямо от своего имени, но даже и в предыдущей сюжетной (повествовательной) части.

В продолжении романа лирическое течение несколько раз выходит на поверхность. Вспомним знаменитый восторженный монолог автора в сцене пляски Наташи у дядюшки («Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух?...»). Вспомним мрачный голос автора, завершающий сцены Бородинского сражения («Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми... на полях и лугах... На перевязочных пунктах, на десятину места, трава и земля были пропитаны кровью...»). Всякий раз эти отступления были связаны с определенными конкретными событиями и были к ним приурочены. В эпилоге же Толстой (даже тогда, когда он погружается в малозначительные, кажется, детали быта) подводит общий итог жизни каждого из героев и всем отношениям, их связывающим. И разговор он ведет не об отдельном поступке или событии, пусть даже таком решающем, как Бородино. Разговор он ведет о человеческой личности и человеческой судьбе как целом. Эпилог является самостоятельным исследованием жизни героев, но уже на новом этапе — не только на новом этапе времени (был 1813 год, а теперь 1820-й), но главным образом на новом этапе авторского знания. Обнаружив и констатировав какие-то истины, Толстой не остановился познавать. При всей его уверенности в своих выводах, в его исследовании не возникло ни малейшей инерции, так же как при всей страстности и даже категоричности его тона в нем нет ни догматизма, ни безапелляционности. Толстой все время идет дальше и дальше, роет глубже и глубже. Теперь, в эпилоге, когда герои прошли через войну 1812 года и стала совершенно очевидной связь их судеб с общенародной судьбой, Толстой ведет рассказ об их жизни в мирное время так, что уже волей-неволей обнаруживается, насколько эта жизнь, казалось

бы, далеко ушедшая от больших дорог истории в сугубо частный, камерный быт, продолжает быть тем не менее связанной с жизнью общей. Этим мерилom автор мерит их жизнь независимо от того, думают они сами или нет о судьбах России. Речь в данном случае идет не столько даже о нравственной оценке, абсолютно единой во всей книге, сколько о ракурсе изображения.

В эпилоге больше, чем где-либо до того, присутствует ощущение человеческой жизни как «шара, законченного в самом себе». Читая роман, мы могли не раз вместе с героями поражаться каким-то невероятным случайностям и совпадениям в их судьбе (князь Андрей, встретивший после Бородина искалеченного Анатоля Курагина в походном госпитале; князь Андрей, попавший в обоз Ростовых; Николай Ростов, спасший княжну Марью от взбунтовавшихся богучаровских крестьян). Вместе с героями мы тогда поражаемся и говорили: какая судьба! В эпилоге нет ни случайностей, ни совпадений, наоборот — все прочно подогнано друг к другу, но автор как бы вытаскивает нас из гущи описываемой им жизни, приподнимает над ней, и мы как будто видим ее горизонты. Она действительно предстает перед нами как «шар, законченный в самом себе». Это вообще привилегия всякого эпилога — в последней встрече с героем увидеть, постичь разом весь смысл его существования. Но Толстой эту возможность, эту привилегию возвел до того, что искусство и философия соединились у него в нерасторжимом синтезе. Так же, как позже он будет говорить об истории-искусстве, противопоставляя ее истории-науке, так сейчас, в эпилоге «Войны и мира», в его искусстве появляется особая философическая концептуальность и отстраненность. Речь идет, разумеется, не о его философских рассуждениях (это тема особая), а о самом характере письма, характере художественности. При всей своей погруженности в быт, он пишет здесь не столько жизнь своих героев, сколько их судьбу, он как бы прошупывает тот костяк, на котором держится плоть жизни. Судьба героев здесь как будто перестает скрывать себя, она демаскируется, расшифровывает код, на котором говорит. Разумеется, она не выступает персонафицированно, как в мифе или сказке (вспомним Горе-Злочастие). И все же она обнаруживает свое завершенное своеобразие, свой почерк, свой лад. И как таковую описывает ее Толстой,

говорит ли он о пустоцветном существовании Сони, или о духовной высоте графини Марьи, озарившей особой красотой семью Ростовых, или о жизненной силе Наташи.

«Не ощущаемая нами зависимость» от целей общих...— но в эпилоге эта зависимость почти ощутима, она кажется почти вещественной. Это не та очевидная, наглядная, бросающаяся в глаза зависимость, когда подступивший к Москве Наполеон выгнал из города Ростовых и в их обоз влилась повозка умирающего князя Андрея, что определило всю дальнейшую жизнь Наташи Ростовой и ее близких, или когда Пьер попадает в плен к французам, встречается с Платоном Каратаевым, и это тоже определяет его дальнейшую духовную судьбу. В эпилоге зависимость частной жизни от общей прощупывается автором не на изломе истории, когда все так очевидно, а в жизни мирной, казалось бы, малоизменчивой, поскольку история не встает здесь поперек твоей дороги. В эпилоге письмо Толстого приобретает особую стереоскопичность. Он тщательнейшим образом может описывать материнские и супружеские заботы графини Марьи или Наташи, и тем не менее читатель, оставаясь погруженным в этот упительный быт, ощущает «атомистичность» этой жизни, ее причастность «огромному целому», хотя целое это, напоминая, не выражено сейчас в таком конкретном событии, как народная освободительная война 12-го года. Вот мы растворились в этом быте, в этом семейном счастье и вдруг очнулись, отвлеклись, даже абстрагировались и почувствовали, как не замкнута эта жизнь, как причастна она общим законам человеческого существования. Толстой все время как бы перебрасывает жизнь своих героев в другие измерения, сквозь эти измерения прогоняет. Он как бы отрывает их от того времени и места, в котором они сейчас находятся, и поднимается вместе с ними над их нынешним текущим существованием. Это особенно чувствуется в концовках глав эпилога, когда вдруг будто подключается другой неожиданный свет, перемещающий тени так, что перспектива изображения обретает новую глубину и протяженность. Этих глав всего двенадцать (V—XVI). Вот концовки некоторых из них.

Глава IX, посвященная счастливейшей семейной жизни молодых Ростовых, завер-

шается так: «Графиня Марья осталась в диванной».

— Никогда, никогда не поверила бы,— прошептала она сама с собой,— что можно быть так счастливою.— Лицо ее просияло улыбкой; но в то же самое время она вздохнула, и тихая грусть выразилась в ее глубоко взгляде. Как будто кроме того счастья, которое она испытывала, было другое, недостижимое в этой жизни счастье, о котором она невольно вспомнила в эту минуту».

Глава XIV, очень напряженная по содержанию (спор Пьера и Николая об Аракчееве, о возможном бунте), завершается маленьким Николинькой Болконским, который, молчаливо и страстно переживая все происходящее, сидел в углу, не замечаемый взрослыми. Пьер только сейчас понимает, «какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике». Однако он раздосадован его присутствием так же, как и его противник по спору Николай Ростов, разгневанной репликой которого и завершается эта глава: «Тебе тут и быть вовсе не следовало».

XV глава, предпоследняя (снова счастливейшая супружеская жизнь Ростовых), завершается мыслями графини Марьи о том, что племянника своего Николиньку любит она меньше, чем собственных детей. Заметная и серьезная авторская ирония по отношению к одной из любимейших его героинь кладет особенную тень на всю предшествовавшую безмятежную картину, а последний абзац вносит даже что-то тревожное.

«...Она не сравнивала племянника и своих детей, но она сравнивала свое чувство к ним и с грустью находила, что в чувстве ее к Николиньке чего-то недоставало».

...она чувствовала, что была виновата перед ним, и в душе своей обещала себе исправиться и сделать невозможное — то есть в этой жизни любить и своего мужа, и детей, и Николиньку, и всех ближних так, как Христос любил человечество. Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному, и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного, высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай посмотрел на нее.

«Боже мой! что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее та-

кое лицо», — подумал он, и, став перед образом, он стал читать вечерние молитвы».

И наконец, последняя, XVI глава завершается сном Николиньки, «страшным сном», как пишет Толстой.

Появляясь в самых последних главах книги, этот болезненный тихий мальчик, еще никак не влияя на житейское существование взрослых, в самой атмосфере романа оказывается источником совершенно нового и свежего влияния. Он входит в роман не только как знак вечно продолжающейся жизни или посланцем будущего, но уже сейчас, в сегодняшней жизни героев книги, он устанавливает иное соотношение сил, чем то, к которому мы привыкли на протяжении предшествовавших томов. Николинька не приобрел еще фабульного влияния как самостоятельный характер. Его влияние скорее музыкально, чем сюжетно доказуемо. Он тих и глубоко сиротлив в этом кругу счастливых и процветающих людей. Сиротлив не потому, что лишился отца и матери. Соня и Денисов тоже одиноки — на этом счастливом фоне особенно. Тем не менее от них не идет того влияния, какое идет от Николиньки. По отношению к мальчику княжна Марья чувствует ограниченность, небездонность своего духовного совершенства. Николай Ростов, только что воспетый автором как идеальный хозяин, обожаемый мужиками за то, что сумел поставить на ноги свое и их хозяйство, в сне Николиньки предстает тупой, разрушительной силой. Пьера Николинька почитает как святыню, но о проектах Пьера, героя, едва ли ему не самого близкого, Толстой пишет сейчас с иронией вполне определенной («Пьер сказал то, что он начал. Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру»). С той же иронией говорит Толстой о проекте Пьера создать «общество джентльменов в полном значении этого слова... только для того, чтобы Пугачев не пришел резать и моих и твоих детей, и чтоб Аракчеев не послал меня в военное поселение...». Толстой не развенчивает своих героев, так же как не делает из пятнадцатилетнего, не сформировавшегося, не знающего жизни мальчика — идеала, в соседстве с которым блекли бы все остальные. Николинька, как уже говорилось, ни в жизни, ни в сюжете не играет самостоятельной роли и не может еще играть. Но присутствие Николиньки едва ли не пластически обнару-

живает, насколько «замкнутое в самом себе» существование каждого из героев книги и всех их вместе, собравшихся в эпилоге под гостеприимным кровом лысогорского дома, относительно и в своем равновесии и в своем совершенстве.

«Войну и мир» Толстой завершает не на точке покоя, а в момент зарождения нового движения, когда снова поднимутся большие волны и морю народной жизни предстоит снова выйти из берегов. Не один Николинька начало всех начал, но он один из тех, в ком зарождается это движение, в ком отдаются толчки, пока еще подземные. Они его и будят в мирной тишине большого и доброжелательного дома, где равномерно похрапывает гувернер и горит оставленная лампада, потому что мальчика не могли отучить бояться темноты. В минуту глубокого и защищенного мира мальчик просыпается от острого чувства приближающейся войны, когда дядя Николай встанет против дяди Пьера, брат против брата.

Еще ничего не произошло, но частное существование уже включено в поток истории, и Толстой снова подстерг, уловил словом их сцепление — причем в момент, когда воля мальчика, казалось бы, отключена сном и ни о каком сознательном делании истории и речи идти не может. Тем не менее жизнь частная и жизнь историческая осуществляются в нерасторжимом, в нерассекаемом единстве. Петю Ростова Толстой разыскивает в многотысячной толпе, заполнившей Красную площадь, когда в Москву приехал Александр, он находит его среди партизанских отрядов, преследующих Наполеона, — Петя влит в историю всем своим физическим и духовным существованием. Его ровесника Николиньку Болконского дядя Николай Ильич только еще собирается взять из лысогорской усадьбы в Петербург, но, погружаясь в глубину этого столь замкнутого, столь отрезанного от большой жизни существования, Толстой и здесь обнаруживает присутствие большой истории.

Эпические искания Толстого не завершились «Войной и миром». «Война и мир» была для него лишь одной из частей (песен) той эпопеи, которая в нем созревала. Он начинал после «Войны и мира» писать роман о Петре Первом, его не покидал замысел романа о декабристах, притягивала николаевская эпоха, совсем соседняя, привлекал Толстого тип Ильи Муромца. Б. Эйхенбаум зорко распознал в философско-исторических

главах «Войны и мира» предпосылки создания нового романа. «Война и мир» и здесь, в философской части эпилога, оставалась «открытой книгой».

Опыт эпических исканий Толстого — это предопределение путей будущей эпической литературы. Он искал свое и для себя — своих героев, свои сюжеты, выбирал эпохи, искал тот «узел русской жизни», который, по словам Б. Эйхенбаума, позволил бы ему связать историческую и частную жизнь людей в один узел и затем распутать этот моток. Оказалось же, что он едва ли не в одиночку прокладывает направление будущей эпической литературы. Художественно предугадав революцию, он предугадал характер того искусства, которое будет ею рождено, — те сечения, по которым это будущее искусство станет брать жизнь, его поэтику, его конструктивные искания, когда снова надо будет в одном свode свести частную человеческую жизнь, каплю, песчинку, и общенародный, общероссийский переворот, когда снова возникнут ассоциации: море, вышедшее из берегов, — как в «Войне и мире», несущийся по степи бурян — как у Пушкина. Метафоры эти, таинственные для своего времени, теперь станут расшифровываться ежедневной жизнью с доступной всем наглядностью — литературе же снова придется искать сцепления же своды. Тогда она не раз обратится к опыту Толстого — и в фадеевском «Разгроме», и в шолоховском «Тихом Доне» и до сего дня обращается.

После написания «Войны и мира» Толстого в течение многих лет тревожил замысел романа о переселенце, который робинзоном сядет на новую землю (в самарских степях) «и начнет там новую жизнь с самого начала мелких, необходимых человеческих потребностей», то есть он хочет добраться до первоначальных истоков первоначального существования. Садится человек на голую землю и начинает все сначала. Интересно при этом, что Толстой не собирался уходить в историю и там в давности или даже в древности отыскивать это начало всех начал. Нет, он хотел взять именно современного ему мужика и показать, как этот мужик вот сейчас, в его, толстовское, время «правит жизнь», начинает все с самого начала мелких человеческих потребностей. Причем эта вечная первоначальная человеческая деятельность должна была прийти в соприкосновение, пронизаться совершенно конкретной современностью, современностью

именно толстовской, знакомой ему досконально. Робинзон-переселенец должен был появиться во второй части этого романа. А в первой, по свидетельству Софьи Андреевны (ее дневник от 25 октября 1877 года), должно было происходить вот что: «Сегодня он мне говорил: «А эта пословица, которую я прочел вчера, мне очень нравится: «Один сын не сын, два сына — полсына, а три сына — сын». Вот для моего начала эпитафия. У меня будет старик, у которого три сына. Одного отдали в солдаты, другой так себе, дома, а третий, любимый отца, выучивается грамоте и смотрит вон из мужичьего быта, что больно старику. И вот она, семейная драма, в душе зажиточного мужика, для начала». Потом, кажется, этот выучившийся сын-мужик придет в столкновение с людьми другого, образованного круга, и потом ряд событий». Стал бы переселенцем этот отколовшийся третий сын или был бы введен совершенно новый персонаж — неизвестно. Интересно то, что Толстой хотел свести два сечения — вечное земледельческое созидание и современное существование, современную историю. По всей видимости, он хотел «подстеречь» созидание жизни, ее сотворение так, как она совершается у него на глазах, при его непосредственном свидетельстве.

При этом он, живя мирной жизнью и в мирное время, когда все рассеяны по своим местам и не соединены в общем порыве, хочет это созидание жизни увидеть, «поймать», как массовое повсеместное действие. Тайна роевой жизни привлекает его неотступно. В Записных книжках за 1868 год он записывает: «Показать, что люди, подчиняясь зоологическим законам, никогда не познают этих законов и, стремясь к своим личным целям, невольно исполняют законы общие. И показать, каким образом это происходит. В особенности заметно при переворотах». В «Войне и мире» он взял такой переворот. Сейчас в том же эпическом масштабе, с той же эпической универсальностью он хочет разглядеть судьбу народа и связанную с ней судьбу человека не в момент катастрофы, когда вывернуты и разворочены подспудные пласты, обнажены срезы и сечения, а жизнь мирную, созидательную, когда все закруглено, сглажено. Но ведь тогда-то в этой мирной жизни и происходят накопления, «заготовки» будущих переворотов — вот эту первоначальную работу даже не ткачества, а прядения жизни и стремился, видимо, уло-

вить Толстой. Но хочет уловить опять-таки как действие массовое, целокупно, в масштабе и механизме не только частного существования, но именно общего, поскольку единичное существование не открывает ему всей тайны истории и жизни. Такую возможность показать народ как целое, как совместную силу, проявляющую себя, однако, не в войне, хотя бы и освободительной, а в созидании, и нашел Толстой в явлении массового крестьянского переселения на новые земли, где все надо начинать сначала. Тема эта бродила в Толстом еще во время написания «Войны и мира», но тогда он коснулся ее похода. Однако эта страница «Войны и мира» необычайно интересна для понимания характера и направления эпических замыслов Толстого и вообще для понимания предмета современного эпического повествования.

«...в жизни крестьян этой местности (степного села Богучарова.— И. Б.) были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной, русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников. Одно из таких явлений было проявившееся лет двадцать тому назад движение между крестьянами этой местности к переселению на какие-то теплые реки. Сотни крестьян, в том числе и богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семьями куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке выкупались, бежали, и ехали, и шли туда, на теплые реки. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли на дороге, многие вернулись сами, и движение затихло само собой так же, как оно и началось без очевидной причины. Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой-то новой силы, имеющей проявиться так же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно. Теперь, в 1812-м году, для человека, близко жившего с народом, заметно было, что эти подводные струи производили сильную работу и были близки к проявлению».

Богучаровский бунт занимает в «Войне и мире» всего несколько страниц и остается эпизодом. Но мысль эта о таинственных подводных струях народной жизни не покидает Толстого, глубинным течением живя в нем самом. Видно, в конце 70-х годов она про-

изводила в Толстом сильную работу и была близка к проявлению. Это был глубоководный эпический замысел, который открывал бы Толстому возможность снова увидеть то сокровенное, так мучившее его в «Войне и мире» превращение множества бесконечно-малых побуждений в единое массовое движение. Массовое переселение давало сюжет, где «роевая жизнь» становилась непосредственным предметом изображения.

Когда Толстой говорил, что в «Анне Карениной» он любил «мысль семейную», в «Войне и мире» — «мысль народную», вследствие войны 12-го года, а в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завоевательной», то он, по существу, говорил о том, что хочет «обнять словом», как народ своей энергией и трудом завоевывает пространством и вообще жизнью, как осуществляется «сотворение мира». Расшифровывая мысль Толстого о «завоевательной» силе русского народа, Софья Андреевна пишет, что «сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.».

Эта запись в дневнике Софьи Андреевны сделана за полгода до той записи от 25 октября 1877 года, которая цитировалась выше и которая свидетельствовала о том, что мысль романа о переселенцах уже дозрела до определенных образов, характеров и даже сюжета... Она, эта ранняя запись, необычайно интересна тем, что обнаруживает, как деятельно эпическое воображение Толстого искало жизненный материал, реальный зародыш, пластическую возможность для романа, который позволил бы ему постичь наиболее фундаментальные основы жизни. Сюжет, характеры начнут кристаллизоваться позже. А пока, когда нет еще ни характеров, ни судеб, может быть, яснее слышен пафос, общая музыкальная, поэтическая тема будущего произведения. Ее Толстой подобрал буквально на больших дорогах. Вот что пишет Софья Андреевна: «Много разных сведений слышны со всех сторон о переселенцах. Так, например, в прошлое лето жили мы в Самаре и поехали раз вдвоем к казакам, верст 20-ть от нашего Самарского хутора. Встречаем мы целый обоз, несколько семейств, дети, старики, все веселые. Мы остановились и спросили старика: «Куда вы?» — «Да на новые места едем из Воронежской

губернии. Наши уже давно ушли на Амур, а теперь пишут оттуда, вот и мы едем туда же».

Это очень взволновало тогда и заинтересовало Льва Николаевича. Теперь ему рассказали на железной дороге другой случай: поехали человек сто или больше тамбовских крестьян в Сибирь, по своей воле. Пришли на степь около Иртыша, им сказали, что тут земля киргизская и им сесть тут нельзя. Они пошли немного дальше. Там тоже земля киргизов и сесть нельзя. Но у них осталась мало хлеба и денег нет. Тогда они на этой земле посеяли хлеб, собрали его, обмолотили и пошли дальше. И так на будущий год сделали то же и опять пошли дальше, пока не пришли на... границу. Там брошенная... земля на двух речках. Тут и сели эти тамбовские крестьяне, назвав речки именами тех русских тамбовских речек, которые они покинули». Землю «стали считать русскою, и теперь она, несомненно, завоевана не войною, не кровопролитием, а этой русской земледельческой силой русского мужика... на них иногда нападают, но русские сделали крепость и защищаются».

И вот мысль будущего произведения, как поняла ее я, а кругом этой мысли группируются факты, типы, еще не ясные даже ему самому».

Эта запись сделана 3 марта 1877 года, а через полгода уже цитировавшаяся запись от 25 октября 1877 года начнется словами: «Л. Н. уехал на охоту с борзыми, но все утро мне рассказывал, как понемногу нанизывается одна мысль за другой для нового произведения. Не могу еще ясно понять, что именно он будет писать,— да кажется ему самому не ясно еще, но, как я понимаю, главная мысль будет народ и сила народа, проявляющаяся в земледелии исключительно».

Не пройдет и трех месяцев — и та «собственная вселенная», которая отстаивалась в Толстом, расширится и перестроится, вобрав в себя десятилетиями не уходящий от него замысел романа о декабристах. Переселенцы войдут в состав еще более широкого замысла о жизни всего русского общества. Возникают контуры романа, равновеликого по значению «Войне и миру». И состояние души, близкое тому, когда он писал «Войну и мир», возвращается к Толстому. Но это возвращение не оказалось стойким. 8 января 1878 года Софья Андреевна записывает: «Со мной происходит что-то похожее на то, когда я писал «Войну и

мир», — сказал мне сейчас Лев Николаевич с какой-то полуулыбкой, отчасти радостной, отчасти недоверчивой к словам, которые он сказал.— И тогда я, собираясь писать о возвратившемся из Сибири декабристе, вернулся сначала к эпохе бунта 14-го декабря, потом к детству и молодости людей, участвовавших в этом деле, увлекся войной 12-го года, а так как война 12-го года была в связи с 1805 годом, то и все сочинение начал с этого времени». Теперь Льва Николаевича заинтересовало время Николая I, а главное — Турецкая война 1829-го года. Он стал изучать эту эпоху; изучая ее, заинтересовался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14-го декабря.

Потом он мне еще сказал: «И это у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с богами, а там где-нибудь в Иркутске или в Самаре переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14-го декабря попадает к этим переселенцам — и «простая жизнь в столкновении с высшей».

Потом он говорил, что как фон нужен для узора, так и ему нужен фон, который и будет его теперешнее религиозное настроение. Я спросила: «Как же это?» Он говорит: «Если б я знал — как, то и думать бы не о чем». Но потом прибавил: «Вот, например, смотреть на историю 14-го декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать».

В религиозном настроении Толстой ищет теперь фон для своего эпического замысла. Двумя параллельными и очень близлежащими курсами идут в эти два-три года (1877—1879) его религиозные и эпические искания. Эти параллели сомкнутся, и эпические замыслы будут растворены и поглощены религиозным исканием. Религиозное учение Толстого — явление сложное. Снова вспомним слова Ленина о том, что это учение не было ни капризом, ни оригинальничаньем, а отражало идеологию миллионов масс патриархального крестьянства, и поэтому оно тем более нуждается в самом тщательном и уважительном изучении, чем более мы хотим понять эту идеологию, столь важную для понимания судеб русской революции. Но это специальная тема. А сейчас важно подчеркнуть то обстоятельство, что пафос единства, пафос универсальности, которым был одержим Толстой именно потому,



что стремился показать общенародную жизнь, глубину национальной жизни и в ее скрытых, до времени мирных подводных течениях, и в эпохи исторических переворотов, переходит в пафос религиозный, в поиски своего бога, в определение «вечных» начал нравственности, вечных истин религии» (Ленин). В начале 1878 года Толстой, как свидетельствует Софья Андреевна, говорит о том, что хочет писать, «никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать». Немногим больше чем через год, в апреле 1879 года, Толстой пишет Фету: «Декабристы мой бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал, и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества». Эпический замысел тает, человеческие характеры, целые пласты национальной жизни в их живом соотношении, уже начавшие было овеществляться, уже начавшие было обрести художественную плоть, как бы растворяются, рассеиваются в том страстном напоре религиозного настроения, который поглощает Толстого все более полно. В дневнике Софьи Андреевны сохранилось опять-таки необычайно важное свидетельство об этом рубежном моменте в духовном и творческом состоянии Толстого. Оно сделано 31 января 1881 года. «Л. Н. серьезно занимается только зиму. Изучив материалы, набросав кое-что для «Декабристов», он не успел еще написать ничего серьезного, как уже наступило лето. Чтоб не терять времени и вместе с тем здорово его употреблять, он стал делать продолжительные и длинные прогулки по проходящему от нас в двух верстах шоссе (Киевский тракт), где летом всегда можно встретить множество богомольцев, идущих со всех концов России и Сибири на богомолie в Киев, Воронеж, Троицу и проч. места.

Считая свой язык русский далеко не хорошим и не полным, Л. Н. поставил целью своей в это лето изучать язык в народе. Он беседовал с богомольцами, странниками, проезжими и все записывал в книжечку народные слова, пословицы, мысли и выражения. Но эта цель привела к неожиданному результату...

Придя в близкое столкновение с народом, богомольцами и странниками, его поразила твердая, ясная и непоколебимая их вера... «Христианство живет в преданиях, в духе народа, бессознательно, но твердо».

Вот его слова». Толстому, как пишет Софья Андреевна, стало страшно его неверие, он начал ходить в церковь и исполнять все церковные обряды, пока не разочаровался в церкви и не приступил к самостоятельному изучению и комментированию Евангелия. Разумеется, это слишком беглое объяснение причин и обстоятельств духовного кризиса, происшедшего в Толстом. В данном случае это свидетельство интересно тем, что в нем выражено, насколько органично и неотступно звучит в Толстом народная, эпическая тема даже и, может быть, именно тогда, когда она религиозно переосмыслиется. «Взгляд на людей стал таков (как он сам говорил), что прежде был известный кружок людей с в о и х, б л и з к и х, а теперь миллионы людей стали братьями. Прежде было именье и богатство свое, а теперь кто беден и просит, тому надо давать». Эпическая тема из предмета его художественного творчества становится содержанием его религиозного творчества и его личной жизни. Это превращение, каким бы заблуждением оно нам ни казалось, по своему благородно и безусловно драматично, потому что сопровождалось ослаблением художественного вдохновения. Продолжая ту же запись, Софья Андреевна пишет об этом откровенно и горько: «Всякий день садится он за свою работу, окруженный книгами, и до обеда трудится. Здоровье его сильно слабеет, голова болит, он поседел и похудел за эту зиму».

Он, по-видимому, совсем не так счастлив, как бы я того желала, а стал тих, сосредоточен и молчалив. Почти никогда не прорывается то веселое, живое расположение духа, которое бывало увлекало всех нас, его окружающих. Приписываю это усталости от тяжелого напряженного труда. Не то, как бывало, когда описывалась охота или бал в «Войне и мире», он, веселый и возбужденный, имел вид, как будто сам побывал и участвовал в этих увеселениях. Ясность и спокойствие личного его состояния души несомненно, но страдание о несчастиях, несправедливости людей, о бедности их, о заключенных в тюрьмах, о злобе людей, об угнетении — все это действует на его впечатлительную душу и сжигает его существование».

Толстой еще напишет «Воскресение», «Хаджи-Мурата», «Смерть Ивана Ильича», «Отца Сергия»... но эпическая тема, переосмыслившись в религиозную, уже не най-

дет своего художественного осущестления. Нет, Толстой не изменил этой теме. Во многом именно приверженность ей заставила Толстого подойти к своему эпическому замыслу с новой стороны, обозреть его с новой высоты. Однако в пределах его, толстовской, жизни это воззрение не дозрело, не доспело до художественного претворения, если говорить о цельном и емком эпическом повествовании, о той «собственной вселенной», каковой этому повествованию предстояло стать.

Выше говорилось о том, что эпическое по своему характеру стремление «все свести к единству» было одной из тех «любимых мыслей» Толстого, которые руководили им всю жизнь, и, по-разному интерпретируясь в разные периоды жизни, это стремление постоянно пульсировало в его творческой и духовной жизни. Еще был образ одной природы с этим стремлением и столь же естественный для эпической природы Толстого — это образ нитей, линий, лучей, соединяющих, связывающих явления, людей, предметы и самого его, Толстого, в это искомое единство. Этот образ возникает то в Дневниках Толстого, то в его разговорах, то этот образ переходит к его героям, заново рождаясь в их воображении. Вспомним сон Николиньки Болконского, которым завершается «Война и мир», белые косые нити, которые вели мальчика и казались ему огромным войском; и как потом эти нити начали путаться и рваться... Вспомним, как уже сам Толстой мучился над тем, чтобы между разбросанными на необъятном пространстве человеческого истории памятниками-вехами протянуть «воздушные, воображаемые линии, не прерывающиеся и на вехах». Когда же он переживал духовный кризис и, отвергнув посредничество церкви, обратился к изучению и самостоятельному осмыслению Евангелия, поскольку у него в те годы сложилось убеждение, что «христианство живет в преданиях, в духе народа, бессознательно, но твердо», тогда в его воображении возник образ лучей как олицетворение связей, соединения, «мира сообщенье» (выражение из ранней повести Толстого «Казак»). Софья Андреевна пишет: «...он сам выразился, что когда он увидел лучи, он по лучам добрался до настоящего света и увидел ясно, что свет в христианстве,— в Евангелии. Всякое другое влияние он отвергает, и с его слов делаю это замечание». Толстой

по-прежнему хочет «все свести к единству», найти центр, открыть и проложить связи, но, все более укрепляясь в своей «точке зрения вечных начал нравственности, вечных истин религии» он все больше «кузел русской жизни» и вообще всякой жизни пытается найти в религии. С годами не уходящая от него, ему не изменяющая «мысль народная» любима теперь им не «вследствие войны 12-го года», как в «Войне и мире», и не «в смысле силы завладевающей» и земледельческой, как в нереализованном замысле о переселенцах, а в смысле силы исключительно духовной. Эту новую «любимую мысль» Толстой успеет претворить, но, как было уже сказано, успеет претворить главным образом в религиозном учении, а не в художественном творчестве — если говорить, разумеется, о цельном и последовательном выражении этой мысли в форме пластической. Его собственная напряженная духовная деятельность, оставаясь по существу своему деятельностью эпического писателя, приобретает другой характер, выходит, пользуясь современным языком, на другую орбиту. Толстой остается «горячим протестантом, страстным обличителем, великим критиком», но свести в единое эпическое равновесие свой опыт духовный, жизненный и пластический, причем взятый в объеме жизни великого народа и раздираемого экономическими и социальными противоречиями государства, он уже не успел.

Вряд ли в этом виновата только краткость человеческого существования, тем более что Толстой жил долго, или предельность духовных и творческих сил человека, даже если это силы Толстого. Скорее всего в самой жизни, в самой истории литературы не пришла еще пора для нового рывка, для нового синтеза, для новой вселенной, столь же высокоорганизованной, как «Война и мир». Под выражением же «не успел» подразумевается не то, конечно, что Толстой должен был поторопиться — и успеть, напрячься — и уложиться. Свою историческую миссию Толстой выполнил с лихвой. Речь идет о контурах и горизонтах того замысла, который в нем вынашивался, вызревал, речь идет о художественном предчувствии будущего эпоса. И в качестве таковых эпические искания Толстого имеют значение не только историко-литературное и не только теоретико-литературное, а значение самой горячей литературной

практики, для нашей литературы особенно, поскольку она эпическую традицию ощущает как очень кровную. Эпические искания Толстого не только в «Войне и мире», но и за его пределами являются нашим духовным достоянием, влияние которого с течением времени будет еще не раз обновляться и обнаруживать себя в направлениях, ве-

роятно, даже непредсказуемых. Эти искания могли заходить в тупик, могли обнаруживать себя как заблуждение, но они всегда имели под собой живую почву и потому всегда были плодотворными, даже тогда, когда казалось, что видимых результатов нет, ибо духовная работа бесследной не бывает.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**С. Асадуллаев.** Народность, реализм, партийность.— **Борис Хотимский.** «В том и трагедь!».— **В. Пронин.** Уроки исполненного долга.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Шапко.** Оружие современной борьбы.— **С. Резник.** Наука в руках человека.— **В. Буганов.** Преданья и быты русской старины.— **Ю. Рытов.** Искусство управлять.— **И. Дрейцер.** Кредо великого зодчего.— **В. Елисеева.** Добрые книги.

## Литература и искусство

### НАРОДНОСТЬ, РЕАЛИЗМ, ПАРТИЙНОСТЬ

**Юрий Барабаш.** О народности. Литературно-критические очерки. Авторизованный перевод с украинского **И. Карабутенко.** М. «Советский писатель». 1970. 367 стр.

Понятие народности выдвигалось и энергично отстаивалось передовой русской эстетической мыслью еще в начале прошлого века, когда цель и назначение художественного творчества стали видеть в изображении народной жизни — в противовес эстетике классицизма, сословной замкнутости его поэтики. Отсюда идут две важнейшие тенденции — одна ведет к демократизации искусства, направлена против любых элитарных концепций, другая утверждает реализм, реалистическое искусство. Обе эти тенденции дали русским революционным демократам возможность глубоко осознать концепцию народности, которую они рассматривали в связи с задачами освободительного движения, эстетикой реализма.

Существенный вклад в изучение проблемы народности искусства внесла марксистская эстетическая мысль. Особая роль принадлежит здесь В. И. Ленину, который в новых исторических условиях не только уточнил само понятие «народ» и понятие «народность искусства», но и разработал методологические принципы народности. Мы имеем в виду ленинскую теорию отражения, которая ориентирует литературу и искусство на отображение объективной действительности.

Однако что такое народность литературы и искусства современности? Какими своими гранями она отражается в литературе социалистического реализма? Вопросы эти нуждаются в конкретном и всестороннем исследовании. Именно эту исследовательскую задачу поставил перед собою Юрий Барабаш в книге «О народности». Методологической основой для рассмотрения категории народности автору служит ленинский принцип партийности — «ленинское учение о партийности есть основа, ядро марксистской концепции народности искусства». Только так, только в свете ленинского учения можно понять сегодня, почему столь произвольно трактовалось понятие народности в разное время представителями различных школ и направлений. «Народность трактуют по-разному вовсе не потому, что попросту никак не могут договориться между собой,— пишет Ю. Барабаш.— Дело здесь в другом: эта эстетическая категория представляет собою поле острой идейной битвы, арену враждебных сил. Это — тот «узелок», где художественное творчество накрепко и неразрывно переплетено с политикой. Перед нами, если угодно, одна из главнейших сфер проявления политики в искусстве».

Таким образом, критерий народности выступает в качестве того «магического кристалла» искусства, в котором находят свое отражение не только художественные взгляды и эстетический идеал художника, но и его идейная и гражданская позиция, политические и философские взгляды, его место в современной идеологической битве между социализмом и капитализмом. В этой идеологической борьбе народность служит четким водоразделом между революционным искусством социалистического реализма и антигуманистическим буржуазным искусством модернизма, будь то литература отчуждения Ф. Кафки и Д. Джойса, сюрреалистическое искусство Анри Бретона и Сальвадора Дали, искусство коллажа М. Эрнста и И. Танги или же самое что ни на есть «массовое» искусство поп-арта. Многочисленные разновидности искусства модернизма даже при их внешней «демократичности» по существу своему являются антинародным, буржуазным искусством.

Важно, что проблема народности в книге Ю. Барабаша раскрывается как универсальный критерий эстетики социалистического реализма. Трудно назвать такую проблему или особенность художественного творчества, которая так или иначе не была бы связана с проблемой народности, вернее сказать, не была обусловлена ею. Критерий народности выступает средоточием всех других эстетических проблем: художественная правда и реализм, эстетический идеал и герой искусства, национальное и интернациональное в литературе, героическое в характере народа, вопросы художественного мастерства и поиски новых стилевых форм. Эти и некоторые другие вопросы освещены в книге исследователя, что называется, «изнутри», на конкретном материале.

Говоря о том, что «далеко не всегда народность в искусстве лежит, так сказать, на поверхности и не так-то легко поддается эстетическому анализу», автор приходит к выводу, что этот факт не может означать ничего иного, как необходимость совершенствовать методы нашего анализа, оттачивать научный инструментарий, углублять диалектический, научный подход к проблеме, смелее выходя из сферы дефиниций в область художественных явлений. И тут перед нами не просто благое пожелание, рекомендация, — это путь исследования, его метод, одно из тех «опорных» положений, которые определяют принципы для решения сложной проблемы. Пытаясь в собственной практике

осуществить то, чего желает другим, автор конкретные представления о народности выводит из анализа живой ткани тех или иных художественных произведений, главным образом представляющих украинскую и русскую советскую литературу. И тогда, когда свои выводы и теоретические положения исследователь строит, скажем, на анализе книг украинских писателей, его суждения не выглядят сугубо локальными, «чисто украинскими», местными, но приобретают силу общеметодологических положений. Нечего и говорить, что теоретические выводы, родившиеся в результате предметного эстетического анализа, выверенные литературной практикой, звучат куда убедительней, чем иные теоретические «абстракции». Не просто народность «вообще», а народность в ее конкретном художественном воплощении, народность, что называется, художественно «материализованная» в книге, в неповторимой писательской судьбе — вот предмет рассмотрения этой работы.

Один из важных аспектов проблемы — соотношение народности и революции. Если художник своим творчеством служит идеям революции, совершенной энергией и волей трудящихся масс, значит, он художник действительно народный. Правильность такой постановки вопроса подтверждается историческими уроками многонациональной советской литературы в ее эстетическом отношении к революционной действительности. «Невозможно быть с народом, не приняв и не поняв революции». Применив этот критерий к творческой эволюции трех зачинателей украинской советской литературы — Василия Чумака, Василия Эллана-Блакитного и Якова Мамонтова, — автор приходит к выводу, что можно говорить о народности «как о своего рода идейно-эстетическом эквиваленте понятия революционности художника». Рассматривая сложное, не лишнее идейно-эстетических противоречий творчество этих писателей в свете блоковской постановки вопроса — «слушать революцию», автор характеризует их творческую эволюцию формулой: «Через революцию — к народности». Сущность этой формулы двудеятельная — она говорит не только о том, как под воздействием революции происходит становление народности в творчестве писателя, но и о народности самой революции.

Жаль, что автор, при всей верности формулы «через революцию — к народности», несколько «зауживает» проблему. Было бы методологически более верным, если бы

в этой формуле присутствовала еще и мысль о реализме: «Через революцию — к народности и реализму». Ведь еще в революционно-демократической критике принцип народности был утверждён как один из краеугольных камней реалистической эстетики. Будь автор более определен в утверждении необходимого единства народности и реализма в революционном становлении художника, это, несомненно, дало бы ему большие возможности, когда он выходит за рамки украинской литературы, когда применяет свою теорию к опыту ранней советской литературы. Нас неизменно интересует вопрос о наличии или отсутствии элементов реализма в творчестве пролетарских поэтов и прозаиков первых лет революции, и не только «избранных» представителей Пролеткульта, «Кузницы», «Космистов»! Вот автор поэмы «Двенадцать». Как шел он через революцию к народности, к реализму? Серьезного исследовательского разговора об этом у нас еще не было...

Одна из особенностей книги Ю. Барабаша состоит в том, что она расширяет эстетические границы категории народности. Это прежде всего относится к главе «О народности эстетического идеала». Говоря об объективных критериях определения народности в исследованиях своих предшественников, автор указывает, что народность эстетического идеала художника «находит свое проявление в сугубо народных по своей природе эстетических и моральных оценках и принципах, в таких представлениях художника о прекрасном и уродливом, которые уходят своими корнями в толщу духовной жизни народа». Эта грань проблемы весьма важна. Исследование народности эстетического идеала как центральной проблемы в эстетике социалистического реализма дает Ю. Барабашу возможность выступить против крайностей в толковании понятия эстетического идеала. Выступить и против примитивных и вульгарно-социологических представлений, и против тех авторов, кто его игнорирует вовсе (западные «советологи» и проч.). В свете эстетического идеала писателя само понятие народности из области абстракций переносится в сферу художественной практики, приобретает черты «вещественности», теперь это понятие подвергается объективному анализу на материале конкретных произведений.

Наконец, получают новое, более глубокое толкование и некоторые сложные, порою драматические моменты народной жизни и

их художественное отражение в литературе. Важно, чтобы в изображении сложных, «темных» сторон жизни писатель выступал с позиции народного эстетического идеала прекрасного и уродливого, народных эстетических и моральных критериев оценки явлений жизни. Исследователь справедливо осуждает тех критиков, которые правду жизни понимают как преимущественное внимание к «темным» сторонам действительности, он убедительно показывает, что такой взгляд не увязывается с истинно народными представлениями об искусстве, что всякое искусство, а тем более искусство социалистического реализма, глубоко народное по своей природе, не может ограничиться только функцией «сигнализатора» о тех или иных отклонениях от нормы в деятельности общественного организма.

Подобная концепция народности эстетического идеала вносит живые коррективы в рассмотрение ряда важных проблем теории социалистического реализма, вокруг которых в критике идут споры. Так, связывая в единый идейно-эстетический узел народность, художественную правду и романтику, Ю. Барабаш всем пафосом своего исследования выступает против ошибочной концепции плюрализма художественных методов в советской литературе. Раскрывая народный характер всех компонентов эстетического идеала Довженко, автор утверждает, что хотя по своему мироощущению Довженко и был романтиком, по методу он реалист, «ибо в основе его искусства лежит правда действительности, ибо жизнь народа в его произведениях встает перед нами во всей исторической конкретности, во всей противоречивости, во всем драматизме». И коль скоро правда жизни не противоречит романтике, а романтика — народности и реализму (они составляют «единый идейно-эстетический узел»), то и следует вывод: «Да, критика наша напрасно не говорит в полный голос о реализме Довженко. Надо сказать о достоверности и остроте конфликтов эпохи, которые легли в основу его творений, о полноте и пластичности человеческих характеров, созданных им, о месте реалистических изобразительных средств в его художественном арсенале. Только тогда Довженко (да и не только он) будет понят нами во всем его богатстве, разносторонности и силе. Только тогда станет совершенно ясно, что принадлежность того или иного художника к романтическому «крылу» в искусстве социалистическому»

тического реализма, тяготение его к романтическому восприятию мира и к соответствующим средствам художественного отображения отнюдь не противоречат реалистической природе его творчества, отнюдь не означают, будто он глядит «поверх голов», поверх жизни. Художник романтического склада — и литературная практика подтверждает это — может быть глубокоим аналитиком, смелым исследователем жизни, а тот, кто предпочитает строгую реалистическую стиливую палитру, может оказаться на деле поверхностным иллюстратором. Бывает и наоборот. Дело в конечном итоге не в манере, а в таланте, в знании жизни, в гражданской зрелости художника». Этот вывод, лишний раз выверенный на фактах художественной практики Довженко, представляет общетеоретическое значение, выбивает почву из-под ног сторонников концепции плюрализма художественных методов, якобы свойственных советской литературе, и укрепляет позицию социалистического реализма.

Подобные выводы, говорящие в пользу многообразия художественных форм, типологических разновидностей социалистического реализма, напрашиваются и в тех частях работы, где речь идет о многообразных путях выражения и утверждения художником эстетического идеала. Ведь свой идеал прекрасного, свои идейно-нравственные принципы писатель высказывает не только в образах положительного героя, но и через «антигероя», сатирическое изображение действительности и т. д. Следовательно, и произведения с отрицательным героем в центре, и острая художественная сатира с позиции народности обретают гражданское право в искусстве социалистического реализма, образуют здесь соответствующие типологические формы, стиливые направления. И возможность «сатирического» социалистического реализма вовсе не должна приводить в ужас критиков и теоретиков, если они заинтересованы в познании многогранности искусства социалистического реализма.

И тем не менее основная сфера выражения эстетического идеала писателя — это образ положительного героя. Проблеме героя посвящен специальный раздел книги Ю. Барабаша. Здесь он с позиции народности спорит как со сторонниками концепции «идеального героя», так и со сторонниками заурядного, «самого рядового» человека, критикует концепцию «дегеронизации», надуманную «теорию» руководителей и руководителей. Эта критика тем более важна, что в

последние годы нам не раз приходилось наблюдать, как отдельные литературоведы пытаются узаконить в литературе социалистического реализма так называемые «дегеронизацию», «непатетическую линию», «позицию натурализма» и т. д., выдавая их за стиливые тенденции советской литературы наших лет. Отвергая подобные точки зрения, отвергая подобные эстетическим принципам социалистического реализма, героическому, в своей сущности народному характеру, автор резонно утверждает, что «в наши дни настоящий герой литературы не может оставаться просто «положительным персонажем», он должен быть именно героем, человеком высоких идеалов».

В работе рассматривается проблема демократизации форм художественного творчества, идейно-эстетической доступности его народу. Здесь не узко взятая тема литературной техники, к которой сводят все дело иные формалистические, вульгарно-социологические концепции, различного рода модернистские новации, ведущие к разрыву формы и содержания. Речь идет о художественном мастерстве — о единстве идейного содержания и художественной формы, которое непрерывно обогащается новыми идеями, о цепи эстетических открытий искусства социалистического реализма. Важно, что художественная простота понимается как простота сложного, как результат глубокой типизации жизненных явлений. Сама проблема художественной простоты, рассмотренная в свете ленинской теории отражения как проблема гносеологии искусства, выступает в тесном переплетении с философским, идейным и эстетическим аспектами искусства. Потому-то проблема художественного мастерства, взятая как выражение критерия народности в искусстве, не только отражает изменение и обогащение народной жизни (при этом соответственно изменяется и обогащается критерий народности), но и сама является сферой художественных поисков реализма. Главное направление обогащения стиливых форм современной литературы автор видит — в противоположность пресловутой концепции «единого стиля современности» — на путях максимального расширения изобразительной палитры, на путях художественного синтеза. «Особенно широкие возможности в этом смысле открывает перед писателем метод социалистического реализма. Синтез лежит в самой его основе — это слияние реализма, суровой правды, достоверности картин жизни с высокой романти-

кой, источником которой является та же жизнь». (И здесь, теперь уже в связи с проблемой художественного мастерства, Ю. Барабаш на путях конкретного анализа опять-таки отвергает концепцию плюрализма художественных методов в советской литературе.)

Эстетическая категория народности благодаря ее органическому слиянию с ленинским принципом партийности выступает в наше время как универсальная проблема эстетики социалистического реализма, позволяет с по-

зиции народа, с позиций его идеала освещать глубинные пласты сложного литературного процесса, отсеивая все антинародное, реакционное, старое, поддерживая, утверждая и развивая все прогрессивное, передовое, революционное.

Это удачно делает Ю. Барабаш в своей книге «О народности», теоретически насыщенной и при этом написанной живо и остро.

**С. АСАДУЛЛАЕВ,**

*доктор филологических наук.*

Ваху.

★

### «В ТОМ И ТРАГЕДЬ!»

**Сергей Васильчиков. Формула счастья. Роман. Тула. Прионское книжное издательство. 1970. 277 стр.**

С незапамятных времен задавались люди философским вопросом: в чем же все-таки счастье? Незабвенный Козьма Прутков шел кратчайшим путем и рекомендовал: «Если хочешь быть счастливым, будь им». Но в наши дни этого, разумеется, мало... Некую попытку позитивного решения проблемы предпринимает писатель Сергей Васильчиков. Роман его так и называется — «Формула счастья». Как сказали бы его герои, название «многообещающее и широкообещательное».

Один из главных персонажей романа Павел Осмолов — ветеран книжного издательства. Там же работает и жена его Майя. Есть у него дочь Вероника, молодой искусствовед. На примере их отношения к жизни, к окружающим нам и предстоит узнать, в чем же секрет человеческого счастья, какова его конечная формула. Чтобы постигнуть ее, на протяжении чуть ли не трехсот страниц мы будем пробираться и пробираться через дебри сентенций и афоризмов, количеству и качеству которых позавидовала бы любая из «золотых россыпей», в таком множестве издающихся в наши дни.

Сентенции на все случаи жизни! Гений и талант? Пожалуйста: «Гений — это большой талант, умноженный трудолюбием, упорством, умом и смелостью». Культура в человеке? «Это богатство человеческой души, мысли, это огромный кругозор и внутренняя собранность, убежденность и интеллектуальное совершенство... Еще неплохо бы твердый характер, направленность и убежденность» (еще неплохо бы последнюю фразу отредактировать, потому что «убежденность» только что была). Семья? «Семья — святая свя-

тых. Она первоначальная ячейка...» Авторская рукопись в издательстве? «Рукопись — святая святых... Рукопись — это все равно что постель, в ней человек нагой. Так неужели тебе не хочется увидеть нагим своего давнего друга?»

Самое пикантное состоит в том, что эти трюизмы и благоглупости равномерно распределены среди героев, которые по роду своих занятий или по душевным склонностям связаны с искусством, литературой, созданием книги. Сама суть романа как раз в том и заключается, что герои его борются с литературным шаблоном, с банальщиной, борются с сугубо отрицательным борзописцем Булановым, который «пошел по пути штампа, создал легковесную версию о жизни и деятельности человека». Сам же С. Васильчиков, словно борясь в себе самом с этим коварным штампом, никогда не скажет: «Мороз крепчал». Он напишет: «Стоял на редкость крепкий мороз... Трещали деревья, хрустел под ногами снег». Он скажет: «Бодрит утренняя свежесть», «Ярко било в лицо солнце», «Мир просыпался в чистом убранстве», «Дерева мочили в реке ветви...»

Это касается внешнего мира, пейзажа и антуража. Что до внутреннего мира героя, до чувств и переживаний, то автор тут постоянно держит читателя на предельном напряжении, и все с помощью одного и того же, казалось бы, простейшего приема: «Я волновалась и ждала тебя...», «Он переживал, чуть с ума не сошел от волнений», «У меня есть причины по-своему волноваться», «Меня охватило волнение...», «Почему Майя должна волноваться?», «Майю может волновать



только одно...» Волнуется герой — волнуется читатель. Это ведь так просто!

Из приведенных цитат можно уже догадаться, что наиболее плодотворной схемой приложения штампов и трюизмов для автора стала любовь героев и все с нею связанное. Ибо, как им подмечено, «о настоящей любви написано много, только у каждого она своя... Каждому нужна своя любовь».

Особенно обстоятельно описывается «своя любовь» сына Буланова — молодого лоботряса с «ровными белыми зубами», который злостно «не верил в призвание и вдохновение... отличников считал зубрилками, активистов — подхалимами, людей скромных и деловых — серостью», который «сам будущий инженер, человек, прочитавший Бёлля и старика Хема (Хемингуэя), разбирающийся в неореализме итальянского кино, а потому считавший себя знатоком Де Сика и Феллини».

И вот такой тип (Роберт его зовут), начитавшийся «старика Хема», встречается у речки, при луне с доверчивой девушкой, «обнимая Любашу за худенькие плечи и наваливаясь всем телом». Затем «прижался к ее худенькому животу, и чужое тело стало согревать его... Все тело забилося словно в лихорадке». Именно здесь читатель и должен, вероятно, постигнуть всю мудрость сентенции, гласящей, что «у каждого своя любовь, кто на какую способен».

«Каждый строит свою судьбу по своему разумению». Любаша принимает решение стать матерью-одиночкой. Роберт же, позабыв о Любаше, увлекается Вероникой, с которой-то и начат наш рассказ. «Природа наделила ее высоким ростом и статью, и когда она прилично одета, то создавалось впечатление красоты».

Роберт вовлекает Веронику в отвратительную компанию. Чего стоит там один Федор! «Как правило, в конце вечера Федор подбирал на улице каких-нибудь знакомых девиц... Девицы охотно целовались в укромных местах и молча прижимались на манер французских актрис». Не удивительно, что в конце концов этот субъект посягнул и на достоинство Вероники: «Федор точным и сильным рывком за лодыжки опрокинул ее на землю»... Спасла Веронику, по сути дела, одна из сентенций, значение которых мы поначалу как-то недооценили: «Говорят, в жизни может случиться всякое, но если у человека есть здравый смысл, если он научился понимать жизнь

и различать, что хорошо и что плохо, если имеет силы не только противиться дурному, но и бороться с ним — он обретает великую силу».

«Великая сила» высвободила прекрасную Веронику из лап злодея Федора и бросила в объятия «душевного, тактичного, чуткого» Максимова. Он — современнейший антитип и Роберта и Федора. Если у последнего, к примеру, «руки мужские, сильные», то у Максимова тоже «очень сильные руки, но они никогда не делают больно». Если богопротивный Федор «сильным рывком за лодыжки» швырял Веронику на землю, то приятный во всех отношениях Максимов «властным рывком... прижимал ее к себе, и она задыхалась от крепких объятий, а в ушах звучал горячий сбивчивый шепот, в котором можно было понять отрывистые и отчаянные слова любви, переполняющие Максимова». И в авторском комментарии относительно вопросов любви и дружбы звучит соответственно торжественное: «В жизни мужчины и женщины есть нечто, что сплачивает их навечно. Любовь! Но то ли это чувство, которое мы испытываем, желая обладать или отдаваться — принадлежать кому-то?» Что ж, вопрос уместный.

Автор разъясняет непросвещенному читателю, что «в зарождении взаимных чувств все же есть какая-то таинственная закономерность. Вдруг начинаешь думать о ней, ищешь встреч, пробуешь ее со стороны, строишь планы. Мир оборачивается радужным калейдоскопом чувств». Так размышляет один из героев. А одна из героинь «не только оберегала взаимность чувств, но всеми силами стремилась закрепить их». «Радужный калейдоскоп чувств», испытываемых героями романа, буквально обрушивается на читателя. Нет лишь чувства меры. Нет чувства вкуса.

«Некоторые умники и добряки говорят, — доверительно изрекает Буланов, — что безнравственность — это всего лишь свобода чувств, которую нельзя подавлять в человеке». И добавляет: «К сожалению, мы почти всегда всему находим разного рода объяснения». В справедливых устах героя отрицательного, невольно убеждаешься, читая роман, в котором так много «разного рода объяснений». Вплоть до объяснения столь мучительно искомой «формулы счастья».

А вот наконец и она. Слушайте: «Каж-

дый любит по-своему, как и живет по-своему, и мыслит... У каждого свое представление о счастье, и в этом нет ничего удивительного. Но если бы меня спросили, что такое счастье, я бы ответил коротко — честно жить и не быть равнодушным. Говорят, что это не так уж мало.

Говорят (уж позвольте и мне сентенцию!), кто доказывает слишком много, тот не доказывает ничего. С. Васильчиков пытается доказать очень многое, слишком многому стремится научить: как жить, как любить, как писать романы. Он, скажем, против того, чтобы в художественных про-

изведениях «мелькали правильные гладкие фразы, которые казались умными, глубокими, но в памяти не задерживались», как и против книг, где «факты преподносятся читателю с готовыми выводами и заключениями, вложенными в высокопарные фразы». И одно лишь настораживает — невольное откровение любимой героини автора Майи: «Советов надаем, а сами им не будем следовать. В том и трагедь!»

Не будем спорить с умной Майей. Действительно, разве не в том и «трагедь»?

Борис ХОТИМСКИЙ.



## УРОКИ ИСПОЛНЕННОГО ДОЛГА

Зигфрид Ленц. Урок немецкого. Роман. Перевод с немецкого Ю. Семикоза и А. Карельского. «Иностранная литература», 1971, №№ 5, 6, 7.

Появление в 1968 году романа Зигфрида Ленца «Урок немецкого» стало крупным событием в литературной жизни Западной Германии последних лет. Книга Ленца долго оставалась бестселлером, тираж ее постепенно наращивали, а авторское чтение избранных глав всегда собирало большую аудиторию. Замышляя повествование о «периферийных буднях» фашизма, сам писатель не предполагал, что его книга вызовет такой резонанс. Лет двадцать назад «Урок немецкого» был бы напрочь не принят совинновниками нацизма. Но в общественных настроениях западных немцев произошли существенные перемены. Выросли новые поколения, и молодежь доискивается до исторической истины. Вот, очевидно, почему исследовательски серьезный, чуть даже старомодный в своей обстоятельности роман стал массовым увлечением прогрессивной западногерманской интеллигенции и в особенности молодежи.

«Урок немецкого» оказался и прекрасным поводом для знакомства советских читателей с романистом Зигфридом Ленцем, который принадлежит к плеяде п а м я т л и в ы х художников Западной Германии. Когда Ленца спросили, кто из современных писателей его страны оказал на него наибольшее влияние, он сразу же назвал Вольфганга Борхерта и Генриха Бёля — зачинателей темы трагической виновности немцев. З. Ленц их продолжатель, предельно зоркий к дурной психологической наследственности фашизма, показавший сомнительность «необыкновенного экономического чуда».

Ядро «Урока немецкого» — пространное

сочинение на тему «Радость исполненного долга», которое несколько месяцев упрямо, по внутреннему императиву, неспешно пишет проштрафившийся несовершеннолетний преступник Зигги. Сердцевина окружена множеством комментирующих колец, которые создаются другими участниками затянувшейся истории, а также целой когортой психоаналитиков, наблюдающих с сугубо научной точки зрения феномен Зигги, изрядно поднаторевшего в их неофрейдистских теориях. Порой он милостиво подбрасывает им своими психологическими выкрутасами недостающий материал для извлечения полезных выводов из его комплексов и отклонений.

Зигфрид Кай Иоганнес, именуемый в романе просто Зигги, родился в памятном тридцать третьем году. Сын смотрителя самого северного полицейского участка Германии, где до сорок пятого года не слышно было ни выстрелов, ни взрывов, наблюдал особую войну сугубо местного значения. Ее вели двое бывших друзей детства: самый добросовестный немецкий полицейский и самый, быть может, талантливый художник Германии, который от столичного агрессивного шума, начавшегося в год рождения Зигги, решил укрыться в деревенской тиши.

Сообразительный, глазастый Зигги втянулся в их распря, интуитивно выбрал художника, помогая ему, прятал картины от отца, спасал их от огня. Незаметно эти кражи во спасение превратились в навязчивую воровскую страсть с узкой художественной специализацией. В конце концов он оказался в колонии для трудновоспитуемых,

где его пользуют суррогатами педагогички, прививают инстинкты подчинения и заодно учат вязать веники разных сортов.

Зигги — самый живой герой романа, потому что он **все** время окружен поддельными людьми, занятыми имитацией психологической науки, притворяющимися заинтересованными добряками. Парень унаследовал от отца повышенное чувство долга, и чтобы освободиться от грудного детского житейского опыта, ему нужно все осмыслить, выговориться до конца, а сакраментальная тема сочинения «Радость исполненного долга» тут подвернулась как нельзя более кстати.

Поручив рассказывать Зигги, автор как будто отстранился, прикинулся лицом незаинтересованным. Это придало всему роману обаятельную интонацию объективистской ироничности. Принудительное сочинительство шаржирует трагедию. Юный мемуарист свыкся со своими детскими впечатлениями, они стали его собственностью, он чуть играет ими, оттого все участники давних происшествий как бы повторяют в романе все уже когда-то выполненное на самом деле. Получается сходство с документальным спектаклем, режиссером которого сделался своеобразный трудновоспитуемый подросток. Для Зигги его пространный рассказ — категорический долг, который он обязан исполнить, если даже не найдется никого, кто прочитает стопку исписанных тетрадок.

Отец Зигги — в деревне единственный и постоянный представитель власти. Обитатели деревни — все свои и близкие, они ловят рыбу или добывают торф, справляют праздники, а чаще поминки. Художник Макс Людвиг Нансен, несмотря на когда-то завоеванное мировое признание, их деревенский уроженец, свой живописец края, общая, так сказать, местная достопримечательность. Единственная реальная акция государства, направленная в глухомань из Берлина, — категорическое запрещение художнику рисовать. Но для него это все равно что перестать жить. Уникальный фашистский жест по-своему типичен именно в силу своей нелепости, циркулярной тенденции терзать и истреблять человека. Вполне нейтральный пейзажист оказался под неусыпным полицейским надзором.

В романах, новеллах и пьесах, предшествовавших «Уроку немецкого», З. Ленц не раз обращался к теме антифашистского сопротивления. Правда, неприятие тотальной коричневой идеологии у него редко вы-з-

дает героя к действию, к мятежному акту (так обстоит дело, например, в романе «Городские слухи», в пьесе «Время виновных, время невиновных»), чаще это ведет к внутренней психологической несовместимости, к творческой оппозиционности. Что касается Макса Людвиг Нансена, то через год после фашистского путча он стал испытывать идиосинкразию к коричневой краске, о чем поспешил уведомить официальные власти, обнародовав манифест «Цвет и оппозиция». Он превратился во внутреннего изгнанника. Попытаться сохранить внутреннюю свободу, **не** подчиняться нормативам нацистской эстетики, равно как и моде послевоенных лет, писать пейзажи и портреты, которые зависят только от природы и собственного таланта, — таково нравственное кредо художника, таков его внутренний долг — перед собой, перед искусством.

Потом пройдет лет пять после войны, о нем заговорят снова, устроят вернисаж, напечатают монографии. Воздавая должное его колористическому мастерству и бескомпромиссной позиции, один из искусствоведов назовет книжку о нем «Непокорившийся цвет». Его возведут в ранг национального художественного авторитета. Макс станет монументальным мэтром, легендой.

Зигги в сочинении о радостях исполненного долга расскажет, как обыденно происходило все на самом деле в сорок третьем, как истово и вместе с тем по-соседски запросто шпионил за художником отец-полицейский, устраивая обыски, облавы и конфискации картин, и как просто, без героических поз оставался верным своему долгу, своему призванию художник.

Всякий раз, когда в ходе повествования появляется живописец — вплоть до торжественного момента увенчания его музейными лаврами, — автор фиксирует его нарочито непрезентабельное внешнее обличье. Макс Нансен неизменно в допотопном долгополом пальто и жеваных брюках. Вроде бы странная, не подобающая великому художнику деталь еще раз подчеркивает его обособленность, внутреннюю сосредоточенность, его, если угодно, «антимундириность».

В романе неоднократно разглядывают картины Нансена — они получились удивительно видимыми. Всмотревшись в картины северного пейзажиста, трудно усмотреть в них что-то крамольное с точки зрения ведомства Геббельса. Но сама нейтральность содержания картин уже вызов. Художник

опасен для гбнущей фашистской империи даже не столько давними политическими заявлениями, не столько тем, что он не раздумывая готов укрыть и спасти старшего сына полицейского, дезертировавшего из фашистского вермахта, сколько подлинностью и талантливостью своего искусства. Стоит вспомнить в этой связи судьбы разных немецких художников, например Эрнста Барлаха, Макса Бекмана, Отто Дикса и многих других. Их картины сначала подвергли в Мюнхене на выставке «выродившегося искусства» в 1937 году публичному глумлению, а затем конфисковали, чтоб частью продать, частью уничтожить. Их искусство само по себе было слишком личным, свободным, не подчинялось канонам официально утвержденной фашистской эстетики.

Сюжет Макса Людвига Хансена, рассказанный Ленцем, в целом ряде существенных деталей совпадает с тем, что пришлось испытать в свое время известному художнику-экспрессионисту Эмилю Нольде, уроженцу тех же мест, и чья настоящая фамилия Хансен созвучна имени литературного героя. Эмиль Нольде после лишения его академических регалий не уехал из Германии, а остался незаметно жить в северном тихом местечке Зеебюль (в романе место действия названо Ругбюль). Там его настиг приказ о конфискации картин и запрещение заниматься живописью. Тогда он тайно создал серию акварелей, названную «Ненаписанными картинами». Это уже почти выдержка из романа З. Ленца: Макс Людвиг Хансен в тех же обстоятельствах работает, по его словам, над «невидимыми картинами». Немецкие критики, писавшие об «Уроке немецкого», не обращали внимания на эту примечательную параллель, а она, думается, подчеркивает документальность реализма Зигфрида Ленца, историческую достоверность содержания романа.

Автор «Урока немецкого» почти не пользуется политической терминологией; речь идет все время о фашизме, но слово это не отыскать во всем тексте романа. Не надо упрекать З. Ленца в аполитичности, он чутко воспринимает все боли своего народа. Вскоре после того, как обозначился успех «Урока немецкого», дотошный интервьюер выпросил у него всю его политическую программу. И Зигфрид Ленц недвусмысленно заявил, что стоит за объединение Германии, за признание ГДР и грани-

цы Одер—Нейсе, за запрещение неонацистской партии. В романе же он как бы предлагает тому строптивому читателю ФРГ, которого раздражают политические обвинения в адрес его ближайших предков, взглянуть на события в захолустном тылу. вдали от полей сражений и концлагерей, как бы с общечеловеческой точки зрения. Пусть обвинения писателя не квалифицированы как политические, суть случившегося преступления — в частности, преступления против детства и против искусства — абсолютно ясна.

Драматическая сложность ситуации романа Ленца в том, что «главный преступник» — провинциальный полицейский — не столько даже преследователь, сколько сам жертва. Его исконная положительная добросовестность, привитое ему чувство долга извращены, вывернуты наизнанку. Привычка подчиняться вытеснила способность соображать. Произошла замена человека полицейским, так же как в других подобных миллионных случаях — солдатом, гестаповцем, надзирателем. Ленц ходом повествования убеждает, что это не просто индивидуальное качество полицейского, а следствие всего хода трагической немецкой истории. Это опаснейший национальный порок, но каждый зараженный им сам за себя обязан ответить. «Радость исполненного долга» постепенно замещает все нормальные человеческие отношения: дружбу, привязанность к сыновьям. Отец норовит первым выдать своего старшего сына, учинившего самострел и сбжавшего из тюремного госпиталя.

Полицейское кредо заключается в том, «что свой долг надо выполнять при любых переменах, при любых обстоятельствах...» Ревностный служака и не замечает никаких перемен: сын, нарушивший устав вермахта, и спустя много лет для него послушник, а стало быть, враг.

Зигфрид Ленц всей логикой повествования доказывает, что фашизм сначала обманным внушением превращал человека в жертву риторических идей, а затем в палача. Его роман о подлинных и сомнительных «радостях исполненного долга» актуален именно этой своей диалектикой. Ведь в финальном итоге полицейский самого северного германского околотка по-прежнему исправно исполняет долг, надзирая за подзаконными обитателями Ругбюля. Он-то никаких уроков не извлек.

**В. ПРОНИН.**

★

Политика и наука**ОРУЖИЕ СОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЫ**

**В. М. Иванов, А. Н. Шмелев. Ленинизм и идейно-политический разгром троцкизма.**  
Лениздат. 1970. 504 стр.

По своему характеру эта книга — научное историко-партийное исследование. Ее цель — обобщить опыт борьбы КПСС против троцкизма, раскрыть на ее примере важную закономерность в развитии ленинизма: его боевой наступательный дух, непримиримость к любым разновидностям чуждой пролетариату идеологии. Авторы стремились показать, как в ходе идейных сражений с троцкистской оппозицией партия разоблачила ее антимарксистскую сущность и теоретическую несостоятельность, разгромила это опаснейшее оппортунистическое течение и обеспечила защиту, творческое развитие и претворение в жизнь ленинских идей.

Но эти события прошлого не только достояние истории. Опыт идейно-политического разгрома троцкизма остается боевым оружием нашей партии, всего международного коммунистического движения. Используя его, КПСС и другие братские партии ведут ныне успешную борьбу против всех врагов марксизма-ленинизма, воспитывают коммунистов в духе непримиримости к оппортунистической идеологии, учат их политической бдительности, умению отстаивать идейное и организационное единство своих рядов.

Вот почему история разгрома троцкизма в ВКП(б) составляет одну из самых боевых проблем нашей исторической науки. За последние годы она все более глубоко исследуется советскими и зарубежными учеными-марксистами. Но имеющиеся труды на эту тему далеко не исчерпали ее. Поэтому книга В. Иванова и А. Шмелева, несомненно, заинтересует читателей не только как специальное научное исследование, но и как боевая партийная публицистика, поднимающая злободневные вопросы современной идеологической и политической борьбы. Именно так задумали ее авторы, такой она и получилась в действительности.

Важнейшая черта монографии В. Иванова и А. Шмелева состоит в том, что история борьбы партии против троцкизма освещается в ней сквозь призму современности, — читатель как бы прослеживает исто-

ки правого и «левого» ревизионизма. Достигается это не примитивными параллелями и аналогиями, которыми порой грешат некоторые произведения на подобные темы. В данном случае авторы, строго следуя принципу историзма, показывая борьбу между ленинцами и троцкистами во всем ее своеобразии, характерном для своего времени, вместе с тем особое внимание уделяют раскрытию сущности тех социальных и идейных истоков троцкизма, которые и ныне питают многие оппортунистические течения.

Конечно, троцкизму, как справедливо пишут авторы, история вынесла смертный приговор. В противоборстве с ленинизмом он давно уже потерпел сокрушительное поражение. В наше время троцкисты составляют немногочисленные группки отщепенцев и политических авантюристов, тщетно пытающихся сплотиться в своем раздираемом внутренними противоречиями «международном» объединении — «IV Интернационале». В последние годы они проявляют возрастающую активность, стремясь использовать трудности в международном коммунистическом движении для усиления борьбы против него. Однако серьезной политической силы троцкизм ныне не представляет. Но он опасен для мирового революционного процесса в другом отношении. Дело в том, что троцкизм по своему происхождению и идейному содержанию как бы вобрал в себя мелкобуржуазную идеологию всех оттенков с ее правым капитулянтством перед капитализмом на деле и показной революционностью на словах. Вот почему чуть ли не каждый оппортунистический уклон в революционном движении, порождаемый проникновением этой идеологии в среду рабочего класса и его союзников, отражает те или иные программные или тактические установки троцкизма.

Так было в прошлом, о чем подробно пишут авторы настоящей книги, показывая духовное родство с троцкистами самых различных антиленинских течений в нашей партии («левых коммунистов», «децистов», «рабочей оппозиции», зиновьевцев и др.).

Так обстоит дело и сегодня. С троцкизмом фактически смыкаются и откровенно правые ревизионисты типа Р. Гароди, Э. Фишера, П. Вайса и других, и исключенная из Итальянской компартии фракционная группа «Манифесто», пытавшаяся объединить в своей антисоветской платформе праворевизионистские идеи с «левым» оппортунизмом. Разнузданная кампания, развернутая в 1968 году правыми силами в Чехословакии против ленинизма и руководящей роли КПЧ, во многом напоминала антипартийную борьбу троцкистов в ВКП(б). И наконец, наиболее полное и яркое выражение троцкистские взгляды, несущие раскол в международное рабочее и коммунистическое движение, получили в антимарксистской теории и практике маоизма. Есть таким образом, общая основа, на которой произрастают различные формы ревизионизма. Это — идеология мелкой буржуазии со всей ее противоречивостью, обусловленной промежуточным положением данного социального слоя, его колебаниями между пролетариатом и буржуазией. Борьба против нее была и остается необходимым условием разгрома всех разновидностей ревизионизма, сплочения революционных сил под знаменем творческого марксизма-ленинизма, в котором воплотилась идеология рабочего класса — единственная идеология, отвечающая нуждам и интересам всех трудящихся.

Эту истину хорошо понимает империалистическая буржуазия. Отсюда ее стремление не только помешать этой борьбе, но и сделать все возможное, чтобы распространить и закрепить мелкобуржуазные идеи и представления в сознании многомиллионных масс, втягиваемых самой жизнью в разнообразнейшие общественные движения нашего бурного века. Здесь-то и оказался наиболее пригодным для подобной цели троцкизм, маскирующий свое мелкобуржуазное содержание псевдореволюционными одеждами. Вот почему антикоммунисты всех мастей в последнее время с особым рвением пропагандируют троцкистские писания, пытаются использовать их как орудие дискредитации и опозорения творческого марксизма-ленинизма. С одной стороны, читателям стараются внушить, будто многие идейки троцкистов разделялись и осуществлялись нашей партией и Лениным. А с другой стороны, буржуазные писаки превращают троцкистов в ортодоксальных марксистов, которые одни только якобы

указывали правильный путь развития русской революции.

В связи с этим большой интерес представляют те главы книги В. Иванова и А. Шмелева, в которых на основе подробного теоретического анализа раскрывается непримиримая противоположность между ленинским учением и троцкизмом по всем вопросам революционного движения и строительства нового общества. Авторы убедительно показали, что такая противоположность началась с главного — с оценки перспектив мирового революционного процесса.

С точки зрения Троцкого, дело рабочего класса — вести борьбу против капитализма без союзника, ибо крестьянство и другие средние слои реакционны. Поэтому рабочий класс может свергнуть буржуазию и установить свою прочную власть лишь после того, как он станет большинством нации. Отсюда произтекал другой вывод: в эпоху империализма мыслима только чисто пролетарская революция. Ее победа и построение социализма возможны не иначе как одновременно во всех развитых капиталистических странах. Если же пролетариат в силу тех или иных случайных обстоятельств захватит власть в какой-либо одной стране, его единственная задача — использовать эту власть для «подстегивания» мировой пролетарской революции. Без такого экспорта революции он не удержит своего политического господства перед натиском мирового капитала и внутренних реакционных сил.

Подобная смесь социал-демократических догм с ультралевым авантюризмом не имела, разумеется, ничего общего с ленинской подлинно научной оценкой эпохи империализма как эпохи нарастающих революционных битв, вырывающихся из его цепи одно звено за другим, с ленинской теорией социалистической революции и ее важнейшим выводом о возможности победы социализма в одной стране. Более того, обе системы взглядов противостояли друг другу как враждебные теории, отражавшие одна — психологию отчаявшегося мелкого буржуа, а другая — исторический оптимизм рабочего класса, уверенного в своей конечной победе, в неизбежности революционной замены капиталистического строя социалистическим во всемирном масштабе.

Опираясь на многочисленные факты и документы, авторы книги доказали, что эта враждебность троцкизма ленинскому

учению проявлялась на всем историческом пути нашей партии, на каждом его этапе. Даже войдя в 1917 году вместе с «межрайонцами» в партию большевиков, Троцкий вопреки утверждениям некоторых историков не признал и на словах правоту ленинизма. Антиленинская сущность его теоретических и политических установок оставалась неизменной до конца. В таком же виде предстает перед нами и современный троцкизм. Этот вывод, столь убедительно обоснованный авторами, разоблачает всю абсурдность и спекулятивный характер попыток буржуазных идеологов и ревизионистов выдать троцкистское наследие за «подлинный» марксизм-ленинизм и в такой окраске подsunуть его новым пополнениям участников освободительной борьбы.

Попытки такого рода, однако, предпринимаются неустанно и оказывают известное влияние на определенную часть так называемых средних слоев в капиталистических странах, в особенности на некоторых представителей интеллигенции, молодежи, студенчества. Авторы говорят об этом, исследуя причины известного распространения троцкистских идей на Западе в настоящее время. Но при этом они допускают некоторую односторонность, ибо, по существу, видят лишь одну причину — деятельность империалистической буржуазии и ее идеологического аппарата по пропаганде псевдореволюционных троцкистских концепций. С такой оценкой трудно согласиться, так как она не учитывает социальные факторы живучести троцкизма в капиталистическом мире в наши дни, прежде всего — такой важнейший фактор, как вовлечение в классовую борьбу широких мелкобуржуазных масс, особенно восприимчивых к троцкистским идеям.

Однако, обратив особое внимание на стремление империалистической буржуазии использовать в своих целях троцкизм, авторы справедливо подчеркивают одну очень верную и важную мысль. Речь идет о том, что троцкизм давно уже не является оппозиционным течением внутри коммунистического движения. Он не только повторяет, как пишут авторы, но уже повторил путь правого социал-демократизма, превратившись в неотъемлемую часть буржуазной идеологии, в ударную силу антикоммунизма и антисоветизма. И этот путь он начал в те годы, которые освещаются в настоящей книге, когда троц-

кистско-зиновьевский блок поставил себя вне партии большевиков, перейдя от идейно-политических разногласий с ней к открытой борьбе против марксизма-ленинизма, против диктатуры пролетариата, против Советской власти. В том, между прочим, и состоит актуальность обобщения опыта разгрома троцкизма нашей партией, которая уже сорок с лишним лет назад вскрыла перед всем международным рабочим классом эту закономерную эволюцию мелкобуржуазного революционаризма. Вот почему монография В. Иванова и А. Шмелева связана с современностью не только там, где об этом говорится специально. Она глубоко современна всем своим материалом, раскрывающим принципиальный вклад нашей партии в борьбу международного коммунистического движения за чистоту марксизма-ленинизма, за идейное и организационное единство своих рядов.

В книге приводятся многочисленные факты, показывающие, как троцкисты, объединяясь с разным антипартийным и контрреволюционным сбродом, создавали, нарушая советскую законность, подпольные организации для подготовки переворота с целью насильственной ликвидации Коммунистической партии и диктатуры пролетариата в нашей стране. Дело дошло до явно предательских заявлений троцкистов и зиновьевцев о том, что в случае военного нападения на СССР оппозиция будет бороться за смену руководства партии и Советского правительства. Наконец, 7 ноября 1927 года, в день десятилетия Великого Октября, кучка троцкистов в противовес демонстрации масс под лозунгами ленинизма выступила открыто на улицах Москвы и Ленинграда с антипартийными и антисоветскими лозунгами. К сожалению, этот факт не нашел отражения в книге.

Надо сказать, что авторы, хотя они ставили перед собой задачу рассмотреть главным образом идейно-политический аспект истории борьбы с троцкизмом, в ходе исследования значительно расширили свой замысел, последовательно осветив и проявления оппортунизма Троцкого на практике как в дооктябрьские годы, так и в период Октябрьской революции и после ее победы. При этом в книге приводится обширный фактический материал, в том числе и новые факты, извлеченные из архивных документов и других источников.

Важнейший вывод, к которому приводит столь разносторонняя разработка темы, заключается в следующем. Борьба между ленинизмом и троцкизмом не носила абстрактно-теоретического характера. Она решала коренной вопрос рабочего движения — вопрос о создании и руководящей роли пролетарской партии нового типа, призванной стать авангардом рабочего класса, решающей силой социалистической революции, строительства социализма и коммунизма. В этой борьбе революционные марксисты-ленинцы отстаивали как идейные, так и организационные основы партии от нападок оппортунистов всех мастей, и прежде всего троцкистов, занявших крайний правый фланг в рядах антипартийных сил.

Думается, что такой вывод получил бы большую аргументацию, если бы авторы полнее, чем это сделано в книге, показали разоблачение партией не только подрывной фракционной практики, но и антиленинских теоретических установок троцкизма в области партийного строительства. В особенности это относится к периоду 20-х годов, слабее исследованному в указанном аспекте. Между тем борьба с троцкизмом по организационным вопросам в тот период имела исключительное значение. От ее исхода зависело само существование Коммунистической партии как руководящей силы социалистического строительства. Этим, в свою очередь, определялась судьба мирового социализма, начавшего свой победный путь в Советском Союзе.

В монографии не обходится молчанием вопрос о характере и организационных принципах пролетарской партии, о ее месте и роли в системе диктатуры пролетариата в свете борьбы с троцкизмом. И все же данный сюжет нуждается в более полном, более глубоком раскрытии. Это важно прежде всего в интересах разоблачения современных ревизионистов, которые пытаются разрушить марксистско-ленинские партии, пользуясь многими методами и теоретическими установками, заимствованными из троцкистского арсенала.

В целом рассмотренная книга дает большой и ценный материал для усиления борьбы с буржуазной и ревизионистской идеологией по многим актуальным проблемам теории и практики революционного движения, строительства нового общества. Как справедливо отмечали авторы, «главная причина неослабевающей политической актуальности и научно-теоретической значимости изучения истории борьбы против троцкистской оппозиции заключается в том, что в ней нашли яркое отражение общие закономерности, присущие деятельности партии по организации отпора любым проявлениям чуждой пролетариату идеологии в рядах коммунистического движения». Ценность их исследования в том и состоит, что оно помогает лучше познать эти закономерности и тем самым повысить боеспособность коммунистов в борьбе за дальнейшее укрепление идейного и организационного единства своих рядов.

**В. ШАПКО,**

*доктор исторических наук.*



## НАУКА В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА

**Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сборник восьмой.  
М. «Советский писатель». 1970. 440 стр.**

Еще совсем недавно, в начале нашего века, такой большой и оригинальный мыслитель, как Илья Ильич Мечников, считал, что наука в процессе своего саморазвития приведет человечество к счастью, улучшит не только материальную жизнь людей, но и самого человека. В то же самое время Толстой воинственно выступал против «предрассудка» науки, якобы уводящей человека от его основной цели — нравственного самоусовершенствования. В наши дни такие крайности в суждениях о

науке вряд ли возможны. Сейчас, когда, с одной стороны, угрожающе растут запасы водородных бомб, а с другой стороны, все больше становится людей, живущих с чужим сердцем, ясно как никогда прежде, что наука сама по себе не приносит нам счастье или горе, но в руках человечества она становится обоюдоострым оружием, и в пользовании им нужно большое умение и осмотрительность. В цехе одного уральского завода, поражавшем грандиозностью и малолюдством, я видел аршинными бук-



вами многократно повторенный призыв: «Осторожно, автоматика!» Нас было несколько человек — московских литераторов, и всех нас поразили этот давно примелькавший рабочий завода призыв — своего рода символ нашего времени.

Использование достижений науки перестало быть только научной и технической проблемой. Теперь это проблема нравственная, и она не может не волновать писателя.

В восьмом выпуске «Путей в неизвестное» выступают четырнадцать авторов, четырнадцать творческих индивидуальностей, отличающихся манерой письма, страстием к отдельным отраслям науки, силой дарования, наконец.

Наиболее значительное из опубликованных в сборнике произведений, безусловно, «Эрехтейон» Бориса Агапова — своеобразный концентрат мыслей писателя о самых животрепещущих проблемах современности.

Из глубины веков начинается Агапов свое повествование:

«Итак — Траян.

Видели бы вы его! Он изображался обычно атлетом. Но эта физиономия! Непомерно длинный носик, яростно сжатый, капризный рот, подбородок как кулак, лопухость, но главное — почти никакого лба. Как у австралопитека.

Непреклонность и тупость, пренебрежительность и жестокость.

Ничего, кроме войны, не могло выдумать это существо. Войной оно только и занималось».

А в это же время творили Тацит, Плутарх, Плиний. В это время Аполлодор построил форум Траяна...

С первых страниц Агапов намечает два полюса: на одном — созидательный творческий гений людей, на другом — темная разрушительная сила австралопитеков. Кто кого?

В свободное, непринужденное повествование естественно вплетается рассказ Манолиса Глезоса о его знаменитом подвиге, когда он сорвал фашистский флаг над Акрополем, и его же рассказ о непрекращающейся борьбе греческого народа за свободу, а также выступление на Четвертом съезде советских писателей греческого писателя Костаса Кодзиаса с призывом возвысить голос протеста против захватившей власть в Греции хунты «черных полковников»... И так же естественно вплетает-

ся в повествование воспоминания Агапова о собственном детстве, о молодости...

В одном месте писатель вдруг останавливается, чтобы предупредить критика, что от темы своей он не отошел, ибо архитектура Эрехтейона вовсе не исчерпывает содержание его эссе; он пишет «о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в человечестве нашем», а именно к этому «в конце концов сводится всякое писание, если оно имеет касательство к искусству».

Опасения писателя излишни. Читатель — и, надо надеяться, вместе с ним критик — ясно видит, что жемчужина афинского Акрополя, которую Агапов описывает с присущим ему изобразительным мастерством, для автора нечто большее, чем уникальное произведение архитектуры. Под пером Бориса Агапова Эрехтейон вырастает в символ всего доброго и прекрасного на земле, в символ великих творческих возможностей человеческого духа.

Однако Акрополь разрушен, и повинно в этом не только время.

«Он бы и до сих пор сиял на радость человечеству, — восклицает писатель, — если бы это человечество — тысяча проклятий! — состояло только из людей! Но — к беде нашей — это не так».

К беде нашей, в человечестве немало еще австралопитеков.

И все же «Эрехтейон» полон веры в конечное торжество ноосферы, то есть сферы разума, веры в то, что человечество очистится от австралопитеков. Можем ли мы не верить в это? — спрашивает Агапов и отвечает: «На такое неверие не даст нам права наша природа: природа людей на Земле людей».

Высвечивая два крайних полюса, Агапов оставляет в тени все то, что находится между ними. «Ракету можно послать исследовать Венеру, а можно — взорвать город» — вот что больше всего волнует Бориса Агапова. Но возможен и третий вариант. Что, если ракета, посланная к Венере, из-за какого-то просчета собьется с курса и упадет на землю? Горда она, к счастью, не взорвет — для этого нужна другая начинка. Но австралопитек по природе своей не зол, а туп. Он может очень стараться делать добро, однако останется безлобым и бог его знает что натворит, если ему покажут ракету и кнопку, на которую надо нажать. И. И. Мечников указывал, что мать может самоотверженно за-

боятся о ребенке и быть, следовательно, высоконравственной с точки зрения традиционной морали, но если она незнакома с основами гигиены, то может причинить ребенку непоправимый вред. Самых благих и самых чистых побуждений мало — ими, как известно, вымощена дорога в ад.

Своей деятельностью мы нарушаем вековечное равновесие природы, и если мы действуем без должной осторожности, не взвесив заранее на аналитических весах строго научного расчета все «за» и все «против», то тоже можем натворить немало бед.

Кто-то справедливо утверждал недавно, пишет Сергей Залыгин («Из записок мелниатора»), «что свое отношение к природе мы выражаем формулами и девизами несовершенными, противоречивыми, далекими от истинного положения вещей.

Что, с одной стороны, этими девизами мы — и притом довольно воинственно — противопоставляем себя природе, объявляем «борьбу» с ней, ее «покорение», желая «ждать от нее милостей», желая только — брать их; с другой — мы клянемся в любви к ней: «защита природы», «любовь к природе». Вот те формулы, которые, по крайней мере в словесном обиходе, встречаются то и дело».

Залыгин приводит немало примеров того, как мелиорация земель не только не увеличивала урожай, а, наоборот, наносила вред, обедняя почвы, а иногда и приводя их в полную негодность. Залыгин не против мелиорации. Сам в прошлом мелиоратор — он за нее. Он вообще за деятельное и эффективное использование природы, поэтому его не устраивают и «девизы противоположной группы»: «защита природы», «любовь к природе», — от них, по его мнению, отдает фарисейством. Писатель спорит не о словах. «Словесный обиход — это психология и общее духовное состояние человека, а далее это и его действие». Залыгин хочет, чтобы человек действовал в природе по-человечески, а не по-австралопитекски.

В «Записках» Залыгина много фактов и образований, имеющих, вероятно, немалую практическую ценность. Но образная мысль писателя важнее рекомендаций специалиста. «Когда-то природа решала — быть или не быть человеку? Теперь человек решает — быть или не быть природе?» Это «быть или не быть» в конечном счете зависит от того, окажемся ли мы, люди,

духовно и нравственно на уровне наших возможностей, осознали ли мы во всей полноте нашу ответственность перед природой и потомками.

Если писатели старшего поколения смело и публицистически-страстно выдвигают проблемы большого социально-этического звучания, то более молодые авторы сборника (привлекать молодых — давняя и хорошая традиция «Путей в неизвестное») еще не решаются на это. Они предпочитают частные проблемы науки, стараясь говорить не столько о ее достижениях, сколько о процессе творческих исканий ученых.

В центре внимания Льва Католина — математические работы Маркса. Автор показывает, что увлечение математикой не было для Маркса чем-то случайным, а органически вытекало из его характера и мировоззрения. И хотя Маркс урывал для математики лишь минуты от часов, отдаваемых «Капиталу», занятия эти были для него источником большого счастья и тяжелых разочарований. Пользуясь своим диалектическим методом, Маркс сумел дать строгое обоснование теории бесконечно-малых, то есть решил проблему, которую оставили в стороне Ньютон и Лейбниц, безуспешно пытались одолеть Даламбер, Лагранж и другие великие математики. В очерке Католина Маркс не только «решает проблему», он мучается сомнениями, радуется удачам; единственный знакомый ему математик (весьма заунывный) не находит в его работах «ничего нового», и только Энгельс оказывает своему другу нравственную поддержку.

Льву Католину удастся создать живой образ Маркса, кое в чем неожиданный, хотя о Марксе не раз писали известные литераторы.

Правда, задача, стоявшая перед Католиным, в известной мере упрощена тем, что история уже вынесла свое суждение о математических работах Маркса: ценность их стала очевидной еще в 1933 году, когда была опубликована часть его математических рукописей. Писателю, берущемуся за проблемы еще не решенные, являющиеся предметом научных дискуссий, труднее.

..Профессор Даниил Борисович Эльконин создал теорию, на основе которой вместе с группой психологов уже много лет ведет эксперимент в 91-й московской школе. Детей учат по особой программе — «с

первого класса воспитывают способность к теоретическому, абстрактному мышлению». Свою теорию Эльконин выдвинул на основе изучения детских игр — они оказались удобной моделью для выяснения особенностей психики ребенка. Но детские игры — это самостоятельная большая проблема: в ней много нерешенного. Например, всегда ли дети играли одинаково? Сто, тысячу лет назад? А как играли дети в первобытном обществе? Почему при раскопках древнейших стоянок человека ни разу не удалось найти детской игрушки? Может быть, дети тогда вообще не играли? Или вся жизнь первобытного человека была игрой? Ведь так похожи на игры ритуальные танцы дикарей! Эльконин считает, что сходство здесь внешнее: танец дикаря — это не игра, а серьезное занятие — подготовка к тому, что вскоре он будет делать на охоте. Но в науке существует и другая точка зрения...

Как быть писателю, если он не специалист во всех этих тонкостях? Ученый может оказаться односторонним, но писатель, берущийся за освещение научной проблемы, не имеет права выдавать за истину лишь одну точку зрения, какими бы соображениями он при этом ни руководствовался.

Автор очерка «Семьдесят грамм иллюзий» Г. Башкирова избирает сюжетом повествования свое собственное приобщение к детской психологии. Как бы на наших глазах она изучает научные труды, следит за полемикой на научном конгрессе, за острыми пикировками в застольных беседах. И чем глубже, чем основательнее становятся ее познания в избранной области, тем содержательнее ее беседы с учеными. Профессор Эльконин, добившийся значительных результатов, оказывается, считает свои исследования поисковыми. «Нужны десятилетия, я не преувеличиваю, чтобы все это вошло в жизнь. Нужны совершенно иные учителя, с иной подготовкой, нужны иные методики, иные учебники. Вы представляете, как это страшно: дать рекомендации в неловкие, неумелые руки, пусть и с благой целью. А материал — дети».

Будем надеяться, что профессор Эльконин все-таки преувеличивает трудности, стоящие на пути внедрения его методики в широкую практику. Но это тот самый случай, когда лучше преувеличить трудности, чем их преуменьшить.

Повествование Башкировой расцвечено меткими наблюдениями, бытовыми подробностями, благодаря которым читатель как бы присутствует там, где побывал автор. К сожалению, не все детали пропущены через достаточно густое сито творческого отбора, некоторые из них «не работают». Излишни и напоминания о том, как «необычно» построен очерк Г. Башкировой: «И снова заропщет читатель», «И тут уж читатель вправе взбунтоваться настоящему» и т. п. Но это лишь мелкие огрехи. Главное — автору удается правильно выбрать позицию. Башкирова не решает за ученых научные проблемы. Она видит свою задачу в том, чтобы дать возможность читателю подышать воздухом научных исканий, развернуть проблемы во всей их сложности, незавершенности, и она достигает своей цели.

Писатель, работающий в области научно-художественной литературы, обычно избирает одну или несколько смежных отраслей науки. Это понятно и неизбежно. Писатель должен знать ту часть жизни, которая становится предметом его изображения, а многие ли способны знать состояние большинства научных дисциплин!..

Одним из немногих был Олег Николаевич Писаржевский. Ему удавалось глубоко проникать в сущность самых разных наук. У него, конечно, бывали ошибки, но того, что на жаргоне журналистов называется «развесистой клюквой», у него не было никогда, — в этом одна из причин особого и неизменного уважения к нему в среде ученых. В связи с этим хочется возразить автору литературного портрета Олега Писаржевского Льву Разгону по одному частному поводу.

«Может показаться несколько странным, — пишет Л. Разгон, — что он (Писаржевский. — С. Р.) выбрал для своей новой книжки, оказавшейся последней, тему, связанную с агробиологией — то есть наукой, с которой он не соприкасался непосредственно, наукой, где его научные связи были всегда слабыми».

Это не совсем так. Писаржевский действительно мало писал о биологии и биологах, но в проблемах биологической науки он разбирался глубоко и связи с биологами у него были прочные. Просто в силу известных обстоятельств Писаржевский не мог высказываться в полный голос, а гово-

речь полуправду не хотел. Писателя большого общественного темперамента, его глубоко волновало неблагополучие в нашей биологической науке, и нет ничего странного, что, как только появилась возможность, он отложил уже начатую биографию Абрама Федоровича Иоффе и написал «Прянишников», оказавшегося его последней книгой, и статью «Пусть ученые спорят...», оказавшуюся его последней статьей.

Лев Разгон не ограничивает свою задачу анализом произведений Олега Писаржевского, анализом глубоким, выявляющим особенности творческого лица писателя, так что остается лишь пожалеть, что Писаржевскому не довелось при жизни познакомиться с ним. Разгон рисует образ Писаржевского-человека, о котором с неизменной теплотой вспоминают все, кто его знал.

Олег Писаржевский был организатором и инициатором многих важных начинаний и сейчас все, кто работает в области научно-художественной литературы, чувствуют, как сильно его нам недостает. Писаржевский, между прочим, возглавлял первоначальный состав общественной редколлегии «Путей в незнаемое»; то обстоятельство, что сборник с шестого выпуска сильно отошел и стал выходить менее регулярно, думается, в какой-то мере связано с преждевременной, столь поразившей всех своей внезапностью кончиной Олега Писаржевского.

Большое внимание уделяет Разгон идейно-эстетическим взглядам писателя, его размышлениям о задачах научно-художественной литературы. Это особенно ценно, так как специфика научно-художественной литературы остается мало изученной, а Разгон — один из немногих, кто плодотворно работает в этом направлении.

Разгон вспоминает изданную лет десять назад книгу «Формулы и образы» — сборник дискуссионных статей о научно-художественной литературе, в котором приняли участие наши ведущие писатели, а подытоживающее послесловие написал Писаржевский, «этим самым молчаливо признанный арбитром в разгоревшемся споре», как справедливо замечает автор. Сборник до сих пор остается единственным в своем роде, и его значение трудно переоценить. Но «жажда ясности» (так называлась открывавшая дискуссию статья Д. Данина) далеко не утолена.

Несколько слов о небольшом очерке Степана Мокшина «Совнаркомовский паек». Его тема — героический труд советских ученых в первые годы революции, когда в тяжелейших условиях разрухи, голода, международной изоляции Советского государства лучшие представители отечественной науки вели самоотверженную работу, не прекращая ни на день исследования. Автор рассказывает о том, как в этих тяжелейших условиях Советское правительство предпринимало все возможное, чтобы облегчить положение ученых, помочь им наладить работу, а порою и просто выжить. Мокшин приводит волнующие документы, показывающие, какое большое значение придавал В. И. Ленин науке, какое внимание уделял ученым, как в самые трудные для Советской республики годы изыскивались средства на закупку зарубежного оборудования, на издания научных работ...

Мокшин цитирует известные слова Горького: «Когда-нибудь кто-то напишет потрясающую книгу: «Русские ученые в первые годы Великой революции». Это будет удивительная книга о героизме, о мужестве, о непоколебимой преданности русских ученых своему делу — делу обновления, облагорожения мира, России». Слова эти часто цитируются. Но не пора ли перейти к делу, не пора ли создать книгу, о которой мечтал Горький. Одному писателю вряд ли под силу такая задача — слишком много наук надо охватить. Но, может быть, ее можно одолеть «миром»? Почему бы, например, один из очередных выпусков тех же «Путей в незнаемое» не посвятить этой теме?

Отмечу небольшую неточность, допущенную Мокшиным: Н. И. Вавилов приехал в Петроград, «чтобы заложить основы Всесоюзного института прикладной ботаники», не летом 1921 года, а еще осенью 1920-го, окончательно же перебрался из Саратова со своими учениками в марте 1921 года.

Отдельные неточности есть и в других материалах сборника, однако они исключение. «Пути в незнаемое» пользуются репутацией одного из самых строгих в научном отношении научно-художественных изданий, и восьмой сборник подтверждает, что репутация эта вполне заслуженная.

С. РЕЗНИК.

## ПРЕДАНИЯ И БЫЛИ РУССКОЙ СТАРИНЫ

Б. А. Рыбаков. «Слово о полку Игореве» и его современники. М. «Наука». 1971. 293 стр.

Недавно опубликованная книга выдающегося советского ученого академика Б. Рыбакова посвящена неумирающей теме «Слова о полку Игореве». Она тесно связана с рядом других его исследований последнего десятилетия о начальных этапах истории русской государственности и культуры<sup>1</sup>. Не касаясь сейчас многочисленных статей автора, я остановлюсь на названных трех книгах. Речь в них идет о событиях давно минувших, овеянных романтикой поисков загадочного и малоизвестного, разгадываемого пытливой мыслью ряда поколений ученых-историков и археологов, этнографов и литературоведов, фольклористов и филологов. Эпоха, воспетая в летописях и былинах, гениальном «Слове о полку Игореве» и «Песне о вещем Олеге» А. С. Пушкина, «Князе Игоре» А. П. Бородина и «Богатырях» В. М. Васнецова, отраженная в величественных сооружениях и замечательных фресках и иконах, всегда вызывала и вызывает огромный интерес у специалистов-ученых и широких кругов читателей.

Это и понятно, ведь речь идет о времени создания Древнерусского государства, которое, возникнув на рубеже VIII и IX веков, в течение нескольких столетий превратилось в обширную и могучую державу, одну из сильнейших в тогдашнем мире. Ее сила и мощь, высокий уровень культуры вызвали восхищение и пристальный интерес современников и потомков как в самой Руси, так и далеко за ее пределами. Изучение Киевской Руси, ее богатейшего культурного наследия показывает ошибочность и недобросовестность утверждений о политической и культурной отсталости русского народа на заре его развития в рамках государства. Именно русский народ был истинным создателем, строителем Древнерусского государства, его культуры.

Главная тема исследований Б. Рыбакова — история Древней Руси, ее государственности, культуры, рассказы о жизни знаменитых и безвестных деятелей, отраженные в летописях и других памятниках.

«Древняя Русь» — по его словам — своего рода введение в историю Киевской Руси, «законченная, самостоятельная книга, стержнем которой является изучение исторических концепций и политических взглядов народа и феодальных верхов в той мере, в какой они отразились во всей совокупности дошедших до нас устных и письменных источников».

Задача книги, по замыслу Б. Рыбакова, состояла в том, чтобы дать читателю «некоторое представление о сложности наших исторических источников, о тенденциозности их авторов, о различиях классовых позиций летописцев и сказителей былин, о разной степени достоверности разных видов источников».

Другая задача у второй книги — «Первые века русской истории»<sup>2</sup>. Основываясь на летописях и археологических данных, свидетельствах иностранцев и юридических кодексах, памятниках древней русской литературы (особенно на «Слове о полку Игореве») и эпических сказаниях и былинах, автор дает широкий обзор событий с VI до начала XIII века. Это процесс вызревания русской государственности, история четырех столетий Древнерусского государства (Киевской Руси). В ней, как и в других работах Б. Рыбакова, много тонких наблюдений и находок, интересных научных выводов.

В книге «Слово о полку Игореве» и его современники» скрупулезно исследованы события 1185 года — поход войска Игоря Святославича, его поражение, плен и побег. Детально прослежены биографии действующих лиц гениального произведения древней русской литературы, выдающегося памятника исторической мысли.

Таким образом, перед нами — большой цикл научных исследований о мыслях и деяниях далеких предков русских людей, отразившихся в преданиях и былях отечественной старины. Каждая из названных книг интересна и оригинальна по-своему, каждая найдет своих читателей. Помимо единой большой проблемы исследования, для этих трудов характерны своеобразный талант

<sup>1</sup> Б. А. Рыбаков. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М. 1963. Его же «Первые века русской истории». М. 1964.

<sup>2</sup> См. также: История СССР с древнейших времен до наших дней. М. 1966, т. I. стр. 476—639.

«видения» прошлого, психологического проникновения в характеры своих героев, яркая, темпераментная манера изложения. Научные выводы, нередко очень смелые и неожиданные, поражают новизной; дискуссионность, спорность отдельных положений придает остроту и свежесть доказательств.

Смело, широкими и яркими мазками рисует автор картину развития древнерусского эпоса в книге «Древняя Русь».

Наибольший интерес представляют разделы книги, посвященные былинам. Мы найдем в книге Б. Рыбакова перечень примерно трех десятков исторических лиц X—XII веков, которые упоминались в письменных источниках и послужили прообразами былинных героев; «это — три десятка точных хронологических ориентиров, позволяющих привести в систему почти все основные былинные сюжеты». Достаточно сказать, что ряд былин, относимых некоторыми исследователями (В. Я. Пропп и др.) к XVI—XVII векам, после изысканий Б. Рыбакова можно приурочить к X веку (хотя попытки точной датировки отдельных былин, например в пределах года, нельзя признать убедительными).

Наиболее знамениты былины, вошедшие в так называемый Владимиров цикл конца X века. Неустанная борьба великого князя киевского Владимира I Святославича с печенежскими ордами сделала его необычайно популярным не только среди придворных летописцев и церковных писателей, но и в широких слоях народа, который он широко привлек к своим военно-оборонительным делам, отказавшись от помощи наемников-варягов. Народ прозвал в былинах князя — защитника родной земли Красным Солнышком. А в лице богатырей олицетворен сам русский народ. Реальным историческим прототипом былинного Добрыни Никитича стал дядя Владимира Добрыня — сын Малка Любечанина и брат ключницы Малуши, наложницы Святослава и матери Владимира. Знаменитый Илья Муромец — крестьянский сын, выходец из самых глубин народных, олицетворение народа, призванного на защиту родных рубежей; пришел он в Киев из-под далекого северного Муромы (нынешние муромцы с гордостью называют его родной село Карачарово, расположенное недалеко от города).

Больше половины книги посвящено русским летописям. Автор вносит много нового

в изучение древнейшего периода в истории русского летописания. В книге немало интересных страниц посвящено описанию предполагаемых первых летописных записей, которые начали вести, по его мнению, с 860-х годов. А в 996—997 годах (одновременно с рядом былин первого Владимиров цикла) составляется первый киевский летописный свод. Легенда о призвании варягов в нем отсутствовала; более того, ряд его записей имел антиваряжский характер.

В следующем, XI столетии ряд новых летописных сводов создается в Новгороде и Киеве. В начале же XII века крупнейший историк и писатель русского средневековья печерский монах Нестор составил в 1112—1113 годах великое произведение — «Повесть временных лет». В нем перу самого Нестора принадлежит введение к летописному тексту за 860—1111 годы, взятому из предшествующих летописных сводов и других русских и иностранных источников.

В ряде исследований Б. Рыбаков показал, что взгляды Нестора, отразившиеся в его тексте введения «Повести временных лет» (искаленном более поздними редакторами), близки к представлениям современной исторической науки о древнейших этапах истории Руси, их периодизации.

Историческая концепция Нестора раскрывается (конечно, с учетом новейших достижений историков, археологов и других специалистов) в книге «Первые века русской истории». Почти половина ее основана на анализе «Повести временных лет» Нестора с привлечением данных из других источников, в том числе былин и «Слова о полку Игореве».

Последняя глава книги называется «Русь в эпоху «Слова о полку Игореве». Здесь автор как бы проецирует взгляд автора «Слова» на русские земли второй половины XII века, на действия князей — современников «бугею» Игоря Святославича, князя новгород-северского.

Гораздо более подробно и широко рассмотрены современники и герои «Слова о полку Игореве» и события самого похода 1185 года в третьей книге.

Б. Рыбаков начинает книгу «Слово о полку Игореве» и его современники с наблюдений о воздействии «Слова» на другие произведения своего и более позднего времени. Интересен вывод о том, что в рукописи гениальной поэмы произошла в свое время путаница при переплете листов. Автор про-

вел большую работу по выявлению всех возможных перестановок в тексте поэмы. Он предпринимает смелую попытку реконструкции «Слова о полку Игореве», подчеркивая, что этот «опыт установления перепутанных страниц и определения их истинного первоначального места» он рассматривает «как рабочую гипотезу, подлежащую критике и обсуждению». Б. Рыбаков выдвигает собственный вариант прочтения всего текста «Слова», причем пользуется для этой цели переводом В. Стеллецкого, поскольку «у автора этой книги рука не поднимается на канонический текст «Слова». Интересны соображения о методике перевода — перевод В. Стеллецкого, сохранивший «колорит древности», в ряде случаев не удовлетворил Б. Рыбакова, и он предложил свои чтения. С ними в большинстве случаев нельзя не согласиться. Так, знаменитое выражение «О Русская земле! Уже за шеломянем еси!» в переводе Б. Рыбакова («О, Русская земля! Ты уже за грядою холмов!») точнее перевода В. Стеллецкого («О, русские полки! За холм зашли вы порубежный!»). Но иногда возникают и сомнения; так, вряд ли стоило заменять архаичное «стеся» обычным «путь»; ведь слово «стеся» современному читателю более понятно, чем, например, такое слово, как «хиновские» (то есть «гуннские»), которое автор в отличие от Стеллецкого предлагает не переводить.

Очень интересен раздел об «утерянной странице» «Слова о полку Игореве». «Почнем же, братие, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря» — так начинает свою поэму безвестный гениальный автор, собирающийся как будто прославить в ее начале киевского князя, много потрудившегося в борьбе со степными хищниками-завоевателями. Он противопоставляет его современным ему князьям — сеятелям усобиц, уклонявшимся нередко от общего выступления против врага. Но это прославление «старого Владимира» в «Слове» отсутствует. Б. Рыбаков считает, что предполагаемая утерянная страница «Слова» была посвящена гимну Владимиру Мономаху, в правление которого Русь одерживала блестящие победы над половецкими воинами, жены которых страшали его именем своих младенцев. Именно его имел в виду автор «Слова», говоря о «старом Владимире», именно его хотел бы навечно оставить на киевских горах, чтобы он защищал русскую землю от поганых.

Несохранившуюся часть («утерянную страницу») «Слова о полку Игореве» Б. Рыбаков предположительно восстанавливает по тексту «Слова о гибели Русской земли», памятника начала XIII века, то есть близкого по времени написания к «Слову о полку Игореве». Именно «Слово о полку Игореве» и использовал, по мысли Б. Рыбакова, автор более позднего «Слова». Текст последнего о Владимире Мономахе, по утверждению Б. Рыбакова, пересказывает или цитирует соответствующее несохранившееся место из «Слова о полку Игореве». Возможно, эта контаминация текстов двух разных памятников и приближает нас к разгадке?.. Окончательно ответить на этот вопрос, конечно, очень трудно.

Специальная большая глава книги посвящена выяснению биографий «героев» «Слова о полку Игореве» — князей, в той или иной связи упоминаемых его автором. Читатель сможет ознакомиться с яркими, блестящими историко-психологическими портретами многих исторических деятелей, живших ни много ни мало 800 лет назад, понять их характеры, мысли и желания, оценить их благие дела и дурные поступки. Здесь властолюбивые и коварные, честолюбивые и сребролюбивые птенцы «Олегова гнезда» («Ярославлю внуки Ольговичи») и в их числе сам Игорь Святославич, поставивший своими неразумными действиями под удар русскую землю; и ратоборец Всеслав полоцкий, и «сумрачный, жестокий и самовластный Андрей Суздальский» (Андрей Юрьевич Боголюбский, убитый заговорщиками в своем замке под Владимиром), и незаурядный Ярослав Осмомысл галицкий, трагически метавшийся между двумя сыновьями (один родился от жены, дочери Юрия Долгорукого, другой — от любовницы Настасьи, сожженной на костре боярами).

Скрупулезно изучены все детали событий 1184—1185 годов, упомянутых и воспетых в «Слове». Особый интерес вызывает блестящий анализ данных о маршруте и сроках похода Игоря и месте сражения его войска с половецкими полчищами Кончака и Гзака. Талант исследователя, тонкое чутье психолога, сравнительный анализ данных разных источников от древних летописей до новейшего устава кавалерийской службы, точный расчет и трезвая логика — все мобилизовано для отыскания истины.

Автор устанавливает маршрут похода Игоря и место несчастной битвы 10—12 мая 1185 года на реке Каяле (то есть Жаль-

реке, Печаль-реке; на кипчакском, то есть половецком, языке «каялы» — «печаль») — в верховьях реки Самары, левого притока Днепра. Его соображения довольно убедительны, хотя не обошлось здесь и без противоречий. Так, реку Сюурлий (приток реки Самары), где произошло сражение, автор помещает на карте в двух разных местах: в первый раз она показана притоком «Великого Дона» (Северского Донца) — одновременно этот же приток «Великого Дона» называется Сальницей, — во второй — притоком Самары, называемым также Гнилушей (правда, со знаком вопроса). Поражение «полка Игоря» произошло, по убеждению Б. Рыбакова, на берегу реки Сюурлия, половецкое название которой («süjijg» — «мошкара») характеризует ее как небольшую, заболоченную, «комариную» реку; между тем текст «Слова» говорит: «Падоса стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы»; автор, считающий текст «Слова» во всех своих деталях, частностях соответствующим реальной действительности, в данном случае не объяснил возможное противоречие: может ли упоминаемая «Словом» «быстрая» река Каяла соответствовать крохотной, заболоченной реке Сюурлий?

Широкому читателю будет не совсем понятно и приятно прочитать, что князь Игорь, инициатор похода 1185 года, воспетый в популярной опере А. П. Бородина, «не был борцом за Русскую землю и действовал преимущественно в своих интересах». Но нельзя не согласиться с автором: «Возможно, что такая и была неприглядная правда о причинах сепаратного похода Игоря» (поиски личной выгоды и «себе хвалы»).

Остроумно и с немалой долей иронии и горечи пишет Б. Рыбаков о жизни Игоря в плену у Кончака. Через некоторое время после возвращения в свое княжество Игорь скачет в Киев просить помощи у Святослава и других русских князей. По еле заметным намекам текста «Слова» Б. Рыбаков устанавливает, что Игорь находился в Киеве в качестве «гостя-просителя» в августе 1185 года. Именно к этому времени он и относит написание поэмы. В условиях нависшей над Русью грозной половецкой опасности гениальный автор «Слова о полку Игореве» выступил со страстным призывом к единству русских земель. Его цель состояла в том, чтобы сплотить вокруг Киева все рус-

ские силы; «...в тех же общенародных целях нужно было примирить общественное мнение с Игорем, показать его неудачу не как возмездие за совершенные грехи, а как несчастье всей Руси, требующее исправления общими силами всех, кому дорогá родная земля».

В конце книги автор проследил дальнейшую судьбу героев «Слова о полку Игореве». Они сошли со сцены к концу XII — началу XIII века, «а бессмертная поэма начала свою новую жизнь: ее вспоминали, печальясь об усобицах и княжьих крамолах, к ней обращались в величайшем подъеме духа после победы, когда «чести есмья добыли и славного имени».

Так заканчивает Б. Рыбаков третью из рассмотренных здесь книг о древних русичах, их славных деяниях на мирной ниве и в поле бранном, в государственных делах и в создании непреходящих духовных ценностей. Прочитав их, читатель как бы приоткроет «окно» в мир далекого прошлого родной земли, воскресит в своей памяти образы давно ушедших из жизни людей. Глубоко научное содержание и блестящая форма изложения, смелость и оригинальность выдвинутых в книгах идей и воссоздание живых образов исторических деятелей, яркая «портретная живопись» князей и воевод, дипломатов и ученых летописцев — таковы особенности этих книг.

Благодаря этому мы получаем возможность ощутить «эффект присутствия» при тех событиях, которые описаны в летописях и «Слове о полку Игореве» или отражены (каждый раз по-своему) в былинах или юридических кодексах. Главное же заключается в том, что эти книги утверждают представления о высоком уровне развития государственности, национального самосознания, культуры русского народа в те далекие времена, его решающей роли в создании и расцвете государства, в накоплении материальных и духовных ценностей. Труд и гений наших далеких предков заложили основу последующего национального развития народов-братьев — русского, украинского и белорусского, которые в течение столетий тяжких испытаний и борьбы сохраняли воспоминания о былом единстве времени Киевской Руси и в конце концов снова объединились в одном государстве — России.

**В. БУГАНОВ.**



## ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ

Курс для высшего управленческого персонала. Сокращенный перевод с английского. М. «Экономика». 1970. 807 стр.

«Думаете ли вы о себе как о ходком товаре? Из всех избитых выражений управленческого жаргона «продавать себя» — наиболее частое и неправильно понимаемое. У этого выражения есть варианты: «продавать свои идеи» и «продавать свои способности». Но как раз люди, пользующиеся подобными терминами, отстают в умении продавать. Они не следуют советам, которые торговые эксперты дают продавцам: «Не пытайтесь продавать товары. Продавайте выгоды. Никто не хочет покупать сверла, но люди платят в неделю четверть миллиона долларов за отверстия, которые делаются этими сверлами. Продавайте отверстия!»

Пришло время для управляющих прекратить «продавать себя», свои идеи и свои способности, а продавать выгоды, которые они могут приносить. Продавать себя? Кому вы нужны?..»

Авторы «Курса для высшего управленческого персонала» (точнее, коллективный автор — «совет редакторов по профессиям и бизнесу» американского издательства Прентис-Холл) отнюдь не скрывают своих классовых позиций. Они убежденные, воинствующие защитники и пропагандисты капиталистических общественных отношений, системы «свободного» предпринимательства. И посему, на их взгляд, «руководящая деятельность предназначена для людей, которые верят в бизнес и готовы бороться за свои убеждения».

«Вера в бизнес» означает для авторов книги веру в незыблемое право предпринимателей на жестокую эксплуатацию рабочих и служащих в целях извлечения максимальной прибыли. веру в то, что осуществление такого права — «святая» обязанность высшего управленческого персонала.

Вряд ли нужно говорить о том, что социалистическое производство функционирует и развивается по принципиально иным законам, нежели капиталистическое, а потому и методы управления хозяйством у нас, естественно, имеют другую основу. Однако и для нас такие категории, как прибыль, имеют первостепенное значение, и в поисках наиболее эффективных форм ор-

ганизации труда мы обязаны использовать все рациональное, что накоплено за рубежом.

Мы помним, какую сенсацию вызвала опубликованная в 1965 году книга доктора экономических наук В. И. Терещенко «Организация и управление (опыт США)», рассказавшая о системе и принципах руководства американскими промышленными предприятиями. Автор не ограничился изложением лишь сугубо теоретических догм американской науки управления — он попытался раскрыть ее психологическую базу, практическую основу самого подхода к постановке любого дела. Он рассказал о сумме элементарных, но обязательных для американской науки управления правил, без соблюдения которых немислима рациональная организация канцелярского и управленческого труда.

В последние годы наука управления сделала в Советском Союзе огромный шаг вперед. Однако дальнейшее ее совершенствование продолжает оставаться одной из самых актуальных общественных задач.

«Огромные масштабы народного хозяйства, — отмечалось в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду, — возросшие экономические возможности и общественные потребности диктуют необходимость серьезно повысить уровень всей нашей хозяйственной работы, существенно поднять эффективность экономики, превратить все наше огромное хозяйство в еще лучше работающий, хорошо отлаженный механизм»<sup>1</sup>.

И потому, естественно, «совершенствованные системы управления — не разовое мероприятие, а динамичный процесс решения проблем, выдвигаемых жизнью»<sup>2</sup>.

Несомненно, в таком динамичном процессе и ныне актуальны не только глобальные экономические проблемы — система планирования, структура соподчинения и взаимодействия различных хозяйственных звеньев, роль экономических стимулов в деятельности предприятий, — но и самые

<sup>1</sup> Материалы XXIV съезда КПСС. М. Политиздат. 1971, стр. 39—40.

<sup>2</sup> Там же, стр. 66.

общие вопросы организации управления внутри любой производственной ячейки, система собственно управленческого труда.

Советские ученые уделяют ныне вопросам управления исключительное внимание. В последнее время опубликовано множество работ, посвященных этим проблемам. Их авторы — не только экономисты, но и социологи, философы, психологи, юристы. Однако, к сожалению, значительная часть исследований не содержит пока практических рекомендаций, а сводится к дискуссии о том, что, собственно, есть наука управления. «Дискуссия в ряде работ,— констатировал заведующий лабораторией проблем управления общественным производством МГУ Г. Х. Попов,— имеет тенденцию превратиться в самоцель. В рассуждениях «за» и «против» науки управления некоторые авторы уничтожают друг друга, как в известной истории о сожравших друг друга львах. Выдаются широкообещательные обещания... Многие разговоры о «науке управления» оправдывают шутку С. Е. Каменицера: включение слова «наука» наводит на мысль, что науки пока нет, так как к серьезным наукам никто слова «наука» не добавляет. Говорят: политэкономия, физика, а не «наука физика»<sup>3</sup>.

XXIV съезд КПСС поставил перед нашими учеными четкую конкретную задачу: «В области экономической науки сосредоточить внимание на разработке наиболее эффективных форм и методов использования объективных экономических законов в практике планового управления народным хозяйством»<sup>4</sup>.

Чтобы такую задачу решить, необходимы самые энергичные усилия специалистов различных отраслей знаний.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что затраты на совершенствование управления мгновенно себя окупают.

В США существуют триста школ бизнеса, четыреста факультетов управления при университетах, восемьдесят отделений управления в технических колледжах, две тысячи шестьсот так называемых консультативных фирм по управлению. На консультативную деятельность по управлению компании

США сейчас расходуют больше миллиарда долларов в год<sup>5</sup>.

Всю совокупность проблем, связанных с организацией управления, и рассматривают авторы «Курса для высшего управленческого персонала». Они трактуют науку об управлении прежде всего как дисциплину межотраслевую, следование которой обеспечивает высокую эффективность работы любого руководителя, будь то управляющий заводом или начальник канцелярии. Как и в книге В. И. Терещенко (который, кстати говоря, является научным редактором рецензируемого труда), функции управляющего — да и служащего вообще — анализируются с одной принципиальной позиции: максимальный производственный эффект при минимуме затрат управленческого труда. С этой точки зрения оцениваются качества, необходимые человеку на той или иной ступени управленческой работы, изучаются взаимоотношения начальника и подчиненных, раскрывается сложившаяся в американском бизнесе методика решения деловых вопросов. Сложный процесс руководства расчленяется в исследовании на сумму взаимоуязванных функций, каждая из которых имеет — или должна иметь — самое простое и эффективное исполнение.

«...Выполнять работу лучше и в более сжатые сроки,— говорят авторы,— значит работать более разумно, а не более напряженно.

Вам не нужно больше интеллекта или способностей, чем у вас есть в данный момент, для того, чтобы работать значительно быстрее. Все, что вам нужно сделать, это усовершенствовать ваши хорошие навыки в работе и устранить плохие.

Расстановка канцелярской мебели. Подбор кадров. Эффективный способ распродажи холодильников. Методы организации автоматизированного производства. Система расчета реального количества человеко-часов, которыми располагает предприятие для выполнения определенного задания... Несомненно, при критическом отношении к этим фактам советские специалисты обнаружат в них то рациональное зерно, которое с успехом можно использовать и в социалистическом производстве.

Мы много говорим, пишем, спорим об «авторитете диплома», о целесообразном

<sup>3</sup> Г. Х. Попов. Проблемы теории управления. М. «Экономика». 1970, стр. 18.

<sup>4</sup> Материалы XXIV съезда КПСС. М. Политиздат. 1971, стр. 245.

<sup>5</sup> См. «Правда», 7 сентября 1971 года.

использовании инженеров и «сержантов индустрии». И это естественно: от их работы во многом зависит общая эффективность производства. Однако подчас инженерный диплом и в особенности степень кандидата наук служат лишь гарантированным обязательством государства перед работником на предоставление ему высокой должности и высокой оплаты труда, не зависящей от реального вклада в производство.

Существуют ли такие проблемы в американском бизнесе?

«Несколько слов к молодым инженерам, поступающим на работу: «...важно не ваше инженерное звание, а результаты вашей работы, которую вы должны уметь выполнять, если вы инженер. Звание само по себе является лишь показателем квалификации; в день вашего найма на работу оно, быть может, решило вопрос о получении или неполучении вами работы. Но начиная с того дня вопрос, стоять ли на месте или продвигаться вперед по служебной лестнице, решают результаты вашей работы».

Разумеется, молодые выпускники школ бизнеса вдохновляются отнюдь не желанием извлечь максимальную прибыль для корпораций, а стремлением выгоднее «продать» себя. Это стремление наполняет их такой всесокрушающей энергией, что корпорации порой опасаются принимать их на работу. «Они готовы растерзать вас на части, перестроить все ваше дело без вас и вытеснить вас напоследок из правления», — заявил однажды руководитель одной из электронных компаний в Нью-Йорке.

В книге американских специалистов анализируются многие другие актуальные проблемы руководства современным предприятием. Однако во всех ее разделах авторы подчеркивают, что их рекомендации следует использовать творчески, что управление производством — не только наука, но и высокое искусство.

Советские ученые, вполне естественно, подходят к проблемам управления с принципиально иных, нежели американские авторы, позиций. Эффективная организация производства в развитом социалистическом обществе неразрывно связана с решением большого комплекса социальных задач. И потому в многообразных функциях руководителя советские специалисты особо выделяют его социальную роль. Ф. Т. Селюков, в частности, пишет: «Социальная роль ру-

ководителя заключается прежде всего в создании сплоченного и работоспособного производственного коллектива. Эту роль руководитель сможет выполнять в том случае, если он отчетливо представляет, какое значение для создания коллектива имеют различные социальные факторы...»<sup>6</sup>

Но, к сожалению, такого обстоятельного, энциклопедического курса управленческого труда, как американский, у нас еще не создано<sup>7</sup>. И потому вполне оправдано стремление наших издателей познакомить советского читателя с самыми интересными зарубежными исследованиями в этой области.

О необходимости изучения зарубежного опыта управления, как известно, говорил еще В. И. Ленин: «...социализм не есть выдумка, а есть... усвоение и применение того, что создано трестами. Нам, партии пролетариата, неоткуда взять умения организовать крупнейшее производство, по типу трестов, как тресты,— неоткуда, если не взять его у первоклассных специалистов капитализма»<sup>8</sup>.

Ленинский анализ работ Тейлора остается образцом марксистского подхода к достижениям капитализма в области организации производства. В. И. Ленин отмечал, что капитализм превращает научную организацию труда, как и другие достижения науки, в орудие наживы. Однако в трудах Тейлора Ленин увидел и то рациональное зерно, которое может быть использовано в социалистическом производстве.

И ныне из капиталистической практики управления производством мы можем извлечь немало полезного: методы организации управления, способы совершенствования техники управления, опыт использования ЭВМ для решения конкретных задач.

В мирном соревновании двух социально-экономических систем мы должны тщательно изучать весь тот арсенал технических, организационных и идеологических средств, которыми пользуется противник.

**Ю. РЫТОВ.**

<sup>6</sup> Ф. Т. Селюков. Руководитель и подчиненный в системе управления. М. «Экономика». 1971, стр. 5.

<sup>7</sup> Полный текст «Курса для высшего управленческого персонала» составляет шесть томов.

<sup>8</sup> В. И. Ленин и н. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 311.

## КРЕДО ВЕЛИКОГО ЗОДЧЕГО

Ле Корбюзье. *Архитектура XX века. Перевод с французского.*  
М. «Прогресс». 1970. 301 стр.

Едва ли кто-либо из выдающихся представителей художественной культуры XX века вызывал так много споров, как Ле Корбюзье, сын швейцарского гравера, самоучка и труженик, «самый великий и самый... нелюбимый зодчий века».

«Мания величия... уникальный в истории вандализм; унылое однообразие... концентрация, демонстрирующая духовный и материальный ущерб, презрение по отношению к историческому и художественному наследию», — писали о нем одни авторы.

«Корбюзье оставил нам учение об архитектуре и градостроительстве, в котором находят свое решение насущные проблемы нашей эпохи... он построил в разных уголках... планеты здания, которые считаются образцовыми зданиями нашего времени... Это не единственное, что он сделал, так как он преподнес нам замечательный урок мужества и настойчивости», — возражали другие.

«Самая яркая звезда на небе современной западной архитектуры — человек необыкновенного художественного таланта... в архитектуре выступает... не как умудренный опытом, а как полный идей дилетант. Его попытка создать новые изобразительные средства в архитектуре так уродлива, что его здания типа церкви в Роншане являются какими-то абстрактными скульптурными формами, которые с понятием архитектуры потеряли всякую связь», — пытаются совместить полярные мнения третьи.

Врачом-консультантом всех больных городов земли называли Ле Корбюзье. Свое первое здание он построил в семнадцать лет. Им созданы десятки оригинальных и самобытных проектов. Многие из них осуществлены, другие закончили свою жизнь в макетах. Первая его книга увидела свет в 1911 году, когда автору было всего двадцать четыре года. В своих работах по теории архитектуры и градостроительства он выходил за узкопрофессиональные рамки — поднимал глубокие социальные проблемы, подвергал беспощадной критике условия жизни в капиталистическом городе.

Вышедший в издательстве «Прогресс» сборник Ле Корбюзье (с послесловием К. Т. Топуридзе, под его же редакцией осуществлен перевод) знакомит читателя с основными произведениями архитектора,

созданными в разные периоды его многолетней деятельности.

Самая ранняя из представленных в нем работ, «К архитектуре», увидела свет в 1923 году, некоторые письма и заметки относятся к концу 50-х и началу 60-х годов.

Все эти работы дают возможность понять творческое кредо мастера, его идейные позиции, основные принципы системы композиционного построения, которых он придерживался.

Фотографии интереснейших зданий, построенных по проектам Ле Корбюзье, эскизы, схемы, рисунки, репродукции живописных и скульптурных работ автора, собранные в книге, вводят нас в творческую лабораторию зодчего, дают зримое представление о его художественной манере.

На семьдесят втором году жизни Ле Корбюзье писал: «Мои искания, так же как и мои чувства, сводятся к одному, к главному в жизни — к поэзии.

Человек одухотворен поэзией, и именно это позволяет ему овладевать богатствами природы».

Еще в 1922 году Корбюзье создает проект города с трехмиллионным населением, о котором все газеты писали как о городе будущего.

На его примере зодчий формулирует основные принципы градостроительства.

Он первым провозглашает, что современный город должен стать огромным парком, зеленым городом. Он ведет безуспешную борьбу с несколькими главными архитекторами Парижа за его коренную реконструкцию. Он создает систему новых параметров, новых масштабов в архитектуре. Он предвидит возможность приобщения всего населения города к насущным радостям бытия — небу, деревьям, этим вечным спутникам каждого человека. Его проект нового города обеспечивал солнце — в доме, небесную лазурь — за стеклами окон, море зелени, которое видит перед собой, пробудившись ото сна, каждый житель.

По словам Ле Корбюзье, им была создана модель бесклассового города, обеспечивающего идеальные условия жизни всем слоям населения. Осуществление такого проекта в условиях капитализма, естественно, оказывается невозможным

...Среди городов-«пациентов» с особым вниманием отнесся архитектор к Алжиру. В течение двенадцати лет без перерыва Ле Корбюзье совершенно безвозмездно вместе с группой молодых архитекторов из разных стран, собравшихся в Париже, работает над реконструкцией Алжира.

В связи с готовившейся полной перестройкой одного из его самых значительных кварталов Ле Корбюзье предлагает комплексную идею. Она одним ударом рассекала тупик, в который заходил слишком быстро растущий город.

«Я задумал «лучезарный город», расположенный в центре великолепного ландшафта: небо, море, Атласский хребет, горы Кабилии. Для каждого из 500 тысяч жителей, которые в недалеком будущем составят население этой столицы, достойной нашей эпохи, для каждого из них я предусмотрел небо, море и горы, которые будут видны из окон домов и создадут для их обитателей благодатную и жизне-радостную картину. Для каждого. Таким может быть результат осуществления одного проекта».

Но и этому его замыслу не суждено было осуществиться.

«Игру ведут деньги: цифры против цифр, сделки против сделок. Суть дела? Перестройка Алжира? Этим можно заняться потом, в последнюю минуту — специалисты получают соответствующие указания и приказания... из банка».

Насущные радости для всех? Теперь уже некогда этим заниматься, нет времени. Не путайте игру!»

Этот сарказм окрасит позднее многие страницы публицистики зодчего.

В «Лучезарном городе» Ле Корбюзье сформулировал пять отправных точек для современной архитектуры: опоры-столбы, крыши-сады, свободная планировка, расположение окон вдоль по фасаду, свободный фасад.

Здесь же автор выдвигает идею «лучезарной формы».

Борьба с архитектурным рутинерством, которую без усталости вел неустойчивый Корбю, импонировала не только его ученикам (а через его мастерскую прошло 150 архитекторов), но и всем тем, кому дороги были новые принципы зодчества.

В течение двадцати семи лет Ле Корбюзье занимает ведущее положение в Обществе международных конгрессов современной архитектуры (СИАМ), задуманном

первоначально как клуб единомышленников, которых волновали судьбы градостроительства.

Конгрессы СИАМ, проходившие в различных городах Европы, позволяли вести интересный обмен мнениями по актуальнейшим проблемам архитектуры и градостроительства. Наиболее плодотворным был конгресс в Афинах (1933). Он завершился разработкой так называемой Афинской хартии — кодекса основных требований современного зодчества.

Работе Афинского конгресса предшествовал выполненный под эгидой СИАМ анализ условий жизни в 33 городах мира. Этот анализ обнаружил вопиющее нарушение элементарных требований гигиены. «Во всех этих городах человек замучен. Все, что его окружает, душит, подавляет его. Ничто из того, что необходимо для его физического и морального здоровья, не обеспечено и не благоустроено. Во всех больших городах свирепствует страшный кризис... Город не отвечает больше своей функции — защищать человека, и защищать хорошо».

Вот некоторые требования Афинской хартии.

«Жилые кварталы должны располагаться в лучших местах города, исходя из его топографии, с учетом климата и наиболее благоприятного солнечного освещения, на удобных зеленых площадях».

«Минимальная продолжительность солнечного освещения должна быть предусмотрена для каждой квартиры».

«Размещение зданий вдоль транспортных магистралей должно быть запрещено».

«Каждый жилой квартал должен отныне включать зеленые пространства, необходимые для рационального проведения игр и спортивных занятий детей, молодежи и взрослых».

«Расстояние между местом работы и местожительством должно быть сведено к минимуму».

Воплощая в жизнь свои творческие принципы, Ле Корбюзье проектирует и строит поселок для рабочих из 51 дома в Пессаке под Бордо. Строительство этого городка вызвало решительные протесты со стороны предпринимателей, со стороны общественного мнения. Это был настоящий бойкот, одним из результатов которого явилось то, что на протяжении нескольких лет поселок не получал воду. Поэтому заселить

его удалось только в 1929 году. Вскоре поселок становится своеобразной Меккой новой архитектуры.

Примерно к этому же времени относится участие архитектора в ряде международных конкурсов. В 1927 году он создает проект здания Лиги Наций в Женеве, который уже давно признан шедевром архитектурного творчества.

После 65 заседаний Международного жюри в Женеве проект Ле Корбюзье оказался единственным из 360 работ (12 километров чертежей), собравшим 4 голоса из 9 (остальные собрали по одному). Однако представители академизма преобладали в составе жюри, и, к вящему удовольствию реакционеров, проект был отвергнут. Формальным поводом к этому послужило заявление одного из членов жюри о том, что проект не вычерчен китайской тушью.

Последующие годы отмечены рядом выдающихся работ зодчего. В 1928—1933 годах Ле Корбюзье проектирует и строит Дом Центросоюза (ныне Центральное статистическое управление) на улице Кирова в Москве. Кстати, это первая крупная работа автора из осуществленных им за пределами Франции. Спустя четыре десятилетия после его возведения здание продолжает восхищать ажурностью своих линий, изяществом фасада, великолепием интерьеров. Остается только сожалеть о том, что со временем было застроено пространство между поддерживающими здание опорами, в результате чего исчезла первозаданная легкость, «воздушность» дома.

Особое место в творчестве гениального зодчего занимает жилой комплекс в Марселе, принесший автору и славу и много бед. В «жилой единице» Ле Корбюзье, названной «лучезарным городом», проводится идея индивидуальной свободы в коллективной организации. Вот как определяет ее сам автор:

«Если вы стремитесь жить с вашей семьей в обстановке задушевной дружбы, в тишине и покое, среди природы, объединяйтесь по 2 тыс. человек (мужчин, женщин и детей): входите в дом через одну дверь, пользуйтесь четырьмя лифтами, вмещающими по 20 человек, которые доставят вас в любую из восьми внутренних улиц, расположенных одна над другой. Там вы будете жить в уединении и тишине; солнце, воздух и зелень заполнят ваши окна. Дети ваши будут играть на траве или в саду на крыше дома».

Каждая квартира в этом здании имеет два этажа соответственно традиционному жилому дому. Квартиры вставлены в железобетонный каркас, что обеспечивает полную звукоизоляцию. Все окна обращены на природу: одни в сторону моря, другие — к горам. Дом обеспечен коллективным обслуживанием. Вход решен в виде холла гостиной с большими стеклянными дверями. В холле размещен газетный киоск. Вдоль горизонтальных улиц-коридоров, пересекаемых вертикальными улицами-лифтами, расположено 337 квартир двадцати трех различных типов. Восемнадцатый этаж представляет собой крышу-террасу, на которой находятся беговая дорожка, гимнастический зал, солярий, плескательный бассейн для детей, кафетерий, а также бетонная горка и песок для игр. Один из этажей — торговая улица, на которой размещены магазины. Так как в каждой квартире установлен телефон, при желании можно заказать необходимые товары по телефону, и они будут доставлены на квартиру. Не одеваясь, можно отправить ребенка в детский сад, вход в который расположен на верхней террасе. В Торговой улице предусмотрена и гостиница, где могут остановиться друзья или родственники жильцов, которые не хотят обременять хозяев.

Когда «единица» на бульваре Мишле в Марселе была построена, против автора заводится судебное дело с прельжением иска в 20 миллионов франков за нанесение ущерба природе Франции. Спустя несколько лет один из банков организует концессию по эксплуатации здания как туристского объекта и зарабатывает на этом 30 миллионов, не отчислив ни единого франка проектировщикам из мастерской Ле Корбюзье. В 50—60-е годы такие дома были построены рабочим кооперативом города Нант-Резе, на Олимпийском холме в Западном Берлине, в Лотарингии — всего 10 единиц.

К началу 50-х годов относится осуществление еще одного выдающегося градостроительного проекта Ле Корбюзье (речь идет о новой столице индийского штата Пенджаб — Чандигархе), разработка которого была закончена за четыре месяца. Высокую оценку этой работе дал Джавахарлал Неру, многие годы помогавший зодчему в его работе.

Поражает работоспособность Ле Корбюзье. Европейец, привыкший к умеренному климату, он в условиях изнуряющего зноя длительное время руководит строительством

Чандигарха и в это же время успевает возвести несколько зданий в Ахмедабаде — центре текстильной промышленности Индии: Дом текстильной ассоциации, Музей и др.

Характерная черта нашего времени — все углубляющаяся узкопрофессиональная специализация. Этот процесс не обошел и архитектуру, в которой появляются специалисты по жилью, спортивным, зрелищным, медицинским учреждениям, садово-парковой архитектуре.

Муза Ле Корбюзье была универсальной. И в какой бы области он ни работал, он прежде всего думал о благе человека. Воплощением такого гуманного подхода к задачам архитектуры могут служить его культовые сооружения — капелла в Роншане и монастырь Ла-Туретт.

Капелла в Роншане (1955) представляет собой истинное чудо «зрительной акустики». Удивительно единство в оценке этого сооружения как выдающегося архитектурного произведения нашего времени, ставшего местом паломничества.

Таково же и здание доминиканского монастыря Ла-Туретт, имеющего в плане форму креста и связанного с церковью, представляющей собой строгий монолитный железобетонный объем.

Когда одного монаха спросили, почему строительство поручили именно Ле Корбюзье, доминиканец ответил: «Для красоты нового монастыря». И они не обманулись в своих надеждах. Ле Корбюзье создал архитектурный шедевр, о котором заговорили во всем мире.

50-е и начало 60-х годов были своеобразной болдинской осенью автора. Уже упомянутый Чандигарх, участие в строительстве здания ООН в Нью-Йорке, павильон фирмы «Филипс» на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе — «Электронная поэма», музей в Токио и многие другие сооружения.

...Величие и трагедия Ле Корбюзье состоят в том, что, разработав совершенно новые принципы в архитектуре и градостроительстве, он не мог реализовать их в полную меру в условиях капиталистического общества.

Он создает архитектурные шедевры, которые по разным причинам осуществляются лишь в чертежах и макетах, как это было с уже упомянутым дворцом Лиги Наций в Женеве или проектом недорогих жилых домов «Лушёр» в Брюсселе (1929).

Его обвиняют в человеконенавистничест-

ве, а он в письме к советским архитекторам заявляет: «Краеугольным камнем современного градостроительства я считаю священное уважение к свободе личности».

Он познал радость побед и горечь поражений. Его почитают, но реализацию им же разработанных проектов поручают другим. Ему приписывают трудный характер, неуживчивость, а он удивительно добр и деликатен, хотя и производит впечатление человека сурового и жестокого.

Он не признает ритуалов и светских церемоний и в то же время пишет нежное веселое письмо с рисунками кухарке одного из друзей с извинениями по поводу того, что не успел поздороваться и затем проститься с ней при отъезде.

Он груб в разговоре с министрами и рядом с этим, проезжая какой-то город, разыскивает двух отличных каменщиков, с которыми познакомился за несколько лет до этого на строительстве капеллы в Роншане, только для того, чтобы повидать и поприветствовать их.

Он считает частную собственность на землю социальной несправедливостью и вместе с тем полагает, что вопрос обобществления земли могут решить юристы.

Он аполитичен, а Гитлер запрещает издание его книг в Германии на том основании, что они якобы пропагандируют большевизм.

Академия изящных искусств должна была истребовать специального министерского декрета для того, чтобы в виде исключения разрешить ему, недипломированному архитектору, строить, а министр культуры дает указание об отнесении виллы Савой к числу «исторических памятников», хотя по законам Франции к ним могут быть отнесены лишь произведения умерших.

Известный французский искусствовед Мишель Рагон пишет: «О Ле Корбюзье можно смело сказать то, что не решаешься сказать в отношении других творцов нашей эпохи: это гений. Это гений, которого можно сравнить с выдающимися личностями итальянского Возрождения, это — многогранный человек, который является одновременно архитектором, писателем, живописцем и скульптором, поэтом-лириком и теоретиком функционализма, полемистом и апостолом».

Осенью 1965 года, в возрасте семидесяти восьми лет, Ле Корбюзье умер. Случилось это на Лазурном берегу Средиземного моря. Заплыл очень далеко, и сдало сердце.

В 1967 году в Швейцарии — на родине

великого зодчего — в Цюрихском музее, построенном по его проекту, был торжественно открыт Центр Ле Корбюзье.

«Всю необычайную мощь нашей эпохи,— призывал Ле Корбюзье,— надо мобилизовать на дело мира — на строительство жилищ...

Война — порождение нищеты и тщеславия — для нас бессмысленна...

Наш первейший долг состоит в том, чтобы призвать на помощь инициативу, дерзость, мужество человека, пробудить его душу и разум, вступить в борьбу, в соревнование, одержать победу...

Пушки, снаряды? Увольте! Жилища? Пожалуйста!»

Кемерово.

**И. ДРЕЙЦЕР.**

★

## ДОБРЫЕ КНИГИ

*(Заметки о педагогической публицистике)*

Этот талант особого рода. Люди, наделенные им, обладают удивительным свойством жить одновременно как бы в двух мирах — взрослом и детском. На первый взгляд что ж тут удивительного, если все мы вышли из страны детства и воспоминания о нем пронесим через всю жизнь. Но одно дело предаваться воспоминаниям о прекрасной и невозвратимой поре и совсем другое — уметь видеть мир ребенка не сверху, а изнутри, не снисходить к его разуму и чувствам, а жить его радостями и болями. Не это ли свойство, а точнее талант, и есть тот ключ, то волшебное «сезам, откройся», что дает доступ в страну детства и без чего немислим Учитель в том высоком и безмерно емком значении, что содержит в себе само слово?

Разумеется, не так щедро наделяет природа педагогическим даром, как, впрочем, и талантами в других областях. Учителей «милостью божией» легко перечесать по пальцам за три-четыре столетия, но несть числа тем тысячам из армии воспитателей, усилиями которых накапливались в науке воспитания человека огромные духовные ценности. Свою долю, и немалую, внесла и вносит в эту сокровищницу наша публицистика. Речь именно о публицистике — писательской, журналистской, публицистике страстной, наступательной, объединенной одним стремлением: оградить детей от все еще многоликого врага — формализма, от «педагогики мероприятий».

Беда не только в том, что заражена ею какая-то часть учителей-профессионалов. Самую большую опасность для ребят представляют, как мне думается, те из взрослых, кто, уйдя из детства, не только начисто забывает этот мир с его видением окружающего. неписаными уставами, нравственными

ценностями, специфическими понятиями, а выносит из него лишь тот убогий набор квазипедагогических приемов родительского воздействия, от которых сами же в детстве немало намучились. Теперь же, став взрослыми и обзаведясь детьми, бывшие дети, не утруждая себя раздумьями, берут на вооружение именно этот опостылевший всем детям мира «дисциплинарный родительский устав» (а то и учительский) — своеобразное лекало, под которое так легко и так трудно подгонять всегда неповторимую, удивительную и неизменно сложную личность ребенка.

Предвижу возражения: так ли уж серьезна опасность цепной реакции подобной педагогической косности, невежества и непонимания, что есть ребенок. Оглянитесь вокруг. Примеров более чем достаточно. Убедительным ответом на эти сомнения могут служить книги. Книги о невыдуманных детях и их судьбах, о жизненных конфликтах, порожденных невежеством и порой целомудренно прикрытых цитатами из Макаренко. Вместе взятые, они составляют солидную библиотечку педагогической публицистики.

Останавливаюсь перед неизвестным: ребенок, — эти корчаковские слова как бы вводят читателя в мир, который открывают перед нами авторы, взявшие на вооружение педагогическую публицистику, чтоб пробудить в каждом из нас интерес и глубокое уважение к миру детей. Книги такого рода стоят несколько наособицу от литературы специальной — научно-педагогической. Это — очерки и статьи, часто вызванные к жизни каким-то житейским эпизодом, случаем. Большая часть из них связана с редакционными командировками, а поводом нередко служило письмо, содержащее сигнал бед-



ствия: где-то сильно обидели маленького человека. За случаем, эпизодом почти всегда встает конфликт, жизненно важный и для судьбы одного ребенка, и для многих его сверстников.

— Это вы по такому-то пустяку за тысячу километров ехали? — Стереотипный вопрос, которым, как правило, встречают корреспондента в далеком городе или селе, куда приводит его детское горе.

За многие годы своей работы в «Литературной газете» мне нередко приходилось знакомить писательницу Ф. Вигдорову с такого рода письмами из редакционной почты. Реакция была неизменной: гнев, боль, стремительный порыв — ехать немедленно.

Спустя какое-то время появлялась статья или очерк сначала в газете (боже, как умела Вигдорова расправляться с ханжами и радателями бездетной педагогики, чьими усилиями сотворено некое абстрактно-образцовое, показательное дитя — смиренное и бездумное, вечный укор всему живому и думающему)... Затем появлялась книга, органично вбиравшая в себя рассеянную по газетным страницам педагогическую публицистику писательницы. Так родилась книжечка (не единственная), озаглавленная строкой из писем «Доргая редакция...». Вышла она несколько лет назад. С грустью и тревогой думаю: не постигла ли и ее судьба тех 80 процентов литературной продукции, что, по исследованию социологов и литературоведов, ежегодно уходит в небытие, и она перестала «работать»?

Убеждена, что в данном случае (и не только в данном, ибо речь идет о лучших книгах педагогической публицистики) забвение порождено не закономерностью, а некой недооценкой этого жанра.

Передо мной небольшая стопочка книг, выпущенных разными издательствами в разное время. Одни авторы хорошо знакомы читателю — это писатели Ф. Вигдорова, Н. Атаров, Л. Кабо, Г. Медынский, А. Шаров; другие лишь завоевывают внимание и признательность читателя — это литераторы-журналисты И. Зюзюкин, С. Соловейчик и другие. Одни книги появились на прилавках лет десять — двадцать назад. Некоторые — только-только. Маленькая и удивительно емкая библиотека! Среди последних — книга И. Зюзюкина «Мост через речку детства». Именно чтение ее, а затем и обсуждение на секции публицистов московскими журналистами (книга заслуженно

удостоена премии) вызвало желание не только обратить внимание читателей на эту добрую и умную книгу, но вспомнить и другие, связанные с ней и в какой-то степени породившие ее.

В самом деле, при всем различии почерков, степени талантливости авторов, многие произведения этого жанра являют собой нечто единое, целостное. Разговор, который ведут их авторы, происходит как бы за круглым столом: мысль одного встречает полное понимание и находит более глубокое развитие в размышлениях всех участников круглого стола.

Книги — воители, в которых выхваченная из жизни сцена, краткий диалог снайперски точно бьют по самому страшному в отношениях между взрослыми и детьми: равнодушию, непониманию.

Ну вот хотя бы эта сцена.

«За столом сидит учительница, перед ней стоит мальчик лет одиннадцати. Между ними происходит такой разговор:

«— Зачем ты воруешь, Николай?»

— Я — Боря.

— Это неважно. Тебя Родина воспитывает, чтоб ты был человеком, чтоб ты строил новое общество, а ты воруешь, на лестнице бьешь лампочки и матом ругаешься при девочках. Обдумай свои поступки и к концу учебного года, Николай...

— Я — Боря.

— Это не имеет значения. Пусть Боря. Так вот, к концу четверти ты исправишь свои отметки?

— Да.

— Станешь искренним?

— Да.

— Мужественным?..

— Да...

— Так вот, Николай...

— Я — Боря.

— Так вот, Боря, ты воруешь и пишешь на стенах плохие слова. Между тем в библиотеках у нас свободный доступ к полкам. У нас принят моральный кодекс, подумай об этом, Коля!

— Я — Боря.

— Пусть Боря. В трамваях и троллейбусах у нас нет кондукторов, а ты, Николай, что делаешь?»

Все высокие слова на месте. Эти слова молодая учительница усвоила. Словам ее научили. Действию, мысли — нет».

Прояви такую вопиющую профессиональную невежественность инженер или врач —

на пушечный выстрел не подпустили бы к работе, требующей именно профессионализма (разумеется, и тут не без исключений). А здесь? В области, где брак часто непоправим! Испытывая вместе с автором и боль и гнев, читатель не может не повторить, как и он: можно кончить три педагогических института, одолеть аспирантуру, защитить диссертацию «Семья и школа» или, к примеру, «Ученический коллектив» и все-таки, оказавшись с глазу на глаз с детьми, в один прекрасный день обнаружить, что ты не знаешь ничего и что всю науку о детях надо одолевать заново.

С особой настойчивостью и последовательностью встает наша общественность против самого позорного наследия в родительской «науке» — ременной педагогики. И все же было бы маниловским прекраснодушием утверждать, что с ней покончено. Живуча проклятая! Не потому ли, что учить малыша с позиций силы, с помощью ремня считается чем-то неизбежным и мы до сих пор не вызвали к этому злу всеобщее презрение и отвращение? Между тем очень важно именно создать атмосферу нетерпимости к любому проявлению неуважительного отношения к детям, грубого, бестактного вторжения в их духовный мир.

С какой яркой художественной силой и публицистическим темпераментом умеет бороться против этого зла Николай Атаров. Мне кажется, каждый, кто читал его книгу «Не хочу быть маленьким», испытал, не мог не испытать пронзительного чувства боли за ребят, тяжко раненных этической глухотой взрослых, не мог не испытать и чувства собственной вины за невмешательство. Ведь как часто проходим мы мимо того, что, перенесенное на страницы книги, наводит на горестные раздумья.

«Деревушка над оврагом. Перед окном дома, в котором я живу, по тропинке с утра прохаживается соседский мальчишка лет пяти. На нем обновка — купленное навыворот пальтишко, руки до кончиков пальцев утонули в длинных рукавах.

— Ах, Уткин, какой ты нарядный! — говорят ему разные тети, знакомые и незнакомые.

Я вижу в окно, как он, проводив взглядом очередную комплиментщицу, вдруг, осознав великое событие в своей жизни, начинает топтать по тропинке в сугробах как-то особенно, с каблучка на носочек.

А вечером его дерут. Порют Уткина. Не знаю за что. Может быть, по совокупности за целую неделю; отец вернулся с работы пораньше. Слышу горький вопль, в нем и боль и душевная обида. Спешу на выручку....

Ох, даже нового пальто не сняли с человека!»

Никаких гневных слов. Обычная бытовая сцена. Впервые я прочитала этот очерк пять лет назад, а маленький Уткин живет со мной все эти годы и каждый раз очень требовательно заявляет о себе при любых попытках поправки достоинства маленького человека.

Есть нечто общее, роднящее творческие индивидуальности Атарова и Вигдоровой: талант видения — в малом, неприметном, будничном разглядеть сложный, богатый внутренний мир ребенка. И еще одно. Говорить правду и только правду, оспаривать каноническое и устаревшее в науке воспитания нужно мужество, и немалое. Таланту Атарова и Вигдоровой в полной мере присуща гражданственная отвага. О чем бы они ни писали, это всегда активная, страстная проповедь добра.

Жаром полемики дышат идущие от жизни размышления писателя: «...Мне хочется спорить с теми, кто привык думать, что детство — это только преддверие жизни. Подготовка. Приготовление. Нет, детство — сама жизнь». И без смягчения и оговорок: «Педагогическая теория пытается установить подобия, но часто бывает, что чем больше ей удается привести в порядок свои таблицы, каталогизировать, унифицировать, установить ГОСТы, абстрагироваться от детей в своих диссертациях и на своих кафедрах, тем меньше она оказывается практически нужной. Педагогика может быть только конкретной. Или никакой».

Собственно, в основе каждой из книг, помянутой мной (многие, к сожалению, я не могла назвать — их не так уж мало), это и есть главная основополагающая мысль. Помнится несколько неожиданный, но очень верный, горячий призыв, каким закончила одну из своих статей писательница Любовь Кабо. Отправившись в командировку за «интересным педагогическим опытом», найдя его и увлеченно поведав о нем, она настойчиво просит не устраивать никаких экскурсий в данную школу и не пытаться извлечь нечто готовенькое для отливки очередного педагогического штампа, дабы не вытоптать все живое на тропе восхвалений.

Творчество не терпит шаблона. Ничего нельзя скопировать слепо, механически.

Учиться у любого хорошего педагога, прославленного учительского коллектива можно и должно прежде всего доброй педагогике отношений, уважению и любви к личности ребенка. А для этого вовсе не обязательно устраивать экскурсии за тысячу верст.

Можно ли оспаривать, казалось бы, бесспорное? Увы, не бесспорное. Примечательно, что при обсуждении книги И. Зююкина столкнулись две вечно противоположные точки зрения. Но сначала о самой книге.

Автору присуще редкое свойство видения детского мира изнутри. Книга его как бы репортаж из страны детства, увлекательный, интересный. Случаи. Очень разные. Почти всегда — трудные ребята. Трудные по-разному. Конфликты с взрослыми и возникающие отсюда драмы. Причина неизменно одна — попытка воздействовать при помощи испытанных штампов (в науке воспитания «трудных» образовались свои ГОСТы). Может быть, поэтому то, что не удается иному опытному педагогу, закованному в броню шаблонных приемов, в книге И. Зююкина удается «ребячьим комиссарам» и тем взрослым (часто и не педагогам), что владеют секретом «памяти детства» и в силу этого становятся властителями дум ребячьих, их духовными наставниками.

О таких ребятах и таких взрослых — книга И. Зююкина. Она продолжает лучшие традиции нашей публицистики с ее пафосом творческого отношения к науке воспитания, страстной проповедью любви к ребенку. В книге нет рецептов, назиданий. Самое ценное в ней — дух беспокойства. Тот дух, что и самого стойкого ремесленника может лишить уверенности в безгрешности твердо усвоенных формальных приемов. Но лишить уверенности не значит принудить к капитуляции. Не так-то просто отказаться от привычного. Первая реакция — раздражение, протест. И вовсе не потому, что противник обязательно эдакий держиморда от педагогики, обуянный злым неприятием добра. Все обстоит сложнее.

— Поймите, — слышишь порой взволнованное и искреннее признание, — все это хорошо: личность, индивидуальность, психология. Но ведь в стране миллионы детей за партами. Целая индустрия образования. Она требует проверенных методик, да, да,

готовых рецептов, обобщений. В классе сорок ребят. Где уж тут всматриваться в глаза, угадывать движения души, отыскивать волшебные слова. Дай-то боже в программу уложиться. Не до жиру...

А иногда и вовсе зло, непримиримо:

— Педагогика не полигон для эмпирических фокусов, а наука. Красивое словоблудие и фокусничество не заменят стройной системы.

Что ж, чем громче раздаются такие голоса, чем сердитее звучат они, чем настойчивее доводы за методику на вся и все случаи педагогической жизни, тем четче и глубже обозначается опасность поточного, конвейерного метода обучения и воспитания. Будто если больше, то неизбежно хуже.

Нельзя научить мыслить, если вместо глаз ребенка видишь безликую массу. Нельзя, ибо произойдет непоправимое: мысль не пробудится, не придет самое прекрасное и высокое в жизни человека — Час Ученичества.

Слова эти, вынесенные в название книги С. Соловейчика, удивительно точно передают суть таинства, иначе называемого духовным озарением. Говоря о педагогической публицистике, нельзя умолчать об этой книге, соединившей в себе серьезное исследование и поэтическую осанку труду учителя. Свои размышления о часе ученичества — часе пробуждения мысли, жажде поиска, знания автор подкрепляет прекрасными строками Цветаевой:

Есть некий час — как сброшенная кляжа:  
Когда в себе гордыню укротим.  
Час ученичества — он в жизни каждой  
Торжественно неотвратим.

Может быть, самым прекрасным в деянии великих педагогов и было вот это умение сделать уже в детские лета неотвратимым для каждого час ученичества.

...Библиотечка педагогической публицистики! Но есть ли такая? И да и нет. В море книг, издающихся в нашей стране, не так уж мало посвященных воспитанию детей. Вместе с писательской педагогической публицистикой — сила немалая в борьбе за утверждение высоких гуманистических идей, за высокие нравственные ценности, накопленные нами в науке формирования нового человека. Но развеянные по разным издательствам, порой выпущенные ничтожно малыми тиражами, книги эти не всегда попадают в нужные руки. Между тем любая из них крайне необходима каждому педагогу

(вовсе не только начинающему), любому родителю, да, наконец, каждому, кто так или иначе соприкасается с детьми. Это книги поистине для всех. Но не так легко найти их в книжном потоке и из этого потока извлечь наинужнейшее. Вот почему, мне кажется, пришла пора подумать о некоей серии — небольшой и емкой по содержанию библиотечке, которая вобрала бы в себя все наиболее ценное из писательской педагоги-

ческой публицистики. Трудно мириться с мыслью, что некоторые из произведений этого жанра, завоевавшие признание читателей, попадают в злосчастную книжную реку забвения. Надо позаботиться о долголетию таких книг, ибо они — великолепное противоядие против соблазна находить в безмерно трудном пути воспитателя тропинки протоптанной и легкой.

**В. ЕЛИСееВА.**



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ. Дом на солнцепеке. Повесть и рассказы. М. «Советский писатель». 1970. 607 стр.**

В своей первой книге — повести «Семь дней», где было рассказано о спасении шедевров Дрезденской галереи, — Леонид Волынский мимоходом упомянул о встрече с одним немецким художником, пишущим развалины музея. «Каждый делает что может», — сказал тот, когда Волынский, тоже занимавшийся живописью, заинтересовался его этюдом. Дрездонец смирился с гибелью галереи: кто станет думать о картинах в такое время! А его советский собеседник с товарищами уже тогда ломали голову, где искать картины, — и нашли, в конце концов! **Каждый** делает что может...

В рассказе, открывающем книгу «Дом на солнцепеке», автор говорит: «Возвращаюсь к тому, что видел и пережил сам; ведь большая история с ее окончательными выводами есть не что иное, как осмысленный итог отдельных, пусть небольших, историй». Многие из рассказов этого посмертного сборника явно автобиографичны, и в «отдельных историях» и в судьбе автора подчас с поразительной рельефностью выступает «большая история» с ее трагедиями, буднями и высочайшими триумфами. Как несхожи эти «отдельные истории», эти жизненные ситуации — история о том, как один из «наших стриженных ребят» попадает в фашистский лагерь, где «стреляли в одних, чтобы убить душу в других», и рассказ о счастливце, который, не веря глазам, протирает пилоткой знаменитый рембрандтовский «Автопортрет с Саскией», замурованный в подzemелье возле Дрездена! Но ведь это все тот же человек, и во взлете его от лагерных мытарств к участию в одном из памятейших подвигов прошлой войны повинен не столько «его величество случай», сколько логика характера и логика самой нашей, освободительной войны против фашизма. Я сказал «логика харак-

тера», а вернее было бы — «логика характеров», — их много, людей, встретившихся на пути героя и изображенных в рассказах «Сквозь ночь», «Двадцать два года», «Первый комбат». Это те, кто действительно влиял на его судьбу, мысли, поведение.

По складу своего дарования Волынский тяготел к документальности, к обстоятельному раздумью над пережитым, увиденным. Бывает, поэтому рассказы с прочной автобиографической основой выглядят наиболее сильными в книге и писательские размышления здесь достигают особого накала.

Не удивительно, что «уютнее» всего Волынский чувствовал себя в очерках, где его любознательность, вдумчивость, широкий кругозор получали, выражаясь военными терминами, оперативный простор. Не все из его лучших очерков вошли в книгу, но одних только «Красок Закавказья» достаточно, чтобы понять масштаб интересов и устремлений их автора. Он не просто восхищенный и благодарный наблюдатель, понимающий толк в увиденном (хотя это само по себе не столь уж ordinarily!), не просто вежливый гость, пользующийся удобным случаем, чтобы отблагодарить за хлеб-соль. Он искренне заинтересован в судьбе своих иноязычных друзей, их культуры, готов подать деликатный совет, а при случае и непреклонно остаться при собственном мнении. С особенным жаром писал он о проблемах восприятия искусства, о путях развития современного градостроительства, о связи человека и природы, и пафос его был в том, чтобы помочь людям жить насыщеннее, богаче, разнообразнее.

Любовь, уважение, даже, если хотите, пристрастие к документу, факту сказываются и в повести, давшей название сборнику, «Дом на солнцепеке». Это повесть о том, кто «всю жизнь отстаивал право жи-

вописи обращаться к людям от своего имени и говорить с ними на своем языке», — о Ван-Гоге. Рассказывая о своей случайной встрече с автором нашумевшей книги об одном из знаменитых художников, Вольтинский замечает: «Я не сторонник беллетризации для разжигания читательского интереса». И его практика, его «Дом на солнцепеке» не расходится с этой декларацией.

В одном очерке Вольтинский описал свое знакомство с венгерскими литераторами и то, как, прощаясь, писатель Ференц Киш вдруг сказал ему: «Здравствуй, товарищ!» «Что подделаешь с неправильностями, которые порой оказываются вернее заученных правильностей? — замечает по этому поводу автор. — Я ответил ему тем же — вместо «до свидания» или «прощай».

Я был мало знаком с Леонидом Вольтинским. «Дом на солнцепеке» заставил меня пожалеть об этом. Но, закрывая книгу, тоже хочется сказать: «Здравствуй, товарищ!»

А. Турков.

★

**И. А. ГЛАДЫШ, Т. Г. ДИНЕСМАН.** «Горе от ума». Страницы истории. М. «Книга». 1971. 64 стр.

«Горе от ума» Грибоедова имеет две истории. Первая — история постановки этой пьесы в театре. Вторая — история ее публикации. Поэтому судьба бессмертной комедии представляет, так сказать, двойной интерес. Рецензируемая книга, к сожалению, полно повествует лишь о публикации, оставляя несколько в стороне сценическую часть произведения.

Еще при жизни Грибоедова было сделано несколько попыток напечатать и поставить в театре «Горе от ума». Некоторые друзья Грибоедова, например Катенин, заранее предполагали, что цензура не пропустит пьесу. Сам Грибоедов не раз упоминает о тирании цензуры в своих письмах. Так, пишет он Гречу: «Коли цензура ваша не пропустит ничего порядочного из моей комедии, нельзя ли вовсе не печатать? — Или пусть укажет на сомнительные места, я бы как-нибудь подделался к общепринятой глупости, урезал бы...»

И действительно, Грибоедову пришлось «подделаться к общепринятой глупости», чтобы напечатать хотя бы несколько сцен из I и III актов. Только в 1912 году пьеса

была опубликована без цензурных вымарок и искажений. Однако просвещенные люди XIX столетия до этого издания уже знали комедию полностью, со всеми выпущенными из нее сценами, с вырезанными репликами и словами: задолго до публикации пьеса разошлась в тысячах рукописных списков. Из книги И. Гладыш и Т. Динесман мы узнаем любопытнейшие истории о друге Грибоедова Жандре, об известном в те времена поднадзорном поэте Ротчеве, о пермском землемере Кудрявцеве, о погибшем в изгнании декабристе Черкасове и многих других, часто безымянных распространителях комедии.

И вот в 1833 году выходит в Москве книга, на обложке которой написано: «Горе от ума». Ее быстро раскупили, но читатель не узнал любимую комедию. «Именно тех строк, которые чаще всего с восторгом переписывались, которые повторялись наизусть и превратились в поговорки, в книге не оказалось», — пишут авторы «Страниц истории». Московский цензурный комитет не взял на себя смелость разрешить печатание комедии и представил этот вопрос на рассмотрение Главного управления цензуры. Оттуда это дело передали министру просвещения Уварову, который, в свою очередь, направил доклад «О комедии под названием «Горе от ума» самому императору, наложив на всякий случай на нее свой запрет. Николай, однако, разрешил печатать пьесу, хотя и с искажениями и изъянами.

Авторы книги так объясняют мотивы этого странного для русского самодержца разрешения: «Николай I рассчитывал на двойной эффект: издание книги должно было ослабить интерес к рукописным копиям, сохранившим полный текст, и заменить их в руках читающей публики текстом, должным образом препарированным. Вместе с тем это разрешение должно было повлиять на общественное мнение, продемонстрировать либерализм правительства».

Весьма интересен тот факт, что и Ланской — министр внутренних дел, который еще при жизни Грибоедова запретил печатать пьесу, и Уваров — министр народного просвещения, наложивший свое вето на «Горе от ума» уже после смерти автора, втайне восхищались крамольным произведением. Это доказывают списки, найденные в их библиотеках, с любовью оформленные, с большим количеством иллюстраций. Что

может ярче характеризовать двуличие этих людей!

Ценность работы И. Гладыш и Т. Динесман прежде всего в том, что широкому читателю впервые сообщены сведения и факты, которые прежде находили свое место лишь в научных, литературоведческих сочинениях. Жаль только, что авторы не рас-

сказали о безусловно заслуживающем внимания новонайденном списке «Горя от ума», о котором писалось в 1967 году в «Вопросах литературы» (№ 5). В целом же «Страницы истории» весьма увлекательны, и можно быть уверенным, что читатель прочтет их с интересом.

**В. Вигилянский.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**Л. И. Брежнев.** Речь на Всесоюзном слете студентов. октября 1971 г. 23 стр. Цена 3 к.

**В. Гришин** Под знаменем партии Ленина — к победе коммунизма. Доклад на торжественном заседании, посвященном 54-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, в Кремлевском Дворце съездов 6 ноября 1971 г. 31 стр. Цена 3 к.

**XXIV съезд КПСС и развитие марксистско-ленинской теории.** 184 стр. Цена 59 к.

**Дипломатический словарь.** В 3-х тт. Т. 2. К — П. 591 ст. Цена 2 р. 60 к.

**Международный ежегодник.** Политика и экономика. 3: стр. Цена 98 к.

**Основы экономических знаний.** 304 стр. Цена 54 к.

### «СОЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ»

**З. Болквадзе.** Зима и очаг. Стихи и поэма. Перевод: грузинского А. Глезера. 96 стр. Цена 3 к.

**И. Борисов.** Хо тишины. Книга лирики. Перевод с еврейского. 310 стр. Цена 66 к.

**Я. Брыль.** Мир далекий и близкий. Рассказы, очерки, миниатюры. Перевод с белорусского. 27:стр. Цена 53 к.

**А. Венцлова.** Бура в полдень. Документальная повесть. Перевод с литовского В. Чепайтиса. 30 стр. Цена 95 к.

**Я. Дегутите.** «олубые дельты. Стихи. Перевод с литовского Н. Матвеевой и И. Киуру. 152 стр. Цен 46 к.

**А. Драбина.** Далеко до апреля. Повести и рассказы 27 стр. Цена 50 к.

**Достоевский: русские писатели.** Традиции, новаторство, мастерство. Сборник статей. Составитель: В. Кирпотин. 447 стр. Цена 1 р. 19 к.

**Ж. Мавлянов.** Ожидание. Повести и рассказы. Перевод: киргизского. 254 стр. Цена 35 к.

**И. Муратов.** Сennie признания. Стихи. Перевод с украинского. 135 стр. Цена 37 к.

**В. Новиков.** Удожественная правда и диалектика творчества. 400 стр. Цена 1 р. 11 к.

**Н. Панченко.** Зеленая книга. Стихи. 103 стр. Цена 32 к.

**С. С. Смирнов.** Месяц в Перу. 293 стр. Цена 46 к.

**М. Турсун-Заде.** От Ганга до Кремля. Поэма. Перевод с таджикского С. Липкина. 63 стр. Цена 27 к.

**Б. Ямпольский.** Волшебный фонарь. Повесть. Рассказы Миниатюры. 303 стр. Цена 56 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Ф. Гладков.** Лихая година. — Мятжежая юность. Повести. 464 стр. Цена 1 р. 9 к.

**М. Горький.** По Руси. Послесловие В. Чувакова. 407 стр. Цена 86 к.

**Джами.** Лирика. Перевод с фарси. 150 стр. Цена 1 р.

**О. Кироба.** Голоса сельвы. Сказки. Рассказы Перевод с испанского Предисловие С. Мамонтова 207 стр. Цена 55 к.

**Г. Манн.** Учитель Гнус. — Верноподданный. — Новеллы. Перевод с немецкого. («Библиотека всемирной литературы»). 703 стр. Цена 2 р. 4 к.

**И. Сельвинский.** Собрание сочинений. В 6-ти тт. Вступительная статья О. Резника. Т. I. Стихотворения. 702 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Я. Седерберг.** Доктор Глас. — Серьезная игра. Романы. Перевод со шведского. 303 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Ю. Тувим.** Цветы Польши. Фрагменты поэмы. Перевод с польского и предисловие Н. Чуковского. 93 стр. Цена 55 к.

**А. Эрнандес.** Зерна риса. Стихи. Перевод с тагальского А. Ревича. 223 стр. Цена 58 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Н. Ершов.** Поторопи весну. Повесть. 189 стр. Цена 30 к.

**В. Лебедев.** Крылья буревестника. Повесть о Горьком. 367 стр. Цена 81 к.

### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Голявкин.** Полосы на окнах. Повесть. 94 стр. Цена 33 к.

**Дружба зверей.** Русские народные сказки. Пересказал И. Соколов-Микитов. 16 стр. Цена 20 к.

**Н. Емельянова.** Родники. Повесть. 192 стр. Цена 42 к.

**И. Ефимов.** Плюс, Минус и Тимошка. Повесть-сказка. 63 стр. Цена 13 к.

**П. Заводчиков и Ф. Самойлов.** Взрыва не будет. Документальная повесть. 127 стр. Цена 38 к.

**Л. Кассиль.** Далеко и близко, высоко и низко. Рассказы и повесть. 271 стр. Цена 53 к.

**Э. Оффен.** Фронт. Повести и рассказы 447 стр. Цена 86 к.

**А. Петнявичус.** Аршин, сын Вершка. Повести — сказки. 224 стр. Цена 45 к.

**С. Полоцкая.** Соль, заметная на экране. Повесть. 223 стр. Цена 48 к.

**Я. Раннап.** Последний Орлан — Белое перо. Повесть. Перевод с эстонского. 128 стр. Цена 38 к.

**И. Росохватский.** Каким ты вернешься? Научно-фантастические повести и рассказы. 253 стр. Цена 57 к.

**Я. Тайц.** Неугасимый свет. Рассказы. 223 стр. Цена 48 к.

**И. Халифман.** Трубачи играют сбор. 160 стр. Цена 61 к.

**А. Шаров.** Мальш Стрела. — Победитель Океанов. Маленькие сказки. 32 стр. Цена 18 к.

**Б. Шергин.** Поморские были и сказания. 207 стр. Цена 71 к.

### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Р. Гамзатов.** Две шали. Книга любви. Стихи и поэма. 366 стр. Цена 1 р. 42 к.

**М. Ганина.** Слово о зерне горчицном. Роман. 156 стр. Цена 42 к.

**Г. Радов.** Кого люблю... Очерки. 351 стр. Цена 70 к.

**В. Сорокин.** Проплывают облака. Стихи и поэмы. 79 стр. Цена 30 к.



## «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**П. Александровский** и **А. Егоров**. Партизан Фриц. Повесть. 229 стр. Цена 35 к.

**Д. Коновалов**. Солотчинские были. 112 стр. Цена 18 к.

**Е. Лазутнин**. Наше богатство: как его уметь. 191 стр. Цена 28 к.

**И. Петров**. Сенечка. Повесть. 288 стр. Цена 55 к.

**В. Титов**. Слово о дорогах. Повесть, рассказ и очерки. 247 стр. Цена 38 к.

**Н. Почко**. Генерал Н. Н. Раевский. Историческая повесть. 56 стр. Цена 7 к.

**И. Цыганов**. Впереди пехоты. Серия «Богатыри». 96 стр. Цена 11 к.

## «ИСКУССТВО»

**Актеры советского кино**. Выпуск 7. Составитель и редактор А. Сандлер. 258 стр. Цена 1 р. 44 к.

**Э. Дега**. Письма. Воспоминания современников. Составитель В. Прокофьева. 304 стр. Цена 2 р. 59 к.

**Э. Морган**. Великий человек. Роман. Перевод с английского А. Куаркина и Г. Мырцимова. 271 стр. Цена 80 к.

**И. Поп** и **Д. Поп**. В горах и долинах Закарпатья. («Дороги к прекрасному») 135 стр. Цена 37 к.

**Б. Поюровский**. Рассказы о том, как становятся кукольниками. 5/6 стр. Цена 24 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Т. Валихновский**. Израиль и Ф. Перевод с польского. 168 стр. Цена 32 к.

**В. Войнулеску**. Монастырские техники. Рассказы. Перевод с румынского. 3 стр. Цена 84 к.

**С. Дыгат**. Мастера современной прозы Польши. Прощание.— Диснейле. Рассказы. Перевод с польского. 445 стр. Цена 1 р. 73 к.

**Х. Мина**. Парус и буря. Роман. Перевод с арабского. 288 стр. Цена 1 р.

**В. Колличер**. Человек в науке. Картины мира. Перевод с немецкого. 4 стр. Цена 2 р. 52 к.

**Шани**. Гнилая вода. Роман. Перевод с хинди. 239 стр. Цена 84 к.

## «МИР»

**Р. Аноф** и **М. Сасиени**. Основы исследования операций. Перевод с английского. 534 стр. Цена 2 р. 66 к.

**Б. Илечко**. Научные исследования во Франции. Перевод с польского. 287 стр. Цена 1 р. 78 к.

**У. Моррис**. Наука об управлении. Байесовский подход. Перевод с английского. 394 стр. Цена 1 р. 25 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов**, **Д. Г. Большой** (первый зам. главного редактора),  
**Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров**, **Р. Г. Гамзатов**,  
**А. А. Кулешов**, **В. М. Литвинов**, **А. И. Овчаренко**, **А. Е. Рекемчук**,  
**А. Я. Сахнин**, **О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин**,  
**К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 23/ХІ 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 25/І 1972 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 28,77 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. п. л.)  
А 06713 Зак. 4006. Тираж 156.000 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636